Настольная книга

Овидий

Метаморфозы

Аз

Annotation

Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — великий поэт «золотого века» римской литературы. Главное его произведение «Метаморфозы», написанное с присущей поэту изысканностью слога, представляет собой своего рода мифологическую энциклопедию классической древности. «Метаморфозы» Овидия оказали большое влияние на всю европейскую литературу нового времени.

Издание является компиляцией на основе книги серии «Библиотека античной литературы».

-
-
- ПОЭЗИЯ «МЕТАМОРФОЗ»1
- МЕТАМОРФОЗЫ
  - СОДЕРЖАНИЕ
  - КНИГА ПЕРВАЯ
  - КНИГА ВТОРАЯ
  - КНИГА ТРЕТЬЯ
  - КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
  - КНИГА ПЯТАЯ
  - КНИГА ШЕСТАЯ
  - КНИГА СЕДЬМАЯ
  - КНИГА ВОСЬМАЯ
  - КНИГА ДЕВЯТАЯ
  - КНИГА ДЕСЯТАЯ
  - КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ
  - КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ
  - КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ
  - КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
  - КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
  - Наталия Вулих
  - Василий Ян
- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74

- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111

- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148

- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185

- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222

- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259

- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296

- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333

- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370

- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407

- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444

- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481

- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518

- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555

- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592

- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615

Текст настоящего электронного издания базируется на издании: Публий Овидий Назон, «Метаморфозы», изд. Художественная литература, М., 1977, серия «Библиотека античной литературы».

В настоящем издании добавлены разделы «СОДЕРЖАНИЕ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ». В первом приводится краткий по-книжный список тем поэмы с указанием диапазона стихов для каждой темы.(Далее в начало каждой книги добавлен соответствующий ей раздел списка.)

В качестве приложений в издание вошли глава «Поэт богов» из книги Н. Вулих «Овидий», посвящённая поэме «Метаморфозы», и рассказ В. Яна «Овидий в изгнании».

PVBLIVS OVIDIVS NASO.

ПОЭЗИЯ «МЕТАМОРФОЗ»[1]

«Метаморфозы» любимы читателями. Многие их поколения отстаивали право любить Овидиеву эпопею — вопреки сдержанности или прямой хуле ученых и критиков. Как бы вечным образцом остается эпизод, описанный Гёте в десятой книге «Поэзии и правды»: на нападки Гердера, обличавшего поэму Овидия в «неестественности», молодой поэт мог ответить лишь одно: что «для юношеской фантазии ничто не может быть приятнее, как пребывать в тех светлых и дивных областях с богами и полубогами и быть свидетелями их деяний и страстей».

Слова Гёте могли бы повторить читатели всех веков. Они принимали книгу сразу и безоговорочно. В своде латинских настенных, надгробных и иных надписей римской эпохи сохранилось немало стихотворных цитат; из них около пятисот приходится на долю «Энеиды», которую учили в школе, и около трехсот — на долю «Метаморфоз», которые читали по сердечному влеченью. Создатели новой европейской литературы — Петрарка и Боккаччо — по «Метаморфозам» узнавали все богатство греческих сказаний. И в более позднее время, когда в обиходе ученых появились и другие античные своды мифов, читатель все же остался верен «Метаморфозам» — не только самому обширному, включающему около 250 сюжетов, но и самому увлекательному их изложению.

Увлекательны, конечно, сами мифы; увлекательна объединяющая их тема — метаморфоза. Мир, где всякое событие должно окончиться превращеньем, — мир заведомо волшебный, открывающий огромные просторы для воображения художника. Но Овидий излагал известные читателю предания — и поэтому сила его воображения поневоле оказалась направленной на воплощение этого мира. Художническое деяние Овидия — в том, что он сумел населить фантастический мир зримыми, осязаемыми предметами и образами. Залог этого деянья — то явление поэтического искусства Овидия, которое следует назвать концентрацией художественных средств.

В чем его суть?

Прежде всего — в отсечении всего лишнего: чрезмерно конкретных мотивировок, второстепенных подробностей, моментов действия, не относящихся к чему-то самому важному для поэта. Если в «Гимне Деметре» Каллимаха Эрисихтон срубает священный дуб потому, что строит себе дом, то у Овидия он делает это просто как нечестивец (VIII, 741 слл.) Если поэту нужно рассказать о злодеяньях Медеи, он может оборвать рассказ на моменте убийства Пелия и дальше оставить даже без упоминания его дочерей, обманутых соучастниц преступления (VII, 349 слл.).

Второе важнейшее орудие концентрации — это отбор деталей. Детали слагаются в сцены, сцены — в эпизоды; но деталей «неработающих», остающихся без нагрузки, нет. Возьмем для примера эпизод битвы Кадма со змеем (III, 14—100). Кадм следует за коровой, которая, по предсказанию, должна привести его к месту, где ему определено оракулом заложить город. Путь едва обозначен, описания ландшафта нет, как нет его и при упоминании «незнакомых полей и гор», где корова остановилась (хотя психологически такое описание было бы оправдано: первый взгляд героя на новую отчизну…). Кадм должен принести жертву и посылает прислужников за водой; прежде никакие спутники Кадма не упоминались, рассказ о нем шел в единственном числе, — но как только они понадобились для действия, поэт вводит их, и не подумав о какой-либо прозаической мотивировке. Спутники Кадма идут по воду. И вот тут Овидию необходимы приметы ландшафта: девственный лес, заросшая лозняком сводчатая пещера, из которой бьет ключ. Все это — любимые пейзажные мотивы в «Метаморфозах» (и не только в них); и мотивов этих ровно столько, чтобы внушить читателю ощущение, что место это священно. Поэтому смело введенное в той же фразе упоминание о змее не выглядит неожиданностью, да и само чудовище сразу же оказывается причастным миру святынь; и поскольку он посвящен Марсу, самое первое его описание дает понять, что перед нами змей *сказочный*: у него три жала и три ряда зубов (из которых потом вырастут воины). И на всем протяжении эпизода накапливаются детали, призванные показать огромность и сверхъестественность дракона: приподняв половину туловища, он смотрит на кроны деревьев сверху; он равен величиной созвездию Змея (еще раз подчеркнута причастность высшему миру!); чешуя его так тверда, что отражает удар, способный

сокрушить башни, а земля гудит, когда чешуя скребет по ней; проползая, змей валит деревья и тащит их, как вздувшийся от дождей поток; наконец, когда убитое чудовище пригвождено к дубу, дерево пригибается под его тяжестью (поразительная по наглядности деталь!). Даже все эпитеты, характеризующие змея, отобраны для того, чтобы подчеркнуть его величину и необычайность: он «особо отмечен гребнем и золотом», «иссиня-черен», у него «огромные кольца» и тело, «занимающее много пространства» (мы нарочно приводим определения в буквальном переводе). Спутники Кадма пришли к источнику: звенит наполняемая водой урна (деталь крупным планом); появился дракон: урна падает из рук (возврат к тому же крупному плану). На убиении пришельцев змеем Овидий почти не задерживается (а как было бы соблазнительно дать своего «Лаокоонта»!). Кадм ждет спутников: «солнце сделало короткими тени». До сих пор время не играло роли для Овидия, и мы не знаем, долго ли шел Кадм из Дельф, утром или ночью пришел он, — но как только действие требует этого, поэт хоть в одной строке рисует картину полдня (именно рисует, а не говорит: «наступил полдень»). Бой со змеем изображается как быстрая смена отдельных действий; взгляд поэта все время переходит с чудовища на одетого в львиную шкуру героя (деталь как бы пророческая: Кадм должен основать Фивы, будущую родину одетого в львиную шкуру змееборца Геракла). Но дальше внимание задерживается на чудовище: теперь поэт множит приметы его ярости, называет новые опасности, угрожающие герою: ядовитое дыханье змея, ядовитая кровь. Наконец враг побежден; теперь Кадм сам созерцает его огромность — и тут-то, когда змеем занято внимание и героя и читателя, раздается предсказание будущей метаморфозы, самим повтором слов тесно связывающее грядущее и настоящее: «Что ты, сын Агенора, глядишь на погубленного Змея? Будут глядеть и на тебя в облике змея!»

Так концентрирует Овидий изобразительные средства, точным расчетом достигая нужного ему действия на читателя. Но действие это двойственно. С одной стороны, поэт отказывается от скрупулезности мотивировок, от точного изображения места и времени, от эпической, гомеровской полноты — традиции договаривать о происходящем все до конца, — и взамен этого вводит детали космические и символические, призванные связать совершающееся сейчас с

прошлым и будущим, со всем мирозданьем. Этим Овидий достигает ясного ощущения, что изображаемый им мир есть мир волшебный, фантастический, в котором все взаимопереплетено и все возможно. С другой стороны, поэт явно отдает предпочтение деталям наглядным, зрительным. Он не напишет просто, что змей еще пуще разъярился, — он покажет и раздувшуюся шею, и источающую белесую пену пасть чудовища. Благодаря обилию таких деталей фантастический мир поэмы приобретает особую зримость, пластическую реальность. Ее поэт умеет сохранить даже при описании ключевого фантастического события каждого эпизода — самого превращения.

Метаморфозу Овидий никогда не изображает мгновенной: обличье человека постепенно становится обличьем другого существа; у Кикна седые волосы становятся белыми перьями, шея удлиняется, пальцы соединяются красной перепонкой, тело одевается опереньем, лицо вытягивается в неострый клюв (II, 373—376). Метаморфоза в поэме — совершающийся у читателя на глазах процесс, а впечатление от нее тем сильнее, что обычно процесс этот оказывается продолжением — неожиданным и волшебным — только что совершавшегося действия. Кикн громко оплакивал Фаэтона — но вдруг голос его стал тонким, и началось превращение; Каллисто с мольбой протягивала к Юноне руки — но вдруг они стали покрываться шерстью (II, 477—478); Скилла, Алкиона, Эсак превращаются в птиц уже на лету, бросившись в море. «Эффект присутствия» усиливается у читателя еще и тем, что поэт никогда не говорит ему заранее, во что превратится персонаж: момент называния нового существа оттягивается как можно дальше. Метаморфоза у Овидия есть действие — и потому она зрима воочию; но она есть действие внезапное и непредвидимое по результату — и потому она остается для читателя-зрителя чудом.

Атмосфера чуда разлита во всей поэме: чуда художнического могущества, которое позволило нечто как будто бы невоплотимое — воплотить в пластически-зримых образах. Недаром девятнадцать веков спустя другой гений художнического преображения мира — Пабло Пикассо — продолжил это чудо, сделав явленный в слове мир «Метаморфоз» видимым в буквальном смысле, отыскав для него равноценное графическое воплощение.

Принцип пластической наглядной изобразительности выдержан в поэме так строго, что сам по себе способен обеспечить единство ее многочисленных эпизодов. Но именно в единстве «Метаморфозам» обычно отказывают, ссылаясь на очевидную искусственность и слабость (а иногда и отсутствие) мотивировок, объясняющих переход от одного рассказа именно к этому, а не к другому. Но это — мотивировки внешние, фабульные. Между тем человека XX столетия кино научило, что секрет художественного воздействия, производимого монтажом, заключен в сопоставлении всего содержания смежных кадров, а не во внешней мотивированности переходов. И если сопоставлять в поэме Овидия все содержание эпизодов, следующих друг за другом, то обнаруживается глубокая художественная оправданность именно этого, а не иного их порядка.

Овидий начинает повествование с первой величайшей метаморфозы: превращения хаоса в космос (I, 5—88); но космос — благой миропорядок — постепенно подвергается порче, пока в смене веков (I, 89—150) дело не доходит до бунта гигантов (I, 151—162) и преступления Ликаона (I, 163—264); после такого падения остается только одно: возврат к хаосу (потоп — I, 262—312), — и лишь милость богов дает возможность вновь населить землю (Девкалион и Пирра — I, 313—437); наконец, убиение Аполлоном Пифона завершает победу над силами хаоса. Так первые семь искусно скомпонованных эпизодов тематически объединяются в цельный раздел, охватывающий время становления мира. Следующий большой раздел можно было бы по его теме озаглавить «Любовь богов». Открывает его рассказ об Аполлоне и Дафне — своеобразный эпиграф ко всему дальнейшему, призванный показать, что отныне, в упорядоченном мире, высшая власть принадлежит любви. И далее, утверждая эту мысль, разворачивается (I, 452—582) большая драма: любовь Юпитера к Ио, ревность Юноны, муки превращенной в корову девушки (кульминация), начало спасения — убийство Аргуса, оттянутое вставным рассказом арго-убийцы Меркурия о любви Пана к Сиринге (полная аналогия рассказу о Дафне), и счастливый финал, — вот пять актов этой драмы (I, 583—749). Затем в действие вводятся дети богов и земных женщин или нимф: Эпаф, сын Ио, и Фаэтон, сын Солнца, непременно желающий доказать Эпафу свое божественное происхождение. Рассказ о Фаэтоне (I, 750 — II, 400) — как бы

реминисценция из первого раздела: мир снова чуть было не вернулся к хаосу. И он же — завязка темы, почти столь же важной в поэме, как тема любви: смертный впервые берется тягаться с богами. Метаморфозы Гелиад и Кикна позволяют подверстать миф к поэме о превращениях. Следующий рассказ — о любви Юпитера к Каллисто и ревности Юноны (II, 401—533) — прямо перекликается с мифом об Ио, как примыкающий к нему эпизод любви Аполлона к Корониде (II, 534—835) — с мифом о Дафне. Однако эта симметрическая композиция затушевана тем, что в последний эпизод вмонтирован ряд вставных и дополнительных рассказов: рассказ вороны о дочерях Кекропа влечет за собой рассказ о превращении Аглавры, виновной перед Меркурием, в камень и таком же превращении Батта и т. д. Замыкает второй раздел рассказ о похищении Европы (II, 836—875), и он же служит переходом к следующему разделу: сказаниям, связанным с Фивами, основанными братом Европы Кадмом (III, 1 — IV, 606). Рассказ о самом Кадме служит как бы рамкой раздела: вначале герой слышит предсказание о том, что превратится в змея, в конце метаморфоза совершается; в промежутке же идут рассказы о внуках Кадма: Актеоне, Вакхе и его врагах (со множеством вставных эпизодов, многообразно между собою переплетенных), Меликерте. Рассказав о роде Агенора, отца Кадма, Овидий переходит к рассказу о потомках Агенорова брата Бела — Акризии, Данае и Персее; длинный рассказ занимает весь четвертый раздел (IV, 607 — V, 249). Пятый раздел посвящен гневу богов (V, 250 — VI, 420) и, таким образом, контрастно симметричен второму (о любви богов). Начинают и кончают его рассказы о состязанье богов с низшими существами в искусстве пения: Муз с Пиеридами, Аполлона с Марсием; в середине стоят мифы о соперничестве смертных женщин — Ниобы и Арахны — с богинями. Песни Муз и Пиерид, описание рисунков на тканях Минервы и Арахны дают поэту дополнительную возможность обогатить тот же мотив новыми эпизодами.

Шестой и самый большой раздел поэмы (VI, 421 — IX, 446) посвящен веку героев; многосложное переплетение мифов, связанных с Аттикой, с походом аргонавтов, с калидонской охотой, с Гераклом, завершается упоминанием о том, что Минос и Эак стали дряхлы: век героев прошел. Но прежде чем перейти ко времени Троянской войны, которое у древних считалось уже историческим, Овидий вводит еще

один раздел (IX, 447 — XI, 193) — о любви несчастной и «недозволенной»: о потере возлюбленных (Орфей и Эвридика, Аполлон и Кипарис, Аполлон и Гиацинт, Венера и Адонис), о любви к брату (Библида), к отцу (Мирра), к статуе (Пигмалион)…

События «исторического периода» распределены на четыре раздела: предыстория Троянской войны (XI, 194—785); Троянская война от жертвоприношения Ифигении до превращения Гекубы (XII, 1 — XIII, 622), причем события, изображенные в «Илиаде», не пересказываются, а замещаются повествованиями Нестора о кентаврах и лапифах, о Периклимене и Геркулесе; странствия Энея (XIII, 623 — XIV, 440); италийские сказания (XIV, 441 — XV, 745). Венцом всей огромной цепи метаморфоз призваны стать рассказ о превращении Юлия Цезаря в звезду и предреченное обожествление Августа (этот мотив подготовлен в последнем разделе — обожествлениями Энея, Ромула, Герсилии).

Границы разделов почти нигде не совпадают с членением на книги; более того, иногда цельный эпизод переходит из книги в книгу. Это ясно говорит о том, что Овидий стремился не к четкому композиционному делению; его цель — создать впечатление непрерывности повествования, написать «carmen perpetuum» — «непрерывную песнь» (I, 4). Этому же способствуют ясно ощущаемые читателем аналогии или контрасты настроений или мотивов в смежных эпизодах, мотивные реминисценции, заставляющие вспомнить какой-либо из эпизодов предшествующих и увидеть в нем предвосхищение будущего (например, превращенье в растения любимых Аполлоном Кипариса и Гиацинта заставляет вспомнить о метаморфозе Дафны). В то же время читательский интерес непрестанно поддерживается полной непредсказуемостью того, где и когда этот эпизод будет происходить. Место действия поэмы в целом — вся вселенная, время действия — от сотворения мира до современности поэта. Мгновенные перемещения богов, полет Медеи в колеснице, запряженной драконами, Персея — на крылатых сандалиях и т. п. — вот внешние мотивировки внезапных смен места действия даже внутри отдельных эпизодов. Вставные эпизоды в рассказах персонажей переносят читателя не только в другое место, но и в прошлое, прерывая мнимохронологическую последовательность событий. Сама композиция «Метаморфоз», — все время подгоняющая

читательский интерес вперед, к новому и неожиданному, и вместе с тем аналогиями и контрастами мотивов оживляющая в памяти прежнее, прочитанное, — динамически напряжена в этом двойственном устремлении.

Эта динамическая композиция глубоко соответствует самой природе мира, который воплощен в поэме, — мира метаморфоз, где все бытие подчинено единственному закону — закону вечного изменения. Метаморфоза и была изначально, в мифологическом мышлении, символическим воплощением этого закона, и Овидий как будто не до конца утратил ощущение такого смысла метаморфозы. Во всяком случае, именно закон вечного изменения он — в речи Пифагора — провозглашает философской основой своего труда:

> Не погибает ничто — поверьте! — в великой вселенной.
> Разнообразится все, обновляет свой вид; народиться —
> Значит начать быть иным, чем в жизни былой; умереть же —
> Быть, чем был, перестать; ибо все переносится в мире
> Вечно туда и сюда; но сумма всего — постоянна.
> Мы полагать не должны, что длительно что-либо может
> В виде одном пребывать…
> (XV, 254—261)

В длинном рассужденье мудреца эти слова призваны обосновать его учение о метемпсихозе — посмертном переселении душ в новые тела; однако далее и сам этот закон подкрепляется доказательствами: ими служат фазы луны, смена времен года, возрастов человека, преобразования земной поверхности, — словом, все они взяты из мира естественного. Но какое же касательство закон вечного изменения в этом натурфилософском понимании имеет к метаморфозам, описываемым Овидием? Ведь каждая из них есть чудо, то есть нарушение законов естества. Происходит это чудо по воле богов: так провозглашено в первых же строках поэмы. Вторая причина превращений — волшба, колдовство какой-нибудь Медеи либо Цирцеи.

Внешняя мотивировка метаморфоз не имеет ничего общего с законом вечного изменения, — точно так же, как и внутренний смысл

большинства Овидиевых превращений. Мало того что сам процесс превращения нередко оказывается как бы продолжением действий персонажа; часто само прежнее действие продолжается и после превращения, причем именно то действие, в котором обнаруживается главная страсть превращенного, приведшая к метаморфозе. Ниоба, даже став камнем, вечно плачет о детях; вечно поворачивается за возлюбленным Солнцем Клития, превратившись в гелиотроп; вечно гонится за предавшей его дочерью Нис, хотя оба сделались птицами; вечно бросается в воду нырок Эсак… Метаморфоза не уничтожает индивидуальности: новое обличье, наоборот, символически выявляет то главное, чем одержим человек. Среди таких метаморфоз ничуть не странными оказываются и те, при которых превращенный сохраняет прежний разум (как прямо сказано о Каллисто), мучится из-за своего нового обличья (как Ио или Дриопа, желающая видеть под своими ветвями играющего младенца-сына). Словом, чем бы ни была метаморфоза — карой ли богов, как превращения Ликаона и многих других, символической ли развязкой драматической ситуации либо ее источником (Ио, сицилийская Скилла) — превращение всегда тесно связано с личностью персонажа и его судьбой. После превращения хаоса в космос мир может обогатиться новым цветком, или птицей, или созвездием — но его состояние и порядок останутся теми же. В баснословном мире Овидия закон изменения действителен только для приговоров по частным делам.

Но если метаморфоза утратила у Овидия тот универсально-символический смысл, какой она имела в мифологическом мышлении, значит, и самый миф у него больше не обладает мировоззренческим смыслом. Еще менее остается миф священным религиозным преданием: трудно ожидать традиционного благочестия от поэта, написавшего когда-то: «Выгодны боги для нас, — если выгодны, будем в них верить». И все же именно Овидий написал самый большой и художественно самый совершенный мифологический эпос эллинистическо-римской эпохи. Неужели же он мог быть плодом учености — и только, тепличным цветком, не питаемым никакими жизненными соками? Такого в истории литературы не бывало.

В эпоху Овидия миф выступал как бы в двух ролях.

Религиозная жизнь в республиканском Риме носила по преимуществу публичный и формально-обрядовый характер. В

идеологии римской республики наибольшую роль играло национально-историческое предание («нравы предков» были эталоном гражданской доблести). Однако само это предание освящалось мифом (сказания о рождении Ромула от Марса, об общении Нумы с богами и т. п.); миф, таким образом, санкционировал римскую государственность. Служение республике, признававшееся единственным истинным поприщем для римлянина, было в то же время служением богам, «благочестие» значилось в списке гражданских добродетелей. Маскируя свой, монархический по сути, переворот под восстановление республики, Август прежде всего постарался возродить «древнее благочестие», подточенное полувеком гражданских усобиц, обесценивших все традиционные ценности. Ради этого восстанавливались старые храмы и воздвигались новые, ради этого возобновлялось исполнение давно заброшенных обрядов, ради этого вспоминались полузабытые предания, — например, предание о происхождении Юлиев, предков Августа, от Венеры и Энея. Официально возвратив мифу его святость, Август требовал соответствующего воплощения его в литературе. В духе этих требований Гораций написал для официальной религиозной церемонии гимн, где призывал всех богов помочь Августу в его попытках возродить «нравы предков»; Проперций посвятил римским преданиям, связанным с храмами и празднествами, несколько повествовательных элегий; наконец, сам Овидий начал создавать поэтический календарь римских праздников — «Фасты». Но самой серьезной и искренней попыткой вернуть мифу мировоззренческий смысл и найти в нем санкцию современного положения вещей в Риме сделал Вергилий в «Энеиде». Весь предопределенный волей богов ход мировой истории лишь подготавливал, согласно Вергилию, век Августа и Августово умиротворение земного круга.

И Вергилий и Гораций принадлежали к тому поколению поэтов, которые пережили ужасы гражданской войны, бушевавшей после гибели Юлия Цезаря, и восприняли принесенный Августом мир с благодарностью, а потому искренне стремились служить возрождению обесцененных нравственных, гражданских и религиозных ценностей. Но с падением республики, с исчезновением «общего дела» (res publica), в служении которому только и могла найти свое осуществление личность, все эти ценности лишились подлинного

содержания. Больше того: выше них стали другие ценности, открытые еще в последние десятилетия республики и связанные с другими, внеобщественными проявлениями человеческой личности: любовью, дружбой, творчеством… Признание этих ценностей взорвало изнутри концепцию «Энеиды»: служение общему делу хотя и означает выполнение воли богов, — оно же благочестие, — но дается только ценой отказа от всех личных устремлений — то есть, в конечном счете, от счастья. Гораций вырабатывает целую систему жизненного поведения, основа которой — независимость индивида от внешнего мира. Но дальше всего в отрицании официальных идеологических ценностей среди старших современников Овидия шли Тибулл, Проперций и другие элегики — те, чьим прямым продолжателем объявил себя автор «Метаморфоз» («Скорбные элегии», IV, 10, 53—54).

Еще в середине I в. до н. э. Катулл написал цикл стихов о своей любви к Лесбии, впервые в римской поэзии сделав темой поэзии эпизод «любовного быта» золотой молодежи и, больше того, поставив *свою* любовь, *свою* дружбу и ненависть превыше всего. Преемником Катулла и поэтов его круга, неотериков, провозгласивших себя учениками александрийских поэтов, выступил Вергилий в «Буколиках». Он перенес в Рим пастушескую идиллию Феокрита. Однако в разгар гражданских войн его Аркадия — идиллическая страна занятых любовью и песнями пастухов — не могла не быть утопией, и как утопия она и представлена. Пусть в ней еще уловимы приметы родины Вергилия, черты мелкокрестьянского уклада, знакомого поэту с детства, — именно то, что есть в его утопии реальность, разрушается событиями современной истории: конфискациями наделов у мелких землевладельцев в пользу ветеранов Августова войска. А идиллическое счастье скрывшегося под маской пастуха поэта-лирика разрушает несчастная любовь… В последней эклоге пастуха прямо замещает создатель римской элегии Корнелий Галл, сетующий, что не может жить со своей возлюбленной в счастливом мире пастушеской идиллии. О том же бегстве с подругой в деревню мечтает Тибулл. И он и Проперций готовы ради счастья вдвоем с возлюбленной пожертвовать и воинским долгом, и доблестью, и славой, и обязанностями гражданина. Поэзия начинает создавать условный мир любви и природы, в который бежит человек.

Все, что приходит в этот мир из большого мира — война, законы об укреплении брака и семьи, растущие богатства, — только разрушает его.

Создание для себя некоего условного, воображаемого мира было знамением времени. Перестав быть членом реальной гражданской общины, рухнувшей на глазах и возрожденной лишь фиктивно, впервые ощутив свое отчуждение, римлянин I в. до н. э. стал искать для себя, и только для себя, особой сферы жизни, сферы, которая противостоит враждебной или, во всяком случае, не отвечающей прежнему идеалу действительности. Путей было несколько. Был элитарный путь: философия; по нему пошли, например, Секстин, отец и сын, создавшие свое, близкое к пифагорейству, учение и наотрез отказывавшиеся принимать участие в государственной жизни. Был путь новых, пришедших с Востока верований, упования на божественного спасителя; по этому пути шли низы, не причастные государственной жизни и культуре. Но был и третий путь — путь большинства образованных римлян: оставаться праздным и создавать вокруг себя условный, насквозь эстетизированный мир.

Попыткой бегства в этот мир были нескончаемые мечты о простой деревенской жизни, лучше всего выраженные в элегиях Тибулла и столь распространенные, что Гораций счел возможным зло над ними поиздеваться, вложив длинный монолог о сельских прелестях и радостях в уста алчного ростовщика.

Частью этого мира призвано было стать даже само жилище. Вторая и третья четверть I в. до н. э. — это время так называемого второго стиля помпейских росписей (модного, разумеется, не только в нестоличных Помпеях). На стенах комнат «стали изображать здания, колонны и фронтоны с их выступами»,[2] изображать в правильной перспективе, так что плоскость стены исчезала, пространство жилья иллюзорно раздвигалось… Постепенно эта архитектурная декорация становилась все более условной и фантастической: «Штукатурку расписывают преимущественно уродствами… вместо колонн ставят каннелированные тростники с кудрявыми листьями и завитками, вместо фронтонов — придатки, а также подсвечники, поддерживающие изображения храмиков, над фронтонами которых поднимается из корней множество нежных цветков с завитками и без всякого толка сидящими в них статуэтками, и еще стебельки с

раздвоенными статуэтками, наполовину с человеческими, наполовину со звериными головами».[3] Между нарисованных колонн открывались нарисованные же проемы, и в них «виднелись» то тесно застроенная улица с женщиной и девочкой, несущими приношения богам, то морской ландшафт с Галатеей, убегающей на морском коне от влюбленного циклопа, то скала с колонной и статуей, а под ней — Ио между Аргусом и Меркурием (росписи дома Ливии, жены Августа, в Риме). Вообще непременным компонентом стенной росписи были «изображения богов и развитие отдельных сказаний, а также битвы под Троей или странствования Улисса с видами местностей и со всем, что встречается в природе».[4]

Пейзаж в росписях становится все более существенным элементом, отвечая тяге горожанина «в деревню». Некий Лудий создает даже чистый пейзаж, неведомый грекам. Любимые мотивы ландшафта — обрывистые горы, скалы, текущие воды, леса (вспомним ландшафт «Метаморфоз»!). Когда «третий помпейский стиль» отбросил архитектурную декорацию стен, мифологические сцены и ландшафты остались непременным атрибутом стенописи. Число мифических фигур, окружавших римлянина, бесконечно умножалось и благодаря коллекциям статуй, обязательным в каждом богатом доме (не говоря уже о бессчетных статуях в театрах, портиках и других общественных сооружениях). Миф становился зримой и осязаемой частью условного мира римлян, одним из важнейших средств его эстетизации.

В такой обстановке свободный богатый римлянин проводил свой досуг. «Досуг» — это термин: так называлось в Риме время, не отданное государственной деятельности, чем бы оно ни было заполнено. Но еще Цицерон, одним из первых в Риме признавший ценность «досуга», отдавал его созданию философско-политических, этических или риторических трактатов, то есть, в сущности, служению республике в другой форме, и пренебрежительно говорил, что, имей он и удвоенный срок жизни, у него не хватило бы времени читать лириков; между тем современники Овидия, когда они не посвящали досуг пирушкам или коллекционированию столиков из лимонного дерева, охотно отдавали время поэзии, и по большей части как раз лирической, элегической, или риторике. Но и риторика, долженствовавшая, по Цицерону, способствовать формированию

идеального гражданина, изменила цели и смысл. Политическое красноречие утратило свою роль, зато превратились в самоцель школьные риторические упражнения. На смену речи пришла декламация, ставшая неотъемлемой частью того условного мира, о котором мы говорили. Утратив связь с судебной практикой, риторическая декламация демонстративно порвала все связи с реальностью, разбирая с точки зрения выдуманных законов фантастически невероятные случаи. Каждую тему полагалось развить, выставив все мыслимые аргументы «за» и «против». Вот некоторые примеры таких тем. Некто убил, вопреки отцовским просьбам, двух братьев — одного как тирана, другого как прелюбодея; захваченный пиратами, убийца просит отца выкупить его, но отец пишет пиратам, что удвоит выкуп, если они отрубят сыну руки; вернувшись, сын отказывается кормить обедневшего отца и подвергается за это обвинению. Или вот тема сохранившейся декламации самого Овидия: муж и жена поклялись, что умрут вместе; муж, уехав, шлет жене ложную весть о своей смерти, та бросается с высоты, но выживает; отец требует развода дочери с мужем и отрекается от нее, когда та отказывается развестись. Сильные страсти, невероятные приключения, немыслимые стечения обстоятельств, уже невозможные в умиротворенном и регламентированном римском государстве, щедро поставляла человеку школьная риторика, обогащая ими мир любимых фикций. Среди похищенных пиратами, отомстивших смертью за прелюбодеянье, среди легкомысленных юнцов, перекочевавших из комедии, жриц, проданных своднику, но сохранивших чистоту, естественным образом находилось место для мифологических персонажей, немногим менее реальных. От их лица произносились «этопеи» — декламации на тему: «что мог бы сказать такой-то герой в такой-то ситуации, известной из мифа».[5]

С бегством от действительности тесно связана также поэзия, и элегическая и «ученая». Культ мифологической учености, свойственный александрийским поэтам, перенесли в римскую литературу еще неотерики. Именно они стали создавать маленькие поэмы на сюжет малоизвестных мифов, насыщенные намеками на другие предания и понятные лишь избранным. Такие произведения полемически противостояли староримской традиции, признававшей достойным один только жанр — исторический эпос, способный

прославить республику и служивших ей мужей. Вергилий в «Энеиде» сделал попытку синтезировать традиции мифологического эпоса и гражданственность исторической эпопеи — но попытка эта осталась единственной. Современники Овидия продолжали писать одни — о подвигах Августа и его полководцев или о римских царях, другие — о Геркулесе, амазонках, Антеноре.

По традиции и мифологический и исторический эпос считались жанрами высокими. Элегия, сама себя объявлявшая жанром легкомысленным, сделала традиционной своей темой отказ поэта заниматься мифологическими и историческими сюжетами. И тем не менее она тоже способствовала бегству из реальности. Дело не только в том, что служение возлюбленной госпоже противопоставлялось служению республике, а индивидуализм стал программой. Дело в том, что основные мотивы элегии, и унаследованные у Катулла или у молодого Вергилия, и внесенные их преемниками (жалобы на неверность подруги, воспоминания о счастье с нею, тоска по деревне, проклятия войне и богатству, губящим любовь, всевозможные уловки, призванные обмануть мужа или сторожа), сделались традиционными, обязательными. Мир элегии стал жить по своим законам, реальность «галантного быта» в Риме стилизуется и превращается в мир условный. А в таком мире — мы уже в этом убедились — мифология была обязательным элементом. И вот Проперций пытается создать повествовательную элегию на мифологическую тему по образцу александрийских поэтов. Но важнее то, что и у него и у Тибулла любая ситуация отношений с подругой может быть уподоблена ситуации мифа. Нельзя попрекать поэта его любовью, если сам Юпитер любил Семелу, Ио, Ганимеда… Подруга не менее прекрасна, чем была Фетида, когда дельфин мчал ее к Пелею… Сводня могла бы одолеть целомудрие Ипполита и верность Пенелопы… Примеры можно множить без конца. Словно из расписанной фресками жилой комнаты, из не утратившего связи с бытом мирка элегии «открывался вид» на иной, мифический мир, снижая миф и поднимая быт, сплавляя их в единую условную среду. В ней и искали убежища предпочитавшие забыть «о доблестях, о подвигах, о славе» современники Овидия.

Поэзия Овидия уходит корнями в этот условный мир. Не видевший ни жестокостей гражданской войны, ни заката республики, он принял как данность новый режим и был искренне благодарен ему

за блага мирной жизни, за стекавшиеся в столицу богатства, позволившие преобразить грубый быт предков. Отказ от гражданской карьеры, уход в «досуг», в поэтическое творчество был для него естественным и беспроблемным. И успех первого же сочинения Овидия — «Любовных элегий» — объяснялся именно тем, что его поколение увидело в них воплощенным свой мир. Причем Овидий всячески подчеркивает именно условность этого мира: не случайно он до конца жизни так и не открыл современникам, существовала ли действительно героиня элегий Коринна. Традиционные ситуации любовной элегии Овидий не переживает, а проигрывает по заданному сценарию, и не прячет этого: недаром он просит подругу быть менее сговорчивой и дать ему помучиться, а ее мужа — выказать больше ревности и дать повод прибегнуть к традиционным уловкам. Правила игры должны быть соблюдены! Тогда-то и станет ясно, что это именно игра, над которой сам герой-автор посмеивается. К числу правил относится и обязательность мифологических уподоблений. Овидий неукоснительно следует этому правилу, но опять-таки над ним иронизирует: «В мифах всегда для меня нужный найдется пример».

Подменив переживание игрой, Овидий естественным образом переместил центр тяжести с излияний по поводу той или иной ситуации на изображение самой ситуации. В результате умножается количество мотивов — порой за счет мотивов рискованных, немыслимых в подлинной лирике «от первого лица» — и количество конкретных деталей. Условный мир элегии становится более бытовым, снижается, а многочисленные мифологические реминисценции в нем начинают звучать пародийно: слишком уж не соответствуют друг другу сравнение и сравниваемое. Миф вовлекается в ту же ироническую игру, что и все традиционные мотивы элегии.

Объективная манера изложения, берущая верх над лирической уже в «Любовных элегиях», окончательно возобладала в «Науке любви». Теперь Овидий уже прямо изображает тот быт, который элегия стремилась подвергнуть стилизации. При этом, однако, связь с элегией не обрывается, многие ее приемы остаются, среди них — прием мифологических уподоблений. Если в Риме охотятся за женщинами в театре, то начало этому положил Ромул в день похищения сабинянок. Нельзя быть слишком ревнивым: ревность погубила Прокриду. Но сам принцип изобразительности изменил

структуру мифологических уподоблений: в элегиях это были упоминания, намеки, — в «Науке любви» они развертываются в маленькие повествования, во вставные эпизоды на несколько десятков строк. В них-то Овидий и вырабатывает впервые те приемы пластической зримости, наглядности, о которых мы писали.

Но, будучи пластически воплощенным, миф в поэме оторвался от быта, перестал поддаваться иронической игре. Сработало никогда не терявшееся в античности ощущение: на шкале духовных ценностей мифу принадлежит весьма высокое место. Это ощущение делало возможным игру в снижение (снизить можно только возвышенное!). И оно же закрепляло мифологический сюжет за более высокими жанрами: трагедией, эпосом.

Молодой Овидий, при всей вольности своего отношения к мифу, отлично ощущал иерархическое неравенство жанров. Не важно, действительно ли пробовал он взяться за эпическую поэму о битве богов с гигантами, как сам говорит в первой из «Любовных элегий», или отказ от эпоса был только данью элегической традиции: противопоставление разновысоких жанровых сфер выявлено здесь вполне. Причем более высокая сфера явно привлекает Овидия: спор олицетворенных Элегии и Трагедии, описанный в «Любовных элегиях» (III, 1), он сумел решить в пользу обеих, создав трагедию «Медея», пользовавшуюся большим успехом.

Но истинный *творческий* успех ожидал Овидия на другом пути: пути сочетания мифа с традиционным элегическим мотивом. Мотив этот — разлука; он на все лады перепет в элегиях Овидиевых предшественников, причем и у них сетовать может не только герой-поэт, но и героиня: автор начальных элегий четвертой книги Тибуллова сборника вложил жалобы на разлуку в уста Сульпиции, реально существовавшей поэтессы (IV, 3); Проперций облек женские жалобы в форму письма к уехавшему возлюбленному (IV, 3). Овидий, написав целый сборник таких писем, сделал еще один, но решительный шаг: он заменил своих современниц — героинь элегий — мифическими героинями, в общем-то, обитательницами того же условного мира. Предпосылкой этого шага явились также риторические этопеи. Овидий еще в риторической школе предпочитал декламации, в которых проявляется «нрав» человека, и притом декламации убеждающие, а не оспаривающие и доказывающие. И каждая из

стихотворных этопей Овидия — это речь, убеждающая любимого вернуться, речь, до глубины исчерпывающая нравственный мир любящей женщины. Разумеется, героиня мифа лишается своего возвышенного ореола, зато приобретает психологическую конкретность. Миф дает драматическую ситуацию; дело прошедшего школу риторики поэта — до конца выявить психологию человека в этой ситуации, с тем чтобы тронуть читателя его судьбой.

Итак, в «Героидах» и «Науке любви» оказались выработанными главные принципы подхода Овидия к мифу: стремление к пластической наглядности его воплощения и к его психологизации, то есть, в сущности, очеловечиванью. Поэт готов к тому, чтобы взяться за большие своды мифов — «Фасты» и «Метаморфозы».

«Метаморфозы», начатые на рубеже нашей эры и в основном завершенные к моменту ссылки поэта в 8 г. н. э. задумывались и писались как большой эпос. Идея поэмы о превращениях была не нова: предшественниками Овидия были Никандр (III в. до н. э.) и Парфений (I в. до н. э.), написавшие в гексаметрах поэмы о метаморфозах; Бой, создатель эпоса о превращенных в птиц людях; Эмилий Макр, друг Овидия, который эту поэму перевел. Пользовался Овидий и «Метаморфозами» некого Феодора, неизвестно — прозаическими или стихотворными, и сочинением ученого Эратосфена о превращеньях людей в звезды. Однако едва ли Овидий так уж зависел от своих эллинистических предшественников в чем-либо, кроме самого репертуара мифов.

Несколько бóльшую дань отдал Овидий римским эпическим традициям. Одна из них, идущая от отца римского эпоса Энния, требовала ввести «философское обоснование» поэмы — и Овидий сделал это в речи Пифагора. Временной диапазон поэмы — от сотворения мира до современности — и «хронологический» порядок изложения мифов подтолкнули Овидия к тому, чтобы позаимствовать Вергилиеву концепцию истории, ставшую официальной: весь ход истории направлен к одной цели, и цель эта — принципат Августа. Тема возвеличения принцепса подготовляется помещенным в начале поэмы уподоблением Юпитера, созывающего совет богов, — Августу (I, 204); затем Аполлон сразу после потопа предрекает пришествие века Августа, — по образцу множества пророчеств, из которых у Вергилия Эней узнает о конечной цели своих трудов. Но далее эта

тема появляется лишь в последней книге, в связи с мифами о том же Энее, — там, где Овидий больше всего зависит от своего великого предшественника. Таким образом, ни Пифагорово ученье, ни Вергилиева концепция истории к основному в поэме не имеют касательства.

Наибольшее значение для Овидия имеет традиция эпоса как *высокого* жанра. Если в любовных элегиях миф и быт пародийно смешивались, если в письмах героинь там и сям мелькали бытовые детали, то в «Метаморфозах» снижения мифа в быт нет и в помине. Овидий, когда это нужно для наглядности и единства художественного впечатления, может заметить черепок, подпирающий ножку стола в хижине Филемона и Бавкиды, — но нельзя себе представить, чтобы у него, как в «Аргонавтике» Аполлония Родосского, Венера жаловалась на Купидона, который, мол, совсем отбился от рук, а сам Купидон играл в бабки с Ганимедом. Больше того, излагая одни и те же мифы в «Фастах», больше связанных с элегической традицией, и в «Метаморфозах», поэт по-разному отбирает детали. Например, говоря о похищении Прозерпины в «Фастах» (IV, 417 слл.), он дает почти бытовую мотивировку пребывания богинь на Сицилии (они собрались в гостях у Аретусы), пейзаж нарисован идиллическими красками и служит естественным фоном для столь же идиллической картины: девушки собирают цветы, кто в корзину из ивовой лозы, кто в подол (10 строк, 11 названий цветов!). В «Метаморфозах» (V, 385 слл.) пейзаж становится таинственным и возвышенным: вместо оврага и поляны — озеро и лебеди на нем, тенистый лес, вечная весна; мотивировать присутствие божества в таком месте даже и не нужно: такое изображение само должно внушить читателю священное благоговение. До одного придаточного предложения стягивается рассказ о сборе цветов, единожды вскользь упоминаются «сверстницы» Прозерпины. Зато само похищение, занимающее в «Фастах» 6 строчек, развертывается в большую картину, с географическими подробностями, с описанием Прозерпины и ее чувств… И вот тут-то Овидий и вставляет деталь, не снижающую, но приближающую к нам, очеловечивающую образ юной богини: Прозерпина — ребенок, даже в смятении она жалеет о потерянных цветах. Овидий хочет и умеет тронуть читателя.

Античная эстетика знала два пути воздействия на читателя или зрителя: устрашить его или тронуть, внушить сострадание. Овидий не чуждается страшного, и даже страшного ради него самого; вспомним хотя бы многообразные увечья в описании битвы кентавров и лапифов (XII, 225 слл.). Но это не лучшие куски поэмы. Чаще даже страшное служит тому, чтобы вызвать сострадание. Но трогает только человеческое.

Крушение гражданственной республиканской идеологии несло с собой не одни потери. Именно оно позволило римской литературе открыть индивидуального человека, ценного не только в той мере, в какой его жизнь и деяния полезны Риму. Знаменитые слова Вергилия «Слезы сочувствия есть» могли быть произнесены только теперь, когда научились видеть человека и во влюбленном, покинутом подругой, и в мелком земледельце, чей участок отдали отставному солдату (в «Буколиках»), и в безумце Турне, который во имя своей любви стал вопреки воле судеб противиться носителю будущего величия Рима — Энею (в последних книгах «Энеиды»). У Вергилия, у элегиков история выступает как сила, враждебная счастью индивида, желающего найти счастье в своей любви, своем покое, в удовлетворении своих стремлений и страстей.

Мир «Метаморфоз» представляется иным. Ведь по сути своей он часть того условного, воображаемого мира, в который римляне поколения Овидия скрывались, уходя от реального мира, безразличного им либо враждебного их стремлениям. Часть эта воспринимается как самая возвышенная и прекрасная, но ничуть не более реальная. Значит, здесь не может быть гражданских распрей, лишавших пастухов Вергилия их идиллической Аркадии, нет рока, предопределившего ход истории и губящего всех, кто этому ходу воспротивится. Откуда взяться конфликтам в сказочном мире волшебных возможностей, в мире, основной закон которого — превращение? Но вглядимся внимательнее — и мы увидим, что мир «Метаморфоз» не есть мир абсолютной свободы. Во-первых, в нем остается в силе нравственная норма, кладущая предел произволу личности. Ощущение незыблемой нормы было искони присуще римлянам; из них ни один не мог бы признать человека «мерой всех вещей». Тем более должна была сохраняться незыблемость нормы в мифическом мире «Метаморфоз», на котором еще лежал отблеск

былой священности. Поэтому и появляется в поэме тема метаморфозы-кары, беды-возмездия: наказан святотатец Ликаон, наказаны корыстолюбивый Батт и завистливая Аглавра; гибель Икара — возмездие Дедалу за убийство племянника.

Соблюдение нормы должно обеспечить власть богов, посылающих кару. Но вера в их абсолютную благость чужда Овидию: боги — такие же персонажи многочисленных драм, как люди, им также присущи страсти. Поэтому всемогущество богов порой оборачивается произволом; как нечестье карается не только неповиновение их законам, но и гордыня, заставляющая смертных с ними соперничать. Арахна равна Минерве искусством, но она осмелилась состязаться с нею, она усугубила вину, унизив богов изображением их любовных хитростей и превращений, — и за это должна понести наказание. Та же участь постигает и четырех соперников богов, изображенных на ткани Минервы, и Пиерид, и Ниобу. Так терпят крах самые высокие притязания личности.

Наконец, — и это самое главное, — в мире «Метаморфоз» высшей силой является любовь. Овидий и в большом эпосе остается «певцом любви», как он сам назвал себя в первой же строке автобиографии («Скорбные элегии», IV, 10). А любовь — это вечный источник конфликтов. Даже если это любовь Юпитера — могучее, сметающее все преграды влечение. Ведь за любовью Юпитера следует ревность Юноны — и гибнет Семела, страдает и едва не гибнет от руки сына Каллисто. Правда, происходит метаморфоза-избавление, — но ведь и в мифе об Ио с его традиционно благополучным концом Овидий предпочитает изображать муки превращенной женщины, да еще вводит от себя мотив скорби отца, узнавшего о беде дочери. «Слезы сочувствия есть…»

Любовь у Овидия очень часто — сильнейшее проявление личности, ее суть и стержень. Что Алкиона без любви к Кеику, Канента без любви к Пику? Что без своего чувства Прокрида, для которой жизнь стоит меньше, чем уверенность в любви Кефала? Поэтому неразделенная страсть, смерть возлюбленного, разлука — постоянные источники мук в мире «Метаморфоз». Даже боги знают эту скорбь: неразделенная любовь к Дафне, гибель Гиацинта и Кипариса заставляют мучиться Аполлона. А у Клитии, Эсака, Эхо

безответная любовь продолжается и после метаморфозы. Горе любящих — вот предпочитаемый поэтом предмет изображения.

Но с не меньшей охотой рисует Овидий и любовь-страсть, любовь-наваждение, заставляющую забыть все нравственные нормы, увлекающую к преступлению. Недаром всем мифическим героиням предпочитал он Медею, о которой писал трижды: в «Героидах», в трагедии и в «Метаморфозах». Конфликт между любовью и нравственным долгом, диалектика душевной борьбы, софизмы опрокидывающей доводы разума страсти становятся содержанием самых поэтических эпизодов поэмы: историй Медеи, Библиды, Мирры, Скиллы.

Романтическая критика любила упрекать Овидия в подражаниях, в описательности. «У него нет более важного, более серьезного намерения, он ничего больше не имеет в виду, как только изображать, только вызывать и пробуждать в нашем воображении образы, картинки, фигурки, постоянно что-нибудь показывать», — писал об Овидии Леопарди в «Дневнике размышлений».[6] Нет сомнения, для Овидия важно выполнить завет всех античных поэтов, обращавшихся к мифу: «сказать по-своему принадлежащее всем». А сказать по-своему значило для него воплотить наглядно и ярко, в зримых пластических образах. Но значило также: проникнуть в душу героя, явить его страсти и муки. Поэтому куда более проницательно писал о самой сути поэтического у Овидия Пушкин: «…любовь есть самая своенравная страсть… Вспомните предания мифологические, превращения Овидиевы, Леду, Филиру, Пазифаю, Пигмалиона — и признайтесь, что все сии вымыслы не чужды поэзии или, справедливее, ей принадлежат».[7]

Мир «Метаморфоз» — мир волшебный, но не идиллический. Здесь, как и в реальной, окружавшей Овидия действительности, человеческая личность редко достигает гармонии с самою собой и с миром. Даже Геркулес, величайший герой, воплотивший высшую меру человеческих возможностей, гибнет жертвою страсти и ревности. Но еще важнее для понимания «Метаморфоз» судьба другого героя, чья история, наряду с историей неразделенной любви Аполлона, стоит как бы эпиграфом к повествованию об эре людей. Это — история Фаэтона. Он не обладает сверхчеловеческой силой Геркулеса, но он жаждет самоутверждения через сверхчеловеческий подвиг. И тут порыв

личности к самому высокому вступает в столкновение с непреложными законами мироздания. Дерзкая воля одного или сохранение вселенной, только что благоустроенной после потопа, — таков выбор. Гибнет один, пораженный стрелой Юпитера, так погибнут в поэме другие герои, слишком сильно любящие, слишком высоко ценящие себя, слишком на многое дерзнувшие. В «Метаморфозах» мир противостоит личности так же, как это было в Риме после того, как человек отделился от разрушившейся органической гражданской общины.

История Фаэтона оказалась пророческим предвосхищением собственной судьбы поэта. Пусть дерзание Фаэтона чуждо Овидию, но он хотел быть поэтом — и только, а это шло вразрез с законами вселенной, жестко «благоустроенной» Августом после катастрофы гражданских войн. Принцепс не мог этого допустить: «Юпитер метнул молнию» (сколько раз этот образ будет повторяться в стихах, написанных в изгнании!). Началась ссылка.

С. Ошеров

МЕТАМОРФОЗЫ

С. Шервинский, перевод.
С. Ошеров, вступительная статья.
Ф. Петровский, примечания.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэма состоит из пятнадцати книг: от «Liber Primus» до «Liber Quintus Decimus».

В круглых скобках приведены номера стихов.

Книга Первая

Вступление (Invocatio 1—4); Хаос (5—20); возникновение мира (Mundi origo 21—88); Золотой век (89—112); серебряный век — переход власти от Сатурна к Юпитеру (113—124); медный и железный век (125—150); Гиганты (151—162); совет богов (163—208); Ликаон (209—243); всемирный потоп (260—316); Девкалион (сын Прометея) и Пирра (317—415); возникновение животных, Пифон (415—451); Дафна (452—567); Ио (568—667); Арг, Пан и Сиринга (668—723); Ио (724—747); Фаэтон (748—779).

Книга Вторая

Фаэтон (1—339); Гелиады (340—366); Кикн (367—380); Солнце (381—400); Каллисто (401—530); Коронида, дочери Кекропа (531—632); Окироннея (633—675); Батт (676—707); Аглавра (708—832); Европа (833—875).

Книга Третья

Кадм (1—137); Актеон (138—252); Семела (253—315); Тиресий (№ 316—338); Эхо (339—401); Нарцисс (402—510); Пенфей (511—576); Вакх, тирренские пираты (557—700); гибель Пенфея (701—733).

Книга Четвертая

Дочери Миния (1—54); Пирам и Фисба (55—166); Марс и Венера (167—189); Левкотоя (190—255); Клития (256—270); Салмакида и Гермафродит (271—388); дочери Миния (389—415); Ино и Атамант (416—542); спутницы Ино (543—562); Кадм и Гармония (563—603); Персей и Атлант (604—662); Персей и Андромеда (663—752); свадьба Персея, Персей и женихи (753—803).

Книга Пятая

Персей и женихи (1—236); Персей и Прет (237—242); Персей и Полидект (243—250); Иппокрена (251—293); Пиериды (294—336); Тифей (337—359); Прозерпина (360—408); Кианея (409—437); стелион (438—461); Церера (462—532); Аскалаф (533—550); Сирены (551—563); Прозерпина (564—571); Аретуза (572—641); Триптолем (642—661); Пиериды (662—678).

Книга Шестая

Арахна (1—145); Ниоба (146—312); ликийцы (313—381); Марсий (382—400); Пелоп (401—411); Прокна и Филомела (412—674); Орифия (675—721).

Книга Седьмая

Медея (1—296); Медея и Пелий (297—349); Медея в Аттике (350—424); Тезей (425—452); Минос, Эак (453—660); Кефал (661—866).

Книга Восьмая

Скилла и Минос (1—151); Дедал (152—235); куропатка (236—259); Калидонская охота (260—444); Мелеагр (445—546) Ахелой, Эхинады (547—598); Филемон и Бавкида (599—709); Эрисихтон (710—832); Местра (833—869).

Книга Девятая

Ахелой (1—97); Несс (98—133); Деянира, Геркулес на Эте (134—210); Лихас (211—238); апофеоз Геркулеса (239—272); Галантида (273—323); Дриопа (324—393); Иолай; судьбы героев (394—438); Библида (439—665); Ифис (666—797).

Книга Десятая

Орфей (1—105); Кипарис (106—142); песнь Орфея, Ганимед (143—161); Гиацинт (162—219); Керасты (220—242); Пигмалион (243—297); Мирра (298—502); Адонис (503—552); Аталанта (553—707); смерть Адониса (708—739).

Книга Одиннадцатая

Гибель Орфея, фракийские вакханки (1—84); Мидас (85—193); Гесиона (194—220); Фетида (221—265); Пелей, Дедалион (266—345); Псамафа (346—409); Кеик и Алкиона (410—748); Эсак (749—795).

Книга Двенадцатая

Данайцы в Авлиде, прибытие под Трою (1—38); молва (39—63); Кикн (64—145); Кеней (146—209); кентавры и лапифы (210—468); гибель Кенея (469—535); Периклимен (536—579); гибель Ахилла, спор за оружье (580—628).

Книга Тринадцатая

Спор за оружье, речь Аянта (1—122); речь Улисса (123—381); смерть Аянта (382—398); Гекуба (399—575); Мемнон (576—622); Эней, Аний (623—674); Короны (675—704); сицилийская Скилла (705—739); Акид и Галатея (740—897); Главк и Цирцея (898—968).

Книга Четырнадцатая

Скилла (1—74); керкопы (75—100); Сивилла (101—153); Ахеменид, Полифем (154—222); Цирцея (223—319); Пик (320—415); Канента (416—440); Эней в Лациуме, Диомед (441—511); Анул (512—526); корабли Энея (527—567); Ардея (568—580); Вертумн и Помона (581—697); Ифис и Анаксарета (697—771); Сабины, Тарпея, Таций (772—804); Квирин и Герсилия (805—851).

Книга Пятнадцатая

Нума, Алемонид и Мискел (1—59); учение Пифагора (60—478); Эгерия, Ипполит-Вирбий (479—551); Тагей, Кип (552—621); Эскулап (622—744); Юлий Цезарь (745—870); заключение (871—879).

КНИГА ПЕРВАЯ

Вступление (Invocatio 1—4); Хаос (5—20); возникновение мира (Mundi origo 21—88); Золотой век (89—112); серебряный век — переход власти от Сатурна к Юпитеру (113—124); медный и железный век (125—150); Гиганты (151—162); совет богов (163—208); Ликаон (209—243); всемирный потоп (260—316); Девкалион (сын Прометея) и Пирра (317—415); возникновение животных, Пифон (415—451); Дафна (452—567); Ио (568—667); Арг, Пан и Сиринга (668—723); Ио (724—747); Фаэтон (748—779).

Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы
Новые. Боги, — ведь вы превращения эти вершили, —
Дайте ж замыслу ход и мою от начала вселенной
До наступивших времен непрерывную песнь доведите.
Не было моря, земли и над всем распростертого неба, —
Лик был природы един на всей широте мирозданья, —
Хаосом звали его. Нечлененной и грубой громадой,
Бременем косным он был, — и только, — где собраны были
Связанных слабо вещей семена разносущные вкупе.
Миру Титан никакой тогда не давал еще света.
И не наращивала рогов новоявленных Феба,[8]
И не висела земля, обтекаема током воздушным,
Собственный вес потеряв, и по длинным земным окоемам
Рук в то время своих не простерла еще Амфитрита.
Там, где суша была, пребывали и море и воздух.
И ни на суше стоять, ни по водам нельзя было плавать.
Воздух был света лишен, и форм ничто не хранило.
Все еще было в борьбе, затем что в массе единой
Холод сражался с теплом, сражалась с влажностью сухость,
Битву с весомым вело невесомое, твердое с мягким.
Бог и природы почин раздору конец положили.
Он небеса от земли отрешил и воду от суши.
Воздух густой отделил от ясность обретшего неба.
После же, их разобрав, из груды слепой их извлекши,

Разные дав им места, — связал согласием мирным.
Сила огня вознеслась, невесомая, к сводам небесным,
Место себе обретя на самом верху мирозданья.
Воздух — ближайший к огню по легкости и расстоянью.
Оных плотнее, земля свои притянула частицы.
Сжатая грузом своим, осела. Ее обтекая,
Глуби вода заняла и устойчивый мир окружила.
Расположённую так, бог некий — какой, неизвестно —
Массу потом разделил; разделив, по частям разграничил —
Землю прежде всего, чтобы все ее стороны гладко
Выровнять, вместе собрал в подобье огромного круга.
После разлил он моря, приказал им вздыматься от ветров
Буйных, велел им обнять окруженной земли побережья.
После добавил ключи, болота без края, озера;
Брегом извилистым он обвел быстроводные реки,
Разные в разных местах, — иные земля поглощает,
К морю другие текут и, дойдя, поглощаются гладью
Вольно разлившихся вод, и скалы им берегом служат.
Он повелел разостлаться полям, и долинам — вдавиться,
В зелень одеться лесам, и горам вознестись каменистым.
Справа пояса два и слева столько же неба
Свод обвели, и меж них, всех прочих пламенней, пятый.
Сводом объятую твердь означил умысел бога
Точно таким же числом: земля — с пятью полосами.
На серединной из них от жары обитать невозможно.
Две под снегом лежат глубоким, а двум между ними
Бог умеренность дал, смешав там стужу и пламень.
Воздух вплотную навис над ними; насколько по весу
Легче вода, чем земля, настолько огня он тяжеле.
В воздухе тучам стоять приказал он и плавать туманам,
И разражаться громам, смущающим души людские,
Молниям он повелел и ветрáм приносить охлажденье.
Но не повсюду владеть позволил им мира строитель
Воздухом. Даже теперь нелегко воспрепятствовать вéтрам,
Хоть и по разным путям направляется их дуновенье,
Весь наш мир сокрушить. Таково несогласие братьев!

Эвр к Авроре тогда отступил, в Набатейское царство,[9]
В Персию, к горным хребтам,[10] озаряемым утренним светом.
Запад и те берега, что солнцем согреты закатным,
Ближе к Зефиру, меж тем как в Скифию и в Семизвездье[11]
Вторгся ужасный Борей; ему супротивные земли
Влажны всегда от туманов сырых и дождливого Австра[12].
Сверху же, выше их всех, поместил он веса лишенный
Ясный эфир, никакою земной не запятнанный грязью.
Только лишь расположил он всё по точным границам, —
В оной громаде — слепой — зажатые прежде созвездья
Стали одно за одним по всем небесам загораться;
Чтобы предел ни один не лишен был живого созданья,
Звезды и формы богов[13] небесную заняли почву.
Для обитанья вода сверкающим рыбам досталась,
Суша земная зверям, а птицам — воздух подвижный.
Только одно существо, что священнее их и способней
К мысли высокой, — чтоб стать господином других, — не являлось.
И родился человек. Из сути божественной создан
Был он вселенной творцом, зачинателем лучшего мира,
Иль молодая земля, разделенная с горним эфиром
Только что, семя еще сохранила родимого неба?
Отпрыск Япета,[14] ее замешав речною водою,
Сделал подобье богов, которые всем управляют.
И между тем как, склонясь, остальные животные в землю
Смотрят, высокое дал он лицо человеку и прямо
В небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи.
Так земля, что была недавно безликой и грубой,
Преобразясь, приняла людей небылые обличья.
Первым век золотой народился, не знавший возмездий,
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность.
Не было страха тогда, ни кар, и словес не читали
Грозных на бронзе;[15] толпа не дрожала тогда, ожидая
В страхе решенья судьи, — в безопасности жили без судей.
И, под секирой упав, для странствий в чужие пределы
С гор не спускалась своих сосна на текущие волны.

Смертные, кроме родных, никаких побережий не знали.
Не окружали еще отвесные рвы укреплений;
Труб небывало прямых, ни медных рогов искривленных,
Не было шлемов, мечей; упражнений военных не зная,
Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди.
Также, от дани вольна, не тронута острой мотыгой,
Плугом не ранена, все земля им сама приносила.
Пищей довольны вполне, получаемой без принужденья,
Рвали с деревьев плоды, земляничник нагорный сбирали,
Терн, и на крепких ветвях висящие ягоды тута,
Иль урожай желудей, что с деревьев Юпитера[16] пали.
Вечно стояла весна; приятный, прохладным дыханьем
Ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева.
Боле того: урожай без распашки земля приносила;
Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях,
Реки текли молока, струились и нектара реки,
Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба.
После того как Сатурн был в мрачный Тартар низвергнут,
Миром Юпитер владел, — серебряный век народился.
Золота хуже он был, но желтой меди ценнее.
Сроки древней весны сократил в то время Юпитер,
Лето с зимою создав, сотворив и неверную осень
С краткой весной; разделил он четыре времени года.
Тут, впервые, сожжен жарой иссушающей, воздух
Стал раскаляться и лед — повисать под ветром морозным.
Тут впервые в домах расселились. Домами служили
Людям пещеры, кусты и лыком скрепленные ветви.
В первый раз семена Церерины в бороздах длинных
Были зарыты, и вол застонал, ярмом удрученный.
Третьим за теми двумя век медный явился на смену;
Духом суровей он был, склонней к ужасающим браням, —
Но не преступный еще. Последний же был — из железа,
Худшей руды, и в него ворвалось, нимало не медля,
Все нечестивое. Стыд убежал, и правда, и верность;
И на их место тотчас появились обманы, коварство;
Козни, насилье пришли и проклятая жажда наживы.

Начали парус вверять ветрам; но еще мореходы
Худо их знали тогда, и на высях стоявшие горных
На непривычных волнах корабли закачались впервые.
Принадлежавшие всем до сих пор, как солнце и воздух,
Длинной межою поля землемер осторожный разметил.
И от богатой земли не одних урожаев и должной
Требовать стали еды, но вошли и в утробу земную;
Те, что скрывала земля, отодвинувши к теням стигийским,[17]
Стали богатства копать, — ко всякому злу побужденье!
С вредным железом тогда железа вреднейшее злато
Вышло на свет и война, что и златом крушит, и железом,
В окровавленной руке сотрясая со звоном оружье.
Люди живут грабежом; в хозяине гость не уверен,
В зяте — тесть; редка приязнь и меж братьями стала.
Муж жену погубить готов, она же — супруга.
Страшные мачехи, те аконит[18] подбавляют смертельный;
Раньше времени сын о годах читает отцовских.
Пало, повержено в прах, благочестье, — и дева Астрея[19]
С влажной от крови земли ушла — из бессмертных последней.
Не был, однако, земли безопасней эфир высочайший:
В царство небес, говорят, стремиться стали Гиганты[20];
К звездам высоким они громоздили ступенями горы.
Тут всемогущий отец Олимп сокрушил, ниспослал он
Молнию; с Оссы он сверг Пелион[21] на нее взгроможденный.
Грузом давимы земли, лежали тела великанов, —
Тут, по преданью, детей изобильной напитана кровью,
Влажною стала земля и горячую кровь оживила;
И, чтоб от рода ее сохранилась какая-то память,
Образ дала ей людей. Но и это ее порожденье
Вовсе не чтило богов, на убийство свирепое падко,
Склонно насилье творить. Узнаешь рожденных от крови!
Это Сатурний-отец увидал с высокой твердыни
И застонал и, стола Ликаонова[22] гнусный припомнив
Пир, недавний еще, получить не успевший огласки,
Сильным в душе запылав и достойным Юпитера гневом,
Созвал богов на совет. И не медлили званые боги.

Есть дорога в выси, на ясном зримая небе;
Млечным зовется Путем, своей белизною заметна.
То для всевышних богов — дорога под кров Громовержца,
В царский Юпитера дом. Красуются справа и слева
Атрии[23] знатных богов, с дверями, открытыми настежь.
Чернь где придется живет. В передней же части чертога
Встали пенаты богов — небожителей, властию славных.
Это-то место — когда б в выражениях был я смелее —
Я бы назвал, не боясь, Палатином[24] великого неба.
Так, расселись едва в покоях мраморных боги,
На возвышенье, рукой опершись на скипетр из кости,
Трижды, четырежды Он потряс приводящие в ужас
Волосы, поколебав и землю, и море, и звезды.
Следом за тем разрешил и уста, возмущенные гневом:
«Нет, я не более был вселенной моей озабочен
В те времена, как любой из врагов змееногих[25] готов был
С сотней протянутых рук на пленное броситься небо!
Хоть и жестокий был враг, — но тогда от единого рода
Происходила война и единый имела источник.
Ныне же всюду, где мир Нереевым[26] гулом охвачен,
Должен смертный я род погубить. Клянуся реками
Ада, что под землей протекают по роще стигийской, —
Было испытано все. Но неизлечимую язву
Следует срезать мечом, чтоб здравую часть не задело.
Есть полубоги у нас, божества наши сельские; нимфы,
Фавны, сатиры и гор обитатели диких — сильваны.
Если мы их до сих пор не почтили жилищем на небе,
Землю мы отдали им и на ней разрешим оставаться.
Но, о Всевышние! Все же довольно ль они безопасны,
Ежели мне самому, и вас и перуна владыке,
Козни строить посмел Ликаон, прославленный зверством?»
Затрепетали тут все и дерзкого требуют с жарким
Рвеньем. Так было, когда осмелился сброд нечестивый[27]
Римское имя залить в неистовстве — Цезаря кровью.
Ужасом был поражен, что громом, при этом паденье
Род человеческий, вся содрогнулась вселенная страхом.

Столь же отрадна тебе твоих близких преданность, Август,
Сколь Громовержцу — богов благоверность. Лишь голосом он и рукою
Ропот вокруг подавил, все снова безмолвными стали.
Только лишь кончился крик, подавлен владыки величьем,
Сызнова речью такой прервал Юпитер молчанье:
«Он уже кару понес, и об этом оставьте заботу.
Что совершил он и как был наказан, о том сообщу я:
Наших достигла ушей недобрая времени слава.
Чая, что ложна она, с вершины спускаюсь Олимпа,
Обозреваю я — бог в человеческом облике — землю.
Долго б пришлось исчислять, как много повсюду нашел я
Злостного. Истине всей молва уступала дурная.
Вот перешел я Менал, где звериные страшны берлоги,
После в Киллену зашел и в прохладные сосны Ликея,[28]
В домы аркадцев входил и под кров неприютный тирана.
Сумерки поздние ночь меж тем влекли за собою.
Подал я знак, что пришло божество, — народ тут молиться
Начал. Сперва Ликаон над обетами стал насмехаться
И говорит: «Испытаю при всех в открытую, бог ли
Он или смертный. Тогда не будет сомнительна правда».
В ночь, отягченного сном, сгубить нечаянной смертью
Хочет меня. По душе ему этак испытывать правду.
Но, не довольствуясь тем, одному из заложников, коих
Выслал молосский народ,[29] мечом пронзает он горло.
После в кипящей воде он членов часть полумертвых
Варит, другую же часть печет на огне разведенном.
Только лишь подал он их на столы, я молнией мстящей
Дом повалил на него, на достойных владельца пенатов.
Он, устрашенный, бежит; тишины деревенской достигнув,
Воет, пытаясь вотще говорить. Уже обретают
Ярость былые уста, с привычною страстью к убийству
Он нападает на скот, — и доныне на кровь веселится!
Шерсть уже вместо одежд; становятся лапами руки.
Вот уж он — волк, но следы сохраняет прежнего вида:
Та же на нем седина, и прежняя в морде свирепость,

Светятся так же глаза, и лютость в облике та же.
Дом сокрушился один — одному ли пропасть подобало! —
Всем протяженьем земли свирепо Эриния правит.
Словно заговор тут преступный замыслили! Значит,
Пусть по заслугам и казнь понесут! Таков приговор мой».
Речь Громовержца одни одобряют, еще подстрекая
Ярость его; у других молчание служит согласьем.
Но человеческий род, обреченный на гибель, жалеют
Все; каков будет вид земли, лишившейся смертных,
Все вопрошают, и кто приносить на жертвенник будет
Ладан? Иль хочет зверью он отдать опустелую землю?
И на вопрос их в ответ, — что его-де об этом забота, —
Вышних царь запрещает дрожать и, не схожее с прежним,
Он обещает явить — чудесным рождением — племя.
Вот уж по всей земле разметать он готов был перуны,
Да убоялся, пылать от огней не начал бы стольких
Неба священный эфир и длинная ось не зажглась бы.
Вспомнил, — так судьбы гласят, — что некогда время наступит,
Срок, когда море, земля и небесный дворец загорятся, —
Гибель будет грозить дивнослаженной мира громаде.
Стрелы тогда отложил — мастеров-циклопов[30] работу,
Кару иную избрал — человеческий род под водою
Вздумал сгубить и с небес проливные дожди опрокинул,
Он Аквилона тотчас заключил в пещерах Эола[31]
И дуновения все, что скопления туч отгоняют.
Выпустил Нота. И Нот на влажных выносится крыльях, —
Лик устрашающий скрыт под смольно-черным туманом,
Влагой брада тяжела, по сединам потоки струятся,
И облака на челе; и крылья и грудь его в каплях.
Только лишь сжал он рукой пространно нависшие тучи,
Треск раздался́, и дожди, дотоль запертые, излились.
В радужном платье своем, Юноны вестница, воды
Стала Ирида[32] сбирать и ими напитывать тучи.
В поле хлеба полегли; погибшими видя надежды,
Плачет селянин: пропал труд целого года напрасный.
Не удовольствован гнев Юпитера — небом; лазурный

Брат[33] помогает ему, посылая воды на помощь.
Реки созвал, и, когда под кров своего господина
Боги речные вошли, — «Прибегать к увещаниям долгим
Незачем мне, — говорит. — Свою всю силу излейте!
Надобно так. Отворите дома, отодвиньте преграды
И отпустите тотчас всем вашим потокам поводья».
Так приказал. И они родникам расширяют истоки,
И, устремляясь к морям, в необузданном катятся беге.
Сам он трезубцем своим о землю ударил. Она же
Дрогнула вся и воде на свободу открыла дорогу.
И по широким полям, разливаясь, несутся потоки;
Вместе с хлебами несут деревья, людей и животных,
Тащат дома и все, что в домах, со святынями вместе.
Ежель остался дом, устоял пред такою бедою
Неповрежденный, то все ж он затоплен водою высокой,
И уже скрыты от глаз погруженные доверху башни.
Суша и море слились, и различья меж ними не стало.
Все было — море одно, и не было брега у моря.
Кто перебрался на холм, кто в лодке сидит крутобокой
И загребает веслом, где сам обрабатывал пашню.
Тот над нивой плывет иль над кровлей утопшего дома
Сельского. Рыбу другой уже ловит в вершине у вяза.
То в зеленеющий луг — случается — якорь вонзится,
Или за ветви лозы зацепляется гнутое днище.
Там, где недавно траву щипали поджарые козы,
Расположили свои неуклюжие туши тюлени.
И в изумленье глядят на рощи, грады и зданья
Девы Нереевы.[34] В лес заплывают дельфины, на сучья
Верхние вдруг налетят и, ударясь, дуб заколеблют.
Волк плывет меж овец, волна льва рыжего тащит.
Тащит и тигров волна; не впрок непомерная сила
Вепрю, ни ног быстрота влекомому током оленю.
Долго земли проискав, куда опуститься могла бы,
Падает в море, кружа, с изнемогшими крыльями птица.
Залиты были холмы своевольем безмерной пучины, —
В самые маковки гор морской прибой ударяет.

Гибнет в воде большинство; а немногих, водой пощаженных,
При недостатке во всем, продолжительный голод смиряет.
От Аонийских вершин отделяет Эту[35] Фокида, —
Тучные земли, дотоль они землями были, теперь же
Моря частица, воды небывалой широкое поле.
Там крутая взнеслась гора двухвершинная к звездам,
Именованьем — Парнас; облаков верхи ее выше.
К ней-то Девкалион[36] — остальное вода покрывала —
С брачной подругой своей пристал на маленькой лодке.
Нимфам корикским[37] они и гор божествам помолились,
Вещей Фемиде,[38] тогда прорицалищем оным владевшей.
Не было лучше вовек, ни правдолюбивее мужа,
Богобоязненна так ни одна не бывала из женщин.
И как Юпитер узрел, что мир стал жидким болотом,
И что остался он там из стольких тысяч единым,
И что осталась она из стольких тысяч единой,
Оба невинны душой, богов почитатели оба, —
Он облака раскидал, Аквилоном туман отодвинул,
Земли явил небесам и выси эфирные землям.
Моря недолог был гнев; сложив о трех зубьях оружье,
Воды владыка морской усмиряет и вставшего поверх
Волн голубого зовет Тритона, чьи отроду плечи
В алых ракушках, и дуть велит в трубицу морскую:
Этим он знак подает отозвать и потоки и волны.
Выбрал из раковин тот пустую трубу завитую,
Что расширяется вверх от низа крученого; если
В море такую трубу на просторе наполнить дыханьем,
Голос достигнет брегов, где солнце встает и ложится.
И лишь коснулось трубы божество с брадой увлажненной,
Лишь громогласно она заиграла отбой по приказу,
Все услыхали ее потоки, — земные, морские, —
Грозный приказ услыхав, потоки ей все покорились.
Реки спадают, уже показались возникшие холмы;
Море опять в берегах и в руслах полные реки,
И выступает земля, с убыванием воды прибывая.
К вечеру долгого дня и лесов показались макушки

Голые, тина у них еще на ветвях оставалась.
Мир возродился земной. И увидев, что так опустел он
И что в печали земля глубоким объята молчаньем,
Девкалион, зарыдав, к своей обращается Пирре:
«Нас, о сестра, о жена, о единая женщина в мире,
Ты, с кем и общий род, и дед у обоих единый,
Нас ведь и брак съединил, теперь съединяет опасность, —
Сколько ни видит земли Восток и Запад, всю землю
Мы населяем вдвоем. Остальное все морю досталось.
Но и поныне еще не вполне мы уверены в нашей
Жизни, еще облака наполняют нам ужасом душу.
Что, если б ты без меня судьбы избежала, бедняжка,
Было бы в сердце твоем? И как бы могла одинокой
Ты этот страх пережить? И кто б твои муки утешил?
Я, о поверь, если б ты оказалась добычею моря,
Сам за тобою, жена, оказался б добычею моря.
О, если б мог возродить я народы искусством отцовским,
О, если б души вливать умел в изваянья из глины!
Ныне же в нас лишь двоих сохраняется смертных порода;
Так уж угодно богам, чтоб людей образцом мы остались».
Оба заплакали. Им захотелось молиться небесным
Силам и помощи их попросить, о судьбине гадая.
Медлить не стали они. Подходят к водам Кефиса,[39]
Что, непрозрачны еще, по руслу знакомому льются.
Там, водяную струю возлияв, себе оросили
Платье и темя они, потом направиться оба
В храм богини спешат, которого кровля белела,
Грязным покрытая мхом, алтари ж без огня пребывали:
И лишь коснулись они храмовых ступеней, как упали
Наземь, устами прильнув к холодному камню, — и вместе
Молвили так, трепеща: «Коль Вышние правой мольбою
Могут смягчиться, и гнев умилостивляется божий,
Молви, Фемида, каким искусством убыток восполнить
Нашего рода; подай, добрейшая, помощь в потопе!»
И умягчилась она и рекла: «Выходите из храма;
Головы ваши покрыв, одежд пояса развяжите

И через плечи назад мечите праматери кости».
Остолбенели они, и нарушила первой молчанье
Пирра; богини она покориться веленьям не хочет;
Молит прощенья себе; уста оробели, боится
Матери тень оскорбить, назад ее кости кидая,
Но повторяют меж тем слепое неясное слово,
Участь предрекшее им, и сами с собой размышляют.
Ласковой речью тогда Прометид обращается мягко
К Эпиметиде. «Иль мы, — говорит, — ошиблись в догадке,
Иль благочестен и нам не внушит беззаконья оракул.
Наша праматерь — земля. В телесах ее скрытые кости,
Думаю — камни. Кидать их за спину нам повеленье».
Хоть толкованьем таким убедил супруг Титаниду,
Все же надежда смутна, — настолько к советам небесным
Мало доверья у них. Но что за беда попытаться?
Вот и сошли; покрывают главу, распоясали платья
И, по приказу, назад на следы свои камни бросают.
Камни, — поверил бы кто, не будь свидетелем древность? —
Вдруг они стали терять постепенно и твердость и жесткость,
Мягкими стали, потом принимали, смягчившись, и образ.
После, когда возросли и стала нежней их природа,
Можно было уже, хоть неявственный, облик увидеть
В них человека, такой, как в мраморе виден початом, —
Точный еще не совсем, изваяниям грубым подобный.
Часть состава камней, что была земляною и влажный
Сок содержала в себе, пошла на потребу для тела;
Крепкая ж часть, что не гнулась совсем, в костяк обратилась,
Жилы же в части камней под тем же остались названьем.
Времени мало прошло, и, по воле Всевышних, каменья
Те, что мужчина кидал, и внешность мужчин обретали;
А из-под женских бросков вновь женщины в мир возвращались.
То-то и твердый мы род, во всяком труде закаленный,
И доказуем собой, каково было наше начало!
Разных по виду потом животных своим изволеньем
Вскоре земля родила, когда разогрелась от солнца.
Сырость прежняя, ил и болотная липкая влага

Стали от зноя вспухать, и зародыши всяческой твари,
Вскормлены солнцем живым, как в материнской утробе,
В них развивались и свой принимали со временем облик.
Так, покинет едва семиустый влажные нивы
Нил и теченье свое предоставит прежнему руслу,
И под светилом небес разогреется ил нанесенный,
Много животных тогда хлебопашцы находят под каждым
Камнем земли: одних в зачаточном виде, при самом
Миге рожденья, других еще при начале развитья,
Вовсе без членов, и часть единого тела нередко
Жизнь проявляет, а часть остается землей первобытной.
Ибо, коль сырость и жар меж собою смешаются в меру,
Плод зачинают, и все от этих двоих происходит.
Если ж в боренье огонь и вода, — жар влажный, возникнув,
Все создает: для плодов несогласье согласное — в пользу.
Так, лишь потоп миновал, и земля, покрытая тиной,
Зноем небесных лучей насквозь глубоко прогрелась,
Множество всяких пород создала — отчасти вернула
Прежние виды она, сотворила и новые дивы.
И не хотела, но все ж, о огромный Пифон, породила
Также тебя, и для новых людей ты, змей неизвестный,
Ужасом стал: занимал ведь чуть ли не целую гору!
Бог, напрягающий лук,[40] — он ранее это оружье
Против лишь ланей одних направлял да коз быстроногих, —
Тысячу выпустив стрел и почти что колчан свой исчерпав,
Смерти предал его, и яд из ран заструился.
И чтобы славы о том не разрушило время, старея,
Установил он тогда состязанья, священные игры, —
Звали Пифийскими их по имени павшего змея.
Ежели юноша там побеждал в борьбе, или в беге,
Или в ристанье, за то получал он дубовые листья:
Не было лавров еще: прекрасным, длинноволосым,
Феб им виски окружал любою древесною ветвью.
Первая Феба любовь — Пенеева[41] Дафна; послал же
Деву не случай слепой, а гнев Купидона жестокий.
Как-то Делиец,[42] тогда над змеем победою гордый,

Видел, как мальчик свой лук, тетиву натянув, выгибает.
«Что тебе, резвый шалун, с могучим оружием делать? —
Молвил. — Нашим плечам пристала подобная ноша,
Ибо мы можем врага уверенно ранить и зверя;
Гибельным брюхом своим недавно давившего столько
Места тысячью стрел уложили мы тело Пифона.
Будь же доволен и тем, что какие-то нежные страсти
Может твой факел разжечь; не присваивай подвигов наших!»
Сын же Венерин ему: «Пусть лук твой все поражает,
Мой же тебя да пронзит! Насколько тебе уступают
Твари, настолько меня ты все-таки славою ниже».
Молвил и, взмахом крыла скользнув по воздуху, быстрый,
Остановился, слетев, на тенистой твердыне Парнаса.
Две он пернатых достал из стрелоносящего тула,
Разных: одна прогоняет любовь, другая внушает.
Та, что внушает, с крючком, — сверкает концом она острым;
Та, что гонит, — тупа, и свинец у нее под тростинкой.
Эту он в нимфу вонзил, в Пенееву дочь; а другою,
Ранив до мозга костей, уязвил Аполлона, и тотчас
Он полюбил, а она избегает возлюбленной зваться.
Сумраку рада лесов, она веселится добыче,
Взятой с убитых зверей, соревнуясь с безбрачною Фебой.
Схвачены были тесьмой волос ее вольные пряди.
Все домогались ее, — домоганья ей были противны:
И не терпя и не зная мужчин, все бродит по рощам:
Что Гименей, что любовь, что замужество — нет ей заботы.
Часто отец говорил: «Ты, дочь, задолжала мне зятя!»
Часто отец говорил: «Ты внуков мне, дочь, задолжала!»
Но, что ни раз, у нее, ненавистницы факелов брачных,
Алая краска стыда заливала лицо молодое.
Ласково шею отца руками она обнимала.
«Ты мне дозволь навсегда, — говорила, — бесценный родитель,
Девственной быть: эту просьбу отец ведь исполнил Диане».
И покорился отец. Но краса твоя сбыться желаньям
Не позволяет твоим; противится девству наружность.
Феб полюбил, в брак хочет вступить с увиденной девой.

Хочет и полон надежд; но своим же вещаньем обманут.
Так, колосьев лишась, возгорается легкое жниво
Или пылает плетень от факела, если прохожий
Слишком приблизит его иль под самое утро забудет, —
Так обратился и бог весь в пламя, грудь полыхает,
Полон надежд, любовь он питает бесплодную в сердце.
Смотрит: вдоль шеи висят, неубраны, волосы. «Что же, —
Молвит, — коль их причесать?» Он видит: огнями сверкают
Очи — подобие звезд; он рот ее видит, которым
Налюбоваться нельзя; превозносит и пальцы и руки,
Пясти, и выше локтей, и полунагие предплечья,
Думает: «Лучше еще, что сокрыто!» Легкого ветра
Мчится быстрее она, любви не внимает призыву.
«Нимфа, молю, Пенеида, постой, не враг за тобою!
Нимфа, постой! Так лань ото льва и овечка от волка,
Голуби так, крылом трепеща, от орла убегают,
Все — от врага. А меня любовь побуждает к погоне.
Горе! Упасть берегись; не для ран сотворенные стопы
Да не узнают шипов, да не стану я боли причиной!
Место, которым спешишь, неровно; беги, умоляю,
Тише, свой бег задержи, и тише преследовать буду!
Все ж, полюбилась кому, спроси; я не житель нагорный,
Я не пастух; я коров и овец не пасу, огрубелый.
Нет, ты не знаешь сама, горделивая, нет, ты не знаешь,
Прочь от кого ты бежишь, — оттого и бежишь! — мне Дельфийский
Край, Тенед, и Клар, и дворец Патарейский покорны.[43]
Сам мне Юпитер отец. Чрез меня приоткрыто, что было,
Есть и сбудется; мной согласуются песни и струны.
Правда, метка стрела у меня, однако другая
Метче, которая грудь пустую поранила ныне.
Я врачеванье открыл; целителем я именуюсь
В мире, и всех на земле мне трав покорствуют свойства.
Только увы мне! — любви никакая трава не излечит,
И господину не впрок, хоть впрок всем прочим, искусство».
Больше хотел он сказать, но, полная страха, Пенейя

Мчится бегом от него и его неоконченной речи.
Снова была хороша! Обнажил ее прелести ветер,
Сзади одежды ее дуновением встречным трепались,
Воздух игривый назад, разметав, откидывал кудри.
Бег удвоял красоту. И юноше-богу несносно
Нежные речи терять: любовью движим самою,
Шагу прибавил и вот по пятам преследует деву.
Так на пустынных полях собака галльская зайца
Видит: ей ноги — залог добычи, ему же — спасенья.
Вот уж почти нагнала, вот-вот уж надеется в зубы
Взять и в заячий след впилась протянутой мордой.
Он же в сомнении сам, не схвачен ли, но из-под самых
Песьих укусов бежит, от едва не коснувшейся пасти.
Так же дева и бог, — тот страстью, та страхом гонимы.
Все же преследователь, крылами любви подвигаем,
В беге быстрей; отдохнуть не хочет, он к шее беглянки
Чуть не приник и уже в разметенные волосы дышит.
Силы лишившись, она побледнела, ее победило
Быстрое бегство; и так, посмотрев на воды Пенея,
Молвит: «Отец, помоги! Коль могущество есть у потоков,
Лик мой, молю, измени, уничтожь мой погибельный образ!»
Только скончала мольбу, — цепенеют тягостно члены,
Нежная девичья грудь корой окружается тонкой,
Волосы — в зелень листвы превращаются, руки же — в ветви;
Резвая раньше нога становится медленным корнем,
Скрыто листвою лицо, — красота лишь одна остается.
Фебу мила и такой, он, к стволу прикасаясь рукою,
Чувствует: все еще грудь под свежей корою трепещет.
Ветви, как тело, обняв, целует он дерево нежно,
Но поцелуев его избегает и дерево даже.
Бог — ей: «Если моею супругою стать ты не можешь,
Деревом станешь моим, — говорит, — принадлежностью будешь
Вечно, лавр, моих ты волос, и кифары и тула.
Будешь латинских вождей украшеньем, лишь радостный голос
Грянет триумф и узрит Капитолий процессии празднеств,
Августов дом ты будешь беречь, ты стражем вернейшим

Будешь стоять у сеней, тот дуб, что внутри, охраняя.
И как моей головы вечно юн нестриженый волос,
Так же носи на себе свои вечнозеленые листья».
Кончил Пеан[44]. И свои сотворенные только что ветви,
Богу покорствуя, лавр склонил, как будто кивая.
Есть в Гемонии[45] дол: замыкает его по обрывам
Лес. Его Темпе зовут; по нему-то Пеней, вытекая
Прямо из Пиндовых недр,[46] свои воды вспененные катит;
Тяжким паденьем своим в облака он пар собирает
И окропляет дождем моросящим леса вершины.
И утомительный шум оглашает не только окрестность.
Там находится дом, обиталище, недра святые
Этой великой реки; пребывая в скалистой пещере,
Водами правил Пеней и нимфами, жившими в водах.
Единоземные там сначала сбираются реки,
Сами не зная, — отца поздравлять надлежит, утешать ли:
Сперхий, который родит тополя, Энипей беспокойный,
Тут же старик Апидан и Амфрид ленивый с Ээем;
После, другие сошлись, которые в вольном стремленье
К морю выводят свои от блужданий усталые воды.
Инах один не пришел; в глубокой укрывшись пещере,
Множит он воды слезой; несчастный о дочери Ио
Плачет, как будто навек погибла; не знает, в живых ли
Или средь манов[47] она, — но нигде он ее не находит;
Думает, — нет уж нигде, и худшего втайне боится.
Видел Юпитер ее, когда от реки возвращалась
Отчей, и — «Дева, — сказал, — что достойна Юпитера, всех бы
Ложем своим осчастливила ты; заходи же под сени
Рощ глубоких, — и ей он рощ показывал сени, —
Солнце пока высоко посредине стоит небосвода.
Если страшно одной подходить к звериным берлогам,
В рощ тайники ты войдешь, имея защитником бога,
И не из черни богов, но того, кто великий небесный
Скипетр держит в руке и летучие молнии мечет.
О, не беги!» Но бежала она. И пастбища Лерны
Были уже позади, и Лиркея поля с деревами[48]

Тоже; но бог, наведя на землю пространную темень,
Скрыл ее, бег задержал и стыд девичий похитил.
Тут-то Юнона с небес как раз и взглянула на Аргос,
И, подивившись тому, что летучее облако будто
Ночь среди белого дня навлекает, решила, что это
Не от реки, что оно поднялось не от почвенной влаги.
И огляделась кругом: где муж, — затем что проделки
Знала уже за своим попадавшимся часто супругом.
И, как его в небесах не нашла, — «Или я ошибаюсь,
Или обиду терплю!» — сказала, и с горнего неба
Плавно на землю сошла и уйти облакам повелела.
Он же супруги приход предчувствовал и незамедля
Инаха юную дочь превратил в белоснежную телку.
Но и телицей она — хороша. Сатурния хвалит, —
Нехотя, правда, — ее красоту; да чья, да откуда,
Стада какого она, вопрошает, как будто не зная.
Лжет Юпитер, — землей-де она рождена, — чтоб покончить
Эти расспросы. Ее в подарок Сатурния просит.
Что было делать? Любовь жестоко отдать, не отдать же —
Впрямь подозрительно. Стыд — отдать убеждает, любовь же —
Разубеждает его. И быть бы стыду побежденным.
Все ж столь маленький дар, как телку, сестре и супруге
Не подарить, — так ее, пожалуй, сочтет не за телку!
Мужа любовницу взяв, отрешилась богиня не сразу
От спасенья: страшил ее муж, и обманы смущали.
И поручила ее сторожить Аресторову Аргу.[49]
Кругом сотня очей на его голове разместилась.
И, соблюдая черед, лишь по два они отдыхали,
А остальные, служа, стоять продолжали на страже.
Где бы Арг ни стоял, постоянно смотрел он на Ио,
С Ио глаз не спускал, хотя б и спиной повернувшись.
Днем он пастись ей давал, но, только лишь солнце садилось,
В хлев запирал, обвязав недостойной веревкою шею.
Ио древесной листвой и горькой травою питалась,
Вместо постели лежит на земле, не всегда муравою
Устланной, бедная! Пьет из илистых часто потоков.

К Аргу однажды она протянуть с мольбою хотела
Руки, — но не было рук, что к Аргу могли б протянуться;
И, попытавшись пенять, издала лишь коровье мычанье
И ужаснулась сама — испугал ее собственный голос.
Вот побережьем идет, где часто, бывало, резвилась,
К Инаху: но лишь в воде увидела морду с рогами,
Вновь ужаснувшись, она от себя с отвращеньем бежала.
Сестры наяды ее не узнали; не знает сам Инах,
Кто перед ним. А она за отцом и за сестрами бродит,
Трогать себя им дает и ластится к ним, изумленным.
Свежей травы луговой протянул престарелый ей Инах.
Руку лижет она и отцовы целует ладони.
Слез не может сдержать и, последуй слово за ними,
Помощи б стала просить, назвалась бы и горе открыла.
Буква уже — не слова — ногой нанесенная в прахе,
Горестный знак подала об ее изменившемся теле.
«Горе мне!» — Инах-отец вскричал, повисая на шее
И на рогах мычащей в тоске белоснежной телицы.
«О, я несчастный! — вопит. — Не тебя ли везде и повсюду,
Дочь, я искал? О, когда б я тебя не обрел, не нашел бы,
Легче был бы мой плач. Молчишь, на мои ты, немая,
Не отвечаешь слова и только вздыхаешь глубоко
Или мычишь мне в ответ и большего сделать не можешь.
Я же, не знавший, тебе светильники брака готовил:
Первой надеждой моей был зять, второю внучата.
Ныне из стада возьмешь ты мужа, из стада и сына.
Даже и смертью нельзя мне столькие муки покончить!
Бог я — себе на беду, мне замкнуты двери кончины,
И неутешный мой плач продолжится вечные веки».
Так горевали они, но приблизился Арг многоокий,
Дочь оторвал от отца и ее на далекие гонит
Пастбища. Там, в стороне, горы он заметил вершину,
Сел на нее и глядит на четыре стороны света.
Горних правитель не мог таких Форониды[50] несчастий
Долго терпеть; он сына зовет, порожденного светлой
Девой Плеядой;[51] велит, чтоб смерти предал он Арга.

Долго ли крылья к ногам привязать, в могучую руку
Тростку снотворную взять, волоса покрывалом окутать!
Вот из отцова дворца, снарядясь, Юпитера отпрыск
Тотчас на землю скользнул, с головы покрывало откинул,
Также и крылышки снял. Лишь трость одну сохранил он;
Гонит он ею — пастух — уведенных потайно с собою
Коз, по полям без дорог, на тростинках свирели играя.
Голосом новым пленен блюститель Юнонин. «Кто б ни был
Ты, но можешь со мной усесться рядом на камень! —
Арг сказал. — Не найдешь ты места другого, где травы
Были б полезней скоту, а тень пастухам благодатней».
Отпрыск Атланта присел, разговором и долгой беседой
Длящийся день растянул и, на дудках играя скрепленных,
Втайне пытался меж тем одолеть сторожащие очи.
Все-таки борется тот, чтоб неге сна не поддаться;
И хоть уж часть его глаз в дрему погрузилась, другая
Бдит. Обращается он с вопросом, давно ли открыли
Способ, как сделать свирель, — и каким разуменьем открыли?
Бог же: «В холодных горах аркадских, — в ответ начинает, —
Самой известной была меж гамадриад нонакринских[52]
Дева-наяда одна, ее звали те нимфы Сирингой.
Часто спасалась она от сатиров, за нею бегущих,
И от различных богов, что в тенистом лесу обитают
И в плодородных полях. Ортигийскую чтила богиню[53]
Делом и девством она. С пояском, по уставу Дианы,
Взоры могли б обмануть и сойти за Латонию,[54] если б
Не был лук роговым, а у той золотым бы он не был.
Путали всё же их. Раз возвращалась Сиринга с Ликея[55];
И увидал ее Пан и, сосною увенчан колючей,
Молвил такие слова…» — привести лишь слова оставалось
И рассказать, как, отвергнув мольбы, убегала Сиринга,
Как она к тихой реке, к Ладону, поросшему тростьем,
Вдруг подошла; а когда ее бег прегражден был водою,
Образ ее изменить сестриц водяных попросила;
Пану казалось уже, что держит в объятьях Сирингу, —
Но не девический стан, а болотный тростник обнимал он;

Как он вздыхает и как, по тростинкам задвигавшись, ветер
Тоненький звук издает, похожий на жалобный голос;
Как он, новым пленен искусством и сладостью звука,
710 «В этом согласье, — сказал, — навсегда мы останемся вместе!»
Так повелось с той поры, что тростинки неровные, воском
Слеплены между собой, сохраняют той девушки имя.
Только об этом хотел рассказать Киллений,[56] как видит:
Все посомкнулись глаза, все очи от сна позакрылись.
715 Тотчас он голос сдержал и сна глубину укрепляет,
Тростью волшебной своей проводя по очам изнемогшим.
Сонный качался, а бог незаметно мечом серповидным
Арга разит, где сошлись затылок и шея, и тело
Сбрасывает, и скалу неприступную кровью пятнает.
720 Арг, лежишь ты! И свет, в столь многих очах пребывавший,
Ныне погас, и одна всей сотней ночь овладела.
Дочь Сатурна берет их для птицы своей[57] и на перья
Ей полагает, и хвост глазками звездистыми полнит.
И запылала она, отложить не изволила гнева
725 И, наводящую дрожь Эринию в очи и душу
Девы Аргосской наслав и в грудь слепые стремленья
Ей поселив, погнала ее в страхе по кругу земному.
Ты оставался, о Нил, последним в ее испытаньях.
Только достигла его, согнула колена у брега
730 Самого и улеглась, запрокинув упругую выю.
Может лишь кверху смотреть и к звездам глаза подымает:
Стоном и плачем своим, мычаньем, с рыданьями схожим,
Муки молила прервать, Юпитеру жалуясь будто.
Он же, супругу свою обнимая вкруг шеи руками,
735 Просит, чтоб та наконец прекратила возмездие: «Страхи
Впредь отложи, — говорит, — никогда тебе дева не будет
Поводом муки», — и сам к стигийским взывает болотам.
И лишь смягчилась она, та прежний свой вид принимает,
740 И пропадают рога, и кружок уменьшается глаза,
Снова сжимается рот, возвращаются плечи и руки,
И исчезает, на пять ногтей разделившись, копыто.

В ней ничего уже нет от коровы, — одна белизна лишь.
Службой довольствуясь двух своих ног, выпрямляется нимфа.
Только боится еще говорить, — подобно телице,
Не замычать бы, — и речь пресеченную пробует робко.
Ныне богиня она[58] величайшая нильского люда.
Верят: родился Эпаф наконец у нее, восприявшей
Семя Юпитера: он в городах почитался, во храмах
Вместе с отцом. По летам и способностям ровнею был с ним
Солнца дитя Фаэтон. Когда он однажды, зазнавшись,
Не пожелал уступить, похваляясь родителем Фебом,
Спеси не снес Инахид. «Во всем, — говорит, — ты, безумный,
Матери веришь, надмен, но в отце ты своем обманулся!»
Побагровел Фаэтон, но стыдом удержал раздраженье
И поспешил передать Климене Эпафа попреки.
«Скорбь тем больше, о мать, — говорит, — что, свободный и гордый,
Я перед ним промолчал; мне стыд — оскорбленье такое, —
Слово он вымолвить смог, но дать не смог я отпора!
Ты же, коль истинно я сотворен от небесного корня,
Знак даруй мне, что род мой таков; приобщи меня к небу!»
Молвил он так и обвил материнскую шею руками,
И головою своей и Меропсовой, сестриным браком
Клялся, моля, чтоб отца дала ему верные знаки.
Трудно сказать, почему Климена — мольбой Фаэтона
Тронута или гневясь, что взвели на нее обвиненье, —
Обе руки к небесам подняла и, взирая на солнце, —
«Светом его, — говорит, — чьи лучи столь ярко сверкают,
Сын, клянусь тебе им, который нас видит и слышит, —
Этим, которого зришь, вот этим, что правит вселенной,
Фебом рожден ты! Коль ложь говорю, себя лицезреть мне
Пусть воспретит, и очам сей день да будет последним!
Труд недолгий тебе — увидеть отцовских пенатов:
Там, где восход, его дом граничит с нашей землею.
Если стремишься душой, отправляйся и будешь им признан».
Тотчас веселый вскочил, услыхав материнское слово,
И уж готов Фаэтон охватить все небо мечтою.

Вот эфиопов своих и живущих под пламенем солнца
Индов прошел он и вмиг к отцовскому прибыл восходу.

КНИГА ВТОРАЯ

Фаэтон (1—339); Гелиады (340—366); Кикн (367—380); Солнце (381—400); Каллисто (401—530); Коронида, дочери Кекропа (531—632); Окироннея (633—675); Батт (676—707); Аглавра (708—832); Европа (833—875).

Солнца высокий дворец подымался на стройных колоннах,
Золотом ясным сверкал и огню подражавшим пиропом[59].
Поверху был он покрыт глянцевитой слоновою костью,
Створки двойные дверей серебряным блеском сияли.
Материал превзошел мастерство, — затем, что явил там
Мулькибер[60] глади морей, охватившие поясом земли;
Круг земной показал и над кругом нависшее небо.
Боги морские в волнах: меж ними Тритон громогласный,
Непостоянный Протей, Эгеон, который сжимает
Мощным объятьем своим китов непомерные спины.
Также Дорида с ее дочерьми; те плавали в море,
Эти, присев на утес, сушили свой волос зеленый,
Этих же рыбы везли; лицом не тождественны были
И не различны они, как быть полагается сестрам.
А на земле — города, и люди, и рощи, и звери,
Реки и нимфы на ней и разные сельские боги.
Сверху покрыты они подобьем блестящего неба.
Знаков небесных по шесть на правых дверях и на левых.
Только дорогой крутой пришел туда отпрыск Климены,
В дом лишь вошел он отца, в чьем не был отцовстве уверен,
Тотчас направил шаги к лицу родителя прямо
И в отдалении стал; не в силах был вынести света
Ближе. Сидел перед ним, пурпурной окутан одеждой,
Феб на престоле своем, сиявшем игрою смарагдов.
С правой и левой руки там Дни стояли, за ними
Месяцы, Годы, Века и Часы в расстояниях равных;
И молодая Весна, венком цветущим венчана;
Голое Лето за ней в повязке из спелых колосьев;

Тут же стояла, грязна от раздавленных гроздьев, и Осень;
И ледяная Зима с взлохмаченным волосом белым.
Вот приведенного в страх новизною предметов с престола
Юношу Феб увидал все зрящими в мире очами.
«В путь для чего ты пошел? Что в этом дворце тебе надо,
Чадо мое, Фаэтон? Тебя ли отвергну?» — промолвил.
Тот отвечает: «О свет всеобщий великого мира,
Феб, мой отец, если так называть себя мне позволяешь,
Если Климена вины не скрывает под образом ложным!
Дай мне, родитель, залог, по которому верить могли бы,
Что порожден я тобой, — отреши заблужденья от духа».
Так он сказал. И отец лучи отложил, что сияли
Вкруг головы у него, велел пододвинуться ближе
И, обнимая его, — «Не заслужено, — молвит, — тобою,
Чтобы отверг я тебя, — Климена правду сказала.
А чтоб сомненье твое уменьшилось, дара любого
Ныне проси, и я дам. Свидетель — болото,[61] которым
Клясться боги должны, очам незнакомое нашим».
Только он кончил, а тот колесницу отцовскую просит,
Права лишь день управлять крылоногими в небе конями.
И пожалел тут отец, что поклялся; три и четыре
Раза качнул головой лучезарной, сказав: «Безрассудна
Речь моя после твоей. О, если б мог я обратно
Взять обещанья! Поверь: лишь в этом тебе отказал бы.
Я не советую, сын. Опасны твои пожеланья.
Много спросил. Фаэтон! Такие дары не подходят,
Сын мой, ни силам твоим, ни вовсе младенческим годам.
Смертного рок у тебя, а желанье твое не для смертных.
Больше того, что богам касаться дозволено горним,
Ты домогаешься. Пусть о себе мнит каждый, как хочет,
Все же не может никто устоять на оси пламеносной,
Кроме меня одного. И даже правитель Олимпа
Сам, что перуны стремит ужасной десницей, не станет
Сей колесницы вести. А кто же Юпитера больше?
Крут поначалу подъем; поутру освеженные кони
Всходят едва по нему. Наивысшая точка — на полдне.

Видеть оттуда моря и земли порой самому мне
Боязно, грудь и моя, замирая, от страха трепещет.
Путь — по наклону к концу, и надо уверенно править.
Даже Тетида,[62] меня внизу в свои воды приемля,
Страхом объята всегда, как бы я не низринулся в пропасть.
Вспомни, что небо еще, постоянным влекомо вращеньем,
Вышние звезды стремит и движением крутит их быстрым.
Мчусь я навстречу, светил не покорствуя общему ходу;
Наперекор я один выезжаю стремительным кругом.
Вообрази, что я дам колесницу. И что же? Ты смог бы
Полюсов ход одолеть, не отброшенный быстрою осью?
Или, быть может, в душе ты думаешь: есть там дубровы,
Грады бессмертных богов и дарами богатые храмы?
Нет — препятствия там да звериные встретишь обличья![63]
Чтоб направленье держать, никакой не отвлечься ошибкой,
Должен ты там пролетать, где Тельца круторогого минешь,
Лук гемонийский[64] и пасть свирепого Льва; Скорпиона,
Грозные лапы свои охватом согнувшего длинным,
И по другой стороне — клешнями грозящего Рака.
Четвероногих сдержать, огнем возбужденных, который
В их пламенеет груди и ноздрями и пастями пышет,
Будет тебе нелегко. И меня еле терпят, едва лишь
Нрав распалится крутой, и противится поводу выя.
Ты же, — чтоб только не стать мне даятелем смертного дара, —
Поберегись, — не поздно еще, — измени пожеланье!
Правда, поверив тому, что родился от нашей ты крови,
Верных залогов ты ждешь? Мой страх тебе — верным залогом!
То, что отец я, — отца доказует боязнь. Погляди же
Мне ты в лицо. О, когда б ты мог погрузить свои очи
В грудь мне и там, в глубине отцовскую видеть тревогу!
И, наконец, посмотри, что есть в изобильной вселенной:
Вот, из стольких ее — земных, морских и небесных —
Благ попроси что-нибудь, — ни в чем не получишь отказа.
От одного воздержись, — что казнью должно называться,
Честью же — нет. Фаэтон, не дара, но казни ты просишь!
Шею зачем мне обвил, неопытный, нежным объятьем?

Не сомневайся во мне — я клялся стигийскою влагой, —
Все, что желаешь, отдам. Но только желай поразумней».
Он увещанья скончал. Но тот отвергает советы;
Столь же настойчив, горит желаньем владеть колесницей.
Юношу все ж наконец, по возможности медля, родитель
К той колеснице ведет высокой — изделью Вулкана.
Ось золотая была, золотое и дышло, был обод
Вкруг колеса золотой, а спицы серебряны были.
Упряжь украсив коней, хризолиты и ряд самоцветов
Разных бросали лучи, отражая сияние Феба.
Духом отважный, стоит Фаэтон изумленный, на диво
Смотрит; но вечно бодра, уже на румяном востоке
Створы багряных дверей раскрывает Аврора и сени,
Полные роз. Бегут перед ней все звезды, и строй их
Люцифер[65] гонит; небес покидает он стражу последним.
Видя его и узрев, что земли и мир заалели
И что рога у луны на исходе, истаяли будто,
Быстрым Орам[66] Титан приказал запрягать, — и богини
Резвые вмиг исполняют приказ; изрыгающих пламя,
Сытых амброзией, вслед из высоких небесных конюшен
Четвероногих ведут, надевают им звонкие узды.
Сына лицо между тем покрывает родитель священным
Снадобьем, чтобы терпеть могло оно жгучее пламя;
Кудри лучами ему увенчал и, в предчувствии горя,
Сильно смущенный, не раз вздохнул тяжело и промолвил:
«Ежели можешь ты внять хоть этим отцовским советам,
Сын, берегись погонять и крепче натягивай вожжи.
Кони и сами бегут, удерживать трудно их волю.
Не соблазняйся путем, по пяти поясам вознесенным.
В небе прорезана вкось широким изгибом дорога,
Трех поясов широтой она ограничена: полюс
Южный минует она и Аркт,[67] аквилонам соседний.
Этой дороги держись: следы от колес ты заметишь.
Чтоб одинаковый жар и к земле доносился и к небу,
Не опускайся и вверх, в эфир, не стреми колесницу.
Если выше помчишь — сожжешь небесные домы,

Ниже — земли сожжешь. Невредим серединой проедешь.
Не уклонился бы ты направо, к Змею витому,
Не увлекло б колесо и налево, где Жертвенник плоский.
Путь между ними держи. В остальном доверяю фортуне, —
Пусть помогает тебе и советует лучше, чем сам ты!
Я говорю, а уже рубежи на брегах гесперийских[68]
Влажная тронула ночь; нельзя нам долее медлить.
Требуют нас. Уже мрак убежал и Заря засветилась.
Вожжи рукою схвати! А коль можешь еще передумать,
Не колесницей моей, а советом воспользуйся лучше.
Время еще не ушло, и стоишь ты на почве не зыбкой,
Не в колеснице, тебе не к добру, по незнанью, желанной.
Лучше спокойно смотри на свет, что я землям дарую».
Юноша телом своим колесницу легкую занял,
Встал в нее, и вожжей руками коснулся в восторге,
Счастлив, и благодарит отца, несогласного сердцем.
Вот крылатых меж тем, Пироя, Эоя, Флегона,
Этона также, солнца коней, пламеносное ржанье
Воздух наполнило. Бьют ногами засов; и как только,
Внука не зная судьбы, открыла ворота Тетида
И обнаружился вдруг простор необъятного мира,
Быстро помчались они и, воздух ногами взрывая,
Пересекают, несясь, облака и, на крыльях поднявшись,
Опережают уже рождаемых тучами Эвров.
Легок, однако, был груз, не могли ощутить его кони
Солнца; была лишена и упряжь обычного веса, —
Коль недостаточен груз, и суда крутобокие валки,
Легкие слишком, они на ходу неустойчивы в море, —
Так без нагрузки своей надлежащей прядает в воздух
Иль низвергается вглубь, как будто пуста, колесница.
Только почуяла то, понесла четверня, покидая
Вечный накатанный путь, бежит уж не в прежнем порядке.
В страхе он сам. И не знает, куда врученные дернуть
Вожжи и где ему путь. А и знал бы, не мог бы управить!
Тут в лучах огневых впервые согрелись Трионы,[69]
К морю, запретному им, прикоснуться пытаясь напрасно.

Змий, что из всех помещен к морозному полюсу ближе,
Вялый от стужи, дотоль никому не внушавший боязни,
Разгорячась, приобрел от жары небывалую ярость.
Помнят: и ты, Волопас, смущенный, бросился в бегство,
Хоть и медлителен был и своею задержан повозкой!
Только несчастный узрел Фаэтон с небесной вершины
Там, глубоко-глубоко, под ним распростертые земли.
Он побледнел, у него задрожали от страха колени
И темнотою глаза от толикого света покрылись.
Он уж хотел бы коней никогда не касаться отцовских,
Он уж жалеет, что род свой узнал, что уважена просьба,
Зваться желая скорей хоть Меропсовым[70] сыном; несется,
Как под Бореем корабль, когда обессилевший кормчий
Править уже перестал, на богов и обеты надеясь!
Как ему быть? За спиной уж немало неба осталось,
Больше еще впереди. Расстоянья в уме измеряет;
То он на запад глядит в пределы, которых коснуться
Не суждено, а порой на восток, обернувшись, взирает;
Оцепенел, не поймет, как быть, вожжей не бросает, —
Но и не в силах коней удержать и имен их не знает.
В трепете видит: по всем небесам рассеяны чуда
Разнообразные; зрит огромных подобья животных.
Место на небе есть, где дугой Скорпион изгибает
Клешни свои, хвостом и кривым двусторонним объятьем
Вширь растянулся и вдаль, через два простираясь созвездья.
Мальчик едва лишь его, от испарины черного яда
Влажного, жалом кривым готового ранить, увидел, —
Похолодел и, без чувств от ужаса, выронил вожжи.
А как упали они и, ослабнув, крупов коснулись,
Кони, не зная преград, без препятствий уже, через воздух
Краем неведомым мчат, куда их порыв увлекает,
И без управы несут; задевают недвижные звезды,
Мча в поднебесной выси, стремят без пути колесницу, —
То в высоту заберут, то, крутым спускаясь наклоном,
В более близком уже от земли пространстве несутся.
И в удивленье Луна, что мчатся братнины кони

Ниже, чем кони ее; и дымят облака, занимаясь.
Полымя землю уже на высотах ее охватило;
Щели, рассевшись, дает и сохнет, лишенная соков,
Почва, седеют луга, с листвою пылают деревья;
Нивы на горе себе доставляют пламени пищу.
Мало беды! Города с крепостями великие гибнут
Вместе с народами их, обращают в пепел пожары
Целые страны. Леса огнем полыхают и горы:
Тавр Киликийский в огне, и Тмол с Афоном, и Эта;[71]
Ныне сухая, дотоль ключами обильная Ида,[72]
Дев приют — Геликон и Гем, еще не Эагров.[73]
Вот двойным уж огнем пылает огромная Этна;
И двухголовый Парнас, и Кинт, и Эрикс, и Офрис;[74]
Снега навек лишены — Родопа, Мимант и Микала,[75]
Диндима и Киферон, для действ священных рожденный.[76]
Скифии стужа ее не впрок; Кавказ полыхает.
Также и Осса, и Пинд, и Олимп, что выше обоих.
Альп поднебесных гряда и носители туч Апеннины.
Тут увидал Фаэтон со всех сторон запылавший
Мир и, не в силах уже стерпеть столь великого жара,
Как из глубокой печи горячий вдыхает устами
Воздух и чует: под ним раскалилась уже колесница.
Пепла, взлетающих искр уже выносить он не в силах,
Он задыхается, весь горячим окутанный дымом.
Где он и мчится куда — не знает, мраком покрытый
Черным, как смоль, уносим крылатых коней произволом.
Верят, что будто тогда от крови, к поверхности тела
Хлынувшей, приобрели черноту эфиопов народы.
Ливия[77] стала суха, — вся зноем похищена влага.
Волосы пораспустив, тут стали оплакивать нимфы
Воды ключей и озер. Беотия кличет Диркею[78];
Аргос — Данаеву дочь; Эфира — Пиренские воды.[79]
Рекам, которых брега отстоят друг от друга далеко,
Тоже опасность грозит: средь вод Танаис задымился
И престарелый Пеней, а там и Каик тевфранийский,[80]
И быстроводный Исмен, и с ним Эриманф, что в Псофиде;[81]

Ксанф, обреченный опять запылать, и Ликорм желтоватый,[82]
Также игривый Меандр с обратно текущей струею,[83]
И мигдонийский Мелант, и Эврот, что у Тенара льется;[84]
Вот загорелся Евфрат вавилонский, Оронт[85] загорелся,
Истр и Фасис, и Ганг, Фермодонт с падением быстрым;[86]
Вот закипает Алфей, берега Сперхея пылают;[87]
В Таге-реке,[88] от огня растопившись, золото льется,
И постоянно брега меонийские[89] славивших песней
Птиц опалило речных посредине теченья Каистра[90].
Нил на край света бежал, перепуган, и голову спрятал,
Так и доныне она все скрыта, а семь его устий
В знойном лежали песке — семь полых долин без потоков.
Жребий сушит один исмарийский Гебр со Стримоном,[91]
Также и Родан, и Рен, и Пад — гесперийские реки,[92]
Тибр, которому власть над целым обещана миром!
Трещины почва дала, и в Тартар проник через щели
Свет и подземных царя с супругою в ужас приводит.
Море сжимается. Вот уж песчаная ныне равнина,
Где было море вчера; покрытые раньше водою,
Горы встают и число Киклад[93] раскиданных множат.
Рыбы бегут в глубину, и гнутым дугою дельфинам
Боязно вынестись вверх из воды в привычный им воздух;
И бездыханны плывут на спине по поверхности моря
Туши тюленьи. Сам, говорят, Нерей и Дорида[94]
Вместе с своими детьми в нагревшихся скрылись пещерах.
Трижды Нептун из воды, с лицом исказившимся, руки
Смелость имел протянуть, — и трижды не выдержал зноя.
Вот благодатная мать Земля, окруженная морем,
Влагой теснима его и сжатыми всюду ключами,
Скрывшими токи свои в материнские темные недра,
Только по шею лицо показав, истомленное жаждой,
Лоб заслонила рукой, потом, великою дрожью
Все потрясая, чуть-чуть осела сама, и пониже
Стала, чем раньше, и так с пересохшей сказала гортанью:
«Если так должно и стóю того, — что ж медлят перуны,

Бог высочайший, твои? Коль должна от огня я погибнуть,
Пусть от огня твоего я погибну и муки избегну!
Вот уж насилу я рот для этой мольбы раскрываю, —
Жар запирает уста, — мои волосы, видишь, сгорели!
Сколько в глазах моих искр и сколько их рядом с устами!
Так одаряешь меня за мое плодородье, такую
Честь воздаешь — за то, что ранения острого плуга
И бороны я терплю, что круглый год я в работе.
И что скотине листву, плоды же — нежнейшую пищу —
Роду людскому даю, а вам приношу — фимиамы?
Если погибели я заслужила, то чем заслужили
Воды ее или брат? Ему врученные роком,
Что ж убывают моря и от неба все дальше отходят?
Если жалостью ты ни ко мне, ни к брату не тронут,
К небу хоть милостив будь своему: взгляни ты на оба
Полюса — оба в дыму. А если огонь повредит их,
Рухнут и ваши дома. Атлант и тот в затрудненье,
Еле уже на плечах наклоненных держит он небо,
Если погибнут моря, и земля, и неба палаты,
В древний мы Хаос опять замешаемся. То, что осталось,
Вырви, молю, из огня, позаботься о благе вселенной!»
Так сказала Земля; но уже выносить она жара
Дольше не в силах была, ни больше сказать, и втянула
Голову снова в себя, в глубины, ближайшие к манам.
А всемогущий отец, призвав во свидетели вышних
И самого, кто вручил колесницу, — что, если не будет
Помощи, все пропадет, — смущен, на вершину Олимпа
Всходит, откуда на ширь земную он тучи наводит,
И подвигает грома, и стремительно молнии мечет.
Но не имел он тогда облаков, чтоб на землю навесть их,
Он не имел и дождей, которые пролил бы с неба.
Он возгремел, и Перун, от правого пущенный уха,
Кинул в возницу, и вмиг у него колесницу и душу
Отнял зараз, укротив неистовым пламенем пламя.
В ужасе кони, прыжком в обратную сторону прянув,
Сбросили с шеи ярмо и вожжей раскидали обрывки.

Здесь лежат удила, а здесь, оторвавшись от дышла,
Ось, а в другой стороне — колес разбившихся спицы;
Разметены широко колесницы раздробленной части.
А Фаэтон, чьи огонь похищает златистые кудри,
В бездну стремится и, путь по воздуху длинный свершая,
Мчится, подобно тому, как звезда из прозрачного неба
Падает или, верней, упадающей может казаться.
На обороте земли, от отчизны далеко, великий
Принял его Эридан[95] и дымящийся лик омывает.
Руки наяд-гесперид огнем триязычным сожженный
Прах в могилу кладут и камень стихом означают:
«Здесь погребен Фаэтон, колесницы отцовской возница:
Пусть ее не сдержал, но, дерзнув на великое, пал он».
И отвернулся отец несчастный, горько рыдая:
Светлое скрыл он лицо; и, ежели верить рассказу,
День, говорят, без солнца прошел: пожары — вселенной
Свет доставляли: была и от бедствия некая польза.
Мать же Климена, сказав все то, что в стольких несчастьях
Должно ей было сказать, в одеяниях скорбных, безумна,
Грудь терзая свою, весь круг земной исходила;
Все бездыханную плоть повсюду искала и кости, —
Кости нашла наконец на чуждом прибрежье, в могиле.
Тут же припала к земле и прочтенное в мраморе имя
Жаркой слезой облила и ласкала открытою грудью.
Дочери Солнца[96] о нем не меньше рыдают, и слезы —
Тщетный умершему дар — несут, и, в грудь ударяя, —
Горестных жалоб хоть он и не слышит уже, — Фаэтона
Кличут и ночью и днем, и простершись лежат у могилы.
Слив рог с рогом, Луна становилась четырежды полной.
Раз, как обычно, — затем что вошло гореванье в обычай, —
Вместе вопили они; Фаэтуза меж них, из сестер всех
Старшая, наземь прилечь пожелав, простонала, что ноги
Окоченели ее; приблизиться к ней попыталась
Белая Лампетиэ́, но была вдруг удержана корнем.
Третья волосы рвать уже собиралась руками —
Листья стала срывать. Печалится эта, что держит

Ствол ее ноги, а та — что становятся руки ветвями.
У изумленной меж тем кора охватила и лоно
И постепенно живот, и грудь, и плечи, и руки
Вяжет — и только уста, зовущие мать, выступают.
Что же несчастная мать? Что может она? — неуемно
Ходит туда и сюда и, пока еще можно, целует!
Этого мало: тела из стволов пытается вырвать,
Юные ветви дерев ломает она, и оттуда,
Словно из раны, сочась, кровавые капают капли.
«Мать, молю, пожалей!» — которая ранена, кличет.
«Мать, молю! — в деревьях тела терзаются наши…
Поздно — прощай!» — и кора покрывает последнее слово.
Вот уже слезы текут; источась, на молоденьких ветках
Стынет под солнцем янтарь, который прозрачной рекою
Принят и катится вдаль в украшение женам латинским.
Кикн, Сфенела дитя, при этом присутствовал чуде.
Он материнской с тобой был кровью связан, но ближе
Был он по духу тебе, Фаэтон. Оставивши царство, —
Ибо в Лигурии[97] он великими градами правил, —
Берег зеленый реки Эридана своей он печальной
Жалобой полнил и лес, приумноженный сестрами друга.
Вдруг стал голос мужской утончаться, белые перья
Волосы кроют ему, и длинная вдруг протянулась
Шея; стянула ему перепонка багряные пальцы,
Крылья одели бока, на устах клюв вырос неострый.
Новой стал птицею Кикн. Небесам и Юпитеру лебедь
Не доверяет, огня не забыв — их кары неправой, —
Ищет прудов и широких озер и, огонь ненавидя,
Предпочитает в воде, враждебной пламени, плавать.
Темен родитель меж тем Фаэтона, лишенный обычной
Славы венца, как в час, когда он отходит от мира;
Возненавидел он свет, и себя, и день лучезарный,
Скорби душой предался, и к скорби гнева добавил,
И отказался служить вселенной. «Довольно, — сказал он, —
Жребий от века был мой беспокоен, мне жаль совершенных
Мною вседневных трудов, — что нет ни конца им, ни чести.

Пусть, кто хочет, другой светоносную мчит колесницу!
Если же нет никого, и в бессилье признаются боги,
Правит пусть сам! — чтобы он, попробовав наших поводьев,
Молний огни отложил, что детей у отцов отнимают.
Тут он узнает, всю мощь коней испытав огненогих,
Что незаслуженно пал не умевший управиться с ними».
Но говорящего так обступают немедленно Феба
Все божества и его умоляют, прося, чтобы тени
Не наводил он на мир. Юпитер же молнии мечет
И, добавляя угроз, подтверждает державно их просьбы.
И, обезумевших, впряг, еще трепещущих страхом,
Феб жеребцов, батогом и бичом свирепствуя рьяно.
Бьет, свирепствует, их обвиняя в погибели сына.
А всемогущий отец обходит огромные стены
Неба; тщательно стал проверять: от огня расшатавшись,
Не обвалилось ли что. Но, уверясь, что прежнюю крепость
Все сохранило, он взор направил на землю и беды
Смертных. Но более всех о своей он Аркадии полон
Нежных забот. Родники и еще не дерзавшие литься
Реки спешит возродить и почве траву возвращает,
Листья — деревьям, велит лесам зеленеть пострадавшим.
Часто бывает он там, и вот поражен нонакринской
Девушкой,[98] встреченной им, — и огонь разгорается в жилах.
Не занималась она чесанием шерсти, для тканей.
Разнообразить своей не умела прически. Одежду
Пряжка держала на ней, а волосы — белая повязь.
Легкий дротик она иль лук с собою носила;
Воином Фебы была. Не ходила вовек по Меналу
Дева, Диане милей Перекрестной[99]. Но всё — мимолетно!
Уж половину пути миновало высокое солнце, —
Девушка в рощу вошла, что порублена век не бывала.
Скинула тотчас колчан с плеча и лук отложила
Гибкий, сама же легла на травою покрытую землю;
Так, свой расписанный тул подложив под затылок, дремала.
Только Юпитер узрел отдыхавшую, вовсе без стража, —
«Эту проделку жена не узнает, наверно, — промолвил, —

Если ж узнает, о пусть! Это ль ругани женской не стоит?»
Вмиг одеяние он и лицо принимает Дианы
И говорит: «Не одна ль ты из спутниц моих? На которых,
Дева, охотилась ты перевалах?» И дева с лужайки
Встала. «Привет, — говорит, — божеству, что в моем рассужденье
Больше Юпитера, пусть хоть услышит!» Смеется Юпитер,
Рад, что себе самому предпочтен, и дарит поцелуи;
Он неумерен, не так другие целуются девы.
В лес направлялась какой, рассказать готовую деву
Стиснул в объятиях он, — и себя объявил не безвинно.
Сопротивляясь, она — насколько женщина может —
С ним вступает в борьбу, но Юпитера дева какая
(Если бы видела ты, о Сатурния, ты бы смягчилась!)
Может осилить и кто из богов? Победитель Юпитер
Взмыл в небеса. Опостылел ей лес — достоверный свидетель, —
Чуть не забыла она, удаляясь оттуда, колчан свой
Взять и стрелы и лук, на ветку повешенный рядом.
Вот с хороводом своим Диктинна[100] по высям Менала
Шествуя, диких зверей удачным горда убиеньем,
Видит ее и, увидев, зовет; но в испуге сначала
Та убегает, боясь, не Юпитер ли вновь перед нею.
Но, увидав, что идут с ней вместе и нимфы, решила
Дева, что козней тут нет, и к легкой толпе их примкнула.
Как преступленья — увы! — лицом не выказать трудно!
Очи едва подняла, пошла, но не рядом с богиней,
Как то бывало: теперь из целого строя не первой.
Молча идет и свое выдает поруганье румянцем.
Девой когда б не была, могла бы по тысяче знаков
Видеть Диана вину; говорят, и увидели нимфы!
Лунные в небе рога возникали уж кругом девятым,
Как, от охоты устав, истомленная пламенем брата,
В свежую рощу придя, откуда струился с журчаньем
Светлый ручей и катил волною песок перетертый,
Местность одобрив, к воде стопою она прикоснулась
И, похваливши ручей, — «Далеко, — говорит, — соглядатай
Всякий; нагие тела струею бегущей омоем!»

Бросилась краска в лицо Паррасийки[101]. Все сняли одежды,
Медлит она лишь одна. Со смутившейся платье снимают.
Только лишь спало оно, наготою был грех обнаружен.
Остолбеневшей, закрыть пытавшейся лоно руками, —
«Прочь, — сказала, — иди, родника не скверни мне святого!» —
Кинтия и отойти от своих приказала ей спутниц.
Знала об этом давно супруга Отца-Громовержца,
Но до удобнейших дней отлагала жестокую кару.
Медлить не стало причин: уж мальчик Аркад — он Юноне
Больше всего досаждал — у любовницы мужа родился.
Вот, обратившись туда свирепым взором и сердцем, —
«Этого лишь одного не хватало, беспутница, — молвит, —
Чтобы ты плод принесла и обиду сделала явной
Родами, всем показав моего Юпитера мерзость.
Это тебе не пройдет. Погоди! Отниму я наружность,
Вид твой, каким моему ты, наглая, нравишься мужу!»
Молвила так и, схватив за волосы, тотчас же наземь
Кинула навзничь ее. Простирала молившая руки, —
Начали руки ее вдруг черной щетиниться шерстью,
Кисти скривились, персты изогнулись в звериные когти,
Стали ногами служить; Юпитеру милое прежде,
Обезобразилось вдруг лицо растянувшейся пастью.
И чтоб душу его молений слова не смягчали,
Речь у нее отняла, — и злой угрожающий голос,
Ужаса полный, у ней из хриплой несется гортани.
Прежний, однако же, дух остался в медведице новой,
Стоном всечасным она проявлять продолжает страданья,
Руки, какие ни есть, простирает к звездам небесным,
И хоть не может сказать, но коварство Юпитера помнит.
Ах, сколь часто, в лесу не решаясь остаться пустынном,
В поле, когда-то своем, и около дома блуждала!
Ах, сколь часто меж скал, гонимая лаем собачьим,
Видя охотников, прочь — охотница — в страхе бежала!
Часто, при виде зверей, позабыв, чем стала, скрывалась
Или, медведицей быв, пугалась при встрече с медведем.
И устрашалась волков, хоть родимый отец был меж ними.

Вот, Ликаонии[102] сын, не знавшее матери чадо,
Вдруг появился Аркад, почти что пятнадцатилетний.
Диких гоняя зверей, ища поудобней урочищ,
Только успел окружить он лес Эриманфский сетями,
Как натолкнулся на мать: та стояла, Аркада увидев,
Будто узнала его. Но он убежал и недвижных
Глаз в упор на него устремленных, — не зная, в чем дело, —
Перепугался и ей, подойти пожелавшей поближе,
Сам смертоносную в грудь вонзить стрелу собирался.
Не допустил Всемогущий и их с преступлением вместе
Поднял, пространством пустым на быстром ветре промчал их,
На небе их поместил и создал два рядом созвездья.[103]
Тут закипела вдвойне Юнона, увидев, как блещет
В небе блудница; к седой спускается в море Тетиде
И к Океану-отцу, — и вышние боги нередко
Их почитали, — и так начала о причине прихода:
«Знать вы хотите, зачем из небесного дома спустилась
К вам царица богов? Уж небом другая владеет!
Пусть я солгу; коль в ночи, обнимающей мир темнотою,
В самой небесной выси, удостоенных только что чести
Вы не увидите звезд — мою язву! — в месте, где полюс
Крайним вокруг обведен кратчайшим поясом неба.
Истинно, кто оскорбить не захочет Юнону? Обидев,
Кто затрепещет? Одна что с ними могу я поделать?
Много же сделала я! Обширно могущество наше!
Я запретила ей быть человеком, — богинею стала!
Так-то дано мне виновных карать, вот как я могуча!
Лучше пусть прежний свой вид обретет и звериную морду
Скинет! Так сделал уж раз он с той Форонидой аргивской!
И почему он, прогнав Юнону, не ввел ее в дом свой,
В спальню мою не вселил и не выбрал в зятья Ликаона?
Если трогает вас небреженье к питомице вашей,
Эту Медведицу вы от пучины морской удалите
И в небеса за разврат попавшие звезды гоните, —
Не погружаться чтоб ей, распутнице, в чистое море!»
И согласились морей божества. И Сатурния быстро

В ясное небо свое на расписанных взмыла павлинах,
Тех павлинах, чей хвост расписан зеницами Арга.
То же случилось с тобой, ворон речивый, недавно
Бывший белым, — твои вдруг черными сделались крылья,
Ибо когда-то был серебряной, снега белее,
Птицей, сравниться бы мог с голубями, что вовсе без пятен,
Не уступал ты гусям, что некогда голосом бодрым
Нам Капитолий спасли,[104] ни лебедю, другу потоков.
Сгублен он был языком. Язык — причина, что белым
Раньше был цвет, а теперь обратным белому стал он.
Не было краше во всей Гемонийской стране Корониды,
Что из Лариссы. Ее любил ты, Дельфиец,[105] покамест
Чистой была иль, верней, незамеченной. Только измену
Фебов ворон узнал и, тайный девы проступок
Намереваясь раскрыть, доносчиком неумолимым
Тотчас отправился в путь к господину. Крыльями машет,
Рядом летит — чтобы все разузнать — говоруха-ворона
Про путешествия цель услыхав, — «Ты, безгодный, предпринял
Путь, — говорит, — моего языка не отвергни вещаний.
Чем я была, что теперь, погляди и суди, по заслуге ль.
Сам убедишься ты, как повредила мне верность. Когда-то
Был Эрихтоний,[106] — дитя, не имевшее матери вовсе, —
Девой Палладою в кош из актейской[107] заперт лозины.
Спрятав, девушкам трем, от двойного Кекропа[108] рожденным
Строгий приказ отдала ее не подсматривать тайны.
Легкою скрыта листвой, смотрела с густого я вяза,
Что они делали. Две без обмана хранили корзину, —
Герса с Пандросой. Сестер нерешительных кличет Аглавра,
Третья, — рукою узлы разрешает, и видят: в корзине
То ли ребенок лежит, то ль некий дракон распростерся.
Я обо всем доношу богине. За эту услугу
Мне благодарность была: я лишилась защиты Минервы.
Ниже теперь я и птицы ночной. В моем наказанье
Всем пернатым пример, чтобы голосом бед не искали.
А между тем не по воле моей — я ее не просила —

Та домогалась меня! Спроси у самой хоть Паллады.
Пусть даже в гневе она, отрицать и в гневе не станет
Ибо в Фокейской земле Короней знаменитый отцом мне —
Дело известное — был; возрастала я царственной девой.
Не презирай; женихам была я богатым желанна.
Да погубила краса: когда я по берегу шагом
Медленным шла, как всегда, по глади гуляя песчаной,
Вдруг увидал меня бог морской и зажегся. И так как
Тратил лишь время, моля понапрасну умильною речью,
Силой преследовать стал. Бегу, покинула плотный
Берег и в рыхлом песке утомляю себя понапрасну.
Тут и богов и людей я зову, но не слышит из смертных
Криков моих ни один, — лишь тронута девою Дева[109].
Помощь она подала. Простирала руки я к небу —
Руки начали вдруг чернеть оперением легким.
Силилась скинуть я с плеч одежду, — она превратилась
В перья, их корни уже проникали глубоко под кожу.
В голую грудь ударять ладонями я попыталась, —
Но ни ладоней уже, ни голой не было груди.
Дальше бежала, — песок уже ног не задерживал боле,
Я подымалась с земли; по воздуху вскоре на крыльях
Мчусь. Невинной дана я спутницей деве Минерве.
Только какой в том прок, когда, из-за черного дела
Птицею став, моей Никтимена наследует чести?
О преступлении том, которое знает весь Лесбос,
Разве же ты не слыхал? Никтимена на ложе отцово
Как покусилась? Она, — хоть и птица,[110] — вину сознавая,
Взоров и света бежит и стыд скрывает во мраке,
И прогоняют ее все птицы в просторе небесном».
Так говорившей, — «Тебе эти россказни, — ворон промолвил, —
Пусть обернутся во зло. Презираю пустые вещанья».
И не прервал он пути и потом рассказал господину,
Как он лежащей застал с гемонийцем младым Кориниду.
Лишь услыхал о беде, обронил свои лавры влюбленный;
И одновременно лик божества, и плектр, и румянец —
Сразу все сникло. Душа закипела, набухшая гневом,

Тотчас хватает свое он оружье и гнутой дугою
Лук напрягает и грудь, что часто сливалась, бывало,
С грудью его, он своей неизбежной пронзает стрелою.
Ранена, стон издала Коронида и, вынув железо,
Белые члены свои залила почерневшею кровью,
Молвив, — «Могла я, о Феб, от тебя испытать наказанья, —
Только сначала родить: теперь умираем мы — двое»,
Только успела сказать — и жизнь свою вылила с кровью.
Тело ее без души погрузилось в холод смертельный.
Поздно влюбленный, увы, пожалел о возмездье жестоком,
Возненавидел себя, — что послушал, что так распалился, —
Птицу — вестницу зла, — чрез которую грех и причину
Должен был горя узнать; ненавидит не меньше он лук свой,
Руку свою и оружье в руке — безрассудные стрелы.
Мертвой он ласки дарит и поздним стараньем стремится
Рок победить и вотще применяет свое врачеванье.
Но лишь попыток тщету увидал и костер возведенный,
Понял, что скоро в огне последнем сгорит ее тело,
Стоны стал издавать, — ведь лик небесный слезами
Не подобает влажнить! — исторгал их в печали из глуби
Сердца: так точно мычит корова, когда перед нею
Молот ее сосунку, занесенный от правого уха,
Бьет еще впалый висок и дробит его громким ударом.
После того как излил он на грудь благовония скорби
И, обнимая ее, свой долг не по долгу исполнил,
Феб не вынес того, что семя его обратится
В пепел сейчас, из огня и утробы родительской сына
Вырвал он и перенес к кентавру Хирону в пещеру;
Ворону он воспретил, ожидавшему тщетно награды
За откровенную речь, меж белых птиц оставаться.
А между тем полузверь питомцу божественной крови
Рад был, он чести такой веселился, хоть труд был и тяжек.
Рыжая как-то пришла, с волосами, покрывшими плечи,
Дочь Кентавра; ее когда-то нимфа Харикло
Около быстрой реки родила и имя дала ей
Окиронея. Она постиженьем отцова искусства

Не удовольствовалась: прорицала грядущего тайны.
Так, исступленье едва пророчицы дух охватило,
Только зажглось божеством в груди у нее затаенным,
Лишь увидала дитя, — «Для мира всего благодатный,
Мальчик,[111] расти! — говорит, — обязаны будут нередко
Смертные жизнью тебе: возвращать ты души им сможешь.
К негодованью богов, однажды, на это решишься —
Чудо тебе повторить воспрепятствует молния деда.
Станешь ты — ранее бог — бескровным прахом, и богом
Станешь из праха опять, два раза твой рок обновится.
Ты же, отец дорогой, бессмертный, и самым рожденьем[112]
Веки веков пребывать назначенный, так сотворенный,
Смерти возжаждешь своей, как будешь ты кровью терзаться
Грозной змеи, восприняв тот яд пораненным телом.
Из вековечного тут божества тебя сделают снова
Смертным, и нить разрешат триединые сестры-богини».
Не досказала судеб, исторгла глубокий из груди
Вздох, и слезы из глаз у нее заструились потоком.
«Рок изменяет меня, — говорит, — не позволено больше
Высказать мне, и уже замыкается речи способность.
Что мне в искусстве моем, которое только бессмертных
Гнев навлекло на меня: предпочла бы не знать о грядущем!
Вот уж как будто мое исчезает лицо человечье,
Вот уж вкусна мне трава, бежать по широкому полю
Тянет. В родную мне плоть, в кобылицу уже превращаюсь.
Но почему же я вся? — двуóбразен мой ведь родитель!»
Так говорила, но часть последнюю жалобы трудно
Было уже разобрать; слова становились неясны.
Вскоре уж то не слова и не ржанье кобылы как будто,
Но подражанье коню: через время недолгое точно
Ржанье она издает и руками пó лугу движет.
Сходятся пальцы тогда, вот пять ногтей уж связало
Резвое рогом сплошным копыто; длина возрастает
Шеи ее и лица; часть бóльшая длинного платья
Стала хвостом; волоса, как лежали свободно вдоль шеи,
Гривою вправо легли. Соответственно вдруг изменились

Голос ее и лицо. И по чуду ей дали прозванье.[113]
Помощи, плача, молил Филирой от бога зачатый,
Тщетно, Делиец, твоей. Не мог ты пресечь повелений,
Что от Юпитера шли, а если пресечь их и мог бы,
Не был ты там: обитал ты в Элиде, в лугах мессенийских.
Было то время, когда тебя покрывала пастушья
Шкура; посох держал деревенский ты левой рукою,
Правой рукою — свирель из семи неравных тростинок.
Память преданье хранит, что, пока ты был занят любовью
И услаждался игрой, стада без охраны к пилийским
Вышли полям. Увидал их как раз Атлантовой Майи
Сын,[114] их ловко увел и в дебри спрятал надежно.
Кражи никто не узнал, — один лишь известный в деревне
Некий старик; по соседству его величали все Баттом.
У богача у Нелея[115] стерег он луга травяные
И перелески и пас табуны кобылиц благородных.
Струсил тут бог и, рукой отведя его ласково, молвит:
«Кто бы ты ни был, дружок, — коль кто случайно про стадо
Спрашивать станет, скажи; не видал, и за то благодарность
Будет тебе: получай шелковистую эту корову».
Дал. На подарок в ответ тот молвит: «Приятель, спокойно
В путь отправляйся. Скорей проболтается камень вот этот».
И указал он рукою на камень. А сын Громовержца
Будто ушел и — назад, изменив лишь голос и облик, —
«Ты, селянин, не видал, не прошло ли вот этой межою
Стадо коров? — говорит. — Помоги, не замалчивай кражи.
Дам я за это тебе корову с быком ее вместе».
А старина, увидав, что награда удвоена: «Стадо
Там под горой», — отвечал. И было оно под горою.
Внук же Атланта, смеясь, — «Мне меня предаешь, вероломный?
Мне предаешь ты меня?» — говорит, — и коварное сердце
В твердый кремень обратил, что доныне зовется «Указчик».
Древний позор тот лежит на камне, ни в чем не повинном.
Ровным полетом меж тем поднялся́ кадуцея[116] носитель
И, пролетая поля мунихийские,[117] милый Минерве

Край озирал и сады просвещенного видел Ликея[118].
В день тот самый как раз, по обряду, невинные девы
Над головами несли к торжественным храмам Паллады
Чистые, должные ей, в венчанных корзинах святыни.
И, возвращавшихся, бог увидел крылатый и прямо
Не продолжает пути, но кру́гом его загибает.
Как, потроха увидав, из птиц быстрейшая — коршун,
Робкий еще, между тем как жрецы вкруг жертвы толпятся,
Кругом летает и сам отлетать не решается дальше,
Жадный, парит над своей добычей, махая крылами, —
Резвый Киллений тогда над актейской твердынею[119] так же
Ниже и ниже летал и кружил все на том же пространстве.
Сколь блистательней всех меж звезд небесных сверкает
Люцифер, ярче ж тебя золотая, о Люцифер, Феба,
Так меж девушек всех намного пленительней Герса
Шла, и всего торжества, и подружек своих украшенье.
Ошеломлен красотою Юпитеров сын, повисает
В небе он, весь раскален, как ядро, что пращей балеарской[120]
Брошено, кверху летит, своим раскаляется лётом
И обретает лишь там в нем дотоле не бывшее пламя.
Путь изменил он, летит он на землю, небо оставив,
И не скрывает себя: до того в красоте он уверен.
Но хоть надежна она, помогает ей все же стараньем.
Волосы гладит свои, позаботился, чтобы хламида
Ладно спадала, чтоб край златотканый получше виднелся.
В руку он стройную трость, что сон наводит и гонит,
Взял и до блеска натер крылатых сандалий подошвы.
Были три спальни в дому, в отдаленных покоях; отделка
В них — черепаха и кость; из спален ты в правой, Пандроса,
В левой — Аглавра жила, занимала среднюю — Герса.
Жившая в левой из трех заметила первой, что входит
В дом Меркурий, спросить решилась об имени бога
И для чего он пришел. «Атланта я внук и Плейоны, —
Он ей в ответ говорит. — Я тот, кто по шири воздушной
Носит веленья отца, родителем сам мне Юпитер.
С чем я пришел, не солгу: сестре будь верною только,

И для детей ты моих назовешься по матери теткой.
Я ради Герсы пришел. К влюбленному будь благосклонна.
Взглядом таким же глядит на него Аглавра, которым
Только что тайны она блюла белокурой Минервы.
И за услугу себе толику немалую злата
Требует. А между тем покинуть дом понуждает.
Грозно богиня войны покосилась тогда на Аглавру
И из могучей груди, бессмертная, вздох испустила:
Мало того что грудь, но эгида[121] и та у богини
Заколыхалась; в ней мысль промелькнула: как тайну Аглавра
Дерзкой раскрыла рукой, как рожденный без матери отпрыск —
Бога Лемносца[122] — она увидала, нарушив условье;
Что угодит божеству, угодит и сестре, что богатой
Станет, то золото взяв, которого требует жадно.
Тотчас же к Зависти в дом отправляется, грязной от яда
Черного. Было ее в глубокой теснине жилище
Скрыто, без солнца совсем, никаким не доступное ветрам.
Чуждое вовсе огня, постоянно обильное мраком.
Грозная дева войны в то место пришла и близ дома
Остановилась, вовнутрь входить не считает пристойным.
Остроконечьем копья ударяет в дверь запертую;
Вот сотрясенная дверь отворилась. Увидела дева
Евшую мясо гадюк — из пороков собственных пищу —
Зависть и взоры свои отвратила от мерзостной. Та же
Встала лениво с земли и, змей полусъеденных бросив,
Вон из пещеры своей выступает медлительным шагом.
Лишь увидала красу богини самой и оружья,
Стон издала, и лицо отразило глубокие вздохи.
Бледность в лице разлита, худоба истощила все тело,
Прямо не смотрят глаза, чернеются зубы гнилые;
Желчь в груди у нее, и ядом язык ее облит.
Смеха не знает, — подчас лишь смеется, увидев страданья.
Нет ей и сна, оттого что ее возбуждают заботы.
Видит немилые ей достиженья людские и, видя,
Чахнет; мучит других, сама одновременно мучась, —
Пытка сама для себя. Хоть богине она ненавистна,

Кратко Тритония[123] все ж с такой обратилась к ней речью:
«Ядом своим отрави одну из рожденных Кекропом, —
Ту, что Аглаврой зовут. Так должно». И, молвив, тотчас же
Прочь унеслась, от земли ударом копья оттолкнувшись.
Искоса Зависть меж тем глядела, как та уносилась,
И поворчала слегка, предстоящим успехом богини
Огорчена. Но тут же взяла суковатую палку
Сплошь в колючих шипах. Вот, в черные тучи одета,
Всюду, куда ни придет, поля изобильные губит,
Травы сжигает лугов, обрывает растений верхушки,
Мерзким дыханьем своим дома, города и народы —
Все оскверняет, и вот Тритонии видит твердыню,
Что и умами цветет, и богатством, и праздничным миром.
Плакать готова как раз оттого, что не над чем плакать.
Но лишь вступила она к Кекроповой дочери в спальню,
Стала приказ выполнять: ей грудь заскорузлой рукою
Трогает, сердце ее наполняет крючками колючек.
Сок вредоносный в нее вдыхает старуха и черный
Яд разливает в костях и в самые легкие брызжет.
А чтоб вниманье ее не блуждало по разным предметам,
Тут же родную сестру глазам она девушки кажет,
Брак счастливый ее и в пленительном образе — бога, —
Все представляя крупней. Раздраженная этим виденьем,
Тайной казнится тоской, стеная, и ночью томится
Дева, томится и днем, несчастная трижды, в недуге
Медленном тает, как лед, разъедаемый действием солнца.
Так же пылает она от счастья удачливой Герсы,
Как разведенный костер, коль трав подбросить колючих:
Пламени он не дает, но медленным жаром сгорает.
Часто желала она умереть, чтобы только не видеть,
Часто — признаться отцу суровому, как в преступленье.
Села она наконец на пороге, готовая бога
Прочь отогнать; на его выражения ласки, на просьбы
И на нежнейшую речь, — «Перестань! — отвечала Аглавра, —
Не отстранивши тебя, я с этого места не сдвинусь».
Быстрый Киллений в ответ: «Согласимся на этом условье».

Тотчас резную дверь отмыкает он тростью. У ней же
Члены, какие, садясь, мы сгибаем, едва попыталась
Встать, недвижимыми вдруг от тяжести стали нежданной.
Все же она во весь рост подняться силится прямо.
Но сочлененье колен цепенеет; всю холод объемлет.
Падает, жилы ее бледнеют, лишенные крови.
Как — нецелимый недуг — широко расходится в теле
Рак, к пораженным частям прибавляя здоровые части, —
Так постепенно и хлад смертельный, в грудь проникая,
Жизни пути у нее навеки замкнул и дыханье.
И не пыталась она говорить, а когда б попыталась,
Голосу путь был закрыт. Уж камень охватывал горло;
И затвердело лицо; изваяньем сидела бескровным.
Сам был и камень не бел: ее мысли его потемнили.
Только лишь казнь за слова и помысл неблагочестивый
Внук Атлантов свершил, и земли, что имя Паллады
Носят, покинул он, мчит, распустив свои крылья, на небо.
Вдруг его кличет отец и, любви не открывши причину, —
«Сын мой! Верный моих, — говорит, — исполнитель велений!
Ныне не медли. Скользни ты, резвый, обычным полетом
Вниз и скорее в предел, который на мать[124] твою слева
Смотрит, который зовут его поселенцы Сидонским,
Мчись; там увидишь: вдали на горной лужайке пасется
Царское стадо, — его поверни ты к морскому прибрежью!» —
Молвил, и тотчас же скот с горы, как велено, согнан;
На побережье бежит, где великого дочь государя
В обществе тирских девиц привычку имела резвиться.
Между собой не дружа́т и всегда уживаются плохо
Вместе величье и страсть. Покинув скипетр тяжелый,
Вот сам отец и правитель богов, что держит десницей
Троезубчатый огонь и мир кивком потрясает,
Вдруг обличье быка принимает и, в стадо вмешавшись,
Звучно мычит и по нежной траве гуляет, красуясь.
Цвет его — белый, что снег, которого не попирала
Твердой подошвой нога и Австр не растапливал мокрый.
Шея вся в мышцах тугих; от плеч свисает подгрудок;

Малы крутые рога; но поспорил бы ты, что рукою
Точены, блещут они ясней самоцветов чистейших.
Вовсе не грозно чело; и взор его глаз не ужасен;
Мирным выглядит бык; Агенорова дочь[125] в изумленье,
Что до того он красив, что бодаться ничуть не намерен.
Но хоть и кроток он был, прикоснуться сначала боялась.
Вскоре к нему подошла и к морде цветы протянула.
Счастлив влюбленный; он ей, в ожидании нег вожделенных,
Руки целует. С трудом, ах! с трудом отложив остальное.
Рéзвится он и в зеленой траве веселится, играя,
Или на желтый песок белоснежным боком ложится.
Страх понемногу прошел, — уже он и грудь подставляет
Ласкам девичьей руки; рога убирать дозволяет
В свежие вязи цветов. И дева-царевна решилась:
На спину села быка, не зная, кого попирает.
Бог же помалу с земли и с песчаного берега сходит
И уж лукавой ногой наступает на ближние волны.
Дальше идет — и уже добычу несет по пучине
Морем открытым; она вся в страхе; глядит, уносима,
На покидаемый берег. Рог правою держит, о спину
Левой рукой оперлась. Трепещут от ветра одежды.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Кадм (1—137); Актеон (138—252); Семела (253—315); Тиресий (№ 316—338); Эхо (339—401); Нарцисс (402—510); Пенфей (511—576); Вакх, тирренские пираты (557—700); гибель Пенфея (701—733).

Бог уже сбросить успел быка обманчивый облик,
Снова себя объявил и в диктейских полях[126] поселился.
А удрученный отец искать пропавшую Кадму
Повелевает, грозя, что изгнаньем он будет наказан,
Если ее не найдет, — благочестный отец и преступный!
Землю всю исходив, — но Юпитера кто же уловки
Выследит? — став беглецом, от отчизны и гнева отцова
Кадм уклоняет свой путь и, молясь, у оракула Феба
Просит совета: в какой, вопрошает, земле поселиться?
«Встретишь в пустынных полях, — ему Феб отвечает, — корову,
Что не знавала ярма, не влачила и гнутого плуга, —
Вот и водитель тебе; где ляжет она на лужайку,
Стены ты там возведи и названье «Беотия»[127] дай им».
Выйдя, едва он успел из Кастальской пещеры[128] спуститься,
Видит: тихо бредет, без сторожа вовсе, телица,
И никаких у нее на шее нет признаков рабства.
Вот за телицею вслед идет он медлительным шагом
И указавшего путь прославляет в молчании Феба.
Вот миновали они и Кефис, и равнины Паноны;[129]
Остановилась она и, красуясь рогами крутыми,
Лоб к небесам подняла и мычаньем наполнила воздух.
Тут, обернувшись назад на спутников, шедших за нею,
Наземь корова легла, привалясь на траву молодую, —
И благодарствует Кадм и, припав, чужую целует
Землю; приветствует он незнакомые горы и долы.
К жертве готовиться стал Юпитеру. Для возлиянья
Слугам воды принести он велит из источников быстрых.
Лес там древний стоял, никогда топором не сеченный,

В нем пещера была, заросшая ивой и тростьем;
Камни в приземистый свод сходились, оттуда обильно
Струи стекали воды; в пещере же, скрытый глубоко,
Марсов змей[130] обитал, золотым примечательный гребнем.
Очи сверкают огнем; все тело ядом набухло,
Три дрожат языка; в три ряда поставлены зубы.
В эту дубраву едва тирийские выходцы шагом,
Благ не сулящим, вошли, и, опущенной в воды живые,
Урны послышался звон, протянул главу из пещеры
Иссиня-черный дракон и ужасное издал шипенье.
Урны скользнули из рук, и сразу покинула тело
Кровь, внезапная дрожь потрясает людей пораженных.
Змей, извиваясь, меж тем чешуями блестящие кольца
Крутит, единым прыжком изгибаясь в огромные дуги,
И подымается вверх, на полтела и более, в воздух,
И уж глядит с высоты, с небесным равняется змеем,
Кем, — если видеть его во весь рост, — размежеваны Аркты.
Вмиг финикийцев, — одни приготовились было сразиться,
Эти — бежать, тем страх был и бою и бегству помехой, —
Змей упреждает. Одних убивает укусом иль душит,
Тех умерщвляет, дохнув смертельной заразою яда.
Солнце, высоко взойдя, сократило тем временем тени;
Кадм изумлен, отчего так медлят товарищи долго;
Их начинает искать. Со льва ободранной шкурой
Был он покрыт, копьем, что блистало железом, и дротом
Вооружен; но была превосходней оружья отвага.
Только он в рощу вошел и тела увидал, а над ними
Змея, сгубившего их, врага, огромного телом, —
Как он кровавым лизал языком их плачевные раны, —
«Иль за вашу я смерть отомщу, вернейшие други,
Или за вами пойду!» — сказал и, промолвив, десницей
Глыбу огромную взял и с великою силою кинул.
Стены ударом его, высокими башнями горды,
Были бы сокрушены, — но остался змей невредимым.
Он, — чешуей защищен, как некой кольчугой, и черной
Кожей, — могучий удар отразил их толстым покровом.

Но отразить чешуей не мог он дрота, который
В длинный хребет его, там, где изгиб серединный, вонзился,
В теле застрял, и в нутро целиком погрузилось железо.
Змей, от боли бесясь, головою назад обернулся
И, на раненье взглянув, закусил вонзенное древко;
Но хоть его раскачал во все стороны с силой огромной,
Вырвал едва из спины: в костях застрял наконечник.
Ярость обычная в нем сильнее вскипела от раны
Свежей, вздулось от жил налившихся змеево горло,
Мутная пена бежит из пасти его зачумленной,
Под чешуей громыхает земля; он черным дыханьем
Зева стигийского вкруг заражает отравленный воздух.
Сам же, спиралью круги образуя громадных размеров,
Вьется, то длинным бревном поднимается вверх головою,
То, устремясь, как поток, наводненный дождями, он бурно
Мчится вперед и леса сокрушает встречные грудью.
Сын Агеноров слегка отступает; он шкурою львиной
Змея напор задержал, наступающий зев не пускает,
Прямо держа острие. И бесится тот и железо
Твердое тщетно язвит и ломает о лезвие зубы.
И начинала уж кровь из его ядовитого нёба
Капать, стала кругом окроплять мураву молодую.
Рана все ж легкой была, ибо он отступал от удара,
Шею свою отвращал уязвленную, пятясь, железу
В тело засесть не давал и глубже мешал погрузиться.
Агенорид наконец ему лезвие в глотку направил
И, напирая, всадил; а отход отступавшему дубом
Был прегражден, и пронзил одновременно дуб он и шею.
Согнут был дерева ствол паденьем чудовища; стоны
Дуб издавал, хвоста оконечностью нижней бичуем.
И победитель глядит, как велик его враг побежденный.
Голос послышался вдруг; сказать было трудно откуда,
Только послышался вдруг: «Что, Агенора сын, созерцаешь
Змея убитого? Сам ты тоже окажешься змеем!»[131]
Долго он бледный стоит, и краску утратив, и мысли
Сразу, волосы вверх от холодного ужаса встали.

Вот соскользнула, к нему попечительна, с высей воздушных
Дева Паллада; велит положить в разрыхленную землю
Зубы змеиные — сев грядущих людских поколений.
Он же борозды вскрыл, послушный, на плуг налегая,
Всыпал, как велено, в них человечьи зародыши — зубы.
Вскоре, — поверить нельзя! — вдруг стали двигаться комья,
Из борозды острие копья показалось сначала,
Вскоре прикрытья голов, колебля раскрашенный конус,
Плечи и груди потом, оружье несущие руки
Вдруг возникают, — растет мужей щитоносное племя!
В праздник, в театре, когда опускается занавес,[132] так же
Изображенья встают; сначала покажутся лица,
А постепенно и стан; вот явлены плавным движеньем,
Видны уже целиком и ногами на край наступают.
Новым врагом устрашен, уж Кадм за оружье схватился.
«Нет, не берись, — из толпы, едва сотворенной землею,
Вдруг восклицает один, — не мешайся в гражданские войны!»
И одного из своих же братьев, землею рожденных,
Ранит вплотную мечом, сам издали дротом повержен.
Тот, кто его умертвил, однако же, дольше немногим
Прожил, — выдохнул вмиг полученный только что воздух;
Взяв с них пример, толпа вся буйствует, и погибают —
Чтобы друг друга разить — на мгновенье рожденные братья!
Так молодежь, которой судьба век краткий судила,
В окровавленную мать ударялась трепещущей грудью,
Пять лишь осталось в живых. Из этих один был Эхи́он.
Бросил оружие он по внушенью Тритонии наземь,
Мира у братьев своих попросил и мир даровал им.
В деле помощников пять имел сидонский пришелец,
Город когда возводил по приказу вещавшего Феба.
Фивы стояли уже. Ты, Кадм, счастливым казаться
Мог бы в изгнанье. Тебе Марс тестем, а тещей Венера[133]
Стали. Прибавьте еще от подобной супруги потомство.
Столько сынов, дочерей и внуков, — сокровищ бесценных,
Юношей, взрослых уже! Но дня последнего должно
Ждать человеку всегда, и не может быть назван счастливым

Раньше кончины никто, до обрядов по нем погребальных.
Первым внук тебе, Кадм, средь столь великого счастья,
Горя причиною стал, — рога на лбу появились
Чуждые, также и вы, псы, сытые кровью хозяйской!
Полюбопытствовав, в том ты судьбы лишь вину обнаружишь,
Не преступленье его; ибо в чем преступленье ошибки?
Было же то на горе́, зверей осквернённой убийством.
Полдень как раз наступил, сокращающий тени предметов;
Солнце стояло равно от обоих далеко пределов;
И гиантийский юнец без дороги бродящих по логам
Голосом ласковым звал соучастников псовой охоты.
«Влажны тенета, друзья, и железо от крови звериной!
День благодатный судьбой нам дарован. Лишь только Аврора
Новый рассвет приведет, в колеснице взмывая багряной,
Сызнова дело начнем. Теперь в расстоянии равном
Феб от обеих земель, и от зноя растрескалось поле.
Так завершайте труды, унесите плетеные сети!»
Те исполняют приказ и работу свою прерывают.
Был там дол, что сосной и острым порос кипарисом,
Звался Гаргафией он, — подпоясанной роща Дианы;
В самой его глубине скрывалась лесная пещера, —
Не достиженье искусств, но в ней подражала искусству
Дивно природа сама. Из турфов легких и пемзы,
Там находимой, она возвела этот свод первозданный,
Справа рокочет ручей, неглубокий, с прозрачной водою,
Свежей травой окаймлен по просторным краям водоема.
Там-то богиня лесов, утомясь от охоты, обычно
Девичье тело свое обливала текучею влагой.
Только в пещеру пришла, одной отдала она нимфе —
Оруженосице — дрот и колчан с ненатянутым луком;
Руки другая из них подставила снятой одежде,
Две разували ее; а, всех искусней, Крокала,
Дочь Исмена-реки, ей волосы, павшие вольно,
Вновь собирала узлом, — хоть сама волоса распустила.
Черпают воду меж тем Нефела, Гиала, Ранида,
Псека, Фиала и льют в большие и емкие урны.

Стала себя обливать привычной Титания[134] влагой,
Кадма же внук между тем, труды вполовину покончив,
Шагом бесцельным бредя по ему незнакомой дубраве,
В кущу богини пришел: так судьбы его направляли.
Только вошел он под свод орошенной ручьями пещеры,
Нимфы, лишь их увидал мужчина, — как были нагими, —
Бить себя начали в грудь и своим неожиданным воплем
Рощу наполнили всю и, кругом столпившись, Диану
Телом прикрыли своим. Однако же ростом богиня
Выше сопутниц была и меж них главой выступала, —
Отсвет бывает какой у облака, если, ударив,
Солнце окрасит его, какой у Авроры румянец, —
Цвет лица у застигнутой был без одежды Дианы.
Но хоть и тесно кругом ее нимф толпа обступала,
Боком, однако ж, она обратилась, назад отвернула
Лик; хотела сперва схватить свои быстрые стрелы,
Но почерпнула воды, что была под рукой, и мужское
Ею лицо обдала и, кропя ему влагой возмездья
Кудри, добавила так, предрекая грядущее горе:
«Ныне рассказывай, как ты меня без покрова увидел,
Ежели сможешь о том рассказать!» Ему окропила
Лоб и рога придала живущего долго оленя;[135]
Шею вширь раздала, ушей заострила верхушки,
Кисти в копыта ему превратила, а руки — в оленьи
Длинные ноги, всего же покрыла пятнистою шерстью,
В нем возбудила и страх. Убегает герой Автоноин[136]
И удивляется сам своему столь резвому бегу.
Только, однако, себя в отраженье с рогами увидел, —
«Горе мне!» — молвить хотел, но его не послушался голос.
Он застонал. Был голос как стон. Не его покатились
Слезы из глаз. Лишь одна оставалась душа его прежней!
Что было делать? Домой возвратиться под царскую кровлю?
Или скрываться в лесу? Там стыд, тут ужас помехой.
Он колебался, а псы увидали: Меламп поначалу,
Чуткий с ним Ихнобат знак первый подали лаем, —
Кносский пес Ихнобат и Меламп породы спартанской, —

Тотчас бросаются все, быстрей, чем порывистый ветер;
Памфаг, за ним Орибаз и Доркей, из Аркадии трое,
С ними силач Неброфон, и лютый с Лалапою Тéрон,
Резвостью ценный Петрел и чутьем своим ценная Агра,
Также свирепый Гилей, недавно пораненным вепрем,
Напа, от волка приплод; за стадами идущая следом
Пемена; Гарпия, двух имея щенят в провожатых,
И сикионский Ладон, у которого втянуто брюхо,
Тигрид с Алкеей, Дромад, Канакея еще и Стиктея,
И белоснежный Левкон и Áсбол с черною шерстью,
И многосильный Лакон и Аэлл, отличавшийся бегом:
Фей и рядом, резва, с ее кипрским братом Ликиска,
И посредине, на лбу отмеченный белою меткой,
Гарпал и с ним Меланей; косматая с ними Лахнея,
Также два пса, чья лаконянка мать, отец же — диктеец;
Лабр с Артиодом, потом с пронзительным лаем Гилактор, —
Долго других исчислять. До добычи жадная стая
Через утесы, скалы́ и камней недоступные глыбы,
Путь хоть и труден, пути хоть и нет, преследуют зверя.
Он же бежит по местам, где сам преследовал часто,
Сам от своих же бежит прислужников! Крикнуть хотел он:
«Я Актеон! Своего признайте во мне господина!» —
Выразить мысли — нет слов. Оглашается лаяньем воздух.
Первый из псов Меланхет ему спину терзает, за ним же
Тотчас и Теридамад; висит на плече Орезитроф.
Позже пустились они, но дорогу себе сократили;
Мча по горе напрямик. И пока господина держали,
Стая другая собралась и в тело зубы вонзает.
Нет уже места для ран. Несчастный стонет, и если
Не человеческий крик издает — то все ж не олений,
Жалобным воплем своим наполняя знакомые горы.
И на колени склонясь, как будто моля о пощаде,
Молча вращает лицо, простирая как будто бы руки.
Порском обычным меж тем натравляют злобную стаю
Спутники; им невдомек, Актеона всё ищут глазами,
Наперебой, будто нет его там, Актеона все кличут.

Вот обернулся на зов, они же скорбят, что не с ними
Он и не хочет следить за успешной поимкой добычи.
Здесь не присутствовать он бы желал, но присутствует; видеть,
Но не испытывать сам расправы своих же свирепых
Псов. Обступили кругом и, в тело зубами вгрызаясь,
В клочья хозяина рвут под обманным обличьем оленя.
И лишь когда его жизнь от ран столь многих пресеклась,
Молвят, — насыщен был гнев колчан носящей Дианы.
Разно судили о том; одни почитали богиню
Слишком жестокой, а кто и хвалил, почитая достойным
Девственной так поступать; по-своему все были правы.
Лишь Громовержца жена не столько ее защищала
Или винила ее, сколь рада была, что постигла
Дом Агеноров беда, и гнев свой с соперницы Тирской[137]
Перенесла на весь род. Но тут подоспела причина
Новая горести ей: тяжела от Юпитера стала
Дева Семела[138]. Дала языку она волю браниться.
«Много ли бранью своей я достигла? — сказала богиня, —
Надо настичь мне ее самое! — коль не тщетно Юноной
Я превеликой зовусь — погублю, если я самоцветный
Скиптр достойна держать, коль царствую, коль Громовержцу
Я и сестра и жена, — сестра-то наверно! Но срама,
Думаю, ей уж не скрыть: мой позор не замедлит сказаться.
Плод понесла! Одного не хватало! Открыто во чреве
Носит свой грех и матерью стать от Юпитера только
Хочет, что мне-то едва удалось, — в красу свою верит!
Ну так обманется в ней! Будь я не Сатурния, если
Деву любезник ее не потопит в хлябях стигийских!»
Молвив, с престола встает и, покрытая облаком бурым,
Входит в Семелин покой; облака удалила не раньше,
Нежель старушечий вид приняла, виски посребрила,
Коже глубоких морщин придала и дрожащей походкой
С телом согбенным пошла; старушечьим сделала голос,
Ей Бероеей представ, эпидаврской кормилицей девы;
Речь завела, и лишь только дошли, пробеседовав долго,
И до Юпитера, вздох издала и молвит: «Желала б,

Чтоб он Юпитером был, да всего опасаюсь; иные,
Имя присвоив богов, проникали в стыдливые спальни.
Мало Юпитером быть. Пускай он докажет любовью,
Что он Юпитер и впрямь. Проси: чтобы, в полном величье
Как он Юноной бывал в небесах обнимаем, таким же
Пусть обнимает тебя, предпослав и величия знаки».
Речью Юнона такой дочь Кадма, не знавшую сути,
Учит, — и просит уж та, чтобы дар он любой обещал ей.
Бог, — «Выбирай! — говорит, — ни в чем не получишь отказа,
И чтоб уверилась ты, божеств подземного Стикса
Я призываю, — а он и богам божество и острастка».
Рада своей же беде, от милого горя не чая,
Дерзостно так говорит Семела: «Каким обнимает
В небе Юнона тебя, приступая к союзу Венеры,
Мне ты отдайся таким!» Хотел он уста говорящей
Сжать, но успело уже торопливое вылететь слово.
Он застонал, но вернуть нельзя уже было желанья,
Ни заклинаний его; потому-то печальнейшим с неба
Высшего бог снизошел, за ликом своим увлекая,
Скопища туч грозовых, к ним добавил он молнии, ливни,
С ветром в смешенье, и гром, и Перун, неизбежно разящий.
Сколько возможно, свою он уменьшить пытается силу:
Вооружился огнем не тем, которым Тифея[139]
Сбросил сторукого: в том уж слишком лютости много!
Легче молния есть, которой десница Циклопов
Меньше огня придала, свирепости меньше и гнева;
Боги «оружьем вторым» ее называют; лишь с ней он
Входит в Агенора дом; но тело земное небесных
Бурь снести не могло и сгорело от брачного дара,
А недоношенный плод, из лона матери вырван,
Был в отцовскую вшит — коль это достойно доверья —
Ляжку, и должный там срок, как во чреве у матери, пробыл.
Ино тайно с пелен воспитывать стала младенца, —
Тетка, Семелы сестра: потом нисейские[140] нимфы
Приняли и молоком, в пещерах укрыв, воспоили.
Волей судьбы на земле так дело и шло, безопасно

Скрыта была колыбель два раза рожденного Вакха.
Нектаром, — память гласит, — меж тем Юпитер упившись,
Бремя забот отложив, со своею Юноною праздной
Тешился вольно и ей говорил: «Наслаждение ваше,
Женское, слаще того, что нам, мужам, достается».
Та отрицает. И вот захотели, чтоб мудрый Тиресий
Высказал мненье свое: он любовь знал и ту и другую.
Ибо в зеленом лесу однажды он тело огромных
Совокупившихся змей поразил ударом дубины.
И из мужчины вдруг став — удивительно! — женщиной, целых
Семь так прожил он лет; на восьмое же, снова увидев
Змей тех самых, сказал: «Коль ваши так мощны укусы,
Что пострадавший от них превращается в новую форму,
Вас я опять поражу!» И лишь их он ударил, как прежний
Вид возвращен был ему, и принял он образ врожденный.
Этот Тиресий, судьей привлеченный к шутливому спору,
Дал подтвержденье словам Юпитера. Дочь же Сатурна,
Как говорят, огорчилась сильней, чем стоило дело,
И наказала судью — очей нескончаемой ночью.
А всемогущий отец, — затем, что свершенного богом
Не уничтожит и бог, — ему за лишение света
Ведать грядущее дал, облегчив наказанье почетом.
После, прославлен молвой широко, в городах аонийских
Безукоризненно он отвечал на вопросы народу.
Опыт доверья и слов пророческих первой случилось
Лириопее узнать голубой, которую обнял
Гибким теченьем Кефис и, замкнув ее в воды, насилье
Ей учинил. Понесла красавица и разродилась
Милым ребенком, что был любви и тогда уж достоин;
Мальчика звали Нарцисс. Когда про него воспросили,
Много ль он лет проживет и познает ли долгую старость,
Молвил правдивый пророк: «Коль сам он себя не увидит».
Долго казалось пустым прорицанье; его разъяснила
Отрока гибель и род его смерти и новшество страсти.
Вот к пятнадцати год прибавить мог уж Кефисий,
Сразу и мальчиком он и юношей мог почитаться.

Юноши часто его и девушки часто желали.
Гордость большая была, однако, под внешностью нежной, —
Юноши вовсе его не касались и девушки вовсе.
Видела, как загонял он трепетных в сети оленей,
Звонкая нимфа, — она на слова не могла не ответить,
Но не умела начать, — отраженно звучащая Эхо.
Плотью Эхо была, не голосом только; однако
Так же болтливой уста служили, как служат и ныне, —
Крайние только слова повторять из многих умела,
То была месть Юноны: едва лишь богиня пыталась
Нимф застигнуть, в горах с Юпитером часто лежавших,
Бдительна, Эхо ее отвлекала предлинною речью, —
Те ж успевали бежать. Сатурния, это постигнув, —
«Твой, — сказала, — язык, которым меня ты проводишь,
Власть потеряет свою, и голос твой станет короток».
Делом скрепила слова: теперь она только и может,
Что удвоять голоса, повторяя лишь то, что услышит.
Вот Нарцисса она, бродящего в чаще пустынной,
Видит, и вот уж зажглась, и за юношей следует тайно,
Следует тайно за ним и пылает, к огню приближаясь, —
Так бывает, когда, горячею облиты серой,
Факелов смольных концы принимают огонь поднесенный.
О, как желала не раз приступить к нему с ласковой речью!
Нежных прибавить и просьб! Но препятствием стала природа,
Не позволяет начать; но — это дано ей! — готова
Звуков сама ожидать, чтоб словом на слово ответить.
Мальчик, отбившись меж тем от сонмища спутников верных,
Крикнул: «Здесь кто-нибудь есть?» И, — «Есть!» — ответила Эхо.
Он изумился, кругом глазами обводит и громким
Голосом кличет: «Сюда!» И зовет зовущего нимфа;
Он огляделся и вновь, никого не приметя, — «Зачем ты, —
Молвит, — бежишь?» И в ответ сам столько же слов получает.
Он же настойчив, и вновь, обманутый звуком ответов, —
«Здесь мы сойдемся!» — кричит, и, охотней всего откликаясь
Этому зову его, — «Сойдемся!» — ответствует Эхо.

Собственным нимфа словам покорна и, выйдя из леса,
Вот уж руками обнять стремится желанную шею.
Он убегает, кричит: «От объятий удерживай руки!
Лучше на месте умру, чем тебе на утеху достанусь!»
Та же в ответ лишь одно: «Тебе на утеху достанусь!»
После, отвергнута им, в лесах затаилась, листвою
Скрыла лицо от стыда и в пещерах живет одиноко.
Все же осталась любовь и в мученьях растет от обиды.
От постоянных забот истощается бедное тело;
Кожу стянула у ней худоба, телесные соки
В воздух ушли, и одни остались лишь голос да кости.
Голос живет: говорят, что кости каменьями стали.
Скрылась в лесу, и никто на горах уж ее не встречает,
Слышат же все; лишь звук живым у нее сохранился.
Так он ее и других, водой и горами рожденных
Нимф, насмехаясь, отверг, как раньше мужей домоганья.
Каждый, отринутый им, к небесам протягивал руки:
«Пусть же полюбит он сам, но владеть да не сможет любимым!»
Молвили все, — и вняла справедливым Рамнузия[141] просьбам.
Чистый ручей протекал, серебрящийся светлой струею, —
Не прикасались к нему пастухи, ни козы с нагорных
Пастбищ, ни скот никакой, никакая его не смущала
Птица лесная, ни зверь, ни упавшая с дерева ветка.
Вкруг зеленела трава, соседней вспоенная влагой;
Лес же густой не давал водоему от солнца нагреться.
Там, от охоты устав и от зноя, прилег утомленный
Мальчик, ме́ста красой и потоком туда привлеченный;
Жажду хотел утолить, но жажда возникла другая!
Воду он пьет, а меж тем — захвачен лица красотою,
Любит без плоти мечту и призрак за плоть принимает.
Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен,
Юным похожий лицом на изваянный мрамор паросский.
Лежа, глядит он на очи свои, — созвездье двойное, —
Вакха достойные зрит, Аполлона достойные кудри;
Щеки, без пуха еще, и шею кости слоновой,

Прелесть губ и в лице с белоснежностью слитый румянец.
Всем изумляется он, что и впрямь изумленья достойно.
Жаждет безумный себя, хвалимый, он же хвалящий,
Рвется желаньем к себе, зажигает и сам пламенеет.
Сколько лукавой струе он обманчивых дал поцелуев!
Сколько, желая обнять в струях им зримую шею,
Руки в ручей погружал, но себя не улавливал в водах!
Что увидал — не поймет, но к тому, что увидел, пылает;
Юношу снова обман возбуждает и вводит в ошибку.
О легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий?
Жаждешь того, чего нет; отвернись — и любимое сгинет.
Тень, которую зришь, — отраженный лишь образ, и только.
В ней — ничего своего; с тобою пришла, пребывает,
Вместе с тобой и уйдет, если только уйти ты способен.
Но ни охота к еде, ни желанье покоя не могут
С места его оторвать: на густой мураве распростершись,
Взором несытым смотреть продолжает на лживый он образ,
Сам от своих погибает очей. И, слегка приподнявшись,
Руки с мольбой протянув к окружающим темным дубравам, —
«Кто, о дубравы, — сказал, — увы, так жестоко влюблялся?
Вам то известно; не раз любви вы служили приютом.
Ежели столько веков бытие продолжается ваше, —
В жизни припомните ль вы, чтоб чах так сильно влюбленный?
Вижу я то, что люблю; но то, что люблю я и вижу, —
Тем обладать не могу: заблужденье владеет влюбленным.
Чтобы страдал я сильней, меж нами нет страшного моря,
Нет ни дороги, ни гор, ни стен с запертыми вратами.
Струйка препятствует нам — и сам он отдаться желает!
Сколько бы раз я уста ни протягивал к водам прозрачным,
Столько же раз он ко мне с поцелуем стремится ответным.
Словно коснешься сейчас… Препятствует любящим малость.
Кто бы ты ни был, — ко мне! Что мучаешь, мальчик бесценный?
Милый, уходишь куда? Не таков я красой и годами,
Чтобы меня избегать, и в меня ведь влюбляются нимфы.
Некую ты мне надежду сулишь лицом дружелюбным,
Руки к тебе протяну, и твои — протянуты тоже.

Я улыбаюсь, — и ты; не раз примечал я и слезы,
Ежели плакал я сам; на поклон отвечал ты поклоном
И, как могу я судить по движениям этих прелестных
Губ, произносишь слова, но до слуха они не доходят.
Он — это я! Понимаю. Меня обмануло обличье!
Страстью горю я к себе, поощряю пылать — и пылаю.
Что же? Мне зова ли ждать? Иль звать? Но звать мне кого же?
Все, чего жажду, — со мной. От богатства я стал неимущим.
О, если только бы мог я с собственным телом расстаться!
Странная воля любви, — чтоб любимое было далеко!
Силы страданье уже отнимает, немного осталось
Времени жизни моей, погасаю я в возрасте раннем.
Не тяжела мне и смерть: умерев, от страданий избавлюсь.
Тот же, кого я избрал, да будет меня долговечней!
Ныне слиянны в одно, с душой умрем мы единой».
Молвил и к образу вновь безрассудный вернулся тому же.
И замутил слезами струю, и образ неясен
Стал в колебанье волны. И увидев, что тот исчезает, —
«Ты убегаешь? Постой! Жестокий! Влюбленного друга
Не покидай! — он вскричал. До чего не дано мне касаться,
Стану хотя б созерцать, свой пыл несчастный питая!»
Так горевал и, одежду раскрыв у верхнего края,
Мраморно-белыми стал в грудь голую бить он руками.
И под ударами грудь подернулась алостью тонкой.
Словно у яблок, когда с одной стороны они белы,
Но заалели с другой, или как на кистях разноцветных
У виноградин, еще не созрелых, с багряным оттенком.
Только увидел он грудь, отраженную влагой текучей,
Дольше не мог утерпеть; как тает на пламени легком
Желтый воск иль туман поутру под действием солнца
Знойного, так же и он, истощаем своею любовью,
Чахнет и тайным огнем сжигается мало-помалу.
Красок в нем более нет, уж нет с белизною румянца,
Бодрости нет, ни сил, всего, что, бывало, пленяло.
Тела не стало его, которого Эхо любила,
Видя все это, она, хоть и будучи в гневе и помня,

Сжалилась; лишь говорил несчастный мальчик: «Увы мне!» —
Вторила тотчас она, на слова отзываясь: «Увы мне!»
Если же он начинал ломать в отчаянье руки,
Звуком таким же она отвечала унылому звуку.
Вот что молвил в конце неизменно глядевшийся в воду:
«Мальчик, напрасно, увы, мне желанный!» И слов возвратила
Столько же; и на «прости!» — «прости!» ответила Эхо.
Долго лежал он, к траве головою приникнув усталой;
Смерть закрыла глаза, что владыки красой любовались.
Даже и после — уже в обиталище принят Аида —
В воды он Стикса смотрел на себя. Сестрицы-наяды
С плачем пряди волос поднесли в дар памятный брату.
Плакали нимфы дерев — и плачущим вторила Эхо.
И уж носилки, костер и факелы приготовляли, —
Не было тела нигде. Но вместо тела шафранный
Ими найдéн был цветок с белоснежными вкруг лепестками.
Весть о том принесла пророку в градах ахейских
Должную славу; греметь прорицателя начало имя.
Сын Эхиона[142] один меж всеми его отвергает —
Вышних презритель, Пенфей — и смеется над вещею речью
Старца, корит темнотой, злополучным лишением света;
Он же, тряхнув головой, на которой белели седины, —
«Сколь бы счастливым ты был, когда бы от этого зренья
Был отрешен, — говорит, — и не видел вакхических таинств!
Ибо наступит тот день, — и пророчу, что он недалеко, —
День, когда юный придет — потомство Семелино — Либер[143].
Если его ты почтить храмовым не захочешь служеньем,
В тысяче будешь ты мест разбросан, растерзанный; кровью
Ты осквернишь и леса, и мать, и сестер материнских.
Сбудется! Ты божеству не окажешь почета, меня же
В этих потемках моих поистине зрячим признаешь».
Но говорившего так вон выгнал сын Эхиона.
Подтверждены словеса, исполняются речи пророка.
Либер пришел, и шумят ликованием праздничным села.
Толпы бегут, собрались мужчины, матери, жены,
Весь поспешает народ к неведомым таинствам бога.

«Змеерожденные! Что за безумье, о Марсово племя,[144]
Вам устрашило умы? — Пенфей закричал. — Неужели
Меди удары о медь, дуда роговая, — волшебный
Этот столь мощен обман, что вас, которым не страшны
Меч боевой, ни труба, ни строи, сомкнувшие копья,
Женские возгласы вдруг и безумие толп непристойных
И возбужденных вином, и тимпан пустозвонный осилят?
Старцы, как вам не дивиться? Приплыв по широкому морю,
В этих местах вы восставили Тир и бежавших пенатов,[145] —
Сдаться ль готовы теперь без боя? Вам, возрастом крепче,
Юноши, ровни мои, которым не тирс,[146] а оружье
Должно держать и щитом, не листвой, прикрываться пристало?
Не забывайте, молю, от какого вы созданы корня!
И да исполнит вас дух родителя змея, который
Многих один погубил! Он за озеро только вступился
И за источник, а вы победите для собственной славы!
Храбрых тот умертвил, вы неженок прочь прогоните!
Честь удержите отцов! Но если судьба воспретила
Долее Фивам стоять, так воины пусть и тараны
Стены разрушат у них под грохот огня и железа!
Были б несчастными мы без вины; оплакивать жребий
Мы бы могли — не скрывать; не постыдными были бы слезы.
Ныне под власть подпадут безоружного мальчика Фивы,
Кто на войне не бывал, не знаком ни с мечом, ни с боями,
Сила которого вся в волосах, пропитанных миррой,
В гибких венках, в багреце да в узорах одежд златотканных,
Если отступитесь вы, его я заставлю признаться
Вмиг, что себе он отца сочинил и что таинства ложны.
Духа достало ж царю Акризию в Аргосе — бога
Ложного не признавать и замкнуть перед Вакхом ворота!
Или пришлец устрашит Пенфея и целые Фивы?
Живо ступайте, — велит он рабам, — ступайте, в оковах
Приволоките вождя! Приказ мой исполнить немедля!»
Дед, Атамант[147] и толпа остальных домочадцев напрасно
Увещевают его, воспрепятствовать делу стараясь.
Он от советов лишь злей; раздражается, будучи сдержан,

Бешеный пыл растет; во вред ему были препоны.
Видывал я, как поток, которого путь беспрепятствен,
Вниз по наклону бежит спокойно, с умеренным шумом.
Если ж завалами скал иль стволами бывал он задержан,
Пенился он и кипел и сильней свирепел от преграды.
Вот возвратились в крови, на вопрос же: «Где Вакх?» — господину
Дали посланцы ответ, что они и не видели Вакха.
«Все же прислужник один, — сказали, — и таинств участник
Пойман». При этих словах выводят — за спину руки —
Мужа, — что к Вакху ушел вослед из Тирренского края.[148]
Глянул Пенфей на него очами, которые страшны
Стали от гнева; меж тем отложить не желал он расправы, —
«Ты, что погибнешь сейчас, — сказал, — и другим назиданье
Гибелью дашь, — объяви мне свое и родителей имя,
Родину и почему соучаствуешь в таинствах новых?»
Он же, ничуть не страшась, — «Акетом, — сказал, — именуюсь,
Я из Меонии сам; а родители — званья простого.
Мне не оставил отец полей, где паслись бы телята,
Или стада шерстоносных овец, иль иная скотина.
Был мой отец бедняком; всю жизнь крючком да лесою
Рыб вводил он в обман и удою тянул, трепетавших.
Этим искусством он жил и мне его передал, молвив:
«Ныне богатства мои, продолжатель труда и наследник,
Ты получай»; ничего, умирая, он мне не оставил,
Кроме воды; лишь ее от отца почитаю наследством.
Вскоре, чтоб мне не торчать все время на тех же утесах,
Я научился корабль поворачивать, киль загибая
Правой рукою; Оленской Козы[149] дождевое созвездье,
Аркта, Тайгеты, Гиад[150] в небесах различать научился.
Ветров жилища узнал и пристани, годные суднам.
Раз я, на Делос идя, приближался к Хиосскому краю,[151]
Вот подхожу к берегам, работая веслами справа;
Прыгаю с судна легко и на влажный песок наступаю, —
Там и проводим мы ночь. Заря между тем заалела
Ранняя. Вот я встаю и велю сотоварищам свежей

Влаги принесть, указую и путь, до ключей доводящий.
Сам же на холм восхожу, — узнать, что мне обещает
Ветер; сзываю своих и опять на корабль возвращаюсь.
«Вот мы и здесь!» — Офельт говорит, из товарищей первый,
Сам же добычей гордясь, на пустынном поле добытой,
Мальчика брегом ведет, по наружности схожего с девой.
Тот же качался, вином или сном отягченный как будто,
И подвигался с трудом. На одежду смотрю, на осанку
И на лицо — ничего в нем не вижу, что было бы смертным.
Понял я и говорю сотоварищам: «Кто из бессмертных
В нем, сказать не могу, но в образе этом — бессмертный.
Кто бы ты ни был, о будь к нам благ и в трудах помоги нам!
Их же, молю, извини!» — «За нас прекрати ты молитвы!» —
Диктид кричит, что из всех проворней наверх забирался
Мачт и скользил на руках по веревкам. Его одобряют
И белокурый Мелант, на носу сторожащий, и Либид
С Алкимедоном, затем призывающий возгласом весла
Двигаться или же стать, Эпопей, побудитель отваги,
Так же и все; до того ослепляет их жадность к добыче.
«Нет, чтоб был осквернен корабль святотатственным грузом,
Не потерплю, — я сказал, — я первый права тут имею!»
Вход преграждаю собой. Но меж моряками наглейший
Ярости полн Ликабант, из тускского изгнанный града,
Карою ссылки тогда искупавший лихое убийство.
Этот, пока я стоял, кулаком поразил молодецким
В горло меня и как раз опрокинул бы в море, когда бы
Я не застрял, хоть и чувства лишась, бечевою задержан.
И в восхищенье толпа нечестивцев! Но Вакх наконец-то —
Ибо тот мальчик был Вакх, — как будто от крика слетела
Сонность и после вина возвратились в грудь его чувства, —
«Что вы? И что тут за крик? — говорит. — Какою судьбою
К вам, моряки, я попал? И куда вы меня повезете?»
«Страх свой откинь! — отвечает Прорей, — скажи лишь, в какой ты
Гавани хочешь сойти, — остановишься, где пожелаешь».
Либер в ответ: «Корабля вы к Наксосу[152] ход поверните.

Там — мой дом; и земля гостей дружелюбная примет».
Морем клялись лжецы и всеми богами, что будет
Так, мне веля паруса наставлять на раскрашенный кузов.
Наксос был вправо; когда я направо наставил полотна, —
«Что ты, безумец, творишь!» — Офельт говорит, про себя же
Думает каждый: «Сошел ты с ума? Поворачивай влево!»
Знаки одни подают, другие мне на ухо шепчут.
Я обомлел. «Пусть иной, — говорю, — управление примет».
И отошел от руля, преступленья бежав и обмана.
Все порицают меня, как один корабельщики ропщут.
Эталион между тем говорит: «Ужели же наше
Счастье в тебе лишь одном?» — подходит и сам исполняет
Труд мой: в другую корабль от Наксоса сторону правит.
И удивляется бог, и, как будто он только что понял
Все их лукавство, глядит на море с гнутого носа,
И, подражая слезам, — «Моряки, вы сулили не эти
Мне берега, — говорит, — и просил не об этой земле я.
Кары я чем заслужил? И велика ли слава, что ныне
Мальчика, юноши, вы одного, сговорясь, обманули?»
Плакал тем временем я. Нечестивцев толпа осмеяла
Слезы мои, и сильней ударяются весла о волны.
Ныне же им самим, — ибо кто из богов с нами рядом,
Если не он, — я клянусь, что буду рассказывать правду,
Невероятную пусть: неожиданно судно средь моря
Остановилось, корабль как будто бы суша держала.
И, изумленные, те в ударах упорствуют весел,
Ставят полотна, идти при двоякой подмоге пытаясь.
Весел уключины плющ оплетает, крученым изгибом
Вьется, уже с парусов повисают тяжелые кисти.
Бог между тем, увенчав чело себе лозами в гроздьях,
Сам потрясает копьем, виноградной увитым листвою.
Тигры — вокруг божества: мерещатся призраки рысей,
Дикие тут же легли с пятнистою шкурой пантеры.
Спрыгивать стали мужи, — их на то побуждало безумье
Или же страх? И первым Медон плавники получает
Черные; плоским он стал, и хребет у него изгибаться

Начал. И молвит ему Ликабант: «В какое же чудо
Ты превращаешься?» Рот между тем у сказавшего шире
Стал, и уж ноздри висят, и кожа в чешуйках чернеет.
Либид же, оборотить упорные весла желая,
Видит, что руки его короткими стали, что вовсе
Даже не руки они, что верней их назвать плавниками.
Кто-то руками хотел за обвитые взяться веревки, —
Не было более рук у него; и упал, как обрубок,
В воду моряк: у него появился и хвост серповидный,
Словно рога, что луна, вполовину наполнившись, кажет.
Прыгают в разных местах, обильною влагой струятся,
И возникают из волн, и вновь погружаются в волны,
Словно ведут хоровод, бросаются, резво играя.
Воду вбирают и вновь из ноздрей выпускают широких.
Из двадцати моряков, которые были на судне,
Я оставался один. Устрашенного, в дрожи холодной,
Бог насилу меня успокоил, промолвив: «От сердца
Страх отреши и на Дию[153] плыви». И, причалив, затеплил
Я алтари, и с тех пор соучаствую в таинствах Вакха».
«Долго внимал я твоим, — Пенфей отвечает, — лукавым
Россказням, чтобы мое в промедлении бешенство стихло!
Слуги, скорей хватайте ж его, и казненное мукой
Страшною тело его в Стигийскую ночь переправьте».
Тотчас схвачен Акет-тирренец и брошен в темницу,
И, между тем как они орудья мучительной казни
Подготовляли — огонь и железо, — вдруг двери раскрылись
Сами собой, и с рук у него упадают внезапно
Сами собой, — говорят, — никем не раскованы, цепи.
Не уступает Пенфей. Не велит уж другим, — поспешает
Сам посетить Киферон, для священных избранный действий,
Где песнопенья звучат и звонкие клики вакханок.
Конь в нетерпении ржет, лишь только подаст меднозвучный
Знак боевая труба, и сам в сражение рвется, —
Так Пенфею и крик, и вакхических гул завываний
Дух возбудил, — сильней запылал он неистовым гневом.
Посередине горы там есть окруженный сосновым

Лесом голый пустырь, отовсюду приметное поле.
Там-то, пока он смотрел посторонним на таинства взором,
Первой увидев его и первой исполнясь безумья,
Первая, кинувши тирс, своего поразила Пенфея —
Мать. «Ио́! Родные, сюда, — воскликнула, — сестры!
Этот огромный кабан, бродящий по нашему полю,
Должен быть мной поражен!» И толпа, как один, устремилась
Дикая. Все собрались, преследовать бросились вместе.
Он же трепещет, он слов уже не бросает столь дерзких
И проклинает себя, в прегрешенье уже признается.
Раненный, все же сказал: «О сестра моей матери, помощь
Мне, Автоноя, подай! Да смягчит тебя тень Актеона!»
Та, кто такой Актеон, и не помнит; молящего руку
Вырвала; Ино,[154] схватив, растерзала и руку другую.
Рук у несчастного нет, что к матери мог протянуть бы.
Все же он, ей показав обрубок израненный тела, —
«Мать, посмотри!» — говорит. Но, увидев, завыла Агава
И затрясла головой, волоса разметала по ветру.
Оторвала и в перстах его голову сжала кровавых,
И восклицает: «Ио́! То наша, подруги, победа!»
Листья едва ли скорей, осеннею тронуты стужей,
Слабо держась на ветвях, обрываются с дерева ветром,
Нежели тело его растерзали ужасные руки.
После примеров таких соучаствуют в таинствах новых,
Жгут благовонья и чтят Исмениды священные жертвы.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Дочери Миния (1—54); Пирам и Фисба (55—166); Марс и Венера (167—189); Левкотоя (190—255); Клития (256—270); Салмакида и Гермафродит (271—388); дочери Миния (389—415); Ино и Атамант (416—542); спутницы Ино (543—562); Кадм и Гармония (563—603); Персей и Атлант (604—662); Персей и Андромеда (663—752); свадьба Персея, Персей и женихи (753—803).

Все ж Миниэева[155] дочь, Алкитоя, считает, что оргий
Бога не след принимать и, дерзкая, все еще Вакха
Не признает за дитя Юпитера, неблагочестью
В сестрах сообщниц найдя. Жрец праздновать дал приказанье
И госпожам повелел и служанкам, работы покинув,
Грудь свою шкурой покрыв, развязать головные повязки,
И обрядиться в венки, и листвою обвитые тирсы
Взять, предрекая, что гнев божества оскорбленного будет
Страшен. Покорны ему и матери и молодицы;
Вот отложили тканье, корзинки, начатую пряжу,
Ладан несут и зовут Лиэя, Бромия, Вакха,
Отпрыск огня, что дважды рожден и двумя матерями,
И добавляют: Нисей, Тионей нестриженый, имя
Также дают и Леней, веселящих сеятель гроздьев,
Также Иакх, и Эван, и отец Элелей, и Никтелий,
Много имен и еще, которые некогда греки
Дали, о Либер, тебе! Ибо юность твоя неистленна,
Отрок ты веки веков! Ты всех прекраснее зришься
В небе высоком! Когда предстаешь, не украшен рогами,[156] —
Девичий лик у тебя. Ты Восток победил до пределов
Тех, где, телом смугла, омывается Индия Гангом.
Чтимый, Пенфея разишь, с двуострой секирой Ликурга[157] —
Двух святотатцев; и ты — ввергаешь в пучину тирренцев;
Рысей, впряженных четой, сжимаешь ты гордые выи
Силой узорных вожжей; вакханки вослед и сатиры,
С ними и пьяный старик,[158] подперший дрожащее тело

Палкой. Не крепко сидит на осле с провисшей спиною.
В край ты какой ни придешь, везде клик юношей вместе
С голосом женщин звучит, ладоней удары о бубны,
Выпукло-гнутая медь и с отверстьями многими дудки.
«Мирен и кроток явись!» — исмеянки молят, справляя
Таинства, как повелел им жрец. Миниэиды только
Дома, Минервы трудом нарушают не вовремя праздник,
Шерсть прядут или пальцем большим веретенце вращают,
Или корпят за тканьем и рабынь понуждают к работе.
Пальцем проворным одна выводя свою нитку, сказала:
«Пусть побросают свой труд и к таинствам ложным стремятся,
Мы же, задержаны здесь Палладою, лучшей богиней,
Дело полезное рук облегчим, развлекаясь беседой.
Поочередно, чтоб нам не казалось длительным время,
Будем незанятый слух каким-нибудь тешить рассказом».
Все одобряют и ей предлагают рассказывать первой.
Та, с чего бы начать, — затем, что многое знала, —
Думает. То ль о тебе, Деркетия,[159] дочь Вавилона,
Им рассказать, как тебя, чешуей заменив тебе кожу,
В вид превратили другой палестинские — будто бы — воды.
Или, пожалуй, о том, как дочь ее, став окрыленной,
Поздние годы свои провела в белокаменных башнях?
Иль как Наяда[160] волшбой и трав необорною силой
Юношей преобразив, обратив их в рыб бессловесных,
Преобразилась сама? Иль о дереве, чьи были белы
Ягоды, стали же черны, лишь только кровь их коснулась?
Выбрав этот рассказ — немногим известную басню —
Повесть она начала, а шерсть сучить продолжала:
«Жили Пирам и Фисба; он всех был юношей краше,
Предпочтена и она всем девам была на Востоке.
Смежны их были дома, где город, согласно преданью,
Семирамида стеной окружила кирпичной когда-то.
Так знакомство меж них и сближенье пошли от соседства.
С годами крепла любовь; и настала б законная свадьба,
Если б не мать и отец; одного запретить не умели, —
Чтобы в плену у любви их души пылать перестали.

Нет сообщников им; беседуют знаком, поклоном;
Чем они больше таят, тем глубже таимое пламя.
Образовалась в стене меж домами, обоим семействам
Общей, тонкая щель со времени самой постройки.
Этот порок, никому за много веков не заметный, —
Что не приметит любовь? — влюбленные, вы увидали.
Голосу дали вы путь, и нежные ваши признанья
Шепотом, слышным едва, безопасно до вас доходили.
Часто стояли: Пирам — по ту сторону, Фисба — по эту.
Поочередно ловя дыхание уст, говорили:
«Как же завистлива ты, о стена, что мешаешь влюбленным!
Что бы тебе разойтись и дать нам слиться всем телом, —
Если ж о многом прошу, позволь хоть дарить поцелуи!
Мы благодарны, за то у тебя мы в долгу, признаемся,
Что позволяешь словам доходить до милого слуха!»
Тщетно, на разных местах, такие слова повторивши,
К ночи сказали «прости!» и стене, разобщенные ею,
Дали они поцелуй, насквозь не могущий проникнуть.
Вот наступила заря и огни отстранила ночные,
Солнце росу на траве лучами уже осушило,
В месте обычном сошлись. И на многое шепотом тихим
В горе своем попеняв, решили, что ночью безмолвной,
Стражей дозор обманув, из дверей попытаются выйти
И что, из дома бежав, городские покинут пределы;
А чтобы им не блуждать по равнине обширной, сойдутся
Там, где Нин[161] погребен, и спрячутся возле, под тенью
Дерева. Дерево то — шелковицей высокою было:
Все в белоснежных плодах, а рядом ручей был студеный.
Нравится им уговор, и кажется медленным вечер.
В воды уж свет погружен, из них ночь новая вышла.
Ловкая Фисба меж тем отомкнула дверную задвижку,
Вышла, своих обманув, с лицом закутанным; вскоре
И до могилы дошла и под сказанным деревом села.
Смелой была от любви. Но вот появляется с мордой
В пене кровавой, быков терзавшая только что, львица —
Жажду свою утолить из источника ближнего хочет.

Издали в свете луны ее вавилонянка Фисба
Видит, и к темной бежит пещере дрожащей стопою,
И на бегу со спины соскользнувший покров оставляет.
Львица, жажду меж тем утолив изобильной водою,
В лес возвращаясь, нашла не Фисбу, а наземь упавший
Тонкий покров и его растерзала кровавою пастью.
Вышедши позже, следы на поверхности пыли увидел
Львиные юный Пирам и лицом стал бледен смертельно;
А как одежду нашел, обагренную пятнами крови, —
«Вместе сегодня двоих, — говорит, — ночь губит влюбленных,
Но из обоих она достойней была долголетья!
Мне же во зло моя жизнь. И тебя погубил я, бедняжка,
В полные страха места приказав тебе ночью явиться.
Первым же сам не пришел. Мое разорвите же тело,
Эту проклятую плоть уничтожьте свирепым укусом,
Львы, которые здесь, под скалою, в укрытье живете!
Но ведь один только трус быть хочет убитым!» И Фисбы
Взяв покрывало, его под тень шелковицы уносит.
Там на знакомую ткань поцелуи рассыпав и слезы, —
«Ныне прими, — он сказал, — и моей ты крови потоки!»
Тут же в себя он железо вонзил, что у пояса было,
И, умирая, извлек тотчас из раны палящей.
Навзничь лег он, и кровь струей высокой забила, —
Так происходит, когда прохудится свинец и внезапно
Где-нибудь лопнет труба, и вода из нее, закипая,
Тонкой взлетает струей и воздух собой прорывает.
Тут шелковицы плоды, окропленные влагой убийства,
Переменили свой вид, а корень, пропитанный кровью,
Ярко-багряным налил висящие ягоды соком.
Вот, — хоть в испуге еще, — чтоб не был любимый обманут,
Фисба вернулась; душой и очами юношу ищет,
Хочет поведать, какой избежала опасности страшной.
Местность тотчас узнав, и ручей, и дерево рядом,
Цветом плодов смущена, не знает: уж дерево то ли?
Вдруг увидала: биясь о кровавую землю, трепещет
Тело, назад отступила она, и букса бледнее

Стала лицом, и, страха полна, взволновалась, как море,
Если поверхность его зашевелит дыхание ветра.
Но лишь, помедлив, она любимого друга признала, —
Грудь, недостойную мук, потрясла громогласным рыданьем,
Волосы рвать начала, и, обнявши любимое тело,
К ранам прибавила плач, и кровь со слезами смешала,
И, ледяное лицо ему беспрерывно целуя, —
«О! — восклицала, — Пирам, каким унесен ты несчастьем?
Фисбе откликнись, Пирам: тебя твоя милая Фисба
Кличет! Меня ты услышь! Подними свою голову, милый!»
Имя ее услыхав, уже отягченные смертью
Очи поднял Пирам, но тотчас закрылись зеницы.
А как признала она покрывало, когда увидала
Ножны пустыми, — «Своей, — говорит, — ты рукой и любовью,
Бедный, погублен. Но знай, твоим мои не уступят
В силе рука и любовь: нанести они рану сумеют.
Вслед за погибшим пойду, несчастливица, я, и причина
Смерти твоей и спутница. Ах, лишь смертью похищен
Мог бы ты быть у меня, но не будешь похищен и смертью!
Все же последнюю к вам, — о слишком несчастные ныне
Мать и отец, и его и мои, — обращаю я просьбу:
Тех, кто любовью прямой и часом связан последним,
Не откажите, молю, положить в могиле единой!
Ты же, о дерево, ты, покрывшее ныне ветвями
Горестный прах одного, как вскоре двоих ты покроешь,
Знаки убийства храни, твои пусть скорбны и темны
Ягоды будут вовек — двуединой погибели память!»
Молвила и, острие себе в самое сердце нацелив,
Грудью упала на меч, еще от убийства горячий.
Все ж ее просьба дошла до богов, до родителей тоже.
У шелковицы с тех пор плоды, созревая, чернеют;
Их же останков зола в одной успокоилась урне».
Смолкла. Краткий затем наступил перерыв. Левконоя
Стала потом говорить; и, безмолвствуя, слушали сестры.
«Даже и Солнце, чей свет лучезарный вселенною правит,
Было в плену у любви: про любовь вам поведаю Солнца.

Первым, — преданье гласит, — любодейство Венеры и Марса
Солнечный бог увидал. Из богов все видит он первым!
Виденным был удручен и Юноной рожденному мужу
Брачные плутни четы показал и место их плутен.
Дух у Вулкана упал, из правой руки и работа
Выпала. Тотчас же он незаметные медные цепи,
Сети и петли, — чтоб их обманутый взор не увидел, —
Выковал. С делом его не сравнятся тончайшие нити,
Даже и ткань паука, что с балок под кровлей свисает.
Делает так, чтоб они при ничтожнейшем прикосновенье
Пасть могли, и вокруг размещает их ловко над ложем.
Только в единый альков проникли жена и любовник,
Тотчас искусством его и невиданным петель устройством
Пойманы в сетку они, средь самых объятий попались!
Лемний[162] вмиг распахнул костяные точеные створы
И созывает богов. А любовники в сети лежали
Срамно. Один из богов, не печалясь нимало, желает
Срама такого же сам! Олимпийцы смеялись, и долго
Был этот случай потом любимым на небе рассказом.
За указанье четы Киферея[163] ответила местью
И уязвила того, кто их тайную страсть обнаружил,
Страстью такой же. К чему, о рожденный от Гипериона,[164]
Ныне тебе красота, и румянец, и свет лучезарный?
Ты, опаляющий всю огнем пламенеющим землю,
Новым огнем запылал; ты, все долженствующий видеть,
На Левкотою[165] глядишь: не на мир, а на девушку только
Взор направляешь теперь; и то по восточному небу
Раньше восходишь, а то и поздней погружаешься в воды, —
Залюбовавшись красой, удлиняешь ты зимние ночи.
Часто тебя не видать, — переходит душевная мука
В очи твои; затемнен, сердца устрашаешь ты смертных.
И хоть не застит твой лик луна, которая ближе
К землям, — ты побледнел: у тебя от любви эта бледность.
Любишь ее лишь одну. Тебя ни Климена, ни Рода[166]
Уж не пленят, ни красавица мать Цирцеи Ээйской,[167]
Ни твоего, — хоть ее ты отверг, — так желавшая ложа

Клития,[168] в сердце как раз в то время носившая рану
Тяжкую. Многих одна Левкотоя затмила соперниц,
Дочь Эвриномы, красы того дальнего края, откуда
Благоуханья везут. Когда ж дочь взрослою стала, —
Как ее мать — остальных, так она свою мать победила.
Ахеменеевых царь городов[169] был отец ее, Орхам,
Происходил в поколенье седьмом он от древнего Бела[170].
Солнечных коней луга под небом лежат гесперийским.
Пищей — амброзия им, не трава; их усталые члены
После работы дневной для трудов она вновь подкрепляет.
Вот, между тем как они луговины небесные щиплют
И исполняется ночь, бог входит в желанную спальню,
Матери образ приняв, Эвриномы, и там Левкотою
Видит, как та при огне — а с нею двенадцать служанок —
Тонкую пряжу ведет, точеным крутя веретенцем.
По-матерински, войдя, целует он милую дочку, —
«Тайное дело у нас, — говорит, — уйдите, служанки,
Право у матери есть с глазу на глаз беседовать с дочкой».
Повиновались. А бог, без свидетелей в спальне оставшись, —
«Я — тот самый, — сказал, — кто длящийся год измеряет,
Зрящий все и которым земля становится зряча, —
Око мира. Поверь, тебя я люблю!» Испугалась
Девушка; веретено и гребень из рук ослабевших
Выпали; страх — ее украшал, и бог не помедлил,
Истинный принял он вид и блеск возвратил свой обычный.
Дева же, хоть и была нежданным испугана видом,
Блеску его покорясь, без жалоб стерпела насилье.
В Клитии ж — зависть кипит: давно необузданной страстью
К Солнцу пылала она, на любовницу гневаясь бога,
Всем рассказала про грех и, расславив, отцу объявила.
Немилосерден отец и грозен: молящую слезно,
Руки простершую вверх к сиянию Солнца, — «Он силой
Взял против воли любовь!» — говорившую в горе, жестокий
В землю глубоко зарыл и холм насыпал песчаный.
Гелиос быстро тот холм рассеял лучами и выход
Сделал тебе, чтоб могла ты выставить лик погребенный.

Но не могла уже ты, задавленной грузом песчаным,
Нимфа, поднять головы и трупом лежала бескровным.
И ничего, говорят, крылатых коней управитель
В мире печальней не зрел, — один лишь пожар Фаэтона.
Силой лучей между тем оживить охладелое тело
Все же пытается бог — вернуть теплоту, коль возможно!
Но увидав, что судьба противится этим попыткам,
Нектаром он окропил благовонным и тело и место
И, неутешен, сказал: «Ты все же достигнешь эфира».
Вскоре же тело ее, напитано нектаром неба,
Все растеклось, и его благовоние в землю проникло;
Благоуханный росток, пройдя понемногу корнями
В почве, поднялся и вот сквозь холм вершиной пробился.
К Клитии, — пусть оправдать тоску он и мог бы любовью,
А донесенье тоской, — с тех пор уже света даятель
Не подходил, перестав предаваться с ней играм Венеры.
Чахнуть стала она, любви до безумья предавшись,
Нимф перестала терпеть, дни и ночи под небом открытым
Сидя на голой земле; неприбрана, простоволоса,
Девять Клития дней ни воды, ни еды не касалась,
Голод лишь чистой росой да потоками слез утоляла.
Не привставала с земли, на лик проезжавшего бога
Только смотрела, за ним головой неизменно вращая.
И, говорят, к земле приросла, из окраски двоякой
Смертная бледность ее претворилась в бескровные листья,
Все же и алость при ней. В цветок, фиалке подобный,
Вдруг превратилось лицо. И так, хоть держится корнем,
Вертится Солнцу вослед и любовь, изменясь, сохраняет».
Кончила, и овладел удивительный случай вниманьем.
Кто отрицает его, а кто утверждает, что в силах
Все настоящих богов, — но что Вакха меж них не бывало!
Все к Алкитое тогда обратились, лишь сестры замолкли.
Та, челноком проводя по нитям пред нею стоящей
Пряжи, — «Смолчу, — говорит, — о любви пастуха, всем известной,
Дафниса с Иды, кого, рассердясь на соперницу, нимфа

Сделала камнем: вот как сжигает влюбленных страданье!
Не расскажу и о том, как природы закон был нарушен,
И двуединый бывал то мужчиной, то женщиной Ситон.
Также тебя, о алмаз, младенцу Юпитеру верный,
Бывший Цельмий, и вас, порожденные ливнем куреты,[171]
Ты, о Кротон со Смилакой,[172] в цветы превращенные древле, —
Всех обойду, — и сердца забавной потешу новинкой.
Славой известна дурной, почему, отчего расслабляет
Нас Салмакиды[173] струя и томит нам негою тело, —
Знайте. Причина темна: но источника мощь знаменита.
Тот, что Меркурию был богиней рожден Кифереей,
Мальчик[174] наядами был в идейских вскормлен пещерах.
Было лицо у него, в котором легко узнавались
Сразу и мать и отец; и носил он родителей имя.
Вот, как только ему пятнадцать исполнилось, горы
Бросил родимые он и, оставив кормилицу Иду,
По неизвестным местам близ рек блуждать неизвестных
Стал, на утеху себе умеряя труды любознаньем.
В грады ликийские раз он зашел и к соседям ликийцев,
Карам. Он озеро там увидал, чьи воды прозрачны
Были до самого дна. А рядом — ни трости болотной,
Ни камыша с заостренным концом, ни бесплодной осоки.
В озере видно насквозь. Края же озерные свежим
Дерном одеты кругом и зеленою вечно травою.
Нимфа в том месте жила, но совсем не охотница; лука
Не напрягала, ни с кем состязаться она не хотела
В беге, одна меж наяд неизвестная резвой Диане.
Часто — ходила молва — говорили ей будто бы сестры:
«Дрот, Салмакида, возьми иль колчан, расписанный ярко,
Перемежи свой досуг трудами суровой охоты!»
Дрот она все ж не берет, ни колчан, расписанный ярко,
Перемежить свой досуг трудами не хочет охоты.
То родниковой водой обливает прекрасные члены,
Или же гребнем своим киторским[175] волосы чешет;
Что ей подходит к лицу, глядясь, у воды вопрошает;
То, свой девический стан окутав прозрачным покровом,

Или на нежной листве, иль на нежных покоится травах,
То собирает цветы. Однажды цветы собирала
И увидала его и огнем загорелась желанья.
Быстро к нему подошла Салмакида, — однако не прежде,
Чем приосанилась, свой осмотрела убор, выраженьем
Новым смягчила черты и действительно стала красивой.
И начала говорить: «О мальчик прекраснейший, верю,
Ты из богов; а ежели бог, Купидон ты наверно!
Если же смертный, тогда и мать и отец твой блаженны,
Счастлив и брат, коль он есть, и также сестра, несомненно —
Благо и ей, и кормилице, грудь дававшей младенцу,
Все же блаженнее всех — и блаженнее много — невеста.
Если ее ты избрал и почтишь ее светочем брачным.
Если невеста уж есть, пусть тайной страсть моя будет!
Нет — я невеста тебе, войдем в нашу общую спальню!»
Молвив, замолкла она, а мальчик лицом заалелся.
Он и не знал про любовь. Но стыдливость его украшала.
Цвет у яблок такой на дереве, солнцу открытом,
Так слоновая кость, пропитана краской, алеет,
Так розовеет луна при тщетных меди призывах.[176]
Нимфе, его без конца умолявшей ей дать поцелуи,
Братские только, рукой уж касавшейся шеи точеной, —
«Брось, или я убегу, — он сказал, — и все здесь покину!»
Та испугалась. «Тебе это место вполне уступаю,
Гость!» — сказала, и вот как будто отходит обратно.
Но озиралась назад и, в чащу кустарника скрывшись,
Спряталась там и, присев, подогнула колено. А мальчик,
Не наблюдаем никем, в муравах луговины привольной
Ходит туда и сюда и в игриво текущую воду
Кончик ноги или всю до лодыжки стопу погружает.
Вот, не замедля, пленен ласкающих вод теплотою,
С нежного тела свою он мягкую сбросил одежду.
Остолбенела тогда Салмакида; страстью пылает
К юной его наготе; разгорелись очи у нимфы
Солнцу подобно, когда, окружностью чистой сияя,
Лик отражает оно в поверхности зеркала гладкой.

Дольше не в силах терпеть, через силу медлит с блаженством,
Жаждет объятий его; обезумев, сдержаться не может.
Он же, по телу себя ударив ладонями, быстро
В лоно бросается вод и руками гребет очередно,
Виден в прозрачных струях, — изваяньем из кости как будто
Скрытое гладким стеклом или белая лилия зрится.
«Я победила, он мой!» — закричала наяда и, сбросив
С плеч одеянья свои, в середину кидается влаги,
Силою держит его и срывает в борьбе поцелуи,
Под руки снизу берет, самовольно касается груди,
Плотно и этак и так прижимаясь к пловцу молодому.
Сопротивляется он и вырваться хочет, но нимфой
Он уж обвит, как змеей, которую царственной птицы[177]
К высям уносит крыло. Свисая, змея оплетает
Шею и лапы, хвостом обвив распростертые крылья;
Так плющи по древесным стволам обвиваются стройным,
Так в морской глубине осьминог, врага захвативший,
Держит его, протянув отовсюду щупалец путы.
Правнук Атлантов меж тем упирается, нимфе не хочет
Радостей чаемых дать. Та льнет, всем телом прижалась,
Словно впилась, говоря: «Бессовестный, как ни борись ты,
Не убежишь от меня! Прикажите же, вышние боги,
Не расставаться весь век мне с ним, ему же со мною!»
Боги ее услыхали мольбу: смешавшись, обоих
Соединились тела, и лицо у них стало едино.
Если две ветки возьмем и покроем корою, мы видим,
Что, в единенье растя, они равномерно мужают, —
Так, лишь члены слились в объятии тесном, как тотчас
Стали не двое они по отдельности, — двое в единстве:
То ли жена, то ли муж, не скажешь, — но то и другое.
Только лишь в светлой воде, куда он спустился мужчиной,
Сделался он полумуж, почувствовав, как разомлели
Члены, он руки простер и голосом, правда, не мужа, —
Гермафродит произнес: «Вы просьбу исполните сыну, —
О мой родитель и мать, чье имя ношу обоюдно:
Пусть, кто в этот родник войдет мужчиной, отсюда

Выйдет — уже полумуж, и сомлеет, к воде прикоснувшись».
Тронуты мать и отец; своему двоевидному сыну
Вняли и влили в поток с подобающим действием зелье».
Кончился девы рассказ. И опять Миниэя потомство
Дело торопит, не чтит божества и праздник позорит.
Но неожиданно вдруг зашумели незримые бубны,
Резко гремя, раздается труба из гнутого рога
И звонкозвучная медь. Пахнуло шафраном и миррой.
И, хоть поверить нет сил, — зеленеть вдруг начали ткани,
И, повисая, как плющ, листвою покрылась одежда.
Часть перешла в виноград; что нитями было недавно,
Стало усами лозы. Из основы повыросли листья.
Пурпур блеск придает разноцветным кистям виноградным.
День был меж тем завершен, и час приближался, который
Не назовешь темнотой, да и светом назвать невозможно, —
Лучше границей назвать меж днем и неявственной ночью.
Кровля вдруг сотряслась; загорелись, огнем изобильны,
Светочи; пламенем дом осветился багряным, и словно
Диких зверей раздалось свирепое вдруг завыванье.
Стали тут сестры в дому скрываться по дымным покоям,
Все по различным углам избегают огня и сиянья,
Все в закоулки спешат, — натянулись меж тем перепонки
Между суставов у них, и крылья связали им руки.
Как потеряли они свое былое обличье,
Мрак не дает угадать. От крыльев легче не стали.
Все же держались они на своих перепонках прозрачных.
А попытавшись сказать, ничтожный, сравнительно с телом,
Звук издают, выводя свои легкие жалобы свистом.
Милы им кровли, не лес. Боятся света, летают
Ночью и носят они в честь позднего вечера имя.[178]
Стала тогда уже всем действительно ведома Фивам
Вакха божественность. Всем о могуществе нового бога
Ино[179] упорно твердит, что меж сестрами всеми одна лишь
Чуждой осталась беды, — кроме той, что ей сделали сестры.
И увидав, как гордилась она и царем Атамантом,
Мужем своим, и детьми, и богом-питомцем, Юнона

Гордости той не снесла и подумала: «Мог же блудницы
Сын изменить меонийских пловцов[180] и сбросить в пучину,
Матери дать растерзать мог мясо ее же младенца,
Новыми мог он снабдить дочерей Миниэя крылами!
Что же, Юнона ужель лишь оплакивать может несчастье?
Это ль меня удовольствует? Власть моя в этом, и только?
Сам ты меня научил: у врага надлежит поучиться.
Сколь же безумия мощь велика, он Пенфея убийством
Сам сполна доказал. Нельзя ли ее подстрекнуть мне,
Чтоб по примеру родных предалась неистовству Ино?»
Есть по наклону тропа, затененная тисом зловещим,
К адским жилищам она по немому уводит безлюдью.
Медленный Стикс испаряет туман; и новые тени
Там спускаются вниз и призраки непогребенных.
Дикую местность зима охватила и бледность; прибывшим
Душам неведомо, как проникают к стигийскому граду,
Где и свирепый чертог обретается темного Дита[181].
Тысячу входов и врат отовсюду открытых имеет
Этот вместительный град. Как море — земные все реки,
Так принимает и он все души; не может он тесным
Для населения стать, — прибавление толп не заметно.
Бродят бесплотные там и бескостные бледные тени,
Площадь избрали одни, те — сени царя преисподних,
Те занялись ремеслом, бытию подражая былому;
Неба покинув дворец, туда опуститься решилась, —
Столь была гнева полна, — Сатурново семя, Юнона.
Только вошла, и порог застонал, придавлен священным
Грузом, три пасти свои к ней вытянул Цербер и трижды
Кряду брехнул. А она призывает сестер,[182] порожденных
Ночью, суровых богинь, милосердия чуждых от века.
Те у тюремных дверей, запертых адамантом,[183] сидели,
Гребнем черных гадюк все три из волос выбирали.
Только узнали ее меж теней в темноте преисподней,
Встали богини тотчас. То место зловещим зовется.
Титий свое подвергал нутро растерзанью, на девять
Пашен растянут он был. А ты не захватывал, Тантал,

Капли воды; к тебе наклонясь, отстранялися ветви.
На гору камень, Сизиф, толкаешь — он катится книзу.
Вертится там Иксион за собой, от себя убегая;[184]
И замышлявшие смерть двоюродных братьев Белиды
Возобновляют весь век — чтоб снова утратить их — струи.
После того как на них взглянула Сатурния злобным
Взором, раньше других увидав Иксиона и кинув
Взгляд на Сизифа опять, — «Почему лишь один он из братьев
Терпит бессрочную казнь, Атамант же надменный, — сказала, —
Знатным дворцом осенен? — а не он ли с женой презирали
Вечно меня?» Объясняет свой гнев и приход, открывает
И пожеланье свое. А желала, чтоб рушился Кадма
Царственный дом, чтобы в грех Атаманта впутали сестры.
Власть, обещанья, мольбы — все сливает она воедино
И убеждает богинь. Едва лишь сказала Юнона
Так, — Тисифона власы, неприбрана, тотчас встряхнула
Белые и ото рта нависших откинула гадин
И отвечала: «Тут нет нужды в околичностях долгих:
Все, что прикажешь, считай совершенным. Немилое царство
Брось же скорей и вернись в небесный прекраснейший воздух».
Радостно та в небеса возвратилась. Ее перед входом
Чистой росой Таумантова дочь, Ирида, умыла;
А Тисифона, тотчас — жестокая — смоченный кровью
Факел рукою зажав, и еще не просохший, кровавый
Плащ надела и вот, змеей извитой подвязавшись,
Из дому вышла. При ней Рыдание спутником было,
Смертный Ужас, и Страх, и Безумье с испуганным ликом.
Вот у порога она: косяки эолийские — молвят —
Затрепетали, бледны вдруг стали кленовые створы,
Солнце бежало тех мест. Чудесами испугана Ино,
В ужасе и Атамант. Готовились из дому выйти, —
Выход Эриния им заступила зловещей преградой:
Руки она развела, узлами гадюк обвитые,
Вскинула волосы, змей потревожила, те зашипели.
Часть их лежит на плечах, другие, спустившись по груди,
Свист издают, извергают свой яд, языками мелькают.

Из середины волос двух змей она вырвала тотчас
И, в смертоносной руке их зажав, метнула. У Ино
И Атаманта они по груди заползали обе,
Мрачные помыслы в них возбуждая. Но тела не ранят
Вовсе: одна лишь душа уколы жестокие чует.
Также с собой принесла и ужасного жидкого яду,
Пены из Цербера уст и отравы из пасти Ехидны,
И заблужденье ума, и слепого забывчивость духа,
И преступленье, и плач, и свирепость, и тягу к убийству.
Все это перетерев и свежею кровью разбавив,
В медном сварила котле, зеленой мешая цикутой.
Перепугались они, а богиня неистовый яд свой
В грудь им обоим влила и глубоко сердца возмутила.
Ровным движеньем потом раскачивать стала свой факел,
Двигая быстро его и огнями огни догоняя.
Так, исполнив приказ, с победой в пустынное царство
Дита она отошла и змею на себе развязала.
Миг, — и уже Эолид, в серединном беснуясь покое,
Кличет: «Эй, други, скорей растяните-ка по лесу сети!
Только что видел я тут при двух детенышах львицу!»
И, как за зверем, бежит по следам супруги, безумец,
И с материнской груди младенца Леарха, который
Ручки, смеясь, протянул, хватает; и дважды и трижды,
Словно пращу закрутив, разбивает, жестокий, о камень
Личико детское. Тут, наконец, и мать заметалась, —
Мука ль причиной была иль разлитие яда, но только
Взвыла она, вне себя, и, власы распустив, побежала.
И, унося, Меликерт, тебя на руках обнаженных, —
«Вакх, эвоэ́!» — голосит. При имени Вакха Юнона
Захохотала: «Тебе пусть поможет, — сказала, — питомец!»
В море свисает скала; из-под низу ее размывают
Волны; она от дождей защищает прикрытую заводь;
Вверх выдается, челом протянувшись в открытое море.
Ино вбежала туда, — ей безумие придало силу, —
И со скалы в глубину, забыв о каком-либо страхе,
Бросилась с ношей своей. Сотрясенные вспенились воды.

Тронута внучки меж тем незаслуженным горем, Венера
К дяде ласкается так: «Нептун, о вод повелитель,
Первое после небес имеющий в мире державство, —
Просьба моя велика, но близких моих пожалей ты,
Что у тебя на глазах в ионийскую кинулись бездну!
К моря богам их причти, — если только любезна я морю,
Если в божественной я глубине в дни оные сгустком
Пены была и от ней сохраняю по-гречески имя!»[185]
Внял молящей Нептун и все, что в них смертного было,
Отнял, взамен даровав могущество им и величье.
Он одновременно им обновил и наружность и имя:
Богом он стал Палемоном, а мать Левкотеей богиней.
Сколько достало их сил, за ней из Сидона подруги
Шли и у края скалы след ног увидали недавний,
В смерти ж ее убедясь, о доме Кадмеида плакать
Стали, в ладони бия, себе волосы рвали и платья.
Несправедливость хуля и чрезмерную злобу Юноны
К прежней сопернице, в гнев богиню ввели. Не Юноне
Брань выносить, — «Из самих вас памятник сделаю, — молвит, —
Ярости лютой моей!» И за словом не медлило дело.
Та, что преданней всех их была, — «Отправляюсь, — сказала, —
В волны, царице вослед!» — и прыгнуть хотела, да только
С места сойти не смогла и к скале прикрепленной осталась.
Вот, как положено, в грудь ударять собиралась другая
С воплем, но чувствует вдруг: коченеют недвижные руки.
Эта лишь руки свои простерла к широкому морю, —
Так, вдруг каменной став, руками и тянется к морю.
А у другой, что, вцепившись, рвала себе волосы в горе,
Ты увидал бы, — персты в волосах отвердели внезапно.
Кто в положенье каком застигнут, стоит и поныне.
Часть превратилась в птиц. Над той пучиной поныне
Режут поверхность воды оконечностью крыл Исмениды.
Агенорид[186] и не знал, что дочь их и внук малолетний
Стали богами морей. Побежденный несчастьем и рядом
Бедствий и многих чудес, представших ему, оставляет

Город создатель его, как будто он града судьбою,
А не своею гоним. И вот, после долгих блужданий,
Вместе с беглянкой-женой иллирийских достиг он пределов.[187]
Там, под грузом и бед и годов, они вспоминают
Дом их постигший удар и труды исчисляют в беседе:
«Оный уж не был ли свят, моим копьем пораженный,
Змей? — так Кадм говорит, — когда, из Сидона пришедши,
В землю — новый посев — побросал я те зубы гадючьи?
Если так явственно мстит за него попеченье бессмертных,
Сам став змеем, — молю, — пусть долгим вытянусь чревом!»
Молвит, и вот уже — змей — простирается долгим он чревом,
Чувствует: кожа его, затвердев, чешуей обрастает,
А почерневшая плоть голубым расцвечается крапом.
Он припадает на грудь; между тем, воедино сливаясь,
В круглый и острый хвост понемногу сужаются ноги.
Руки остались одни; и поскольку лишь руки остались,
Их протянул он в слезах, по лицу человечьему текших, —
«Ты подойди, о жена, подойди, о несчастная! — молвил, —
Тронь мою руку, пока от меня хоть часть сохранилась,
Это — рука моя, тронь же ее, покамест не весь я
Змей», — хотел продолжать, но вдруг у него разделился
Надвое прежний язык, и ему, говорящему, слова
Недостает, и едва он жалобу высказать хочет —
Свист издает; этот голос ему сохранила природа.
И восклицает жена, в обнаженную грудь ударяя:
«Кадм, останься и скинь — о несчастный! — чудовищный образ!
Кадм, что же это? О, где твои ноги? Где плечи и руки,
Кожа, лицо, — но пока говорю, — остальное исчезло.
Боги, зачем и меня вы таким же не сделали змеем?»
Молвила. Он же лизал уста супруги любимой,
К груди, любезной ему, подползал, узнавая как будто;
Нежно ее обнимал и ластился к шее знакомой.
Все, кто были при том, — их спутники, — в страхе; она же
Скользкую шею меж тем гребнистого гладит дракона.
Вдруг их сделалось — два, — поползли, заплетаясь телами,

И незаметно ушли в тайники близлежащей дубравы.
Ныне людей не бегут, никому не вредят, не кусают, —
Чем были прежде они, миролюбные помнят драконы!
Но утешеньем для них в изменении прежнего вида
Стал их божественный внук,[188] что был покоренной им признан
Индией; славя кого, воздвигала Ахаия храмы.
Сын лишь Абанта один, Акризий, из рода того же[189]
Происходящий, его к стенам арголийской столицы
Не допускает, идет против бога с оружьем, не веря,
Что Громовержца он сын. Не верил он, что Громовержца
Сын и Персей, от дождя золотого зачатый Данаей,
Вскоре, однако же, он — таково всемогущество правды! —
Горько раскаялся в том, что бога обидел и внука
Не захотел признавать. Один был на небе. Другой же,
Шкуру, полную змей, унося — незабвенную ношу, —
Ласковый воздух тогда шумящими крыльями резал.
В Ливии знойной как раз над пустыней парил победитель, —
Капли крови в тот миг с головы у Горгоны упали, —
Восприняла их Земля и змей зачала разнородных.
Земли гадюками там обильны теперь и опасны.
Так, на просторе несясь, гоним несогласием ветров,
Он и туда и сюда, дождевой наподобие тучки,
Мчится, с эфирных высот на далеко лежащие земли
Взор свой наводит и круг целиком облетает вселенной.
Трижды он Рака клешни и Аркты холодные видел;
То на Восток уносило его, то обратно на Запад.
Вот, при спадении дня, опасаясь довериться ночи,
Он в гесперийском краю опустился, в Атлантовом царстве.
Отдыха краткого там он ищет, доколе не вывел
Люцифер в небо Зарю, а Заря — колесницу дневную.
Здесь, всех в мире людей превзошедший громадою тела,
Сын жил Япетов, Атлант. Над самой он крайней землею,
Также над морем царил, что Солнца коням утомленным
Вод подставляет простор и усталые оси приемлет.
Тысяча стад там бродила овец, и крупного столько ж
Было скота; земли́ там ничье не стесняло соседство.

Неких деревьев листва — из лучистого золота зелень —
Там золотые суки и плоды золотые скрывала.
Молвил Атланту Персей: «Хозяин, коль можешь быть тронут
Рода величием ты, так мой прародитель — Юпитер!
Если деяньем людей ты дивишься, дивись же и нашим.
Гостеприимства прошу я и отдыха!» Тот же о древнем
Помнил вещанье, из уст прозвучавшем парнасской Фемиды:
«Время настанет, Атлант, и ограблено золото будет
Древа, и лучшая часть достанется Зевсову сыну».
И, убоявшись, Атлант обнес сплошною стеною
Яблони, их сторожить поручив великану-дракону,
И из чужих никого к своим не пускал он пределам.
А пришлецу говорит: «Уходи, иль тебе не поможет
Подвигов слава, тобой сочиненных, ни даже Юпитер!»
Силой угрозы сменив, отогнать его тщится руками.
Тот же, к мирным словам добавляя и строгие, медлит.
Силою он послабей — но кто же сравнится с Атлантом
Силою? — «Если моей дорожишь ты столь мало приязнью,
Дар мой прими!» — говорит; и, видом ужасное, слева
Сам отвернувшись, к нему лицо протянул он Медузы.
С гору быв ростом, горой стал Атлант; волоса с бородою
Преобразились в леса, в хребты — его плечи и руки;
Что было раньше главой, то стало вершиною горной;
Сделался камнем костяк. Во всех частях увеличась,
Вырос в громадину он, — положили так боги, — и вместе
С бездной созвездий своих на нем упокоилось небо.
Вот заключил Гиппотад[190] в темницу извечную ветры,
И возбудитель трудов, всех ярче в небе высоком,
Люцифер встал. Персей, вновь крылья взяв, привязал их
Справа и слева к ногам и, меч свой кривой подпоясав,
Ясный стал резать простор, крылами махая сандалий,
Неисчислимо вокруг и внизу оставляя народов.
Он эфиопов узрел племена и Кефеевы долы.[191]
Немилосердный Аммон неповинную там Андромеду
За материнский язык в то время подверг наказанью.
Только лишь к твердой скале прикованной за руки деву

Абантиад[192] увидал, — когда бы ей веянье ветра
Не шевелило волос и не капали теплые слезы,
Он порешил бы, что мрамор она, — огнем безотчетным
Вдруг загорелся и стал недвижим. Красою плененный,
Чуть не забыл ударять он по воздуху взмахами крыльев.
Только лишь стал, говорит: «Цепей не таких ты достойна,
Но лишь поистине тех, что горячих любовников вяжут.
Мне ты ответь и открой свое и земли твоей имя
И почему ты в цепях!» Но она все молчит и не смеет —
Дева — с мужчиною речь завести; стыдливое скрыла б,
Верно, руками лицо, когда не была бы в оковах.
Все, что сделать могла, — наполнить слезами зеницы.
Был он настойчив, тогда — чтоб ему не могло показаться,
Будто скрывает вину, — и свое и родины имя
И до чего ее мать на свою красоту уповала,
Передает. Обо всем помянуть не успела, как воды
Вдруг зашумели, и вот, из бездны морской показавшись,
Выступил зверь, широко зыбь грудью своей покрывая.
Вскрикнула дева. Отец опечаленный с матерью рядом —
Оба несчастны они, но матери горе законней.
Только не помощь, увы, а достойные случая слезы,
Плач своей деве несут, прильнули к плененному телу.
Гость же им говорит: «Для слез впереди у вас будет
Времени много, но час для помощи дан вам короткий.
Если ее попрошу, — Персей, сын Зевса и девы,
Запертой, той, кого плодоносным он златом наполнил, —
Я одолитель — Персей — змеевласой Горгоны, который
В веющий воздух лететь, взмахнув крылами, решился, —
Буду наверно как зять другим предпочтен. И заслугу
К брачным добавить дарам попытаюсь, — лишь боги бы дали!
Доблестью ей послужу, и да будет моей, — вот условье!»
Те принимают его, — кто бы стал колебаться? Взмолились
Мать и отец и ему обещают в приданое царство.
Словно корабль, что, вперед окованным пущенный носом,
Воды браздит, гребцов вспотевшими движим руками,
Зверь тот, волны погнав налегающей грудью, настолько

Был уже близок от скал, насколько пращой балеарской
Кинутый может свинец, крутясь, пролетать по пространству.
Юноша, в этот же миг от земли оттолкнувшись ногами,
Ввысь полетел, к облакам, — и едва на морскую поверхность
Мужа откинулась тень, на тень зверь бросился в злобе.
Как Громовержца орел, усмотревший на поле пустынном
Змея, что солнцу свою синеватую спину подставил,
Сзади хватает его и, чтоб уст не успел обратить он
Хищных, вонзает в хребет чешуйчатый жадные когти, —
Так, пространство своим прорезав быстрым полетом,
Спину чудовища сжал Инахид[193] и рычащему зверю
В правое вставил плечо свой меч до кривой рукояти.
Тяжкою раною той уязвлен, взвивается в воздух
Зверь, то уходит в волну, то кидается словно свирепый
Вепрь, что стаей собак устрашен, вкруг лающих громко.
Жадных укусов Персей на быстрых крылах избегает:
Все, что открыто — хребет с наростами раковин полых,
Ребра с обоих боков и место, где хвост, утончаясь,
Рыбьим становится, — он поражает мечом серповидным.
Воду потоком меж тем вперемежку с багряною кровью
Зверь извергает. Уже тяжелеют намокшие крылья,
И уж не смеет Персей довериться долее взбухшей
Обуви; видит скалу, которая самой вершиной
Встала из тихой воды, но скрывается вся при волненье,
И, об утес опершись и держась за вершину рукою,
Трижды, четырежды он пронзает утробу дракона.
Рукоплесканье и клик наполнили берег и в небе
Сени богов. Веселятся душой и приветствуют зятя
С Кассиопеей Кефей, зовут избавителем оба,
Дома опорой. Меж тем от оков разрешенная дева
Шагом свободным идет — причина трудов и награда!
Он же, воды зачерпнув, омывает геройские руки
И, чтобы жесткий песок не тер головы змееносной,
Вниз настилает листвы и в воде произросшие тростья
И возлагает на них главу Форкиниды[194] Медузы.
Каждый росток молодой с еще не скудеющим соком,

Яд чудовища впив, мгновенно становится камнем;
Стебли его и листва обретают нежданную крепость.
Нимфы морские, дивясь, испытуют чудесное дело
Тотчас на многих стеблях, — и сами, того достигая,
Рады, и вот семена все обильнее в воду бросают.
Так и осталось досель у кораллов природное свойство:
Только их воздух коснись — и сразу становятся тверды;
Что было в море лозой, над водою становится камнем.
Трем божествам он три алтаря устроил из дерна:
Левый, Меркурий, тебе, а правый — воинственной деве,[195]
Средний Юпитеру в честь. Минерве заклали телицу,
Богу с крылами тельца, тебе же быка, Наивышний!
И не замедля, тотчас Андромеду — награду за подвиг —
Он без приданого взял: потрясают Амур с Гименеем
Светочи свадьбы, огни благовоньем насыщены щедро,
С кровель цветов плетеницы висят, и лиры повсюду,
Трубы и песни звучат, — счастливые знаки веселья.
В доме распахнуты все половины дверные, и настежь
Атрий открыт золотой, и на царский, в прекрасном убранстве,
Пышно устроенный пир кефенская знать прибывает.
С трапезой кончив, когда дарами щедрого Вакха
Повозбудились умы, о нравах тех мест и народах
…[196]
Спрашивать начал Линкид,[197] — про дух их мужей и обычай.
…[198]
И отвечавший ему, — «Теперь, о храбрейший, — воскликнул, —
Молви, молю я, Персей, каким ты приемом, какою
Доблестью мог отрубить главу, чьи волосы — змеи».
И повествует Персей, что лежит под холодным Атлантом
Место одно, а его защищает скалистая глыба
И что в проходе к нему обитают тройничные сестры,
Форка дочери, глаз же один им служит, всем общий.
Как он, хитро, изловчась, при его передаче, тихонько
Руку подсунул свою, овладел тем глазом; и скалы,
Скрытые, смело пройдя с их страшным лесом трескучим,

К дому Горгон подступил; как видел везде на равнине
И на дорогах — людей и животных подобья, тех самых,
Что обратились в кремень, едва увидали Медузу;
Как он, однако, в щите, что на левой руке, отраженным
Медью впервые узрел ужасающий образ Медузы;
Тяжким как пользуясь сном, и ее и гадюк охватившим,
Голову с шеи сорвал: и еще — как Пегас[199] быстрокрылый
С братом его родились из пролитой матерью крови.
Вспомнил неложные он опасности долгого лёта;
Что за моря, что за земли он зрел с высоты под собою,
Также созвездий каких касался взмахами крыльев.
Но замолчал он скорей, чем того ожидали. И задал
Некто, один из вельмож, вопрос: из сестер почему же
Волосы только одной перемешаны змеями были?
Гость же в ответ: «Раз ты вопросил о достойном рассказа,
Дела причину тебе изложу. Красотою блистая,
Многих она женихов завидным была упованьем.
В ней же всего остального стократ прекраснее были
Волосы. Знал я людей, утверждавших, что видели сами.
Но говорят, что ее изнасиловал в храме Минервы
Царь зыбей. И Юпитера дщерь отвернулась, эгидой
Скрыв целомудренный лик. Чтоб грех не остался без кары,
В гидр ужасных она волоса обратила Горгоны.
Ныне, чтоб ужасом тем устрашать врагов оробевших,
Ею же созданных змей на груди своей носит богиня».

КНИГА ПЯТАЯ

Персей и женихи (1—236); Персей и Прет (237—242); Персей и Полидект (243—250); Иппокрена (251—293); Пиериды (294—336); Тифей (337—359); Прозерпина (360—408); Кианея (409—437); стелион (438—461); Церера (462—532); Аскалаф (533—550); Сирены (551—563); Прозерпина (564—571); Аретуза (572—641); Триптолем (642—661); Пиериды (662—678).

Так Данаев герой в кругу вспоминает кефенов
Подвиги, а между тем толпою шумящею сени
Царские полнятся вдруг; не крик то, которым обычно
Свадебный праздник гремит, но дикого боя предвестье!
Этот прервавшийся пир, превратившийся сразу в смятенье,
Можно бы с морем сравнить, сначала спокойным, чьи воды,
Яростно вдруг налетев, взволнуют свирепые ветры.
Первый меж ними Финей, зачинатель сражения дерзкий,
Ясень упругий копья с медяным концом потрясая, —
«Здесь я, здесь! — говорит, — за хищенье супруги отмститель!
Ныне ни крылья тебя, ни Юпитер, себя обративший
В золото, уж не спасут!» И метнуть уж пытался, но, — «Что ты
Делаешь? — крикнул Кефей, — что за мыслью безумной ты движим
На преступление, брат? Благодарность такую ль заслугам
Стольким воздать? То брачный ли дар за спасение девы?
И не Персей у тебя ее отнял, — коль в истину вникнешь, —
Но приговор Нереид, суровый Аммон рогоносный,
Чудище бездны морской, что нежданно из волн приходило
Жрать утробу мою. Не похить он вовремя деву,
Ей бы не жить. Для нее ты требуешь, жестокосердный,
Гибели вновь, чтобы скорбью моей самому веселиться?
Не удовольствован ты, что ее при тебе оковали;
Ты же, — и дядя ее и жених, — никак не помог ей!
Да и прискорбно тебе, что спасенье пришло от другого,
Что ускользнула из рук? Коль ее столь ценной считаешь,

Сам бы деву забрал на скале, где ее приковали!
Ныне тому, кто забрал, чрез кого моя старость не сира,
Дай получить, что заслужено им и обещано словом.
Он ведь, пойми, не тебе предпочтен, но погибели верной».
Тот промолчал; но, вращая главой, на него и Персея
Смотрит, не зная и сам, на того ли напасть, на другого ль.
Миг лишь помедлил, и вот копье напряженное, силой,
Приданной гневом ему, метнул — но мимо — в Персея.
В ложе застряло оно, и Персей наконец с покрывала
Прянул и, верно, копья ответным ударом, свирепый,
Грудь прободал бы врага, когда бы Финей не укрылся
За алтарем и — позор! — был на пользу алтарь негодяю.
Но промахнувшись, копье в лоб Рета, однако, вонзилось.
Вот он упал, и тотчас исторглось из кости железо;
Бьется он, кровью своей орошает столы пированья.
Неукротимым толпа загорелася гневом, кидают
Копья. Иные нашлись, возглашавшие громко, что с зятем
Должен пасть и Кефей. Но как раз в это время из дома
Вышел Кефей: призывал в свидетели право и правду,
Гостеприимство богов, — что противился этому буйству.
Брани богиня,[200] в тот миг представ, эгидой прикрыла
Брата, и дух в нем окреп. При этом был Атис, индиец,
Что, по преданью, рожден Лимнеей, дочерью Ганга,
В водах хрустальных его, — знаменит красотою, убором
Пышным удвоенной, юн, всего лишь шестнадцатилетний,
Тирской хламидой одет, с золотою по краю каймою;
Шею его украшали еще ожерелья златые,
Волосы гребнем кривым украшались, напитаны миррой.
Он хоть и был научен попадать на любом расстоянье
Дротиком в цель, — но ловчей тетиву натягивал лука.
Вот, меж тем как рога неспешной сгибал он рукою,
Вмиг изловчился Персей, полено схватил, что дымилось
На алтаре, и лица раздробил ему вдребезги кости.
Тотчас, едва увидал, как ликом пленительным бьется
Тот, простертый в крови, Ликабант ассириец, ближайший
Друг и товарищ его, глубокой любви не скрывавший,

Вмиг испустившего дух от тягостной раны оплакав
Юношу Атиса, лук, который натягивал Атис,
Выхватил и закричал: «Теперь ты со мною сразишься!
Отрока гибель тебе ненадолго веселием будет,
Ненависть ею верней, не хвалу обретешь!» Не успел он
Молвить — стрела с тетивы сорвалась, заостренная дивно.
Тот отстранился, она ж застряла в складчатом платье.
Тут обратил на него, знаменитый убийством Медузы,
Меч свой Акризия внук и вонзил ему в грудь, и, кончаясь,
Взором, блуждавшим уже под теменью ночи, окинул
Атиса друг неизменный его и, к нему наклонившись,
К манам подземным унес утешенье, что умерли вместе!
Вот сиенец Форбант, Метиона дитя, и либиец
Амфимедон, завязать пожелавшие бой, поскользнувшись
В теплой крови, от которой земля широко задымилась,
Наземь упали. Им меч подняться уже не позволил,
В горло Форбанта вонзясь, другому же в ребра проникнув.
А на Эрита Персей, Акторова сына, который
Сжал двусторонний топор, кривого меча не направил:
В обе руки он схватил глубокой резьбою покрытый
Тяжкого веса кратер, размером огромный, и бросил
В мужа. Тот же изверг багровую кровь и, на землю
Навзничь упав головой, умирая, колотится об пол.
Вот Полидаймон, чей род происходит от Семирамиды,
Вот Ликет Сперхеяд, Абарид, уроженец Кавказа,
Клит, Флегиат и волос не стригший с рождения Гелик, —
Все сражены, и, свиреп, умирающих топчет он груды.
И не решился Финей сойтись с неприятелем в схватке,
Дрот запустил он, но тот уклонился ошибочно в Ида,
Тщетно отвергшего бой, не поднявшего вовсе оружья.
Этот, грозно в упор на Финея свирепого глядя, —
«Если ты в бой вовлекаешь меня, — промолвил, — узнай же,
Сделал кого ты врагом, и за рану уплачивай раной!»
Он уж ответить хотел копьем, извлеченным из тела,
Но обескровлен, упал, слабеющим телом поникнув.
Вот и Одит, за царем первейший в народе Кефенов,

Пал, Клименом пронзен, Гипсей проколол Протенора;
Сам от Линкида погиб. Был тут и древний летами
Эматион, богов почитатель и правды блюститель.
Он, хоть уж годы ему воевать воспрещали, словами
Ратует, вышел вперед и клянет нечестивую бойню.
Но, между тем как алтарь он дрожащими обнял руками,
Голову Хромид ему мечом отрубил, и упала
Та на алтарь, и проклятий слова языком полумертвым
Вымолвил Эматион и дух испустил меж огнями.
Два близнеца Бротеад и Аммон, что в бою на кулачках
Непобедимы, — когда б кулаками мечи побеждались! —
Пали, — сразил их Финей, — и священнослужитель Цереры,
Ампик, чья голова белоснежной повязана лентой,
Пал и ты, Лампетид, не к подобным призванный битвам,
Но к содроганию струн и голоса, — мирному делу, —
Призванный славить пиры, возвеличивать празднества пеньем!
Вот, меж тем как вдали он стоял с невоинственным плектром,
Петтал, насмешлив, — «Пропой остальное ты манам стигийским!» —
Крикнул и в левый висок наконечник вонзил ему дрота.
Пал на землю, но все полумертвые пальцы касались
Лирных струн: нечаянно звук раздался плачевный.
Но без возмездия пасть не позволил Ликорм ему лютый:
С правой дверной вереи засов сорвал он дубовый,
Череп ему раскроил посредине, и тот повалился
Наземь, как падает бык, пораженный секирой. Тотчас же
Снять попытался засов дубовый и с левой верейки
Сын Кинифеев, Пелат; но пронзил ему правую руку
Мармаридянин Корит, пригвоздив ее к дереву двери.
Абант висящего бок поразил; и тот не свалился,
Но, к косяку прикреплен, повис на руке, умирая.
Вот распростерт Менелай, за Персея поднявший оружье,
Назамонийских полей, Дорил, богатейший хозяин, —
Тот богатейший Дорил, — никто не владел столь обширной
В крае землей, не сбирал в изобилье таком благовоний.
Брошено косо, копье в паху у Дорила застряло.

Место смертельное пах. Лишь раны виновник, бактриец
Галкионей увидал, что прерывисто тот испускает
Дух и глаза закатил, промолвил: «Земля под ступнями —
Вот все владенья твои!» — и бескровное тело покинул.
Бросил в бактрийца копье, из раны горячей исторгнув,
Мститель, Абанта внук, и оно сквозь ноздри проникло,
Через затылок прошло и с обеих сторон выступало.
Руку Фортуна сама направляет; и Клитий и Кланий
Матери дети одной, по-разному ранены были:
Клитию ясень пронзил, тяжелою пущен рукою,
Лядвеи обе зараз; а Кланий зубами вонзился
В древко, пал Келадон, что из Мендеса, и палестинской
Матери сын Астрей, чей был неизвестен родитель;
И Этион, что умел когда-то грядущее видеть, —
Лживою птицей теперь он обманут; и оруженосец
Царский Тоакт, и Агирт, опозоренный отцеубийством…
Больше, однако, в живых оставалось. С единым покончить
Было стремленье у всех. Ополчились ряды отовсюду
Единодушно, вражда на заслугу и честь ополчилась!
Богобоязненный тесть и теща с женой молодою
Тщетно стоят за него, наполняя лишь воплями сени,
Их оружия звук и поверженных стон заглушают.
Вот осквернённых уже заливает Беллона[201] пенатов
Кровью обильной и вновь замешать поспешает сраженье,
Вот окружает его Финей и тысяча следом
Сзади Финея. Летят, многочисленней градин зимою,
Копья с обеих сторон — и глаз и ушей его мимо.
Тут-то прижался спиной он к камню огромной колонны,
Обезопасив свой тыл, к супротивным рядам обращенный, —
Их отбивает напор! Впереди напирающих слева
Был хаониец Молпей; Этемон из Набатии — справа.
Словно тигрица, когда, истомленная голодом, слышит
В разных долинах она двух стад мычанье, не знает,
Ей на какое напасть, напасть же стремится на оба, —
Так сомневался Персей, направо ему иль налево
Ринуться; все же, пронзив его голень, отбросил Молпея.

Впрок ему бегство. Меж тем Этемон не дает передышки,
Бесится, рану стремясь нанести в часть верхнюю шеи.
Не рассчитал своих сил, и надвое меч занесенный
Переломился о ствол сотрясенной ударом колонны.
И разлетелся клинок, и вонзился в гортань господина.
Но, чтобы смерть причинить, была недостаточна рана.
И между тем как тот трепетал, безоружные руки
Вытянув тщетно, мечом Персей пронзил килленийским, —
Но, как увидел, что пасть должна перед множеством доблесть, —
«Помощи, — молвил Персей, — раз вами к тому понужден я,
Буду искать у врага! Отверните же лица скорее,
Если меж вами есть друг!» — и главу он приподнял Горгоны.
«Нет, других поищи, кто твоим чудесам бы поверил!» —
Тескел сказал и готов был рукой роковое оружье
Бросить, но так и застыл изваяньем из мрамора Ампик,
Тотчас стоявший за ним, на полную доблестным духом
Грудь Линкида с мечом устремился, но в этом движенье
Окоченела рука, ни вперед, ни назад не движима.
Тотчас Нилей, что солгал, семиречным будто бы Нилом,
Он порожден, на щите обозначивший семь его устий, —
Часть из них серебром, другую же золотом, — молвил:
«Вот полюбуйся, Персей, на источники нашего рода!
К манам немым унесешь утешенье немалое в смерти,
Пав от такого, как я!» Но часть последняя речи
Вдруг прервалась, и мнится, что рот, вполовину открытый,
Хочет еще говорить, но слова не находят дороги.
«От малодушия вы, а совсем не от мощи Горгоны
Остолбенели! — бранит их Эрикс. — Накинемся вместе,
Наземь повергнем юнца с его чародейным оружьем!»
Кинуться был он готов; но землею задержаны стопы, —
Вооруженный стоит из камня недвижного образ.
Кару те все понесли по заслугам. Но воин Персея
Был там один, Аконтей; пока за Персея сражался,
Лик он Горгоны узрел и в камень тотчас обратился.
Астиагей же его, за живого сочтя, ударяет
Длинным мечом. Засвистел его меч пронзительным свистом,

Астиагей изумлен, — но принял он ту же природу,
Мраморным став, и лицо выраженье хранит изумленья.
Долгое дело — мужей имена из простого народа
Перечислять. Их двести всего после боя осталось, —
Остолбенев, все двести стоят: увидали Горгону!
Тут лишь Финей пожалел наконец о неправедной битве, —
Только что ж делать ему? Он лишь образы разные видит,
Он и своих узнает и, по имени каждого клича,
Помощи просит; не веря себе, касается ближних
Тел, — но мрамор они; отвернулся и так, умоляя,
В стороны руки простер, изъявляя покорность, и молвил:
«Ты побеждаешь, Персей: отврати это чудище, в камень
Все обращающий лик Медузы, какой бы он ни был.
О, отврати, я молю! Не злоба, не царствовать жажда
К брани подвигли меня: за супругу я поднял оружье.
Право заслугами ты приобрел, а я — ожиданьем.
Не уступил, — и мне жаль. Из всего, о храбрейший, мою лишь
Душу ты мне уступи, да будет твоим остальное!»
И говорившему так, и того, к кому сам обращался,
Видеть не смевшему, — «Что, — говорит, — о Финей боязливый,
Дать тебе ныне могу, — и дар то не малый для труса! —
Дам, ты страх свой откинь. Не обижу тебя я железом.
Наоборот, на века, как памятник некий, оставлю.
Будешь всегда на виду ты в доме у нашего тестя,
Чтобы супругу мою утешал нареченного образ!»
Молвив такие слова, он главу повернул Форкиниды
К месту, куда был Финей лицом обращен трепетавшим.
И, между тем как глаза повернуть пытался он, шея
Окоченела его, и в камень слеза затвердела.
Но умоляющий лик и уста боязливые в камне
Видны досель, о пощаде мольба и покорности знаки.
Вот победитель Персей с супругою в отчие стены
Входит. Защитник семьи, неповинности дедовой мститель,
Вот он на Прета напал: затем, что, оружием выгнав
Брата, Прет захватил твердыню Акризия силой.
Но ни оружьем своим, ни присвоенной подло твердыней

Грозных не мог одолеть он очей змееносного чуда.
Все же тебя, Полидект, небольшого правитель Серифа,
Юноши доблесть, в делах очевидная стольких, ни беды
Все же смягчить не могли. Ненавидишь упорно Персея,
Непримиримый, и нет неправому гневу предела.
Хочешь и славы лишить, утверждаешь ты, будто измыслил
Он, что Медузу убил. «Я дам тебе знак непреложный.
Поберегите глаза!» — воскликнул Персей и Медузы
Ликом царево лицо превращает он в камень бескровный.
Сопровождала досель своего златородного брата
Дева Тритония. Вот, окруженная облаком полым,
Бросив Сериф и Китн и Гиар направо оставив,
Наикратчайшим путем через море отправилась в Фивы,
На Геликон, обиталище Дев. Геликона достигнув,
Остановилась и так обратилась к сестрам ученым:
«Слава наших ушей об источнике новом достигла,
Том, что копытом пробил в скале Быстрокрылец Медузы.[202]
Ради того я пришла. Я хотела чудесное дело
Видеть. Я зрела, как сам он из крови возник материнской».
«Ради чего б ни пришла, — отвечала Урания,[203] — в наши
Сени, богиня, всегда ты нашему сердцу желанна!
Верен, однако же, слух: Пегасом тот новый источник
Был изведен», — и свела Тритонию к влаге священной.
Долго дивилась воде, от удара копыта потекшей,
Обозревала потом и лесов вековечные чащи,
Своды пещер и луга, где цветы без счета пестрели,
И назвала Мнемонид[204] счастливыми и по занятьям,
И по урочищам их. Одна из сестер ей сказала:
«О, если б доблесть твоя не влекла тебя к бóльшим деяньям,
Что бы тебе не примкнуть, Тритония, к нашему хору!
Молвишь ты правду, хваля по заслугам и дело и место.
Наша прекрасна судьба, — да лишь бы нам жить безопасно!
Но — до чего же ничто не запретно пороку! — девичьи
Все устрашает сердца: Пиреней пред глазами жестокий
Так и стоит, до сих пор не могу отойти от испуга.
Лютый, в давлидских полях и фокейских он стал господином

С войском фракийским своим и без права владел государством.
В храмы парнасские мы направлялись: нас увидал он
И, с выраженьем таким, будто чтит божественность нашу, —
280 «О Мнемониды! — сказал, — он по виду узнал нас. — Постойте!
Не сомневайтесь, молю, от дождя с непогодой укройтесь —
Дождь пошел, — под кровлей моей! И в меньшие клети
Боги входили не раз». Побуждаемы речью и часом,
Дали согласие мы и в передние входим хоромы.
285 Дождь меж тем перестал, был Австр побежден Аквилоном,
По небу, чистому вновь, лишь темные тучи бежали.
Мы собрались уходить. Но дом Пиренеев запирает.
Нам же насильем грозит. Его мы избегли — на крыльях.
Как бы вслед устремясь, во весь рост он стоял на твердыне!
290 «Тем же путем понесусь, — говорит, — где вы понесетесь!»
Вдруг, безрассудный, стремглав с верхушки бросился башни;
Вниз головой он упал и раздробленным черепом оземь
Грянулся, землю залив, перед смертью, проклятою кровью».
Муза вела свой рассказ. Но крылья вверху зазвучали,
295 И от высоких ветвей раздался приветствия голос.
Глянула вверх, не поймет, откуда так слышится ясно
Говор. Юпитера дочь полагает: то речи людские.
Были то птицы! Числом же их девять: на рок свой пеняя,
В ветках сороки сидят, что всему подражают на свете.
300 И удивленной рекла богиня богине: «Недавно
Птиц приумножили сонм побежденные в споре сороки.
Их же богатый Пиер породил на равнине пеллейской.[205]
Мать им Эвиппа была пеонийка, что к мощной Луцине,[206]
Девять рождавшая раз, обращалась девятикратно.
305 Вот возгордилась числом толпа тех сестер безрассудных.
Множество градов они гемонийских прошли и ахайских,
К нам пришли и такой состязанье затеяли речью:
«Полно вам темный народ своею обманывать ложной
Сладостью! С нами теперь, феспийские,[207] спорьте, богини,
310 Если себе доверяете вы! Ни искусством, ни звуком
Не победить нас. Числом нас столько же. Иль уступите,

Сдавшись, Медузы родник заодно с Аганиппой гиантской,[208]
Иль эмафийские[209] вам мы равнины уступим до самых
Снежных Пеонов, — и пусть нам нимфы судьями будут».
В спор было стыдно вступать, но еще показалось стыднее —
Им уступить. Вот выбрали нимф, — и тотчас, поклявшись
Реками, сели они на сиденье из дикого камня.
Дева, что вызвала нас, начинает без жребия первой.
Брани бессмертных поет; воздает не по праву Гигантам
Честь, а великих богов деянья меж тем умаляет:
Будто, когда изошел Тифей из подземного царства,
На небожителей страх он нагнал, и они, убегая,
Тыл обратили, пока утомленных не принял Египет
В тучные земли и Нил, на семь рукавов разделенный.
Будто потом и туда заявился Тифей земнородный,
И что бессмертным пришлось под обманными видами скрыться.
«Стада вождем, — говорит, — стал сам Юпитер: Либийский
Изображаем Аммон и доныне с крутыми рогами!
Вороном сделался Феб, козлом — порожденье Семелы.
Кошкой — Делийца сестра, Сатурния — белой коровой.
Рыбой Венера ушла, Киллений стал ибисом-птицей».[210]
Все это спела она, сочетая с кифарою голос.
«Вызвали нас, Аонид, — но тебе недосужно, быть может,
Некогда, может быть, слух склонять к песнопениям нашим?»
«Не сомневайся и всю передай по порядку мне песню», —
Молвит Паллада и в тень прохладную рощи садится.
Муза, — «Даем мы одной, — говорит, — одолеть в состязанье!» —
Встала и, плющ молодой вплетя себе в волосы, стала
Пальцем из струн извлекать Каллиопа[211] печальные звуки,
Сопровождая такой дрожание струнное песней:
«Первой Церера кривым сошником целину всколыхнула,
Первой — земле принесла и плоды, и покорную пищу,
Первой — законы дала, и все даровала — Церера!
Буду ее воспевать. О, только б достойно богини
Песня пропелась моя! — богиня сей песни достойна.
Остров Тринакрия[212] был на падших наложен Гигантов,

Грузом тяжелым его под землей лежащий придавлен
Древний Тифей, что дерзнул возмечтать о престоле небесном,
Все продолжает борьбу, все время восстать угрожает.
Но авсонийский Пелор над правой простерся рукою,
Ты же на левой, Пахин; Лилибеем придавлены ноги,
Голову Этна гнетет.[213] Тифей, протянувшись под нею,
Ртом извергает песок и огонь изрыгает, беснуясь.
Тщетно старается он то бремя свалить земляное,
Силой своей раскидать города и огромные горы:
Вот и трепещет земля, и сам повелитель безмолвных[214]
В страхе, не вскрылась бы вдруг, не дала бы зияния суша.
Свет не проник бы к нему, ужасая пугливые тени.
Царь, той напасти страшась, из хором своих сумрачных вышел,
На колесницу ступил и, черными мчимый конями,
Тщательно стал объезжать основанья земли Сицилийской.
Все осмотрев, убедясь, что ничто не грозит обвалиться,
Страх отложил он. Меж тем Эрикина[215] его увидала
С ей посвященной горы. И, обняв крылатого сына, —
«Сын мой, оружье мое, и рука, и могущество! — молвит, —
Лук свой возьми, Купидон, которым ты всех поражаешь,
Быстрые стрелы направь в грудь бога, которому жребий
Выпал последний,[216] когда триединое царство делили.
Горние все и Юпитер-отец, и боги морские
Власть твою знают, и тот, в чьей власти боги морские.
Тартару что ж отставать? Что власти своей и моей ты
Не расширяешь? Идет ведь дело о трети вселенной!
Даже и в небе у нас — каково же терпение наше! —
Презрены мы; уменьшается власть и моя и Амура,
Разве не видишь: от нас и Паллада теперь и Диана
Лучница прочь отошли? И девствовать будет Цереры
Дочь, коль допустим: она и сама этой участи хочет.
Ежели к просьбе моей ты не глух — ради общего царства
С дядей богиню сведи». Сказала Венера. И тотчас
Взялся Амур за колчан и стрелу, как мать повелела,
Выбрал из тысячи стрел одну, но острее которой
Не было и ни одной, что лучше бы слушалась лука.

Вот свой податливый рог изогнул, подставив колено,
Мальчик и Диту пронзил искривленной тростинкою сердце.
Глубоководное есть от стен недалеко геннейских[217]
Озеро; названо Перг; лебединых более кликов
В волнах струистых своих и Каистр едва ли услышит!
Воды венчая, их лес окружил отовсюду, листвою
Фебов огонь заслоня, покрывалу в театре подобно.
Ветви прохладу дарят, цветы разноцветные — почва.
Там неизменно весна. Пока Прозерпина резвилась
В роще, фиалки брала и белые лилии с луга,
В рвенье девичьем своем и подол и корзины цветами
Полнила, спутниц-подруг превзойти стараясь усердьем,
Мигом ее увидал, полюбил и похитил Подземный, —
Столь он поспешен в любви! Перепугана насмерть богиня,
Мать и подружек своих — но мать все ж чаще! — в смятенье
Кличет. Когда ж порвала у верхнего края одежду,
Все, что сбирала, цветы из распущенной туники пали.
Столько еще простоты в ее летах младенческих было,
Что и утрата цветов увеличила девичье горе!
А похититель меж тем, по имени их называя,
Гонит храпящих коней, торопясь, по шеям, по гривам
Сыплет удары вожжей, покрытых ржавчиной темной,
Мимо священных озер и Паликовых, пахнущих серой,
Вод,[218] что бурлят, прорываясь из недр; через местность несется,
Где бакхиады — народ из Коринфа двуморского — древле
Стены воздвигли меж двух корабельных стоянок неравных.
Меж Кианеей лежит и пизейским ключом Аретузой,[219]
Там, где отроги сошлись, пространство зажатое моря.
Там-то жила — от нее происходит и местности имя —
Нимфа, в Сицилии всех знаменитее нимф, Кианея.
Вот, до полживота над поверхностью водной поднявшись,
Деву узнала она. «Не проедете дальше! — сказала, —
Зятем Цереры тебе не бывать против воли богини;
Просьбой, не силою взять ты должен был деву. Коль можно
С малым большое равнять, — полюбил и меня мой Анапис,[220]
Все ж он меня испросил, я в брак не со страха вступила».

Молвила нимфа и их, в обе стороны руки раздвинув,
Не пропустила. Сдержать тут гнева не мог уж Сатурний.
Страшных своих разогнал он коней и в бездну пучины
Царский скиптр, на лету закрутившийся, мощной рукою
Кинул, — и, поражена, земля путь в Тартар открыла
И колесницу богов приняла в середину провала.
А Кианея, скорбя, что похищена дева, что этим
Попрано право ее, с тех пор безутешную рану
Носит в безмолвной душе и вся истекает слезами.
В воды, которых была божеством лишь недавно великим,
Вся переходит сама, утончаясь; смягчаются члены,
Кости — можно согнуть, и ногти утратили твердость,
Что было тоньше всего становится первое жидким, —
Пряди лазурных волос, персты ее, икры и стопы.
После, как члены она потеряла, в холодные струи
Краток уж был переход. Бока, спина ее, плечи
И ослабевшая грудь — все тонкими стало ручьями.
Вот наконец, вместо крови живой, в изменившихся жилах
Льется вода, и уж нет ничего, что можно схватить бы.
В ужасе мать между тем пропавшую дочь понапрасну
Ищет везде на земле, во всех ее ищет глубинах.
Отдых вкушавшей ее не видала Аврора с власами
Влажными, Геспер[221] не зрел. В обеих руках запалила
Ветви горючей сосны, на Этне возросшей, богиня
И леденящею тьмой проносила, не зная покоя.
Снова, лишь радостный день погашал созвездия ночи,
Дочь искала она, где Солнце заходит и всходит.
Раз, утомившись, она стала мучиться жаждой, но нечем
Было ей уст освежить; соломой крытую видит
Хижину, в низкую дверь постучала; выходит старуха,
Видит богиню она и тотчас выносит просящей
Сладкого чашу питья из поджаренных зерен ячменных.
Пьет Церера. Меж тем злоречивый и дерзкий мальчишка
Перед богинею стал и, смеясь, обозвал ее «жадной».
И оскорбилась она и, еще не допивши напитка,
Мальчика вдруг облила ячменем, в воде разведенным.

Пятна впитались в лицо; где были у дерзкого руки, —
Выросли ноги, и хвост к измененным прибавился членам.
И в невеликий размер, — чтобы силы вредить не имел он, —
Сжался: в ящерку он превращен был, малого меньше.
От изумленной, в слезах, попытавшейся чуда коснуться
Бабки бежал он и в норку ушел. Так и носит названье
В изобличенье стыда, и в крапинках все его тело.
Сколько богиня еще по землям блуждала и водам,
Трудно в словах передать. Весь мир был для ищущей тесен.
И возвратилась она в Сиканию[222]; все озирая,
До Кианеи дошла. Кианея, не будь превращенной,
Все рассказала бы ей. Хоть нимфа сказать и желала,
Не было уст у нее, языка, чтобы вымолвить слово.
Знаки, однако, дала; очам материнским знакомый,
Павший в том месте в святой водоем поясок Персефоны
Молча богине она на поверхности вод показала.
Та, лишь узнала его, убедясь наконец в похищенье
Дочери, стала терзать в небреженье висящие кудри,
И без числа себе грудь ладонями мать поражала,
Все же не знала, где дочь. Все земли клянет, называет
Неблагодарными их, недостойными дара богини,
Всех же сильнее клянет Тринакрию, где обнаружен
След был беды. Вне себя, богиня пахавшие землю
Переломала плуги, предала одинаковой смерти
И поселян, и волов, работников поля; велела
Нивам доверье людей обмануть, семена загубила…
Плодоношенье земли, всего достояние мира,
Сокрушено. В зеленях по полям умирают посевы;
То от излишних дождей, то от солнца излишнего чахнут;
Звезды и ветер вредят. Опавшие зерна сбирают
Жадные птицы; волчец и куколь и разные травы,
Не выводимы ничем, полонили пшеничные нивы.
Тут Алфеяда[223] главу из вод показала элейских
И, оттолкнув к ушам волос струящихся пряди,
Молвит: «О девы той мать, искомой по целому миру,
Мать урожаев земных, отреши непомерные муки

И в раздраженье своем не гневись на верную землю!
Не заслужила земля: похищенью открылась невольно.
Нет, не за родину я умоляю. Пришла я как гостья.
Родина в Пизе моя, происходим же мы из Элиды.
Я чужестранкой живу в Сикании. Все же милей мне
Всех она стран. У меня, Аретузы, здесь ныне пенаты,
Здесь пребыванье мое: его пощади, всеблагая!
Двинулась с места зачем, как я под громадою моря
В край Ортигийский пришла, — рассказам об этом настанет
Время свое, когда от забот свободна ты будешь
И просветлеешь лицом. Для потока доступна, дорогу
Мне открывает земля; пройдя по глубинным пещерам,
Здесь я подъемлю чело и смотрю на забытые звезды.
Там-то, когда я текла под землею стремниной стигийской,
Я Прозерпину твою лицезрела своими глазами.
Так же печальна она, с таким же испуганным ликом,
Но — государыней там великого темного царства,
Но преисподних царя могучею стала супругой!»
Мать при этих словах как каменной стала и долго
Поражена словно громом была; когда же сменилось
Тяжким страданием в ней беспамятство тяжкое, взмыла
На колеснице в эфир. И с ликом, тучами скрытым,
В негодованье, власы распустив, пред Юпитером стала.
«Вот я, Юпитер, пришла молить тебя, — молвила, — ради
Крови моей и твоей. О, если ты мать не жалеешь,
Дочь пусть тронет тебя! Да не будет твое попеченье
Менее к ней оттого, что была рождена она мною.
Дочь я нашла наконец, которую долго искала.
Ежели только «найти» означает «утратить» иль если
Знать, где она, означает найти! Прощу похищенье,
Лишь бы вернул он ее, затем, что грабителя мужа
Дочь недостойна твоя, — коль моей уже быть перестала!»
Царь ей богов возразил: «Для обоих залог и забота
Наше с тобою дитя. Но ежели хочешь ты вещи
Правильным именем звать, — то это ничуть не обида;
Наоборот, то — любовь. И зять нам такой не постыден.

Дай лишь согласье свое. Не касаясь иного, — не мало
Братом Юпитера быть! У него же и много иного.
Жребием только своим меня он пониже. Но если
Так их жаждешь развесть, да вернется в эфир Прозерпина,
Но при условье одном, чтоб там никогда не вкушала
Пищи: Парками так предусмотрено в вечных законах».
Молвил. И вывесть на свет Прозерпину решила Церера.
Но воспрепятствовал рок. Нечаянно пост разрешила
Дева: она, в простоте, по подземным бродя вертоградам,
С ветви кривой сорвала одно из гранатовых яблок
И из подсохшей коры семь вынула зерен и в губы
Выжала: только один Аскалаф ее видел при этом, —
Тот, про кого говорят, что его в дни оные Орфна,
Между Авернских сестер[224] превеликой известности нимфа,
В мрачных глубинах пещер родила своему Ахеронту.
Видел — и девы возврат погубил, жестокий, доносом.
Стон издала владычица тьмы, и отверженной птицей
Стал чрез нее Аскалаф: окропив флегетоновой влагой[225]
Темя его, придала ему клюв и округлые очи.
Он, потерявший себя, одевается в желтые перья
И головою растет; загибаются длинные когти;
Новые крылья еще непроворными зыблет руками.
Гнусною птицей он стал, вещуньей грозящего горя,
Нерасторопной совой, для смертных предвестием бедствий.
Этот, как можно судить, за язык и донос наказанье
Мог понести. Но у вас, Ахелоевы дочери,[226] птичьи
Перья и ноги зачем? Ведь раньше вы девами были!
Иль оттого, что, когда собирала цветы Прозерпина
Вешние, были вы с ней, сирены ученые, вместе?
После по миру всему ее вы напрасно искали,
И чтобы даже моря про вашу узнали заботу,
Вскоре над зыбью морской на крыльях-веслах держаться
Вы пожелали, и к вам божества благосклонность явили:
Руки и ноги у вас вдруг желтыми стали от перьев!
Но чтобы пение их, на усладу рожденное слуху,
Чтобы подобная речь в даровитых устах не пропала,

Девичьи лица у них, человечий по-прежнему голос.
И между братом своим и печальной сестрою посредник, —
Круг головой разделил на две половины Юпитер.
Ныне — равно двух царств божество — проводит богиня
Месяцев столько ж в году при матери, сколько при муже.
А у Цереры тотчас и душа и лицо изменились.
И перед Дитом самим предстать дерзнувшая в скорби,
Вдруг просветлела челом, как солнце, что было закрыто
Туч дождевых пеленой, но из туч побежденных выходит.
Дочь получив, успокоена, так вопрошает Церера:
«Что ж, Аретуза, ушла? Почему ты — священный источник?»
И приумолкли струи, и главу подымает богиня
Из глубины родника, и, зеленые волосы выжав,
Так начала про любовь элейского бога,[227] речного:
«Происхожу, — говорит, — из нимф я, живущих в Ахайе,
Не было девы меж них, что усердней меня выбирала б
Место охоты иль сеть усердней меня наставляла.
И хоть своей красотой не стремилась я славы достигнуть,
Хоть и могуча была, но красивою все же считалась.
Пусть хвалили меня, не тщеславилась я красотою.
Рады иные, — а я в простоте деревенской стыдилась
Женской красы: понравиться — мне преступленьем казалось.
Из стимфалидских дубрав[228] возвращалась я, помню, усталой.
Зной был, труды же мои — немалые — зной удвояли.
Вот подошла я к воде, без воронок, без рокота текшей,
Ясной до самого дна, чрез которую камешки в глуби
Можно все было счесть, как будто совсем неподвижной.
Ветлы седые кругом и тополи, вскормлены влагой,
Склонам ее берегов природную тень доставляли.
Я подошла и ступню сначала в струю погрузила.
Вот по колена стою. Не довольствуясь этим, снимаю
Пояс и мягкий покров кладу на склоненную иву.
Вот уж и вся я в воде. Ударяю по ней, загребаю,
Черпаю на сто ладов и руками машу, отряхаясь.
Тут глубоко под водой услыхала какой-то я ропот, —
И в перепуге плыву на закраину ближнего брега.

«Что ты спешишь, Аретуза? — Алфей из вод своих молвит, —
Что ты спешишь?» — еще раз повторяет он голосом хриплым.
Мчусь я, такой как была, без одежды, — мои ведь одежды
Были на том берегу. И настойчивей он пламенеет,
Голою видит меня и считает на все уж согласной.
Я убегала, а он меня настигал, разъяренный, —
Так, крылом трепеща, от ястреба голуби мчатся;
Ястреб, преследуя, так голубей трепещущих гонит.
Мимо уже Орхомен,[229] Псофиды, Киллены и сгиба
Гор Меналийских, туда, к Эриманфу, и дальше, в Элиду
Я продолжаю бежать. Он был меня не быстрее.
Но выносить столь длительный бег, неравная силой,
Я не могла, — а Алфей был в долгой работе вынослив.
Я через долы, поля и лесами покрытые горы,
Через утесы, скалы без всякой дороги бежала.
Солнце светило в тылу; и видела длинную тень я
Перед собою у ног — иль, может быть, страх ее видел!
Но ужасал меня звук приближавшихся ног, и под сильным
Уст дыханьем уже в волосах волновались повязки.
Тут я вскричала, устав: «Он схватит меня! Помоги же
Оруженосице ты, о Диктинна, которой нередко
Лук свой давала носить и стрелы в наполненном туле!»
Тронул богиню мой зов, и, облако выбрав густое,
Приосенила меня. Не найдет он покрытую мраком
И понапрасну вокруг близ облака полого ищет.
Два раза место, где я укрыта была, обогнул он;
Дважды «Ио́, Аретуза! Ио́, Аретуза!» взывал он.
Что было тут на душе у несчастной? Не чувство ль ягненка,
Если рычанье волков у высокого слышит он хлева?
Иль русака, что сидит, притаясь, и враждебные видит
Морды собачьи, а сам шевельнуться от страха не смеет?
Но не уходит Речной; не видит, чтоб продолжались
Ног девичьих следы: на облако смотрит, на берег.
Потом холодным меж тем мои покрываются члены,
С тела всего у меня упадают лазурные капли.
Стоит мне двинуть ногой, — образуется лужа; стекают

Струи с волос, — и скорей, чем об этом тебе повествую,
Влагою вся становлюсь. Но узнал он желанные воды
И, навлеченное им мужское обличие скинув,
Снова в теченье свое обернулся, чтоб слиться со мною.
Делией[230] вскрыта земля. По бессветным влекусь я пещерам
Вплоть до Ортигии. Та, мне единым с моею богиней
Именем милая, вновь наверх меня вывела, в воздух».
Кончила речь Аретуза. Впрягла урожаев богиня
Вновь в колесницу свою двух змей и уста им взнуздала.
Между небес и земли по воздуху так проезжая,
Легкую правила в путь колесницу к Тритонии в город,
В дом к Триптолему[231]: семян половину велела посеять
На целине, а другие в полях, не паханных долго.
Над европейской землей и азийской высоко поднялся[232]
Юноша. Вот он уже до скифских домчался пределов.
В Скифии царствовал Линк. Вошел он под царскую кровлю.
С чем и откуда пришел, про имя и родину спрошен, —
«Родина, — молвил, — моя — пресветлой твердыня Афины,
Имя же мне — Триптолем. Не на судне я прибыл, по водам,
Не на ногах по земле: мне открыты пути по эфиру.
Вот вам Цереры дары: по широким рассеяны нивам,
Пышные жатвы они принесут вам и добрую пищу».
Зависть почуял дикарь: быть хочет виновником дара
Сам. Триптолема приняв, как гостя, на спящего крепко
Он нападает с мечом. Но, грудь пронзить уж готовый,
Был он Церерою в рысь обращен. И священною парой
Править по небу вспять Мопсопийцу[233] богиня велела».
Старшая наша сестра[234] ученую кончила песню.
Хором согласным тогда геликонским победу богиням
Нимфы судили. Когда ж побежденные стали в них сыпать
Бранью, сказала она: «Для вас недостаточно, видно,
От посрамленья страдать; к вине прибавляете ругань
Злобную, но и у нас иссякло терпенье; вступим
Мы на карающий путь, своему мы последуем гневу».
Лишь засмеялись в ответ Эмафиды, презрели угрозы.
Вновь пытались они говорить и протягивать с криком

Наглые руки свои; но увидели вдруг, что выходят
Перья у них из ногтей, что у них оперяются руки.
Видят, одна у другой, как у всех на лице вырастает
Жесткий клюв, а в лесу появляются новые птицы.
В грудь хотят ударять, но, руками взмахнув и поднявшись,
В воздухе виснут уже — злословие леса — сороки.
В птицах доныне еще говорливость осталась былая,
Резкая их трескотня и к болтливости лишней пристрастье.

КНИГА ШЕСТАЯ

Арахна (1—145); Ниоба (146—312); ликийцы (313—381); Марсий (382—400); Пелоп (401—411); Прокна и Филомела (412—674); Орифия (675—721).

К повествованьям таким Тритония слух преклонила,
Песни сестер Аонид одобряла и гнев справедливый.
«Мало хвалить, — подумалось ей, — и нас да похвалят!
Без наказанья презреть не позволим божественность нашу».
В мысли пришла ей судьба меонийки[235] Арахны. Богиня
Слышала, что уступить ей славы в прядильном искусстве
Та не хотела. Была ж знаменита не местом, не родом —
Только искусством своим. Родитель ее колофонец[236]
Идмон напитывал шерсть фокейской пурпурною краской.[237]
Мать же ее умерла, — а была из простого народа.
Ровня отцу ее. Дочь, однако, по градам лидийским
Славное имя себе прилежаньем стяжала, хоть тоже,
В доме ничтожном родясь, обитала в ничтожных Гипепах[238].
Чтобы самим увидать ее труд удивительный, часто
Нимфы сходилися к ней из родных виноградников Тмола,
Нимфы сходилися к ней от волн Пактола родного.[239]
Любо рассматривать им не только готовые ткани, —
Самое деланье их: такова была прелесть искусства!
Как она грубую шерсть поначалу в клубки собирала,
Или же пальцами шерсть разминала, работала долго,
И становилась пышна, наподобие облака, вóлна.
Как она пальцем большим крутила свое веретенце,
Как рисовала иглой! — видна ученица Паллады.
Та отпирается, ей и такой наставницы стыдно.
«Пусть поспорит со мной! Проиграю — отдам что угодно».
Облик старухи приняв, виски посребрив сединою
Ложной, Паллада берет, — в поддержку слабого тела, —
Посох и говорит ей: «Не все преклонного возраста свойства
Следует нам отвергать: с годами является опыт.

Не отвергай мой совет. Ты в том домогаешься славы,
Что обрабатывать шерсть всех лучше умеешь из смертных.
Перед богиней склонись и за то, что сказала, прощенья,
Дерзкая, слезно моли. Простит она, если попросишь».
Искоса глянула та, оставляет начатые нити;
Руку едва удержав, раздраженье лицом выражая,
Речью Арахна такой ответила скрытой Палладе:
«Глупая ты и к тому ж одряхлела от старости долгой!
Жить слишком долго — во вред. Подобные речи невестка
Слушает пусть или дочь, — коль дочь у тебя иль невестка,
Мне же достанет ума своего. Не подумай, совета
Я твоего не приму, — при своем остаюсь убежденье.
Что ж не приходит сама? Избегает зачем состязанья?»
Ей же богиня, — «Пришла!» — говорит и, образ старухи
Сбросив, явила себя. Молодицы-мигдонки и нимфы
Пали пред ней. Лишь одна не трепещет пред нею Арахна.
Все же вскочила, на миг невольным покрылось румянцем
Девы лицо и опять побледнело. Так утренний воздух
Алым становится вдруг, едва лишь займется Аврора,
И чрез мгновение вновь бледнеет при солнца восходе.
Не уступает она и желаньем своим безрассудным
Гибель готовит себе. А Юпитера дочь, не противясь
И уговоры прервав, отложить состязанья не хочет.
И не замедлили: вот по разные стороны стали,
Обе на легкий станок для себя натянули основу.
Держит основу навой; станок — разделен тростниковым
Бёрдом; уток уж продет меж острыми зубьями: пальцы
Перебирают его. Проводя между нитей основы,
Зубьями бёрда они прибивают его, ударяя.
Обе спешат и, под грудь подпоясав одежду, руками
Двигают ловко, забыв от старания трудность работы.
Ткется пурпурная ткань, которая ведала чаны
Тирские; тонки у ней, едва различимы оттенки.
Так при дожде, от лучей преломленных возникшая, мощной
Радуга аркой встает и пространство небес украшает.
Рядом сияют на ней различных тысячи красок,

Самый же их переход ускользает от взора людского.
Так же сливаются здесь, — хоть крайние цветом отличны.
Вот вплетаются в ткань и тягучего золота нити,
И стародавних времен по ткани выводится повесть.
Марсов Тритония холм[240] на Кекроповой крепости нитью
Изображает и спор, как этой земле нарекаться.
Вот и двенадцать богов с Юпитером посередине
В креслах высоких сидят, в величавом покое. Любого
Можно по виду признать. Юпитера царственен образ.
Бога морей явила она, как длинным трезубцем
Он ударяет скалу, и уж льется из каменной раны
Ток водяной: этим даром хотел он город присвоить.
Тут, же являет себя — со щитом и копьем заостренным;
Шлем покрывает главу; эгида ей грудь защищает.
Изображает она, как из почвы, копьем прободенной,
Был извлечен урожай плодоносной сребристой оливы.
Боги дивятся труду. Окончанье работы — победа.
А чтоб могла увидать на примере соперница славы,
Что за награду должна ожидать за безумную дерзость, —
По четырем сторонам — состязанья явила четыре,
Дивных по краскам своим, и фигуры людей поместила.
Были в одном из углов фракийцы Гем и Родопа,[241]
Снежные горы теперь, а некогда смертные люди, —
Прозвища вечных богов они оба рискнули присвоить.
Выткан с другой стороны был матери жалких пигмеев[242]
Жребий: Юнона, ее победив в состязанье, судила
Сделаться ей журавлем и войну со своими затеять.
Выткала также она Антигону,[243] дерзнувшую спорить
С вышней Юноной самой, — Антигону царица Юнона
Сделала птицей; не впрок для нее Илион оказался
С Лаомедонтом отцом, и пришлось в оперении белом
Аисту — ей — восхищаться собой и постукивать клювом.
Угол оставшийся был сиротеющим занят Киниром[244].
Храма ступени обняв, — родных дочерей своих члены! —
Этот на камне лежит и как будто слезами исходит.
Ткани края обвела миротворной богиня оливой:

Как подобало ей, труд своею закончила ветвью.
А меонийки узор — Европа с быком, обманувшим
Нимфу: сочтешь настоящим быка, настоящим и море!
Видно, как смотрит она на берег, покинутый ею,
Как она кличет подруг, как волн боится коснуться,
Вдруг подступающих к ней, и робко ступни поджимает.
Выткала, как у орла в когтях Астерия[245] бьется;
Выткала Леду[246] она под крылом лебединым лежащей.
Изобразила еще, как, обличьем прикрывшись сатира,
Парным Юпитер плодом Никтеиды[247] утробу наполнил;
Амфитрионом явясь, как тобой овладел он, Алкмена[248];
Как он Данаю дождем золотым, Асопиду[249] — огнями,
Как Деоиду[250] змеей обманул, пастухом — Мнемозину.
Изобразила, как ты, о Нептун, в быка превратившись,
Деву Эолову взял, как, вид, приняв Энипея,
Двух Алоидов родил,[251] как баран — обманул Бизальтиду[252].
Кроткая Матерь[253] сама, с золотыми власами из злаков,
Знала тебя как коня; змеевласая[254] матерь Пегаса
Птицею знала тебя, дельфином знала Меланта[255];
Всем надлежащий им вид придала, и местности тоже.
Изображен ею Феб в деревенском обличии; выткан
С перьями ястреба он и с гривою льва; показала,
Как он, явясь пастухом, обманул Макарееву Иссу;
Как Эригону[256] провел виноградом обманчивым Либер,
И как Сатурн — жеребец — породил кентавра Хирона.
Край же ткани ее, каймой окружавшийся узкой,
Приукрашали цветы, с плющем сплетенные цепким.
И ни Паллада сама не могла опорочить, ни зависть
Дела ее. Но успех оскорбил белокурую Деву:
Изорвала она ткань — обличенье пороков небесных!
Бывшим в руках у нее челноком из киторского бука
Трижды, четырежды в лоб поразила Арахну. Несчастья
Бедная снесть не могла и петлей отважно сдавила
Горло. Но, сжалясь, ее извлекла из веревки Паллада,
Молвив: «Живи! Но и впредь — виси, негодяйка! Возмездье
То же падет, — чтобы ты беспокоилась и о грядущем, —

И на потомство твое, на внуков твоих отдаленных».
И, удаляясь, ее окропила Гекатиных зелий
Соком, и в этот же миг, обрызганы снадобьем страшным,
Волосы слезли ее, исчезли ноздри и уши,
Стала мала голова, и сделалось крохотным тело.
Нет уже ног, — по бокам топорщатся тонкие ножки;
Все остальное — живот. Из него тем не менее тянет
Нитку Арахна — паук продолжает плести паутину.
Лидия в трепете вся. О случившемся слух по фригийским
Градам идет, и широко молва разливается всюду.
Раньше, до свадьбы своей, Ниоба знавала Арахну,
В те времена, как жила в меонийском краю и в Сипиле[257].
Не научило ее наказанье землячки Арахны
Высшим богам уступать и быть в выраженьях скромнее.
Многим гордиться могла. Однако ни мужа искусство,
Ни благородная кровь, ни мощность обширного царства
Любы так не были ей, — хоть было и это ей любо, —
Сколь сыновья с дочерьми. Счастливейшей матерью можно
Было б Ниобу назвать, коль себя не сочла б таковою
Как-то Тиресия дочь, владевшая даром прозренья,
Манто, по улицам шла и, божественной движима силой,
Провозглашала: «Толпой, Исмениды, ступайте, несите
Ладан Латоне скорей и обоим, Латоной рожденным,
С благочестивой мольбой! Вплетите в волосы лавры!
Ибо Латона сама моими глаголет устами!»
Внемлют ей дочери Фив, чело украшают листвою
И на священный алтарь моленья приносят и ладан.
Вот горделиво идет с толпой приближенных Ниоба,
Золотом пышно блестя, во фригийские ткани вплетенным, —
Даже и в гневе своем прекрасна и, волосы вскинув,
Что ниспадали к плечам, величавой своей головою,
Остановилась и, всех обведя своим взором надменным, —
«Что за безумье? — кричит, — предпочесть понаслышке известных —
Зримым воочью богам? Почему алтарями Латону
Чтут, а мое божество — без курений? Родитель мой — Тантал,

Он же единственным был допущен до трапезы Вышних.
Матерь — Плеядам сестра;[258] мне дед Атлант величайший,
Что на могучем хребте равновесье небесное держит,
Сам Юпитер мне дед. Но им я горжусь и как свекром.
Фригии все племена предо мною трепещут; держава
Кадма под властью моей; возведенная струнами крепость
Мужа, с народом ее, — в его и в моем управленье.
В доме, куда бы я взор ни направила, всюду встречаю
Всяких обилье богатств. К тому же достойна богини
Прелесть лица моего. Семерых дочерей ты причисли,
Юношей столько ж, а там и зятьев и невесток не меньше.
Так вопрошайте ж, на чем моя утверждается гордость!
Не понимаю, как вы порожденную Кеем-титаном
Смеете мне предпочесть — Латону, которой для родов
Даже великой землей в ничтожном отказано месте.
Небо, земля и вода — всё вашу отвергло богиню.
В мире скиталась, пока над блуждавшей не сжалился Делос:
«Странницей ты по земле блуждаешь, я же — по морю», —
Остров сказал и приют неустойчивый ей предоставил.
Стала там матерью двух: то детей моих часть лишь седьмая!
Счастлива я: кто бы стал отрицать? И счастливой останусь.
Кто усомнится? Меня обеспечило чад изобилье.
Так я могуча, что мне повредить не в силах Фортуна.
Если и много возьмет, то более всё же оставит.
Так я богата, что страх мне уже неизвестен. Представьте,
Что из толпы своих чад кого-нибудь я и лишилась;
Но, обездолена так, до двоих я не снижусь, — а двое —
Вся у Латоны толпа; не почти ли бездетна Латона?
Прочь разойдитесь! Алтарь покиньте! С волос поснимайте
Лавры!» Снимают венки, покидают жертвы, не кончив,
И — то дозволено им! — небожителей шепотом славят.
Возмущена тут богиня была и с высокой вершины
Кинфской[259] с речью такой к своим близнецам обратилась:
«Вот я, родившая вас, появлением гордая вашим, —
Кроме Юноны, других не ниже богиня, — сомненье
Вижу, богиня ли я?! Алтари у меня отнимают,

Чтимые веки веков, — от вас жду помощи, дети!
Это не все еще зло. Танталида к печальному делу
Брань добавила: вас поставить осмелилась ниже
Собственных чад; и меня — то с нею да будет! — бездетной
Смела назвать, — ведь язык у нее от отца негодяя!»
Намеревалась мольбы тут добавить Латона, но молвил
Феб: «Перестань говорить! замедляешь ты жалобой кару».
То же и Феба рекла, и, быстро по воздуху спрянув,
Кадмова града они, под облаком скрыты, достигли.
Гладкое было у стен широкое поле. Всечасно
Кони топтали его. Колесницы во множестве также.
Твердых удары копыт размягчали на поприще почву.
Вот из могучих сынов Амфиона иные садятся
На горделивых коней, чьи спины алеют багрянцем
Тирским, и в руки берут отягченные златом поводья.
Вот между ними Исмен, — что первой матери мукой
Некогда был, — меж тем, как он правит по кругу привычным
Бегом коня своего и смиряет вспененную морду, —
«Горе мне!» — вскрикнул: уже впилась стрела в середину
Груди его, и, рукой умирающей повод покинув,
Сник постепенно Исмен с плеча лошадиного на бок.
Рядом с ним ехавший, стрел услыхав бряцанье в колчане,
Вмиг натянул поводья Сипил, — так кормчий пред бурей,
Тучу завидя, спешит; наставляет полотна, бессильно
Свисшие, чтобы поймать малейшие воздуха струи.
Вмиг натянул… но едва натянул он поводья, настигнут
Был неминучей стрелой; трепеща, она сзади вонзилась
В шею ему, и торчит наконечник железный из горла.
Сам он, как был, наклонясь через шею крутую и гриву,
Наземь скатился, и кровь запятнала горячая землю.
Вот и несчастный Федим, и, названный именем деда,
Тантал, обычный свой труд завершив и тело натерши
Маслом, вступили в борьбу, — подходящее юности дело.
И уж сплетались они, борясь друг с другом, грудь с грудью,
Тесным узлом; как вдруг, с натянутой пущена жилы,
Братьев пронзила стрела сплетенными, так, как стояли.

И застонали зараз и зараз согбенные мукой
Наземь сложили тела; зараз и последние взоры
Вскинули, лежа уже, и вместе дух испустили.
То увидал Алфенор; и, до крови в грудь ударяя,
К ним поспешает, — обняв, их к жизни вернуть, охладевших.
Но упадает и сам при свершении долга: Делиец
В грудь глубоко его смертоносным пронзает железом.
А как стрелу извлекли, на конце крючковатом достали
Легкого часть, а душа излетела с кровавой струею.
Отрок меж тем Дамасйхтон двойной был раною ранен,
А не одной. Удар под самою икрой пришелся
В месте, где мягким узлом под коленом сплетаются жилы.
Но, между тем как стрелу он пытался смертельную вырвать,
В горло вторая ему вонзилась по самые перья.
Вытолкнул крови напор стрелу, и кверху из раны
Прянула и, далеко полетев, прорезала воздух.
Илионей, оставшись один, напрасно с мольбою
Руки меж тем воздевал: «О боги, о все без различья!» —
Молвил, не зная о том, что молиться не всем надлежало, —
«Сжальтесь!» — и тронут был Феб-луконосец, хотя невозможно
Было стрелу возвратить. Погиб он, однако, от раны
Легкой: в сердце его стрела не глубоко вонзилась.
Слух о беде, и народная скорбь, и домашних рыданья
Вскоре уверили мать в нежданно постигшем крушенье,
И удивляться смогла и гневаться, как же дерзнули
Боги такое свершить — что столь права их велики!
Вот и отец Амфион, грудь острым железом пронзивши,
Умер, горе свое одновременно с жизнью окончив.
О, как Ниоба теперь отличалась от прежней Ниобы,
Что от Латониных жертв недавно народ отвращала
Или когда среди города шла, выступая надменно,
Всем на зависть своим! А теперь ее враг пожалел бы.
К хладным припала телам; без порядка она расточала
Всем семерым сыновьям на прощанье свои поцелуи.
К небу от них подняла посиневшие руки и молвит:
«Горем питайся и гнев насыщай слезами моими.

Зверское сердце насыть! И меня на семи погребеньях
Мертвой несут. Победив, торжествуй надо мною, врагиня!
Но почему — победив? У несчастной больше осталось,
Чем у счастливой тебя. Семерых схоронив — побеждаю».
Молвила, но уж звенит тетива на натянутом луке:
Кроме Ниобы одной, окружающих всех устрашила.
Та же от горя смела. Стояли в одеждах печали
Около братских одров распустившие волосы сестры,
Вот из толпы их одна, стрелу извлекая из тела,
К брату своим побледневшим лицом, умирая, склонилась.
Вот, несчастливицу мать пытаясь утешить, другая
Смолкла внезапно и смерть приняла от невидимой раны,
Губы тогда лишь сомкнув, когда испустила дыханье.
Эта, пытаясь спастись, вдруг падает; та умирает,
Пав на сестру; та бежит, а эта стоит и трепещет.
Смерть шестерых отняла, — от разных погибли ранений,
Лишь оставалась одна: и мать, ее всем своим телом,
Всею одеждой прикрыв, — «Одну лишь оставь мне, меньшую!
Только меньшую из всех прошу! — восклицает. — Одну лишь!»
Молит она: а уж та, о ком она молит, — погибла…
Сирой сидит, между тел сыновей, дочерей и супруга,
Оцепенев от бед. Волос не шевелит ей ветер,
Нет ни кровинки в щеках; на лице ее скорбном недвижно
Очи стоят; ничего не осталось в Ниобе живого.
Вот у нее и язык с отвердевшим смерзается нёбом;
Вот уже в мышцах ее к напряженью пропала способность,
Шея не гнется уже, не в силах двинуться руки,
Ноги не могут ступить, и нутро ее все каменеет.
Плачет, однако, и вот, окутана вихрем могучим,
Унесена в свой отеческий край. На горной вершине
Плачет: поныне еще источаются мрамором слезы.
Тут устрашаются все очевидностью божьего гнева, —
Жены, равно и мужи; и все почитают, щедрее
Жертвы неся на алтарь разрешившейся двойней богини.
И, как всегда, о былом вспоминают в связи с настоящим.

Молвил один: «Полей плодородных ликийских насельцы
Тоже, Латону презрев, не остались когда-то без кары.
Мало известно о том, — они были незнатные люди, —
Но удивительно все ж. Я озеро видел и место,
Чудом известное тем. Меня мой отец престарелый, —
Сам уж ходить он не мог, — послал отвести туда стадо
Лучших отборных коров, в провожатые дав мне ликийца,
Местного жителя. С ним выбираем мы пастбище вместе;
Видим меж тем: посреди озерка, почерневший от угля
Жертв, выступает алтарь, тростником окруженный дрожащим.
Стал и шепотом: «Будь ко мне благосклонна!» — промолвил
Мой провожатый, и я: «Будь ко мне благосклонна!» — промолвил.
Спрашивал я между тем, чей жертвенник — Фавна, наяд ли,
Местного ль бога, — и вот что тамошний передал житель:
«Юноша, этот алтарь — не горного бога обитель.
Жертвенник той посвящен, которой царица супруга
Все заказала моря; лишь Делос блуждающий принял
Странницу, — в те времена сам плавал он, остров подвижный.
Там-то Латона легла под Палладиным древом[260] и пальмой
И породила на свет неугодную мачехе двойню.
И побежала опять от Юноны родильница, молвят,
К груди прижавши, детей — бессмертных чету! — уносила.
В Ликию вскоре придя, — где явилась Химера,[261] — под тяжким
Зноем, паливším поля, трудом утомленная долгим,
Солнцем сожженная, пить захотела беглянка-богиня, —
Жадно меж тем молоко из грудей сосали младенцы.
Вдруг озерко с необильной водой в глубине увидала
Дола; жители сел ветвистую там добывали
Вербу и гибкий тростник с любезной болотам осокой.
Вот подошла и, колена согнув, опустилась Латона
Наземь, стремясь почерпнуть студеной струи и напиться.
Сельский народ не велит. К ним так обратилась богиня:
«Как же воды не давать? Достояние общее — воды.
В собственность воздух не дан никому от природы, ни солнце,
Ни водяные струи; у народного я достоянья!
Всё же дать мне воды на коленях прошу; не пришла я

Этой водой омывать свое истомленное тело, —
Только напиться хочу. Нет влаги в устах говорящей,
И пересохла гортань, в ней голос; насилу проходит.
Нектаром будет глоток мне воды; я уверена, жизнь он
Мне возвратит: озерной струей вы мне жизнь даровали б.
Вы пожалейте и их, которые тянут ручонки
С груди моей!» И как раз тянулись ручонками дети.
Тронуть кого б не могли богинины кроткие речи?
Все же молящей они запрещать продолжают, к тому же —
Ежели прочь не уйдет — угрожают, ругаясь вдобавок.
Мало того: ногами они и руками взмутили
Озеро, с самого дна они подняли тину, нарочно
В воду туда и сюда с намереньем прыгая злостным.
Жажду гнев одолел: дочь Кея теперь уж не молит
Их, недостойных, и слов, для богини чрезмерно смиренных,
Не повторяет уже. Вот, к звездам руки подъемля,
Молвит: «Будете жить вы вечно в озере этом!»
Воля богини сбылась; им нравится быть под водою,
То в глубину озерка всем телом своим погружаться,
То выступать головой; то по водной поверхности плавать,
Или сидеть иногда на прибрежии озера, или
В омут студеный нырять. Доныне они упражняют
В брани свой гнусный язык и, всякую совесть откинув,
Хоть и сидят под водой, и там все тщатся злословить.
Хриплым голос их стал: надувается вспухшая шея;
Сроду широкие рты от брани еще растянулись;
Головы с телом слились, а шея как будто исчезла;
Спинка у них зелена, а живот — часть главная — белый.
В тинистом омуте, — род новоявленный, — скачут лягушки!»
Только один рассказал, как ликийского племени люди
Жизнь скончали, другой о Сатире[262] припомнил, который,
Сыном Латоны в игре побежден на Палладиной флейте,
Был им наказан. «За что с меня ты меня же сдираешь?» —
Молвит. «Эх, правда, — кричит, — не стоило с флейтою знаться!»
Так он взывал, но уж с рук и с плеч его содрана кожа.
Раною стал он сплошной. Кровь льется по телу струями,

Мышцы открыты, видны; без всяких покровов трепещут
Жилы, биясь; сосчитать нутряные все части возможно,
И обнажились в груди перепонок прозрачные пленки.
Пролили слезы о нем деревенские жители, фавны —
Боги лесов, — и Олимп, знаменитый уже, и сатиры —
Братья, и нимфы, и все, кто тогда по соседним нагорьям
Пас руноносных овец иль скотины стада круторогой,
Залили вовсе его, а земля увлажненная слезы
Тотчас в себя вобрала и впитала в глубинные жилы;
В воды потом превратив, на вольный их вывела воздух.
Вот он, в крутых берегах устремляясь к жадному морю,
Марсия имя хранит, из фригийских потоков светлейший.
После рассказов таких народ возвращается снова
К только что бывшему; все об Амфионе плачут и детях.
Все негодуют на мать. По преданью, один лишь оплакал
Пелоп[263] ее, — и на левом плече, когда он одежды
С груди в печали совлек, слоновая кость показалась.
С правым плечом при рожденье оно одинаково было
Цветом, из плоти, как то; но руками отцовскими члены
Были разрублены; вновь, говорят, их составили боги.
Все их нашли, и лишь там, где сходится с краем ключицы
Шея, была пустота; взамен нехватающей части
Вставили кость; и опять оказался в целости Пелоп.
Знатные люди — родня — собираются; ближние грады
Дали своим порученье царям — с утешеньем явиться, —
Аргос и Спарта, а там Пелопидов столица — Микены,
И Калидон,[264] до тех пор еще гневной Диане противный,
Медью богатый Коринф, плодородный предел — Орхомены,
Патры и град небольшой — Клеоны с Мессеною гордой,
Пилос Нелеев; в те дни не Питфеево царство — Трезены,[265]
Много других городов, двуморским замкнутых Истмом,
И в стороне от него, обращенных к двуморскому Истму.
Кто бы поверил тому? Вы одни не явились, Афины!
Долг помешала свершить им война: подвезенные с моря
Варваров диких войска мопсопийским стенам угрожали.
Царь фракийский Терей с приведенным на помощь отрядом

Их разгромил и победой обрел себе славное имя.
С ним, изобильным землей, и богатством, и силой живою,
Происходящим к тому ж от Градива,[266] тогда породнился
Царь Пандион, ему Прокну отдав; но ни брачной Юноны,
Ни Гименея, увы, не видали у ложа, ни Граций.
Нет, Эвмениды для них погребальное пламя держали,
Нет, Эвмениды постель постилали для них, и, зловеща,
К кровле припала сова и над брачным сидела покоем.
Через ту птицу Терей и Прокна супругами стали,
Через ту птицу — отцом и матерью. Их поздравляла
Фракия, да и они воссылали богам благодарность.
В дни же, когда отдана была дочь Пандиона владыке
Славному и родился сын Итис — объявлен был праздник.
Не угадать, что на пользу пойдет! И год уже пятый
В вечной смене Титан[267] довел до осеннего срока.
К мужу ласкаясь, тогда промолвила Прокна: «О, если
Только мила я тебе, отпусти повидаться с сестрою,
Иль пусть приедет сестра! Что скоро домой возвратится,
Тестю в том слово ты дай, — мне ценным будет подарком,
Ежели дашь мне сестру повидать». Он дает повеленье
В море спустить корабли, с парусами и веслами, в гавань
Кекропа входит Терей, к берегам уж причалил Пирея[268].
Вот повстречались они, и тесть ему правой рукою
Правую жмет; при знаках благих вступают в беседу.
Стал излагать он прибытия цель, порученье супруги,
Он обещанье дает, что гостья воротится скоро.
Вот Филомела вошла, блистая роскошным нарядом,
Больше блистая красой. Обычно мы слышим: такие
В чаще глубоких лесов наяды с дриадами ходят,
Если им только придать подобный убор и одежды.
И загорелся Терей, увидевши деву, пылает, —
Словно бы кто подложил огня под седые колосья
Или же лист подпалил и сено сухое в сеннице.
Дева прекрасна лицом. Но царя прирожденная мучит
Похоть; в тех областях население склонно к Венере.
Он сладострастьем горит, и ему и народу присущим.

Страстно стремится Терей подкупить попечение служанок,
Верность кормилицы; он прельстить дорогими дарами
Хочет ее самое, хоть целым пожертвовать царством,
Силой похитить ее и отстаивать после войною.
Кажется, нет ничего, на что бы захваченный страстью
Царь не решился. В груди сдержать он не может пыланья.
Медлить уж нет ему сил, возвращается жадной он речью
К Прокниным просьбам, меж тем о своих лишь печется желаньях,
—
Красноречивым он стал от любви, когда неотступно
Больше, чем должно, просил, повторяя: так Прокна желает!
Даже и плакал порой, — так будто б она поручала!
Вышние боги, увы, — как много в груди человека
Тьмы беспросветной! Терей, трудясь над своим злодеяньем,
Все же как честный почтен и хвалим за свое преступленье.
Хочет того ж Филомела сама и, отцовские плечи
Нежно руками обняв, поехать с сестрой повидаться
Счастьем молит своим, но себе не на счастие молит!
Смотрит Терей на нее и заране в объятьях сжимает.
Видя лобзанья ее и руки вокруг шеи отцовой, —
Всё как огонь смоляной, как пищу для страсти безумной
Воспринимает; едва родителя дева обнимет,
Хочет родителем быть, — и тогда он честнее не стал бы!
Просьбой двойной был отец побежден. Довольна девица,
Бедная, благодарит, не зная о том, что обоим
Радостный ныне успех погибелен будет, — обоим!
Фебу немного трудов еще оставалось, и кони
Стали уже попирать пространство наклонного неба.
Царские яства на стол и Вакхову в золоте влагу
Ставят; мирному сну предают утомленное тело.
Царь одризийский[269] меж тем, хоть она удалилась, пылает
К ней; представляет себе и лицо, и движенья, и руки,
Воображает и то, что не видел, — во власти желаний
Сам свой питает огонь, отгоняя волненьем дремоту.
День наступил; и, пожав отъезжавшего зятя десницу,
Девушку царь Пандион поручает ему со слезами.

«Дочь свою, зять дорогой, — побуждаем благою причиной,
Раз таково дочерей и твое, о Терей, пожеланье, —
Ныне тебе отдаю. И верностью, и материнской
Грудью молю, и богами: о ней позаботься с любовью
Отчей и мне возврати усладу моей беспокойной
Старости в срок: для меня — промедление всякое длинно;
Ты поскорей и сама, — довольно с Прокной разлуки! —
Если ты сердцем добра, ко мне возвратись, Филомела!»
Так поручал он ее и дочь целовал на прощанье,
И порученьям вослед обильные капали слезы.
Верности брал с них залог: потребовал правые руки,
Соединил их, просил его дочери дальней и внуку
Отчий привет передать и сказать, что крепко их помнит.
Еле последнее смог он «прости» промолвить, со словом
Всхлипы смешавши, боясь души своей темных предчувствий.
Лишь Филомела взошла на корабль расписной, и от весел
Море в движенье пришло, и земли отодвинулся берег,
Крикнул Терей: «Победил! со мною желанная едет!»
В сердце ликует, уже наслажденья не может дождаться
Варвар, взоров своих с Филомелы на миг не спускает:
Так похититель орел, Юпитера птица, уносит,
В согнутых лапах держа, в гнездо свое горное — зайца;
Пленник не может бежать, — добычей любуется хищник.
Вот и закончился путь; суда утомленные снова
На побережье своем. Но царь вдруг дочь Пандиона
В хлев высокий влечет, затененный лесом дремучим.
Там, устрашенную всем, дрожащую бледную деву,
В горьких слезах о сестре вопрошавшую, запер и тут же,
Ей злодеянье раскрыв, — одну и невинную, — силой
Одолевает ее, родителя звавшую тщетно,
Звавшую тщетно сестру и великих богов особливо.
Дева дрожит, как овца, что, из пасти волка седого
Вырвана, в страхе еще и себя безопасной не чует.
Иль как голубка, своей увлажнившая перышки кровью,
Жадных страшится когтей, в которых недавно висела.
Только очнулась, — и рвать разметенные волосы стала;

Точно над мертвым, она себе руки ломала со стоном;
Длани к нему протянув, — «О варвар, в деяньях жестокий!
О бессердечный! Тебя, — говорит, — ни отца порученья,
Ни доброта его слез, ни чувство к сестре, ни девичья
Даже невинность моя не смягчили, ни брака законы!
Все ты нарушил. Сестры я отныне соперницей стала,
Ты же — обеим супруг. Не заслужена мной эта мука.
Что ты не вырвал души у меня, чтоб тебе, вероломный,
Злоумышленье свершить? Что меня не убил до ужасных
Наших соитий? Тогда была б моя тень не повинна.
Все ж, если Вышние зрят, что сталось, коль что-нибудь значат
Чтимые боги и все не погибло со мною, заплатишь
Карой когда-нибудь мне! Сама я, стыдливость откинув,
Дело твое оглашу: о, только нашлась бы возможность!
В толпы народа пойду; и, даже в лесах запертая,
Речью наполню леса, пробужу сочувствие в скалах!
То да услышит Эфир и бог, коль есть он в Эфире!»
Тут от подобных речей возбудился в жестоком владыке
Гнев, и не меньше был страх. Двойной побуждаем причиной,
Высвобождает он меч из висящих у пояса ножен.
Волосы девы схватив, загнув ей за спину руки,
Узы заставил терпеть. Филомела подставила горло, —
Только увидела меч, на кончину надеяться стала.
Но исступленный язык, напрасно отца призывавший,
Тщившийся что-то сказать, насильник, стиснув щипцами,
Зверски отрезал мечом. Языка лишь остаток трепещет,
Сам же он черной земле продолжает шептать свои песни.
Как извивается хвост у змеи перерубленной — бьется
И, умирая, следов госпожи своей ищет напрасно.
Страшное дело свершив, говорят, — не решишься поверить! —
Долго еще припадал в сладострастье к истерзанной плоти.
Силы достало ему после этого к Прокне вернуться, —
Та же, увидев его, о сестре вопрошала. Но стоны
Лживые он издает и сестры измышляет кончину.
Было нельзя не поверить слезам. И Прокна срывает
С плеч свой блестящий наряд с золотою широкой каймою.

Черное платье она надевает, пустую гробницу
Ставит и, мнимой душе вознося искупления жертву,
Плачет о смерти сестры, не такого бы плача достойной.
Год завершая, уж бог двенадцать знаков объехал.
Но Филомеле как быть? Побегу препятствует стража.
Стены стоят высоки, из крепкого строены камня.
О злодеянье немым не промолвить устам. Но у горя
Выдумки много, всегда находчивость в бедах приходит.
Вот по-дикарски она повесила ткани основу
И в белоснежную ткань пурпурные нити воткала, —
О преступленье донос. Доткав, одному человеку
Передала и без слов отнести госпоже попросила.
Этот же Прокне отнес, не узнав, что таит порученье.
Вот полотно развернула жена государя-злодея,
И Филомелы сестра прочитала злосчастную повесть,
И — удивительно все ж! — смолчала. Скована болью
Речь, языку негодующих слов недостало для жалоб.
Плакать себе не дает: безбожное с благочестивым
Перемешав, целиком погружается в умысел мести.
Время настало, когда тригодичные таинства Вакха
Славят ситонки[270] толпой; и ночь — соучастница таинств;
Ночью Родопа звучит бряцанием меди звенящей.
Ночью покинула дом свой царица, готовится богу
Честь по обряду воздать; при ней — орудья радений.
На голове — виноград, свисает с левого бока
Шкура оленья, к плечу прислоняется тирс легковесный.
Вот устремилась в леса, толпой окруженная женщин,
Страшная Прокна с душой, исступленными муками полной, —
Будто твоими, о Вакх! Сквозь чащу достигла до хлева,
И, завывая, вопит «эвóэ!», врывается в двери,
И похищает сестру; похищенной, Вакховы знаки
Ей надевает, лицо плющом ей закрыла зеленым
И, изумленную, внутрь дворца своего увлекает.
Лишь поняла Филомела, что в дом нечестивый вступила,
Бедную ужас объял, и страшно лицо побледнело.
Прокна же, место найдя, снимает служения знаки

И злополучной сестры застыдившийся лик открывает.
Хочет в объятиях сжать. Но поднять Филомела не смеет
Взора навстречу, в себе соперницу сестрину видя.
Лик опустила к земле и, призвав во свидетели Вышних,
Клятву хотела принесть, что насилье виною позора,
Но лишь рука у нее, — нет голоса. И запылала
Прокна, и гнева в себе уж не в силах сдержать. Порицая
Слезы сестры, говорит: «Не слезами тут действовать надо,
Нужен тут меч, иль иное найдем, что меча посильнее.
Видишь, сама я на все преступленья готова, родная!
Факелы я разожгу, дворец запалю государев,
В самое пламя, в пожар искусника брошу. Терея,
Я и язык, и глаза, и члены, какими он отнял
Стыд у тебя, мечом иссеку, и преступную душу
Тысячью ран изгоню! Я великое сделать готова, —
И лишь в сомнении — что?» Пока она так говорила,
Итис к матери льнул — и ее надоумил, чтó может
Сделать она. Глядит та взором суровым и молвит:
«Как ты похож на отца!» И уже не прибавив ни слова,
Черное дело вершит, молчаливой сжигаема злобой.
Но лишь приблизился сын, едва обратился с приветом
К матери, шею ее ручонками только нагнул он,
Стал лишь ее целовать и к ней по-ребячьи ласкаться,
Все же растрогалась мать, и гнев перебитый прервался,
И поневоле глаза увлажнились у Прокны слезами.
Но, лишь почуяв, что дух от прилившего чувства слабеет,
Снова от сына она на сестру свой взор переводит.
И на обоих смотря очередно: «О, тронет ли лаской
Он, — говорит, — коль она молчит, языка не имея?
«Мать» — называет меня, но ты назовешь ли «сестрою»?
В браке с супругом каким, посмотри ты, дочь Пандиона!
Ты унижаешь свой род: преступленье — быть доброй к Терею!»
Миг — и сына влечет, как гигантская тащит тигрица
Нежный оленихи плод и в темные чащи уносит.
В доме высоком найдя отдаленное место, — меж тем как

Ручки протягивал он и, уже свою гибель предвидя, —
«Мама! Мама!» — кричал и хватал материнскую шею, —
Прокна ударом меча поразила младенца под ребра,
Не отвратив и лица. Для него хоть достаточно было
Раны одной, — Филомела мечом ему горло вспорола.
Члены, живые еще, где души сохранялась толика,
Режут они. Вот часть в котлах закипает, другая
На вертелах уж шипит: и в сгустках крови покои.
Вот к какому столу жена пригласила Терея!
И, сочинив, что таков обряд ее родины, в коем
Муж лишь участник один, удалила рабов и придворных,
Сам же Терей, высоко восседая на дедовском кресле,
Ест с удовольствием, сам свою плоть набивая в утробу.
Ночь души такова, что, — «Пошлите за Итисом!» — молвит.
Доле не в силах скрывать ликованья жестокого Прокна, —
Вестницей жаждет она объявиться своей же утраты, —
«То, что зовешь ты, внутри у тебя!» — говорит. Огляделся
Царь, вопрошает, где он. Вновь кличет, и вновь вопрошает.
Но, как была, — волоса разметав, — при безумном убийстве,
Вдруг Филомела внеслась и кровавую голову сына
Кинула зятю в лицо: вовек она так не хотела
Заговорить и раскрыть ликованье достойною речью!
И отодвинул свой стол с ужасающим криком фракиец.
И змеевласых сестер[271] зовет из стигийского дола.
Он из наполненных недр — о, ежели мог бы он! — тщится
Выгнать ужасную снедь, там скрытое мясо, и плачет,
И называет себя злополучной сына могилой!
Меч обнажив, он преследовать стал дочерей Пандиона.
Но Кекропиды меж тем как будто на крыльях повисли.
Вправду — крылаты они! Одна устремляется в рощи,
В дом другая, — под кров. И поныне знаки убийства
С грудки не стерлись ее: отмечены перышки кровью.
Он же и в скорби своей, и в жажде возмездия быстрой
Птицею стал, у которой стоит гребешок на макушке,
Клюв же, чрезмерной длины, торчит как длинное древко;
Птицы названье — удод. Он выглядит вооруженным.

Это несчастье, не дав Пандиону познать долголетье,
Раньше срока свело несчастливца к аидовым теням,
Принял тогда Эрехтей управленье делами и скипетр,
И неизвестно, — славней справедливостью был он иль войском.
Он четырех породил сыновей и столько же рода
Женского; были из них две дочери равны красою.
Кефал Эолов,[272] тебя, о Прокрида, назвавши супругой,
Счастье узнал. А Борею — Терей и фракийцы мешали;
Бог был долго лишен любезной ему Орифии,
Просьбам пока предпочесть не желал применение силы.
Но, как ни в чем не успел, надеясь на мягкость, в ужасный
Гнев пришел, что и так чрезмерно свойствен Борею.
«И поделом! — он сказал, — для чего отложил я оружье,
Ярость и силы свои, и гнев и лихие угрозы,
К просьбам прибег для чего, когда не пристали мне просьбы?
Сила под стать мне. Гоню облака я унылые — силой,
Силой колеблю моря и кручу узловатые дубы,
И укрепляю снега, и градом поля побиваю.
Тот же я, если своих настигну братьев под небом, —
Ибо там поприще мне, — с таким побораю усильем,
Что небеса до глубин от наших грохочут сражений
И грозовые огни из туч исторгаются полых.
Тот же, когда я вношусь в подземные узкие щели,
В ярости спину свою под своды пещер подставляю,
Мир весь земной и Аид тревожу великим трясеньем.
Вот чем должен я был домогаться невесты и тестя,
Не умоляя, склонять, но заставить силком Эрехтея!»
Так сказал — нет, пуще того! — Борей и раскинул
Мощные крылья свои, и их леденящие взмахи
Землю овеяли всю, взбушевалось пространное море.
Вот, по вершинам влача покрывало из пыли, метет он
Почву; мраком покрыт, приведенную в ужас и трепет,
Темными крыльями он Орифи́ю свою обнимает.
Так он летел, и сильней от движенья огонь разгорался.
И лишь тогда задержал он ристанья воздушного вожжи,
Как до твердынь, где киконы[273] живут, долетел похититель.

Стала актеянка[274] там ледяного владыки супругой.
Стала и матерью двух, — разродилась она близнецами.
Всем они выдались в мать, от отца унаследовав крылья.
Все же у них, говорят, не с рождения крылья явились:
Но до тех пор, как у них не росло бороды рыжеватой,
Братья Калаид и Зет оставались бесперыми вовсе,
После же оба плеча, как бывает у птиц, охватили
Мальчикам крылья, — тогда и щеки у них зарыжели.
А как года утекли и сменилось юностью детство,
Оба, к минийцам[275] примкнув, за руном, что сияло лучисто,
В путь устремились они на судах по безвестному морю.

КНИГА СЕДЬМАЯ

Медея (1—296); Медея и Пелий (297—349); Медея в Аттике (350—424); Тезей (425—452); Минос, Эак (453—660); Кефал (661—866).

Море минийцы[276] уже кораблем пагасейским браздили,
Скудную старость свою влачащий в темени вечной,
Встречен был ими Финей, и младые сыны Аквилона[277]
Птиц-полудев от лица злополучного старца прогнали.
Вынесли много они, предводимые славным Ясоном,
Быстрого Фасиса[278] волн иловатых доколь не достигли.
Вот явились к царю и руно им Фриксово[279] выдать
Требуют, множеством дел превеликих ему похваляясь;
Ээтиада[280] меж тем могучим огнем загорелась
После упорной борьбы, когда одолеть уж рассудком
Страсти своей не могла, — «Ты борешься тщетно, Медея, —
Молвит, — не знаю какой, но препятствует бог, и едва ли
Это не тот, — или сходственный с ним, — что любовью зовется.
Что же наказы отца мне кажутся слишком суровы?
Да и суровы они! Что боюсь, не погиб бы пришелец,
Мельком лишь виденный мной? Где столь сильной причина боязни?
Вырви из груди своей, несчастная, ежели сможешь,
Этот огонь! О, если б могла, я разумней была бы!
Но против воли гнетет меня новая сила. Желаю
Я одного, но другое твердит мне мой разум. Благое
Вижу, хвалю, но к дурному влекусь. Что пылаешь ты к гостю,
Царская дочь, устремясь к чужедальнему ложу? И отчий
Край тебе милого даст! А он умрет ли иль будет
Жив — то во власти богов. О, лишь бы он жил! Ведь об этом
Можно молить, не любя. А деяния малы ль Ясона?
Тронуть кого бы не мог — бездушного разве! — Ясонов
Возраст, и доблесть, и род? И даже без этого, кто же
Не был бы тронут лицом? Вот и тронуто им мое сердце.
Помощь ему не подам, — и быков он спалится дыханьем;

Вступит с врагами он в бой, из его же взошедшими сева,
Или добычею дан ненасытному будет дракону.
Если я это стерплю, признаю тогда, что тигрицей
Я рождена, что ношу железо в сердце и камни!
Но почему не гляжу на погибель его, наблюденьем
Не оскверняю глаза? Что быков на него не направлю,
И порожденных землей дикарей, и бессонного змея?..
Боги пусть благо свершат. Не просить мне должно, однако, —
Действовать надо! Но как предам я царство отцово?
А неизвестный пришелец, которому помощь подам я,
Мною спасен, без меня свой парус распустит по ветру,
Чтобы стать мужем другой и на муки оставить Медею?
Пусть, коль это свершит, — предпочесть мне сможет другую, —
Неблагодарный умрет! Но лицо у него не такое,
И таковы благородство души и наружности прелесть,
Что не пугает меня ни обман, ни забвенье услуги.
Пусть поклянется вперед! Договора в свидетели Вышних
Я призову. Что страшиться тебе? Поспешай, промедленья
Все отложи! И себе навсегда ты обяжешь Ясона,
Он съединится с тобой при торжественных светочах; будут
Женщины славить тебя за добро в городах пеласгийских![281]
Что же я — брата, сестру, и отца, и богов своих брошу?
Землю родную свою, унесенная по морю ветром?
Правда, сердит мой отец, и родина, правда, сурова,
Брат — младенец, сестры совпадают с моими желанья.
Бог величайший во мне! Я меньше на родине брошу,
Чем обрету: почтут меня спасшей ахейскую юность.
Лучше узнаю я край, города, о которых доходит
Слава и в этот предел, обычай тех стран и искусства.
Станет супругом моим Эсонид,[282] — а его не сменила б
Я ни на что, чем богата земля, — и счастлива буду,
Милостью Вечных горда, и звезд коснусь головою.
Пусть, как слышала я, там сходятся будто бы горы
Посередине воды, где, с судами враждуя, Харибда
Хлябь то вберет, то отдаст; опоясана злобными псами,
Из сицилийских глубин пусть лает жадная Скилла![283]

Нет, Ясона обняв, прижимаясь к возлюбленной груди,
В дали морские помчусь. С ним рядом бояться не буду.
Если ж чего забоюсь, — забоюсь лишь за милого мужа.
Брак не задумала ль ты, не словами ль красивыми хочешь
Грех свой, Медея, прикрыть? Погляди, пред каким злодеяньем
Ты очутилась? Пока еще можешь, беги преступленья!» —
Молвила так. И тотчас справедливость, почтенье, стыдливость
Взору предстали ее, — бежал Купидон побежденный.
К древним Медея пошла алтарям Персеиды Гекаты,[284]
Что в потаенном лесу были скрыты, в дубраве тенистой.
Овладевает собой; отверженный пыл усмирился.
Но увидала его, — и потухшее вспыхнуло пламя,
Щеки зарделись опять, лицо ее все загорелось.
Как — если ветер подул — им питается малая искра,
Что, незаметна, еще под тлеющим пеплом таилась,
Снова растет и опять, расшевелена, мощь обретает,
Так и затихшая страсть, что, казалось, уже ослабела, —
Лишь появился Ясон, от его красоты разгорелась.
И приключилось как раз, что еще был красивей собою
Сын Эсонов в тот день: извинил бы влюбленную каждый!
Смотрит, и будто его увидала впервые, не сводит
Остановившихся глаз и в безумии мнит, что не смертный
Перед очами ее, от него оторваться не в силах.
Но лишь в беседу вступил и за правую взял ее руку
Гость и о помощи стал просить ее голосом тихим,
Мужем ей стать обещал, — сказала она со слезами:
«Вижу, что делаю, — нет, меня не незнание правды
Вводит в обман, но любовь. Тебя я спасу своим даром,
Ты же — спасенный — клянись!» И святыней богини триликой,
Темной дубравою той, где ее божество почиталось,
Вечно всезрящим отцом своего нареченного тестя,
Благополучьем своим и деяньями всеми клянется.
Верила дева — тотчас получил он волшебные травы;
Как применить их, узнал и довольный домой возвратился.
Нового утра заря согнала лучезарные звезды,
Стал собираться народ на священное Марсово поле;

Вот уж стоят по холмам. В середине сам царь восседает
В пурпуре, скипетром он из кости слоновой отличен.
Вот вылетает уже из ноздрей адамантовых пламя
У медноногих быков,[285] — и, дыхом их тронуты, травы
Тлеют. Как слышится шум из полного пламени горна
Иль в печи земляной раскаленные пышут каменья
Ярким огнем, если их водяные обрызгают капли, —
Так же и грудь их шумит, где клубится стесненное пламя,
И огневая гортань. Но навстречу идет им Эсонов
Сын. Обратили они в лицо подходившего храбро
Страшные морды свои и рога с острием из железа;
Пыльную землю разят раздвоенным копытом и местность
Всю наполняют вокруг мычаньем своим дымоносным.
Ужас минийцев сковал. Ясон же подходит, не чуя
Дыха палящего, — вот какова чародейная сила! —
Смело он правой рукой подгрудки отвисшие треплет
И, подведя под ярмо, заставляет быков тяжеленный
Плуг волочить и взрезать непривычную землю железом.
Колхи — диву дались. А минийцы кричат, возбуждая
Храбрость его. Тут Ясон достает из медного шлема
Зубы дракона и их рассевает по вспаханной ниве.
Почва мягчит семена, напоенные ядом могучим, —
Зубы растут, и из них небывалые люди выходят.
Как принимает дитя человеческий образ во чреве
Матери и в глубине из частей свой состав образует
И на всеобщий простор не выходит, пока не созреет, —
Так, лишь когда развился в утробе беременной почвы
Образ людей из семян, — показались из нивы чреватой.
Но удивительней то, что уже потрясали оружьем!
Лишь увидали, что те свои заостренные копья
Приготовляют уже в гемонийского юношу кинуть,
В страхе поникли зараз головою и духом пеласги.
Тут устрашилась и та, кем юноша был безопасен,
Видя, как вдруг на него столь много врагов ополчилось,
Стала бледна, холодна, без кровинки в лице опустилась
И, чтобы силы у трав достаточно было, в подмогу

Шепчет заклятий слова и к тайной взывает науке.
Камень тяжелый меж тем бросает он в их середину, —
Бой отвратив от себя, меж собой заставляет их биться.
Гибнут, друг друга разя, землей порожденные братья,
Междуусобным мечом сражены. Веселятся ахейцы
И, победителя сжав, теснят его в жадных объятьях.
Сжать в объятьях его ты, варварка, тоже хотела, —
Стыд лишь помехой тебе. Иначе его обняла бы!
Да удержало тебя попеченье об имени добром.
Молча — дозволено то! — веселишься душой, превозносишь
Чары заклятий своих и богов, создающих заклятья.
Но оставалось еще усыпить бессонного змея.
С гребнем, о трех языках, с искривленными был он зубами,
Страх нагоняющий страж, золотого блюститель барана.
Только его окропил он травами с соком летейским,
Трижды слова произнес, что сладостный сон нагоняют,
Что бушеванье морей усмиряют и бурные реки, —
Сон к бессонным очам подошел, и герой пеласгийский
Золотом тем завладел. Доволен добычей, с собою
Он и другую увез, — виновницу первой, — и вскоре
В порт Иолкский вошел победителем с юной супругой.
Ради возврата сынов, отцы-старики с матерями
В дар приношенья несут; растоплено пламенем жарким,
Сало стекает, и бык молодой с золотыми рогами
В жертву богам принесен. Лишь Эсон[286] не участник веселья,
Близкий к кончине уже, от лет своих долгих усталый.
Молвит тогда Эсонид: «О супруга, кому я обязан
Подлинно счастьем своим! Хоть ты мне и все даровала,
Благодеяния твои хоть уже превзошли вероятье, —
Если возможно, — но что для чар невозможно волшебных? —
Часть годов у меня отними и отцу передай их».
Слёз не сдержала она, сыновним тронута чувством,
Вспомнила чувства свои, отца, что ею покинут.
Сердца, однако, она не раскрыла и молвила: «Муж мой,
Что за нечестье твои осквернило уста? Как могу я
Переписать часть жизни твоей на другого? Гекаты

Соизволенья не чай, не должного просишь. Однако
Больше, чем ты попросил, подарить, о Ясон, попытаюсь.
Свекра длительный век обновить я попробую, вовсе
Лет не отняв у тебя, — троеликая лишь бы богиня
Мне помогла и к моим чрезвычайным склонилась деяньям!»
Трех не хватало ночей, чтоб рога у луны съединились
И завершили бы круг. Но лишь полной она засияла,
Только на землю взирать начала округлившимся ликом,
Вышла Медея, одна, в распоясанном платье, босая,
Пышные волосы вдоль по плечам распустив без убора.
Шагом неверным, в немом молчании ночи глубокой,
Без провожатых идет. И люди, и звери, и птицы
Полный вкушают покой. Не шепчет кустарник, недвижим;
Леса безмолвна листва, туманный безмолвствует воздух.
Звезды мерцают одни. И она простерла к ним руки,
Трижды назад обернулась, воды зачерпнула в потоке
И омочила власы и трижды уста разрешила
Воем; потом, опершись коленом о твердую землю,
Молвила: «Ночь! Наперсница тайн, что луной золотою
Свету преемствуешь дня! Вы, звезды! Геката с главою
Троичной, ты, что ко мне сообщницей дела нисходишь
Мне помогать! Искусство волшбы и заклятия магов!
Ты, о Земля, что магам даешь трав знанье могучих,
Воздух и ветры, и вы, о озера и реки, и горы,
Вы все, боги лесов, все боги ночные, явитесь!
Вами, по воле моей, возвращаются реки к истокам
На удивленье брегам; заклинаньями я усмиряю
Бурного моря волну и волную безбурное море;
Ветры зову и гоню, облака навожу и свожу я;
Лопаться зевы у змей заставляю я словом заклятья;
Дикие камни, дубы, что исторгнуты с корнем из почвы,
Двигаю я и леса; велю — содрогаются горы,
И завывает земля, и выходят могильные тени.
Силой влеку и тебя, луна, хоть медью темесской
Твой сокращаю ущерб.[287] От заклятий моих колесница
Деда бледнее; мой яд бледнеть заставляет Аврору.

Вы мне и пламя быков притупили, изогнутым плугом
Вы пожелали сдавить их, груза не знавшую, выю;
В яростный бой меж собой вы бросили змеерожденных,
Стража, не знавшего сна, усыпили, — руно ж золотое,
Змея хитро обведя, переправили в гавани греков.
Ныне мне нужен состав, от которого стала бы старость
Вновь, освежившись, цвести и вернулись бы юные годы.
Вы не откажете мне. Не напрасно сверкали созвездья,
И не напрасно, хребтом влекома крылатых драконов,
Вот колесница летит». И спустилась с небес колесница.
Только Медея взошла, лишь погладила шею драконам
Взнузданным, только встряхнуть успела послушные вожжи,
Как вознеслась в высоту, и уже фессалийскую Темпе[288]
Зрит пред собою, и змей в пределы знакомые правит.
Травы, что Осса родит с Пелионом высоким, какие
Офрис взращает и Пинд, и Олимп, что возвышенней Пинда,
Явственно видит — и те, которые рвет она с корнем
Или же режет своим медяным серпом искривленным.
Много она набрала растений с брегов Апидана,
Много — с Амфриса; и ты, Энипей не остался нетронут
Тоже;[289] Пеней и Сперхия ток ей что-нибудь каждый
В дань принесли, и брега тростниками поросшие Беба,[290]
И с Антедона[291] траву животворную рвет, на Эвбее, —
Люди не знали о ней, превращенья не ведая Главка.
Девять дней и ночей ее видели, как, в колеснице
Мчась на змеиных крылах, она озирала равнины —
И возвратилась. И вот, — хоть запах один их коснулся, —
Сбросили змеи свою долголетнюю старую кожу.
Остановилась, прибыв, у порога стоит, за дверями.
Кровлей одни были ей небеса. Избегала касаний
Мужа. Два алтаря сложила из дерна Медея,
Справа — Гекаты алтарь, и жертвенник Юности — слева.
Дикой листвой оплела и ветвями священными оба.
Недалеко откидав из ям двух землю, свершает
Таинство; в горло овцы чернорунной вонзает Медея
Нож и кровью ее обливает широкие ямы,

Чистого чашу вина сверх крови она возливала,
Медную чашу брала, молока возливала парного;
Льются меж тем и слова, — богов призывает подземных,
Молит владыку теней с похищенной вместе супругой,
Чтоб не спешили отнять у тела дряхлого душу.
Милость обоих снискав молитвенным шепотом долгим,
Хилого старца она приказала из дома наружу
Вынести и, погрузив его в сон непробудный заклятьем,
Словно безжизненный труп на подстил травяной положила.
Вот приказала она отойти и Ясону и слугам,
Непосвященный их взор отвести повелела от тайны.
И удаляются все. Волоса распустивши, Медея
Рдеющих два алтаря обошла по обряду вакханок.
В черной крови намочив расщепленные факелы, держит
Их на обоих огнях и вершит очищение старца
Трижды огнем, и трижды водой, и серою трижды.
В медном котле между тем могучее средство вскипает
И подымается вверх и вздувшейся пеной белеет.
Варит и корни она, в гемонийском найденные доле,
И семена, и цветы, и горькие соки растений;
В них добавляет еще каменья с окраин Востока,
Чистый песок, что омыт при отливе водой океана,
Вот подливает росы, что ночью собрана лунной;
С мясом туда же кладет и поганые филина крылья,
Оборотня потроха, что волчий образ звериный
В вид изменяет людской; положила в варево также
И кинифийской змеи[292] чешуйчатой тонкую кожу;
Печень оленя-самца; в состав опустила вдобавок
Голову с клювом кривым вековухи столетней — вороны.
Тысячи к этим вещам прибавив еще безымянных,
Варварка, смертному в дар потребный состав приготовив,
Кроткой оливы седой давно уже высохшей ветвью
Варево стала мешать от дна и до верхнего слоя.
Вдруг этот старый сучок, вращаемый в меди горячей,
Зазеленел, а потом чрез короткое время оделся
В листья и вдруг отягчен стал грузом тяжелых оливок.

Всякий же раз, как огонь из бронзовой брызгал купели
Пеной и капли ее упадали горящие наземь,
Зелень являлась, цветы и густая трава луговая.
Только увидела то, Медея свой меч обнажила,
Вскрыла им грудь старика и, прежней вылиться крови
Дав, составом его наполняет. Лишь Эсон напился,
Раной и ртом то зелье впитав, седину свою сбросил;
Волосы и борода вмиг сделались черными снова,
Выгнана вновь худоба, исчезают бледность и хилость,
И надуваются вновь от крови прибавленной жилы,
Члены опять расцвели. Удивляется Эсон и прежний —
Сорокалетье назад — свой возраст младой вспоминает.
Вот увидал с высоты чудеса столь великой колдуньи
Либер[293] и вздумал тогда, что его бы кормилицам можно
Юные годы вернуть, — и дар получил от колхидки.
Чтобы злодейств не прервать, с супругом притворную ссору
Изображает она и, молельщицей, к Пелия[294] дому
Быстро бежит: ее, — ибо сам он уж старец глубокий, —
Дочери царские там принимают. Вскоре колхидка
Хитрая их оплела, обольстила их ложною дружбой.
Вот о заслугах своих рассказ им ведет, — как избавлен
Эсон от старости был, — и рассказ замедляет на этом.
И возникает в сердцах у Пелиевых дев упованье,
Что от искусства ее и отец их вернет себе юность.
Вот уже просят и ей обещают любую награду.
Та помолчала чуть-чуть, колеблясь будто в решенье,
Ждать заставляет себя, напускною их важностью муча.
Все ж обещает, сказав: «Чтоб больше доверия было
К дару у вас моему, пусть вашего овчего стада
Старший вожак от составов моих превратится в ягненка».
Вот уж притащен баран, от бесчисленных лет истощенный,
Около полых висков крутыми украшен рогами.
Только вонзила она свой нож гемонийский в сухое
Горло, едва лезвие запятналось скудною кровью,
Тушу барана в котел погружает колдунья и тут же
Мощный вливает состав, — и уже уменьшаются члены,

И исчезают рога, а вместе с рогами и годы,
Блеянье нежное вдруг из медного слышится чана.
Все в изумленье кругом, — меж тем из сосуда ягненок
Выпрыгнул; резво бежит и молочного вымени ищет.
В оцепененье стоят все дочери Пелия; так как
Правда доказана им, они лишь настойчивей просят.
Трижды Феб распрягал погруженных в Иберскую реку[295]
Кóней, четвертую ночь засияли лучистые в небе
Звезды, — и вот на огонь Ээтова дочь, лиходейка,
Чистой ставит воды с травой, не имеющей силы.
Вот, как убитый, заснул сам царь, предавши покою
Тело свое, а с царем и стражи спокойно заснули, —
Сон навело колдовство и могущество речи волшебной.
Дочери в отчий покой по приказу колхидки проникли,
Стали вкруг ложа его. «Что колеблетесь, что нерадивы?
Выньте мечи, — говорит, — престарелую кровь извлеките, —
Жилы пустые его наполню я новою кровью.
В ваших отныне руках и жизнь, и возраст отцовский.
Ежели есть в вас любовь и не зря предались вы надежде,
Так услужите отцу, оружьем исторгните старость,
Кровь дурную его, железо вонзив, удалите!»
Та, в ком чувство сильней, бесчувственной первая стала:
Вот преступленье творит, не преступная; сестры не в силах
Видеть ударов ее и, взор от отца отвращая,
Раны ему наугад десницей дикой наносят.
Кровью меж тем истекая, он все ж подымается с ложа,
Полурастерзанный встать с постели пытаясь, и между
Стольких взнесенных мечей протянул побелевшие руки.
«Дочери, что вы? — сказал, — что вас против жизни отцовой
Вооружает?» — у них — и души упали и руки.
Молвить хотел он еще, но вместе с гортанью колхидка
Речь отняла и растерзанный прах в кипяток опустила.
Если б она в небеса не умчалась на змеях крылатых,
Кары избегла б едва ль.[296] Высоко несется, минуя
В рощах густых Пелион и кровли Филиры,[297] минуя
Офрис[298] и дальше места, что прославлены древним Керамбом:

Подали помощь ему и на крыльях приподняли в воздух
Нимфы, когда разлилось и обрушилось море на сушу, —
Девкалионовых вод оттого он избег, не потоплен.
Вот оставляет она Эолийскую слева Питану,
Изображенье из скал как будто бы длинного змея,[299]
Иду и рощу ее, где сведенного сыном теленка
Некогда Либер укрыл под обличием ложным оленя;
Где над Корита отцом[300] возвышается холмик печальный.
Также поля, устрашенные вдруг завыванием Меры[301];
Град Эврипила,[302] где вмиг хвастливые женщины Коса
Стали рогаты, в тот день как отряд отошел Геркулеса.
Фебом любимый Родос, и народ иализских телхинов,[303]
Глаз которых все портил кругом, — на что ни посмотрят.
Возненавидел и скрыл их под братнины воды Юпитер.
Кеи[304] старинной она миновала Картейскую крепость,
Где через много годов удивиться отцу предстояло
Алкидаманту, что дочь обернулася мирной голубкой.[305]
Озеро видит она Гиризи и Кикнову Темпе,
Те, что прославил своим появлением лебедь. Там Филлий
Мальчику отдал во власть приручeнных пернатых, а также
Дикого льва. Приказанье быка одолеть получил он
И победил; но, сердясь, что любовь его презрена снова,
Филлий, как тот ни просил, быка ему не дал в награду.
Кикн возмущенный сказал: «Пожелаешь отдать!» И с высокой
Спрыгнул скалы. Вокруг все подумали: мальчик разбился, —
На белоснежных крылах повисал новоявленный лебедь!
А Гириэя меж тем, не зная, что спасся он, плачем
Вся излилась и дала возникшему озеру имя.
Рядом лежит и Плеврон,[306] в котором, на трепетных крыльях,
Комба, Офия дочь,[307] от детей избежала ранений.
Видит Медея поля Калавреи, Латониду милой,[308]
Помнящей, как государь с супругою в птиц обратились.
Справа Киллена[309] лежит, на которой пришлось Менефрону
С матерью ложе делить наподобие дикого зверя.
Видит Кефиса[310] вдали, который над участью плачет
Внука, что некогда был обращен Аполлоном в тюленя:

Дом и Эвмела[311] царя, что оплакивал в воздухе сына.
Вот на змеиных крылах, наконец, в Эфирее Пиренской[312]
Снизилась. Древних людей при начале веков тут явилось
Смертное племя, — его дождевые грибы породили.
Лишь молодая жена сгорела от ядов колхидских,
И пламеневший дворец два моря увидели разом,
Кровью детей заливается меч нечестивый, и мчится
Гнусно отмстившая мать, от оружья спасаясь Ясона.
Вот, на Титановых[313] мчась драконах, вступает Медея
В крепость Паллады.[314] Тебя там, Фенея вернейшая, зрели:
Зрели, Периф, и тебя, — как по воздуху вместе летели;[315]
Также на новых крылах Полипемона видели внучку.[316]
Принял колдунью Эгей[317] — в одном осудимый деянье;
Мало что принял ее, — съединился с ней узами брака;
Вот появился Тезей — отцу незнакомое чадо —
Доблести полный герой, усмиритель двуморского Истма.[318]
Чтобы его извести, аконит заварила Медея, —
Ею он был привезен когда-то со скифских прибрежий.
Произвели же его, как о том говорится в преданье,
Зубы Ехиднина пса.[319] Пещера с отверстием черным
Есть при дороге крутой, по которой тиринфянин храбрый[320]
Цербера-пса, что идти упирался, глаза от сверкавших
Солнца лучей отвратив, на цепи адамантовой к свету
Вывел. А тот, разъярясь, возбуждаемый бешеной злобой,
Громким лаем тройным одновременно воздух наполнил
И по зеленым лугам разбросал белесую пену.
Пена пустила ростки, говорят, и, влагу впивая
Из плодоносной земли, получила зловредную силу.
Этот живучий цветок, растущий на твердых утесах,
Жители сел аконитом зовут. По коварству супруги
Сыну родитель Эгей его, как врагу, преподносит,
Правой рукою Тезей в неведенье взялся за чашу, —
Но примечает отец на меча костяной рукояти
Знак родовой[321] и от уст сыновних отводит злодейство.
Смерти избегла она, облака заклинаньями сдвинув.
Царь же отец, хоть и был спасеньем обрадован сына,

В ужас великий пришел, что столь безбожное дело
Чуть не свершилось. Огни он не медля алтарные теплит
И для богов не жалеет даров; поражают секиры
Выи тугие быков с рогами в священных повязках.
Для Эрехтидов[322] вовек, говорят, не вставал лучезарно
Более праздничный день. Пируют и знатные люди,
И небогатый народ. За вином, возбуждающим души,
Песни запели: «Тобой, великий Тезей, восхищенья
Полн Марафон, — что быка обагрился критского ты кровью![323]
То, что спокойно теперь кромионский пашет селянин,[324] —
Дар и заслуга твои. Чрез тебя и предел Эпидавра
Видел, как мертвым упал жезлоносный потомок Вулкана;[325]
Видел Кефиса поток бессердечного гибель Прокруста[326];
Как был убит Керкион, Элевсин то видел Церерин;[327]
Мертв и Синис, во зло применявший великую силу, —
Перегибавший стволы, до земли наклоняющий сосны,
Чтоб, разорвав, разметать широко телеса человечьи.
До Алкатои,[328] до стен лелегийских дорога спокойна, —
С самой поры, как Скирон[329] усмирен. Разъятые кости
Татя земля отказалась принять и вода отказалась.
Долго носились они, говорят, и, состарившись, стали
Скалами; скалы хранят и доныне Скироново имя.
Если заслуги твои и года захотим мы исчислить,
Дел будет больше, чем лет. Пожеланья свои, о храбрейший,
Мы всенародно гласим, за тебя испиваем мы чаши!»
Был одобреньем дворец оглашен и мольбами желавших
Блага. В городе всем не нашлось бы печального места!
Все же — настолько земля чужда наслаждений всецелых,
И проникает всегда в веселье забота! — спокойно
Не веселился Эгей, возвращение празднуя сына.
Войско готовил Минос. Хоть был он силен ополченьем
И кораблями силен, но гневом отцовским сильнее.
Намеревался отмстить по праву за смерть Андрогея.[330]
Но пред началом войны собирает союзные силы.
Всюду, где доступ ему, с окрыленным рыскает флотом:
Он уж Анафу[331] привлек и Астипалейское царство,

Взял он Анафу — прельстив, а Астипалею — войною.
Низменный взял он Микон и поля меловые Кимвола,
Взял и цветущий Сирон, и Китн с Серифом равнинным,
Мраморный взял он Парос и безбожной проданный Арной
Сифн, — скупая, она, получив по условию злато,
Птицею стала, у ней и доныне пристрастие к злату, —
Ходит на черных ногах и черна оперением — галка.
Но Олиар, и Дидимы, и Тен, и Андр с Гиаром,
И Пепарет, где богат урожай глянцевитой оливы,
Кносским[332] судам помогать не пошли. И Минос обратился
Влево, в Энопию ту, где была Эакидов держава.
Эту Энопию так в старину называли. Эак же
Острову, матери в честь, дал новое имя: Эгина.
Валит толпа и узнать человека с толикою славой
Жаждет. Бежит Теламон, за ним, Теламона моложе,
Брат его средний, Пелей, и Фок — брат третий и младший,
Вскоре выходит и царь, неспешно, по-старчески важно;
Их вопрошает Эак, какова их приезда причина.
Горе отцово узнав, воздыхает; ему же правитель
Ста городов говорит, отвечая такими словами:
«Просьба моя: помоги за сына предпринятой брани,
Встань в ополченье любви: за могилу ищу возмещенья!»
Асопиад же ему: «Понапрасну ты просишь, не должен
Город мой так поступать. Земля Кекропова с нашей
Связана, как ни одна. Таков договор между нами».
Тот, опечалясь, ушел, — «Договор тебе дорого станет!» —
Молвил. Полезнее он угрожать почитает войною,
Нежель ее затевать и свои в ней расходовать силы.
Флот был ликтийский[333] еще с Энопийской крепости виден,
Как появился уже, под надутыми мчась парусами,
Аттики быстрый корабль и вошел в дружелюбную гавань, —
Кефала вез на себе и отечества с ним порученья.
Тотчас Эака сыны, хоть давно не встречался им Кефал,[334]
Все же узнали его и, подав ему правые руки,
В отчий дом повели. Герой, представительный с виду
И сохранивший еще красоты доказательства прежней,

Входит: в руках его ветвь любимой народом оливы,
С правой и с левой руки близ старшего — младшие двое:
Прибыли Клит и Бутей с ним вместе, Паллантовы дети.
После того, как они обменялись приветствием первым,
Передает им посол порученье афинян и просит
Помощи, на договор и семейные связи ссылаясь,
И что намерен Минос всю Ахайю[335] забрать, добавляет.
Он красноречьем помог порученья успеху, и молвил
Старый Эак, опершись на жезл свой левой рукою:
«Помощи вы не просите, ее получайте, Афины!
Острова этого все считайте вы силы своими.
Смело введите их в строй. Таково положение наше:
Силы достанет у нас; от врага отстоит меня воин.
Слава богам. Времена хороши, — извиняться не надо».
Кефал ответствовал: «Так да пребудет и впредь! Да умножь
Град твой граждан своих! Я обрадован был, что навстречу
Вышла ко мне молодежь, такая красивая, — все-то
Юноши в годах одни. Однако же нет между ними
Многих, виденных мной, когда принимал меня город».
И застонал тут Эак и голосом молвил печальным:
«Лучшее время вослед за началом плачевным настало.
Если бы мог я о нем говорить, о начале не вспомнив!
Все расскажу я подряд, не замедлив на приступе долгом.
Прахом лежат и костьми, кого вспоминаешь и ищешь.
Ах, сколь великая часть моего достоянья погибла!
Грозный был мор[336] в города ниспослан по злобе Юноны,
Возненавидевшей край, хранящий соперницы имя.
С бедствием этим, пока почитали его за людское,
Тайных не зная причин, искусством боролись врачебным.
Гибель сильнее была, побежденною помощь лежала.
Тьмою сначала густой тяжело надавило на землю
Небо, меж тем по ночам расслабляющий жар разливался.
И уж успела луна четырежды сделаться полной,
Слившись рога, и, опять утончаясь, нарушить окружность;
Начали жарко дышать смертоносным дыханием австры.
Ведомо, что и в ключи и в озера зараза проникла,

А по полям, в тот год не паханным, ползали всюду
Многие тысячи змей и ядом реки сквернили.
Гибель собак, и овец, и коров, и зверей, и пернатых
Признаком первым была нежданно постигшего мора.
Видя, как падает бык посредине работы, здоровый,
И среди пашни лежит, изумляется пахарь несчастный.
У шерстоносных же стад, болезненно блеющих, стала
Шерсть сама выпадать, и хиреет иссохшее тело.
Резвый некогда конь, на пыльных ристалищах славный,
Стал не достоин наград, забыл о бывалом почете,
Стонет в конюшне своей, умирая бесславною смертью.
Ярость вепрь потерял; уже не доверится бегу
Лань, перестал и медведь совершать на скотину набеги.
Все одолела болезнь: по лесам, по полям, по дорогам
Мерзкая падаль лежит, и воздух испорчен зловоньем.
Странную выскажу вещь: ни собака, ни жадная птица
Их не касались, ни волк седошерстый. Гниют, разлагаясь,
Смрадным духом вредят и широко разносят заразу.
Бедствием большим чума к несчастным пришла поселянам
И утвердила свое в великой столице господство.
Раньше сгорало нутро. Потаенного пламени первым
Знаком была краснота с затрудненным частым дыханьем,
Спекшийся пухнет язык; открыт, изнутри опалённый,
Высохший рот, и ему не отраден вдыхаемый воздух.
Тело не может терпеть ни подстилки, ни даже покрова, —
Грудью к твердой земле прижимаются. И не бывает
Тело свежей от земли, но земля горячеет от тела.
И врачевателя нет, на самих нападает лечащих
Неумолимая хворь, во вред им их же искусство.
Кто постоянно с больным, кто верно ему услужает,
Тот умирает скорей. Поскольку исчезла надежда
Быть исцеленным и смерть лишь одна избавленье сулила,
Стали беспечны душой, о пользе пропала забота.
Пользы и быть не могло. Везде, без стыда, обнажены,
И к родникам, и к рекам припадают, к глубоким колодцам,
И не напьются никак, — жизнь гаснет с жаждою вместе.

Многие, вовсе без сил, не могут уж выбраться: тут же
И умирают в воде. А иной все ж черпает воду!
Так велико у больных отвращенье к несносной постели,
Что убегают, вскочив: когда и подняться нет силы,
Катятся на пол — своих покидают каждый пенатов, —
Каждому собственный дом начинает казаться зловещим:
Так как причина темна, обвиняют в бедствии место.
Видели их, как они, полуживы, бредут по дорогам, —
Ежели в силах идти, — иль лежат на земле со слезами
И истомившийся взор обращают последним усильем,
Свисшие руки воздеть пытаясь к созвездиям неба,
Там или здесь и везде, где застанет их смерть, издыхают.
Что совершалось в душе у меня? Что чувствовать мог я, —
Если не жизнь разлюбить, не завидовать участи близких!
И повсеместно, куда б ни направил ты взора, — повсюду
Толпы валялись людей: так с веток колеблемых наземь
Падают яблоки-гниль, так валятся желуди с дуба.
Видишь ты храм пред собой высокий и с лестницей длинной:
Это — Юпитера храм. О, кто в святилище этом
Ладана тщетно не жег? Как часто супруг за супругу
Или же сын за отца обращался с горячей мольбою, —
Но расставались с душой пред святыней, молению чуждой!
И находили в руке — не истраченной часть фимиама!
Часто, бывало, быки, когда приведут их ко храму
И уж помолится жрец и вино меж рогов возливает,
Падали вдруг, словно их поражали нежданным ударом!
Раз за себя и за край приносил я Юпитеру жертву
И за троих сыновей, — но животное вдруг замычало
И, неожиданно пав, не дождавшись ударов смертельных,
Скудною кровью слегка подставленный нож обагрило.
Даже больное нутро утратило истины знаки
И откровенья богов: и туда проникла зараза.
Возле священных дверей распростертые видел я трупы,
Возле самих алтарей, — чтоб смерть ненавистней казалась!
Петлей иные себе запирают дыханье и гонят
Смертью свой смертный страх, торопят грозящую гибель.

Мертвых выносят тела без обычных торжеств погребальных
Из дому. Да и врата погребений уже не вмещали.
То, не зарыты, лежат на земле, то без дара слагают
Их на высокий костер; столь почтения нет, что дерутся
Из-за костров, и сгорает мертвец на огне у соседа.
Нет никого, кто бы слезы пролил; неоплаканы бродят
Души детей, матерей, и юношей души, и старцев.
Места в могилах уж нет, на костры не хватает поленьев.
И, пораженный таким изобильем несчастий, — «Юпитер! —
Я произнес, — о, если не лгут о тебе, что когда-то
К нашей Эгине сходил ты в объятья, к Асоповой дщери,[337]
Если, великий отец, нам родителем быть не стыдишься,
Иль верни мне моих, иль скрой и меня под землею!»
Молнией знаменье дал он и громом своим благовещим.
«Я разумею, и пусть счастливым будет то знаком
Расположений твоих! — я сказал, — и залогом да будет!»
Рядом случайно был дуб, редчайший, раскидист ветвями —
Взрос от додонских семян[338] и Юпитера был он святыней.
Длинный строй увидали мы там муравьев, собиравших
Зерна, маленьким ртом таскавших великие грузы
И по морщинам коры проходивших единою тропкой.
Их подивившись числу, — «О отец благодатный! — сказал я, —
Столько же граждан мне дай и пустынные стены восполни!»
Дуб задрожал, и в ветвях, без ветра в движенье пришедших,
Некий послышался шум. Содрогнулись от жуткого страха
Члены мои, поднялись волоса. Однако же землю
Облобызал я и дуб: не смея признаться в надежде,
Все же надеялся я и в душе упованье лелеял.
Ночь наступила, и сон утомленным тревогами телом
Овладевает. И дуб мне привиделся тот же, и столько ж
Было ветвей у него, и столько ж в ветвях насекомых
Было на дубе, и сам задрожал он таким же движеньем
И зерноносный их строй раскидал по полям под собою.
Будто бы стали они возрастать все больше и больше,
Приподыматься с земли и станом своим выпрямляться,
Стали терять худобу, и множество ножек, и черный

Цвет и уже принимать человеческий начали облик.
Сон отлетел. И кляну я свои сновиденья, тоскую,
Что от богов вспоможения нет. Во дворце же великий
Гомон стоял, и как будто бы там голоса я мужские
Слышу, — от них я отвык! Но все я почел сновиденьем.
Только идет Теламон, поспешая, и, двери раскрывши,
Молвит: «Увидишь ты сам, что и веры и чаяний больше!
Выйди!» Я выхожу. Какие в видении сонном
Мужи привиделись мне, таких я, в том же порядке,
Вижу и их узнаю. К государю подходят с поклоном.
Зевсу мольбы возношу и меж новым моим населеньем
Грады делю и поля, где былых хлебопашцев не стало.
Их «мирмидоны»[339] зову, на породу их тем намекая.
Внешность видел ты их. Какие обычаи были,
Те же у них и сейчас: скромны, выносливы в деле,
Крепки добро добывать и хранить добытое умеют.
Биться с тобою пойдут, и духом и возрастом равны,
Только лишь Эвр, счастливо тебя в предел наш принесший —
Ибо принес тебя Эвр — полуденным сменится Австром.
Так меж собой говоря и о разных толкуя предметах,
Длинный наполнили день. Вечернее отдано время
Было столу, ночь — сну. Взошло златоликое солнце.
Эвр, однако, все дул и мешал кораблей возвращенью.
К Кефалу утром пришли Паллантовы дети,[340] поскольку
Старше он возрастом был; а Кефал с сынами Палланта
Вместе явились к царю. Но еще почивал повелитель.
Приняты были они на пороге царевичем Фоком, —
Брат с Теламоном как раз набирали людей в ополченье.
В недра царевич дворца, в прекрасные дома покои
Кекропа внуков ведет и вместе с гостями садится.
И увидал Эакид в руке у потомка Эола[341]
С острым концом золотым неизвестного дерева дротик.
Несколько вымолвив слов для участия в общей беседе,
Он говорит: «Я — любитель лесов и охоты на зверя.
Но из какого ствола твой вырезан дротик, об этом
Не догадаюсь никак: когда бы из ясеня был он,

Цветом был бы желтей; из терна — был бы с узлами.
Вырезан он из чего, не знаю; но только красивей
Очи мои никогда не видали метательных копий».
И отвечает один из братьев Актейских[342]: «Но больше
Употребленью еще подивишься ты этого дрота:
Промаха он не дает, не случаем он управляем,
Окровавленный назад возвращается он сам собою».
И продолжает еще расспрашивать отрок Нереев,[343]
Да для чего, да откуда тот дрот, да чей он подарок.
Гость отвечает на все, лишь стыдится поведать, какою
Дрот обретен был ценой. Молчит, но, тронутый горем,
Милую вспомнив жену, начинает он так со слезами:
«Дрот мой, богини дитя, — не поверишь! — меня заставляет
Плакать, и долго еще я проплачу над ним, если долго
Жить мне дарует судьба. И меня с супругою вместе
Он погубил. О, когда б не иметь его было возможно!
Звали Прокридой ее. Была же — ты слышал, быть может,
Об Орифи́и? — сестрой похищенной той Орифии.
Если ты внешность и нрав их обеих сравнишь, то скорее
Надо б ее похищать. Эрехтей съединил меня с нею,
Нас съединила любовь. Почитался и был я счастливцем.
Боги судили не так, — иль был бы я счастлив и ныне!
Шел уже месяц второй по свершении брачных обрядов, —
Я для оленей тогда рогоносных протягивал сети, —
Тут, над Гиметом взойдя, с постоянно цветущей вершины,
Тьму отогнав, золотая меня вдруг видит Аврора
И увлекает к себе. О пусть, не обидев богини,
Правду скажу: хоть она и прельстительна розовым ликом,
Пусть пределом и дня и ночи владеет пределом,
Пусть ее нектар поит, — любил я одну лишь Прокриду!
В сердце Прокрида одна, на устах пребывала Прокрида.
Ложа святые права, новобрачные наши соитья
Доводом я привожу и покинутой спальни обеты.
Этим я тронул ее; и промолвила: «Неблагодарный,
Жалобы брось и Прокридой владей! Но коль дух мой провидчив,
Будешь об этом жалеть!» — и меня ей, сердясь, возвратила.

По возвращенье, пока вспоминал я угрозы Авроры,
Вдруг охватил меня страх, не худо ль жена соблюдала
Долг супружеский свой. Побуждали и внешность и возраст
Верить измене ее; поведенье же верить мешало.
Но ведь отсутствовал я; а та, от которой вернулся,
Грешный являла пример; ведь любящих все устрашает.
Муки своей решил я искать и стыдливую верность
Силой даров соблазнить. Мой страх поощряет Аврора,
Внешность меняет мою, — мне казалось, я чувствовал это!
Вот я, не узнан, вхожу в Афины, твердыню Паллады,
И проникаю в свой дом. Но вины не показывал дом мой, —
Он целомудрия полн, тосковал, что похищен хозяин.
Лишь к Эрехтиде проник я при помощи тысяч уловок,
Остолбенел, увидав, и готов был оставить попытку
Верность проверить ее. Едва я признать удержался
Правду, едва целовать, как было бы должно, не начал.
Грустной была. Но ничто не могло быть, однако, прекрасней,
Нежели в грусти она. К отнятому супругу пылала
Страстным желаньем. Теперь представь ты себе, какова же,
Фок, была в ней краса, раз ее и печаль украшала!
Что излагать, сколько раз отвергались душою стыдливой
Поползновенья мои? Сколько раз, — «Себя, — говорила, —
Для одного берегу; одному — наслаждение мною», —
И не довольно ль таких испытаний невинности было, —
Если кто разумом здрав? Но я недоволен, борюсь я
Сам на погибель свою и плату за ночь предлагаю.
Множа дары, наконец я принудил ее колебаться.
«Побеждена, — я вскричал, — преступница! Я, — соблазнитель, —
Твой настоящий супруг. Свидетель я сам вероломства!»
Та — ничего. Молчаливым стыдом побежденная, только,
Кинув злокозненный дом и недоброго мужа, — бежала.
И, оскорбленная мной, отвратившись от рода мужского,
Стала бродить по горам, служенью причастна Диане.
Я же, оставшись один, почувствовал жгучее пламя
В жилах. Прощенья просил, — в согрешенье своем сознавался,

В том, что дарами прельстясь, я и сам в проступок подобный
Впал бы, когда б и не столько даров предлагалось. Прокрида
После признаний моих, за стыд отплатив оскорбленный,
Вновь возвратилась ко мне, и сладко мы жили в согласье.
Кроме того мне дарит — как будто сама не была мне
Даром достаточным — пса, — его ж Прокриде вручила
Кинтия,[344] молвив: «Из всех он в беге окажется первым».
Тут же дала мне и дрот, который в руке моей видишь.
Но про второй этот дар и судьбу его знать ты желаешь?
Слушай тогда и дивись, — поразишься неслыханным делом.
Лайя сын[345] разгадал те реченья, что были дотоле
Непостижимы другим, и, низвергшись, лежала вещунья
Темная и о своих позабыла двусмысленных кознях.
Дел без возмездья таких никогда не оставит Фемида:
Тотчас другая напасть Аонийские вдруг постигает
Фивы: селяне дрожат перед хищником[346] диким, погибель
Видя скота и людей. Тут мы, молодежь из соседей,
Сходимся и широко окружаем тенетами поле.
Но перескакивал зверь прыжком их легким проворно,
Выше скача полотняных краев расставленной сети.
Своры спускаю собак, но хищник от них убегает
Прочь и несется, резвясь, быстрокрылой не медленней птицы.
Единодушно тогда все Ле́лапа требуют, — имя
То было пса моего. Он сам давно уж старался
Освободиться, ремень в нетерпенье натягивал шеей.
Только спустили его, — сказать мы уж были не в силах,
Где он. Следы его лап на песке раскаленном виднелись.
Сам же из глаз он исчез. Копье не быстрее несется
И не быстрее свинец, вращаемой брошен пращею,
Или же легкая трость, что с гортинского лука[347] слетает.
Холм поднимался крутой, над полями окружными высясь.
Встав на него, я слежу небывалого зрелище бега, —
Вот уже схвачен почти, вот будто едва ускользает
Зверь из-под самых зубов; бежит не прямою дорогой,
Не устремляется вдаль, но, по кругу назад возвращаясь,
Вводит собаку в обман, — не предпринял бы враг нападенья.

Та угрожает ему и вровень преследует, будто
Держит уже, — но не держит еще и лишь воздух кусает.
К дротику я обратился тогда. Но едва лишь рукою
Правой раскачивать стал, в ремни вдеть пальцы пытаясь,
Взор отвратил я; потом направил обратно на то же
Место: и — вот чудеса! — два мрамора на поле вижу:
Тот как будто бежит, а этот как будто бы лает.
Стало быть, так захотел — чтобы в беге оба остались
Непобежденными — бог, коль бог им содействовал некий».
Так он сказал и замолк. «Но в чем же дрот тут повинен?» —
Фок спросил, и тогда про дрота вину рассказал он.
«Радость сделалась, Фок, причиною нашего горя.
Молвлю сначала о ней. О, сладко блаженное вспомнить
Время, когда, Эакид, в те первые годы, законно,
Счастлив с женою я был, и она была счастлива с мужем.
Нежность взаимных забот нас брачной связала любовью.
Мужа любовь предпочла бы она и Юпитеру даже.
Да и меня ни одна не пленила б, когда бы самою
Даже Венерой была. Равно мы сердцами пылали.
Только лишь солнца лучи поутру озаряли вершины,
Я, молодой, на охоту в леса направлялся, бывало.
И ни рабов, ни коней не брал с собою, ни с чутким
Нюхом собак; сетей не захватывал я узловатых.
Дрот обеспечивал все. Когда же рука моя вдосталь
Понабивала зверей, стремился я в тень и прохладу,
Где ветерок из долин доносится струйкою свежей;
Струйки я нежной искал, облегченья полдневного зноя,
Струйки воздушной я ждал, и она овевала мой отдых.
«Струйка! — помнится мне, — приходи! — призывал я обычно, —
Дай облегченье и в грудь, о желанная, снова проникни, —
Если бы зной, сжигающий нас, могла ты умерить!»
Может быть, я добавлял, — так жребий мой был вероломен! —
Нежных несколько слов. «Ты великое мне наслажденье! —
Ей говорить я привык, — облегчаешь меня и лелеешь:
Из-за тебя мне леса и пустынные милы приюты,

Жадно устами твое постоянно вбираю дыханье!»
Возгласа смыслом двойным было чье-то обмануто ухо,
Кто-то решил, что, зовя, повторяю я имя, что будто
«Струйкой» нимфу зовут, и подумал, что нимфу люблю я.
Тотчас, спеша донести на то, чего не было, наглый
В дом к Прокриде идет и о слышанном тихо ей шепчет.
Склонна к доверью любовь. Пораженная горем нежданным,
Выслушав все, повалилась она и, не скоро оправясь,
Все несчастливой себя называла и жребий свой — горьким,
Все укоряла меня, и, смущенная мнимым проступком,
В страхе была пред ничем, перед именем, плоти лишенным!
Словно соперница впрямь у несчастной была, горевала.
Но сомневается все ж и, злосчастная, чает ошибки,
Верить не хочет в донос, и доколе сама не видала,
Не разрешает себе осуждать прегрешенье супруга.
Утра другого лучи темноту отгоняли ночную.
Я выхожу; хорошо наохотился и, отдыхая, —
«Струйка! — шепчу, — приди! Будь, усталому, мне врачеваньем!»
И неожиданно стон меж своими словами как будто
Некий услышал. «Приди, — однако, — всех лучшая!» — молвил.
Но как тихонько опять зашумели упавшие листья,
Зверь мне почудился там, и дротик метнул я летучий.
Это Прокрида была. С глубоко уязвленною грудью, —
«Горе, — воскликнула, — мне!» И только лишь верной супруги
Голос узнал я, стремглав на голос помчался, безумен.
Полуживою ее и пятнающей кровью одежду
Вижу, из груди, увы! — вынимающей собственный дар свой,
Вижу и тело, что мне моего драгоценнее тела,
На руки мягко беру; разорвав на груди ее платье,
Ей перевязку кладу на жестокую рану, стараюсь
Кровь удержать и молю, чтоб в убийстве меня не винили.
Та, уже силы лишась, умирая, себя принуждает
Вымолвить несколько слов: «О, нашего ради союза,
Вышних ради богов и моих, умоляю покорно:
Если чего-нибудь я заслужила, — ради любви той,
Что причинила мне смерть, но длится, хоть я погибаю, —

Да не займет, кого «Струйкой!» зовешь, наше брачное ложе».
Молвила. И наконец ошибку, где имя виною,
Я услыхал и постиг. Но что было пользы постигнуть?
Падает; с кровью лиясь, утекают и слабые силы.
Может доколе смотреть, на меня все смотрит и тут же
Прямо ко мне на уста выдыхает скорбящую душу.
Все же со светлым лицом умерла, успокоившись будто».
Плачущим, слезы лия, так герой повествует, но входит
К ним в это время Эак с двумя сыновьями и новой
Ратью, — и принял ее и оружие мощное Кефал.

КНИГА ВОСЬМАЯ

Скилла и Минос (1—151); Дедал (152—235); куропатка (236—259); Калидонская охота (260—444); Мелеагр (445—546) Ахелой, Эхинады (547—598); Филемон и Бавкида (599—709); Эрисихтон (710—832); Местра (833—869).

День лучезарный уже растворила Денница, ночное
Время прогнав, успокоился Эвр, облака заклубились
Влажные. С юга подув, Эакидов и Кефала к дому
Мягкие австры несут — и под их дуновеньем счастливым
Ранее срока пришли мореходы в желанную гавань.
Опустошал в то время Минос прибрежья лелегов,
Бранное счастье свое в Алкатоевом пробовал граде,
Где государем был Нис, у которого, рдея багрянцем,
Между почетных седин, посредине, на темени самом
Волос пурпуровый рос — упованье великого царства.
Шесть уже раз возникали рога у луны восходящей,
Бранное счастье еще колебалось, однако же. Долго
Дева Победа меж них на крылах нерешительных реет.
Царские башни в упор примыкали к стенам звонкозвучным,
Где, по преданью, была золотая приставлена лира
Сыном Латониным. Звук той лиры был в камне сохра́нен.
Часто любила всходить дочь Ниса на царскую башню,
В звучную стену, доколь был мир, небольшие каменья
Сверху кидать. А во время войны постоянно ходила
С верха той башни смотреть на боренья сурового Марса.
С долгой войной она имена изучила старейшин,
Знала оружье, коней, и обличье крита́н, и колчаны,
Знала всех лучше лицо предводителя — сына Европы[348] —
Больше, чем надо бы знать. Минос, в рассужденье царевны,
С гребнем ли перистым шлем на главу молодую наденет, —
Был и при шлеме красив. Возьмет ли он в руки блестящий
Золотом щит, — и щит ему украшением служит.
Если, готовясь метнуть, он раскачивал тяжкие копья,

В нем восхваляла она согласье искусства и силы.
Если, стрелу наложив, он натягивал лук свой широкий,
Дева божилась, что он стрелоносцу Фебу подобен.
Если же он и лицо открывал, сняв шлем свой медяный,
Иль, облаченный в багрец, сжимал под попоною пестрой
Белого ребра коня и устами вспененными правил,
Нисова дочь, сама не своя, обладанье теряла
Здравым рассудком. Она называла и дротик счастливым,
Тронутый им, и рукою его направляемый повод.
Страстно стремится она — если б было возможно! — во вражий
Стан девичьи стопы через поле направить, стремится
С башни высокой сама в кносси́йский ринуться лагерь
Или врагу отпереть обитые медью ворота, —
Словом, все совершить, что угодно Миносу. Сидела
Так и смотрела она на шатер белоснежный Диктейца,[349]
Так говоря: «Горевать, веселиться ль мне брани плачевной,
И не пойму. Что Минос мне, влюбленной, враждебен, — печалюсь,
Но, не начнись эта брань, как иначе его я узнала б?
Все-таки мог он войну прекратить и, назвав меня верной
Спутницей, тем обрести надежного мира поруку.
Если тебя породившая мать, о красой несравненный,
Схожа с тобою была, то недаром к ней бог возгорелся.
Как я блаженна была б, когда бы, поднявшись на крыльях,
Я очутилась бы там, у владыки кносси́йского в стане!
Я объявила б себя и свой пыл, вопросила б, какого
Хочет приданого он: не просил бы твердынь лишь отцовских!
Пусть пропадет и желаемый брак, лишь бы мне не изменой
Счастья достичь своего! — хоть быть побежденным нередко
Выгодно людям, когда победитель и мягок и кроток.
Правда, знаю — ведет он войну за убитого сына,
Силен и правдою он, и его защищающим войском.
Думаю, нас победят. Но коль ждать нам такого исхода,
То почему ж эти стены мои для Миноса откроет
Марс, а не чувство мое? Без убийства и без промедленья
Лучше ему одолеть, не потратив собственной крови.

Не устрашусь я тогда, что кто-нибудь неосторожно
Грудь твою ранит, Минос. Да кто же свирепый решился б
Полное злобы копье в тебя нарочито направить?
Замысел мне по душе и намеренье: вместе с собою
Царство в приданое дать и войне положить окончанье.
Мало, однако, желать. Охраняются стражами входы.
Сам врата запирает отец. Его одного лишь,
Бедная, ныне боюсь; один он — желаньям помеха.
Если б по воле богов не иметь мне отца! Но ведь каждый —
Бог для себя. Судьбой отвергаются слабого просьбы.
Верно, другая давно, столь сильной зажженная страстью,
Уж погубила бы все, что доступ к любви преграждает.
Чем я слабее других? Решилась бы я через пламя
И меж мечами пройти: но пламя ни в чем не поможет
И не помогут мечи, — один только волос отцовский.
Золота он драгоценнее мне. Блаженной бы сделал
Волос пурпурный меня, смогла б я желанья исполнить».
Так говорила она, и, забот многочисленных мамка,
Ночь подошла между тем, и тьма увеличила смелость.
Час был первого сна, когда утомленное за день
Тело вкушает покой. Безмолвная в спальню отцову
Входит. Дочь у отца похищает — о страшное дело! —
Волос его роковой; совершив нечестивую кражу,
С дерзкой добычей своей проникает в ворота и вскоре
В самую гущу врагов, — так верила сильно в заслугу! —
Входит, достигла царя и ему, устрашенному, молвит:
«Грех мне внушила любовь, я — Нисова дочь и царевна
Скилла: тебе предаю я своих и отцовских пенатов.
Я ничего не прошу, — тебя лишь. Любовным залогом
Волос пурпурный прими и поверь, что вручаю не волос,
Голову также отца моего!» И рукою преступной
Дар протянула. Минос от дарящей руки отшатнулся
И отвечал ей, смущен совершённым неслыханным делом:
«Боги да сгонят тебя, о бесчестие нашего века,
С круга земного, тебя пусть суша и море отвергнут!
Я же, клянусь, не стерплю, чтоб Крит, колыбель Громовержца

100 И достоянье мое, — стал такого чудовища домом», —
И покоренным врагам — ибо истинный был справедливец, —
Мира условия дав, кораблям велел он причалы
Снять и наполнить суда, обитые медью, гребцами.
Скилла, едва увидав, что суда уже в море выводят
105 И что Минос отказал в награде ее преступленью,
Вдруг, умолять перестав, предалась неистово гневу,
Руки вперед, растрепав себе волосы, в бешенстве взвыла:
«Мчишься куда, на брегу оставляя виновницу блага,
Ты, и родимой земле, и родителю мной предпочтенный?
110 Мчишься, жестокий, куда, чья победа — мое преступленье,
Но и заслуга моя? Тебя мой подарок не тронул
И не смягчила любовь, не смягчило и то, что надежды
Все мои были в тебе? О, куда обратиться мне, сирой?
В край ли родной? Он плененный лежит, но представь, что он волен, —
115 Из-за измены моей он мне недоступен. К отцу ли?
Мною он предан тебе. Ненавидят меня по заслугам:
Страшен соседям пример. Я от мира всего отказалась
Только затем, чтобы Крит мне один оставался открытым.
Неблагодарный, туда коль не пустишь меня и покинешь,
120 Мать — не Европа тебе, но Сиртов негостеприимных,[350]
Тигров армянских ты сын иль движимой Австром Харибды,
Ты не Юпитера плод, не пленилась обличием бычьим
Мать твоя. Этот рассказ про род ваш ложью подсказан.
Был настоящим быком, никакой не любившим девицы,
125 Тот, породивший тебя. Совершай же свое наказанье,
Нис, мой отец! Вы, изменой моей посрамленные стены,
Ныне ликуйте! Клянусь: погибели я заслужила.
Пусть из тех кто-нибудь, кто мною был предан безбожно,
Сгубит меня: ты сам победил преступленьем, тебе ли
130 Ныне преступницу гнать? Мое пред отцом и отчизной
Зло да воздастся тебе! Быть супругой твоею достойна
Та, что, тебе изменив и быка обманувши подделкой,[351]
Двух в одном родила! Но мои достигают ли речи
Слуха, увы, твоего? Иль ветры, быть может, уносят

Звук лишь пустой, как суда твои по морю, неблагодарный?
Не удивительно, нет, что тебе предпочла Пасифая
Мужа-быка: у тебя свирепости более было.
Горе мне! Надо спешить: разъяты ударами весел,
Воды шумят, а со мной и земля моя — ах! — отступает.
Но не успеешь ни в чем, о заслуги мои позабывший!
Вслед за тобою помчусь, руками корму обнимая.
В дали морей повлекусь!» — сказала — и кинулась в воду.
За кораблем поплыла, ей страстью приданы силы.
Долго на кносской корме ненавистною спутницей виснет.
То лишь увидел отец, — на воздухе он уж держался,
Только что преображен в орла желтокрылого, — тотчас
К ней полетел — растерзать повисшую загнутым клювом.
В страхе она выпускает корму; но чувствует: легкий
Держит ее ветерок, чтоб поверхности вод не коснулась.
Были то перья; она превратилась в пернатую, зваться
Киридой[352] стала: ей дал тот остриженный волос прозванье.
Сотню быков заколол по обету Юпитеру в жертву
Славный Минос, лишь достиг с кораблями земли куретидов,[353]
Свой разукрасил дворец, побед развесил трофеи.
Рода позор между тем возрастал. Пасифаи измену
Гнусную всем раскрывал двуединого образ урода.
Принял решенье Минос свой стыд удалить из покоев
И поместить в многосложном дому, в безвыходном зданье.
Дедал, талантом своим в строительном славен искусстве,
Зданье воздвиг; перепутал значки и глаза в заблужденье
Ввел кривизною его, закоулками всяких проходов.
Так по фригийским полям Меандр ясноводный, играя,
Льется, неверный поток и вперед и назад устремляет;
В беге встречая своем супротивно бегущие волны,
То он к истокам своим, то к открытому морю стремится
Непостоянной волной: так Дедал в смущение вводит
Сетью путей без числа; он сам возвратиться обратно
К выходу вряд ли бы мог: столь было запутано зданье!
После того как туда полубык-полуюноша заперт
Был, и два раза уже напитался актейскою кровью,[354]

В третий же был усмирен, через новое девятилетье.
С помощью девы та дверь, никому не отверстая дважды,
Снова была найдена показаньем распущенной нити;
И не замедлил Эгид[355]: Миноиду похитив, направил
К Дии свои паруса, где спутницу-деву, жестокий,
Бросил на береге, но к ней, покинутой, слезно молящей,
Вакх снизошел и обнял ее, чтобы вечные веки
Славилась в небе она, он снял с чела ее венчик
И до созвездий метнул; полетел он воздушным пространством,
И на лету в пламена обращались его самоцветы.
Остановились в выси, сохраняя венца очертанье,
Близ Геркулеса[356] со змеем в руке и с согбенным коленом.
Дедал,[357] наскучив меж тем изгнанием долгим на Крите,
Страстно влекомый назад любовью к родимым пределам,
Замкнутый морем, сказал: «Пусть земли и воды преградой
Встали, зато небеса — свободны, по ним понесемся!
Всем пусть владеет Минос, но воздухом он не владеет!»
Молвил — и всею душой предался незнакомому делу.
Новое нечто творит, подбирает он перья рядами,
С малых начав, чтоб за каждым пером шло другое, длиннее, —
Будто неровно росли: все меньше и меньше длиною, —
Рядом подобным стоят стволы деревенской цевницы:
Ниткой средину у них, основания воском скрепляет.
Перья друг с другом связав, кривизны незаметной им придал
Так, чтобы были они как у птицы. Присутствовал рядом
Мальчик Икар; он не знал, что касается гибели верной, —
То, улыбаясь лицом, относимые веющим ветром
Перья рукою хватал; то пальцем большим размягчал он
Желтого воска куски, ребячьей мешая забавой
Дивному делу отца. Когда ж до конца довершили
Дедала руки свой труд, привесил к крылам их создатель
Тело свое, и его удержал волновавшийся воздух.
Дедал и сына учил: «Полетишь серединой пространства!
Будь мне послушен, Икар: коль ниже ты путь свой направишь,
Крылья вода отягчит; коль выше — огонь обожжет их.
Посередине лети! Запрещаю тебе на Боота

Или Гелику[358] смотреть и на вынутый меч Ориона.
Следуй за мною в пути». Его он летать обучает,
Тут же к юным плечам незнакомые крылья приладив.
Между советов и дел у отца увлажнялись ланиты,
Руки дрожали; старик осыпал поцелуями сына.
Их повторить уж отцу не пришлось! На крыльях поднявшись,
Он впереди полетел и боится за спутника, словно
Птица, что малых птенцов из гнезда выпускает на волю.
Следовать сыну велит, наставляет в опасном искусстве,
Крыльями машет и сам и на крылья сыновние смотрит.
Каждый, увидевший их, рыбак ли с дрожащей удою,
Или с дубиной пастух, иль пахарь, на плуг приналегший, —
Все столбенели и их, проносящихся вольно по небу,
За неземных принимали богов.[359] По левую руку
Самос Юнонин уже, и Делос остался, и Парос;
Справа остался Лебинт и обильная медом Калимна.
Начал тут отрок Икар веселиться отважным полетом,
От вожака отлетел; стремлением к небу влекомый,
Выше все правит свой путь. Соседство палящего Солнца
Крыльев скрепление — воск благовонный — огнем размягчило;
Воск, растопившись, потек; и голыми машет руками
Юноша, крыльев лишен, не может захватывать воздух.
Приняты были уста, что отца призывали на помощь,
Морем лазурным, с тех пор от него получившим названье.[360]
В горе отец — уже не отец! — повторяет: «Икар мой!
Где ты, Икар? — говорит, — в каком я найду тебя крае?»
Все повторял он: «Икар!» — но перья увидел на водах;
Проклял искусство свое, погребенью сыновнее тело
Предал, и оный предел сохранил погребенного имя.[361]
Но увидала тогда, как несчастного сына останки
Скорбный хоронит отец, куропатка-болтунья в болоте,
Крыльями бить начала, выражая кудахтаньем радость, —
Птица, — в то время одна из невиданной этой породы, —
Ставшая птицей едва, постоянный укор тебе, Дедал!
Судеб не зная, сестра ему поручила наукам
Сына учить своего — двенадцать исполнилось только

Мальчику лет, и умом способен он был к обученью.
Как-то спинного хребта рассмотрев у рыбы приметы,
Взял он его образцом и нарезал на остром железе
Ряд непрерывный зубцов: открыл пилы примененье.
Первый единым узлом связал он две ножки железных,
Чтобы, когда друг от друга они в расстоянии равном,
Твердо стояла одна, другая же круг обводила.
Дедал завидовать стал; со священной твердыни Минервы
Сбросил питомца стремглав и солгал, что упал он. Но мальчик
Принят Палладою был, благосклонной к талантам; он в птицу
Был обращен и летел по воздуху, в перья одетый.
Сила, однако, ума столь быстрого в крылья и лапы
Вся перешла; а прозванье при нем остается былое.
Все-таки в воздух взлететь куропатка высоко не может,
Гнезд не свивает себе на ветвях и высоких вершинах;
Низко летает она и кладет по кустарникам яйца:
Высей страшится она, о падении помня давнишнем.
Был утомленный уже Этнейскою принят землею[362]
Дедал; защиты молил, — и мечом оградил его Кокал:
Милостив к Дедалу был. Уже перестали Афины
Криту плачевную дань выплачивать, — слава Тезею!
Храмы — в венках, и народ к ратоборной взывает Минерве,
И Громовержцу-отцу, и к прочим богам, почитая
Кровью обетною их, дарами и дымом курильниц.
Распространила молва перелетная имя Тезея
По Арголиде по всей, и богатой Ахайи народы
Помощи стали молить у него в их бедствии тяжком.
Помощи стал Калидон[363] умолять, хоть имел Мелеагра.
Полный тревоги, просил смиренно: причиной же просьбы
Вепрь, был, — Дианы слуга и ее оскорбления мститель.
Царь Оэней, говорят, урожайного года начатки
Вышним принес: Церере плоды, вино же Лиэю,[364]
Сок он Палладин возлил белокурой богине Минерве.[365]
Эта завидная честь, начиная от сельских, досталась
Всем олимпийским богам; одни без курений остались,
Как говорят, алтари обойденной Латониной дщери.

Свойственен гнев и богам. «Безнаказанно мы не потерпим!
Пусть нам почтения нет, — не скажут, что нет нам отмщенья!» —

Молвит она и в обиде своей на поля Оэнея
Вепря-мстителя шлет: быков столь крупных в Эпире
Нет луговом, не увидишь таких и в полях сицилийских.
Кровью сверкают глаза и пламенем; шея крутая;
Часто щетина торчит, наконечникам копий подобно, —
Целой оградой стоит, как высокие копья, щетина.
Хрюкает хрипло кабан, и, кипя, по бокам его мощным
Пена бежит, а клыки — клыкам подобны индийским,
Молния пышет из уст: листва от дыханья сгорает.
То в зеленях он потопчет посев молодой, то надежду
Пахаря — зрелый посев на горе хозяину срежет.
Губит хлеба на корню, Церерину ниву. Напрасно
Токи и житницы ждут обещанных им урожаев.
С длинною вместе лозой тяжелые валятся гроздья,
Ягоды с веткой лежат зеленеющей вечно маслины.
Буйствует он и в стадах; уже ни пастух, ни собака,
Лютые даже быки защитить скотину не могут.
Люди бегут и себя в безопасности чувствуют только
За городскою стеной. Но вот Мелеагр и отборных
Юношей местных отряд собираются в чаянье славы:
Два близнеца,[366] Тиндарея сыны, тот — славный наездник,
Этот — кулачный боец; Ясон, мореплаватель первый,
И с Пирифоем Тезей, — сама безупречная дружба, —
Два Фестиада, Линкей, Афарея потомок,[367] его же
Семя — проворный Идас и Кеней,[368] тогда уж не дева,[369]
Нравом жестокий Левкипп и Акаст, прославленный дротом,
И Гиппотой, и Дриант, и рожденный Аминтором Феникс,
Актора ровни-сыны и Филей, из Элиды посланец,
И Теламон, и отец Ахилла великого был там,
С Феретиадом. там был Иолай, гиантиец по роду,
Доблестный Эвритион, Эхион, бегун необорный,
И парикиец Лелег, Панопей и Гилей, и свирепый
Гиппас, и в те времена совсем еще юноша — Нестор;

Те, что из древних Амикл отправлены Гиппокоонтом;
И паррасиец Анкей с Пенелопиным свекром Лаэртом;
Мудрый пришел Ампикид, супругой еще не погублен,
Эклид и — рощ ликейских краса — тегеянка-дева;
Сверху одежда ее скреплялась гладкою пряжкой,
Волосы просто легли, в единственный собраны узел;
И, повисая с плеча, позванивал кости слоновой
Стрел хранитель — колчан; свой лук она левой держала.
Девы таков был убор; о лице я сказал бы: для девы
Отрочье слишком лицо, и слишком для отрока девье.
Только ее увидел герой Калидонский, сейчас же
И пожелал, но в себе подавил неугодное богу
Пламя и только сказал: «О, счастлив, кого удостоит
Мужем назвать!» Но время и стыд не позволили больше
Молвить: им бой предстоял превеликий, — важнейшее дело.
Частый никем никогда не рубленный лес начинался
С ровного места; под ним расстилались поля по наклону.
Леса достигли мужи, — одни наставляют тенета,
Те уж успели собак отвязать; поспешают другие
Вепря высматривать след, — своей же погибели ищут!
Дол уходил в глубину; обычно вода дождевая
Вся устремлялась туда; озерко порастало по краю
Гибкою ивой, ольхой малорослой, болотной травою,
Всякой лозой и густым камышом, и высоким и низким.
Выгнан из зарослей вепрь в середину врагов; разъяренный,
Мчится, подобно огню, что из туч громовых упадает,
Валит он в беге своем дерева, и трещит пораженный
Лес; восклицают бойцы, могучею правой рукою
Держат копье на весу, и широкий дрожит наконечник.
Мчит напролом; разгоняет собак, — какую ни встретит,
Мигом ударами вкось их, лающих, врозь рассыпает.
Дрот, Эхиона рукой для начала направленный в зверя,
Даром пропал: слегка лишь ствол поранил кленовый.
Брошенный следом другой, будь верно рассчитана сила,
В цель бы наверно попал, в хребте он у вепря застрял бы,
Но далеко пролетел: пагасейцем был кинут Ясоном.

Молвил тогда Ампикид: «О чтившийся мною и чтимый
Феб! Пошли, что прошу, — настичь его верным ударом!»
Бог снизошел сколько мог до молений; оружием тронут,
Но не поранен был вепрь, — наконечник железный Диана
Сбила у древка; одним был древком тупым он настигнут.
Пуще взбесился кабан; запылал подобен перуну,
Свет сверкает из глаз, из груди выдыхает он пламя,
И как несется ядро, натянутой пущено жилой,
К стенам летя крепостным иль башням, воинства полным, —
К сборищу юношей так, нанося во все стороны раны,
Мчится, — и Эвиалан с Пелагоном, что край охраняли
Правый, простерты уже: друзья подхватили лежащих.
Также не смог упастись Энизим, сын Гиппокоонта,
От смертоносных клыков; трепетал, бежать порывался,
Но ослабели уже, под коленом подсечены, жилы.
Может быть, здесь свою гибель нашел бы и Нестор-пилосец
Раньше троянских времен, но успел, на копье оперевшись,
Прыгнуть на дерево, тут же стоявшее, в ветви густые.
Вниз на врага он глядел с безопасного места, спасенный.
Тот же, свирепый, клык наточив о дубовые корни,
Смертью грозил, своим скрежеща обновленным оружьем,
Гнутым клыком он задел Эвритида огромного ляжку,
Братья меж тем близнецы, — еще не созвездие в небе,[370] —
Видные оба собой, верхом на конях белоснежных
Ехали; оба они потрясали в воздухе дружно
Остроконечья своих беспрерывно трепещущих копий.
Ранили б зверя они, да только щетинистый скрылся
В темной дубраве, куда ни коню не проникнуть, ни дроту.
Следом бежит Теламон, но, неосмотрительный в беге,
Наземь упал он ничком, о корень споткнувшись древесный.
Вот, между тем как его поднимает Пелей, наложила
Дева-тегейка стрелу и пустила из гнутого лука.
Около уха вонзясь, стрела поцарапала кожу
Зверя и кровью слегка обагрила густую щетину.
Дева, однако, не так веселилась удара успеху,
Как Мелеагр: говорят, он первый увидел и первый

Зверя багрящую кровь показал сотоварищам юным.
«Ты по заслугам, — сказал, — удостоена чести за доблесть!»
И покраснели мужи, поощряют друг друга и криком
Дух возбуждают, меж тем беспорядочно мечут оружье.
Дротам преградой тела, и стрелы препятствуют стрелам.
Тут взбешенный Аркад, на свою же погибель с секирой, —
«Эй, молодцы! Теперь предоставьте мне действовать! — крикнул, —
Знайте, сколь у мужчин оружье сильней, чем у женщин!
Дочь пусть Латоны его своим защищает оружьем, —
Зверя я правой рукой погублю против воли Дианы!»
Велеречивыми так говорит спесивец устами.
Молвил и, руки сцепив, замахнулся двуострой секирой,
Вот и на цыпочки встал, приподнялся на кончиках пальцев, —
Но поразил смельчака в смертельно опасное место
Зверь: он оба клыка направил Аркаду в подбрюшье.
Вот повалился Анкей, набухшие кровью обильно,
Выпав, кишки растеклись, и мокра обагренная почва.
Прямо пошел на врага Пирифой, Иксиона потомок:
Мощною он потрясал рогатину правой рукою.
Сын же Эгея ему: «Стань дальше, о ты, что дороже
Мне и меня самого, души моей часть! В отдаленье
Может и храбрый стоять: погубила Анкея отвага».
Молвил и бросил копье с наконечником меди тяжелой.
Ладно метнул, и могло бы желаемой цели достигнуть,
Только дубовая ветвь его задержала листвою.
Бросил свой дрот и Ясон, но отвел его Случай от зверя;
Дрот неповинному псу обратил на погибель: попал он
В брюхо его и, кишки пронизав, сам в землю вонзился.
Дважды ударил Ойнид: из двух им брошенных копий
Первое медью в земле, второе в хребте застревает.
Медлить не время; меж тем свирепствует зверь и всем телом
Вертится, пастью опять разливает шипящую пену.
Раны виновник — пред ним, и свирепость врага раздражает;
И под лопатки ему вонзает сверкнувшую пику.
Криками дружными тут выражают товарищи радость,

И поспешают пожать победившую руку рукою.
Вот на чудовищный труп, на немалом пространстве простертый
Диву дивуясь, глядят, все мнится им небезопасным
Тронуть врага, — все ж каждый копье в кровь зверя макает.
А победитель, поправ грозивший погибелью череп,
Молвил: «По праву мою ты возьми, нонакрийская дева,
Эту добычу: с тобою мы славу по чести разделим».
Тотчас он деве дарит торчащие жесткой щетиной
Шкуру и морду его с торчащими страшно клыками, —
Ей же приятен и дар, и сам приятен даритель.
Зависть почуяли все; послышался ропот в отряде.
Вот, из толпы протянув, с громогласными криками, руки, —
«Эй, перестань! Ты у нас не захватывай чести! — кричали
Так Фестиады, — тебя красота твоя не подвела бы,
Как бы не стал отдален от тебя победитель влюбленный!»
Дара лишают ее, его же — права даренья.
Марса внук не стерпел; исполнившись ярого гнева, —
«Знайте же вы, — закричал, — о чужой похитители чести,
Близки ль дела от угроз!» — и пронзил нечестивым железом
Грудь Плексиппа, — а тот и не чаял погибели скорой!
Был в колебанье Токсей: одинаково жаждавший в миг тот
Брата отмстить своего и боявшийся участи брата, —
Не дал ему Мелеагр сомневаться: согретое прежним
Смертоубийством копье вновь согрел он братскою кровью.
Сын победил, и несла благодарные жертвы Алтея
В храмы, но вдруг увидала: несут двух братьев убитых.
В грудь ударяет она и печальными воплями город
Полнит, сменив золотое свое на скорбное платье.
Но лишь узнала она, кто убийца, вмиг прекратился
Плач, и слезы ее перешли в вожделение мести.
Было полено: его — когда после родов лежала
Фестия дочь — положили в огонь триединые сестры.[371]
Нить роковую суча и перстом прижимая, младенцу
Молвили: «Срок одинаковый мы и тебе и полену,
Новорожденный, даем». Провещав прорицанье такое,
Вышли богини; а мать головню полыхавшую тотчас

Вынула вон из огня и струею воды окатила.
Долго полено потом в потаенном месте лежало
И сохранялось, — твои сохраняло, о юноша, годы!
Вот извлекла его мать и велела лучинок и щепок
В кучу сложить; потом подносит враждебное пламя.
В пламя древесный пенек пыталась четырежды бросить,
Бросить же все не могла: в ней мать с сестрою боролись, —
В разные стороны, врозь, влекут два имени сердце.
Щеки бледнели не раз, ужасаясь такому злодейству,
Очи краснели не раз, распаленным окрашены гневом,
И выражало лицо то будто угрозу, в которой
Страшное чудилось, то возбуждало как будто бы жалость.
Только лишь слезы ее высыхали от гневного пыла,
Новые слезы лились: так судно, которое гонит
Ветер, а тут же влечет супротивное ветру теченье,
Чует две силы зараз и, колеблясь, обеим покорно, —
Так вот и Фестия дочь, в нерешительных чувствах блуждая,
То отлагает свой гнев, то, едва отложив, воскрешает.
Преобладать начинает сестра над матерью все же, —
И чтобы кровью смягчить по крови родные ей тени,
Благочестиво творит нечестивое. Лишь разгорелся
Злостный огонь: «Моя да истлеет утроба!» — сказала —
И беспощадной рукой роковое подъемлет полено.
Остановилась в тоске пред своей погребальною жертвой.
«О Эвмениды, — зовет, — тройные богини возмездий!
Вы обратитесь лицом к заклинательным жертвам ужасным!
Мщу и нечестье творю: искупить смерть смертию должно,
Должно злодейство придать к злодейству, к могиле могилу.
В нагроможденье скорбей пусть дом окаянный погибнет!
Будет счастливец Ойней наслаждаться победою сына?
Фестий — сиротствовать? Нет, пусть лучше восплачутся оба!
Вы же, о тени моих двух братьев, недавние тени,
Помощь почуйте мою! Немалым деяньем сочтите
Жертву смертную, дар материнской утробы несчастный.
Горе! Куда я влекусь? Простите же матери, братья!
Руки не в силах свершить начатого — конечно, всецело

Гибели он заслужил. Ненавистен мне смерти виновник.
Кары ль не будет ему? Он, живой, победитель, надменный
Самым успехом своим, Калидонскую примет державу?
Вам же — пеплом лежать, вы — навеки холодные тени?
Этого я не стерплю: пусть погибнет проклятый; с собою
Пусть упованья отца, и царство, и родину сгубит!
Матери ль чувствовать так? Родителей где же обеты?
Десятимесячный труд материнский, — иль мною забыт он?
О, если б в пламени том тогда же сгорел ты младенцем!
Это стерпела бы я! В живых ты — моим попеченьем
Ныне умрешь по заслугам своим: поделом и награда.
Данную дважды тебе — рожденьем и той головнею —
Душу верни или дай мне с братскими тенями слиться.
Жажду, в самой же нет сил. Что делать? То братские раны
Перед очами стоят, убийства жестокого образ,
То сокрушаюсь душой, материнскою мучась любовью, —
Горе! Победа плоха, но все ж побеждайте, о братья!
Лишь бы и мне, даровав утешение вам, удалиться
Следом за вами!» Сказав, дрожащей рукой, отвернувшись,
В самое пламя она головню роковую метнула.
И застонало — иль ей показалось, что вдруг застонало, —
Дерево и, запылав, в огне против воли сгорело.
Был далеко Мелеагр и не знал, — но жжет его тайно
Этот огонь! Нутро в нем — чувствует — все загорелось.
Мужеством он подавить нестерпимые тщится мученья.
Сам же душою скорбит, что без крови, бесславною смертью
Гибнет; счастливыми он называет Анкеевы раны.
Вот он со стоном отца-старика призывает и братьев,
Кличет любимых сестер и последней — подругу по ложу.
Может быть, также и мать! Возрастают и пламя и муки —
И затихают опять, наконец одновременно гаснут.
Мало-помалу душа превратилась в воздух легчайший,
Мало-помалу зола убелила остывшие угли.
Гордый простерт Калидон; и юноши плачут и старцы,
Стонут и знать и народ; распустившие волосы с горя
В грудь ударяют себя калидонские матери с воплем.

Пылью сквернит седину и лицо престарелый родитель,
Сам распростерт на земле, продолжительный век свой поносит.
Мать же своею рукой, — лишь сознала жестокое дело, —
Казни себя предала, железо нутро ей пронзило.
Если б мне бог даровал сто уст с языком звонкозвучным,
Воображенья полет или весь Геликон, — я не мог бы
Пересказать, как над ней голосили печальные сестры.
О красоте позабыв, посинелые груди колотят.
Тело, пока оно здесь, ласкают и снова ласкают,
Нежно целуют его, принесенное ложе целуют.
Пеплом лишь стала она, к груди прижимают и пепел,
Пав на могилу, лежат и, означенный именем камень
Скорбно руками обняв, проливают над именем слезы.
Но утолясь наконец Парфаонова[372] дома несчастьем,
Всех их Латонина дочь, — исключая Горгею с невесткой
Знатной Алкмены,[373] — взрастив на теле их перья, подъемлет
В воздух и вдоль по рукам простирает им длинные крылья,
Делает рот роговым и пускает летать — превращенных.
Той порою Тезей, часть выполнив подвигов славных,
Шел в Эрехтеев предел, в твердыню Тритóниды Девы.[374]
Тут преградил ему путь и медлить заставил набухший
Из-за дождей Ахелой. «Взойди под кров мой, — сказал он, —
О Кекропид![375] Себя не вручай увлекающим волнам.
Крепкие бревна нести приобыкли они иль, бушуя,
С грохотом камни крутить: я видел: прибрежные хлевы
Бурный уносит поток; и нет уже проку коровам
В том, что могучи они, ни коням, — что бегают быстро.
Ярый поток, наводнясь из-за таянья снега, немало
В водовороте своем утопил молодого народу.
Лучше тебе отдохнуть до поры, когда возвратится
В русло река и опять заструит неглубокие воды».
И согласился Эгид. «Ахелой, я воспользуюсь домом
И увещаньем твоим», — ответствовал; так и исполнил.
В атрий вошел он, что выстроен был из шершавого туфа
С пористой пемзой; земля покрывалася влажная мохом.

Выложен был потолок пурпуровых раковин строем.
Гиперион[376] между тем две трети уж света отмерил,
Вот возлегли и Тезей, и соратники рядом на ложах;
Сын Иксиона[377] возлег по одной стороне, по другой же
Славный трезенец Лелег,[378] с приметной в висках сединою.
Также почтил и других одинаковым гостеприимством
Бог Акарнанской реки, посещеньем таким осчастливлен.
Стали готовить столы, с обнаженными стопами нимфы
Разные яства несут. Когда угощенья убрали,
Стали в сосуды вино разливать. И герой знаменитый,
Взором окинув простор перед ними лежащего моря,
«Что там за место? — спросил и перстом указал, — как зовется
Этот вон остров, скажи: но будто их несколько видно?»
Бог же речной отвечал: «Что видим мы, то не едино,
Пять островов там лежит: различить их мешает пространство.
Знайте же: так не одна поступала в обиде Диана!
Были наядами те острова: закололи однажды
Десять тельцов — и богов деревенских к тем жертвам призвали;
Но позабыли меня, поведя хороводы по чину.
Воды я вздул и несусь, я сроду таким полноводным
Не был. Ужасен равно и волной, и душевным порывом,
Мчался, леса от лесов, брега от брегов отделяя.
Вместе с землею и нимф, наконец-то меня вспомянувших,
Вплоть я до моря довлек. Тут море и я совокупно
Землю сплошную, разъяв, на столько частей разделили,
Сколько сейчас посредине, воды Эхинад созерцаешь.
Там, как видишь, вдали, вон там подымается остров,
Мне драгоценный. Его называет моряк Перимелой.
Деву избрав, у нее я похитил девичью невинность.
А Гипподаму отцу нестерпимо то было, и в море
Дочь он столкнул со скалы, в утробе носившую чадо.
Плывшую я подхватил и сказал: «О держатель трезубца,
Царство зыбей получивший в удел ближайшее к небу,
Где нам скончанье, куда мы сбегаем, священные реки, —
Встань и молящему мне, Нептун, снисходительно внемли!
Ту, с которой несусь, погубил я; когда б справедливей

Был и добрей Гипподам, когда бы не столь был безбожен,
Должен он был бы ее пожалеть, простить нас обоих.
О, помоги! Ей, молю, от отцовского гнева бежавшей,
Дай, о владыка, приют, — иль сама пусть станет приютом! —
Буду ее и тогда обнимать». Кивнул головою
Царь морской и потряс ему подчиненные воды.
Затрепетала она — но плыла. Меж тем у плывущей
Трогал я грудь, — она под рукою, волнуясь, дрожала.
Но, обнимая ее, вдруг чувствую: отвердевает
Тело, и девушки грудь земляным покрывается слоем.
Я говорю, — а земля облекает плывущие члены:
Тело, свой вид изменив, разрастается в остров тяжелый».
Бог речной замолчал. Удивленья достойное дело
Тронуло всех. Но один над доверием их посмеялся, —
Иксионид, — презритель богов, необузданный мыслью:
«Выдумки — весь твой рассказ, Ахелой, ты не в меру могучей
Силу считаешь богов, — будто вид и дают и отъемлют!»
И поразилися все, и словам не поверили дерзким.
Первый меж ними Лелег, созревший умом и годами,
Так говорит: «Велико всемогущество неба, пределов
Нет ему: что захотят небожители, то и свершится.
А чтобы вас убедить, расскажу: дуб с липою рядом
Есть на фригийских холмах, обнесенные скромной стеною.
Сам те места я видал: на равнины Пелоповы[379] послан
Был я Питфеем,[380] туда, где отец его ранее правил.
Есть там болото вблизи, — обитаемый прежде участок;
Ныне — желанный приют для нырка и лысухи болотной.
В смертном обличье туда сам Юпитер пришел, при отце же
Был отвязавший крыла жезлоносец, Атлантов потомок.[381]
Сотни домов обошли, о приюте прося и покое,
Сотни к дверям приткнули колы; единственный — принял,
Малый, однако же, дом, тростником и соломою крытый.
Благочестивая в нем Бавкида жила с Филемоном,
Два старика: тут они съединились в юности браком.
В хижине той же вдвоем и состарились. Легкою стала
Бедность смиренная им, и сносили ее безмятежно.

Было б напрасно искать в том доме господ и прислугу,
Все-то хозяйство — в двоих; всё сами: прикажут — исполнят.
Лишь подошли божества под кров неприметных пенатов,
Только успели главой под притолкой низкой склониться,
Старец придвинул скамью, отдохнуть предлагая пришельцам.
Грубую ткань на нее поспешила накинуть Бавкида.
Теплую тотчас золу в очаге отгребла и вечерний
Вновь оживила огонь, листвы ему с сохлой корою
В пищу дала и вздувать его старческим стала дыханьем.
Связки из прутьев она и сухие сучки собирает
С кровли, ломает в куски, — котелочек поставила медный.
Вот с овощей, стариком в огороде собранных влажном,
Листья счищает ножом; супруг же двузубою вилой
Спинку свиньи достает, что коптилась, подвешена к балке.
Долго ее берегли, — от нее отрезает кусочек
Тонкий; отрезав, его в закипевшей воде размягчает.
Длинное время меж тем коротают они в разговорах, —
Времени и не видать. Находилась кленовая шайка
В хижине их, на гвозде за кривую подвешена ручку.
Теплой водой наполняют ее, утомленные ноги
В ней отдохнут. Посредине — кровать, у нее ивяные
Рама и ножки, на ней — камышовое мягкое ложе.
Тканью покрыла его, которую разве лишь в праздник
Им приводилось стелить, но была и стара, и потерта
Ткань, — не могла бы она ивяной погнушаться кроватью.
И возлегли божества. Подоткнувшись, дрожащая, ставит
Столик старуха, но он покороче на третью был ногу.
Выровнял их черепок. Лишь быть перестал он покатым —
Ровную доску его они свежею мятой натерли.
Ставят плоды, двух разных цветов, непорочной Минервы,[382]
Осенью сорванный тёрн, заготовленный в винном отстое,
Редьку, индивий-салат, молоко, загустевшее в творог,
Яйца, легко на нежарком огне испеченные, ставят.
В утвари глиняной все. После этого ставят узорный,
Тоже из глины, кратер и простые из бука резного
Чаши, которых нутро желтоватым промазано воском.

Тотчас за этим очаг предлагает горячие блюда.
Вскоре приносят еще, хоть не больно-то старые, вина;
Их отодвинув, дают местечко второй перемене.
Тут и орехи, и пальм сушеные ягоды, смоквы,
Сливы, — немало плодов благовонных в разлатых корзинах,
И золотой виноград, на багряных оборванный лозах.
Свежий сотовый мед посередке; над всем же — радушье
Лиц, и к приему гостей не худая, не бедная воля.
А между тем, что ни раз, опорожненный вновь сам собою, —
Видят, — наполнен кратер, вино подливается кем-то!
Диву дивятся они, устрашились и, руки подъемля,
Стали молитву творить Филемон оробелый с Бавкидой.
Молят простить их за стол, за убогое пира убранство.
Гусь был в хозяйстве один, поместья их малого сторож, —
Гостеприимным богам принести его в жертву решили.
Резов крылом, он уже притомил отягченных летами, —
Все ускользает от них; наконец случилось, что к самым
Он подбегает богам. Те птицу убить запретили.
«Боги мы оба. Пускай упадет на безбожных соседей
Кара, — сказали они, — но даруется, в бедствии этом,
Быть невредимыми вам; свое лишь покиньте жилище.
Следом за нами теперь отправляйтесь. На горные кручи
Вместе идите». Они повинуются, с помощью палок
Силятся оба ступать, подымаясь по длинному склону.
Были они от вершины горы в расстоянье полета
Пущенной с лука стрелы, назад обернулись и видят:
Все затопила вода, один выдается их домик.
И, меж тем как дивятся они и скорбят о соседях,
Ветхая хижина их, для двоих тесноватая даже,
Вдруг превращается в храм; на месте подпорок — колонны,
Золотом крыша блестит, земля одевается в мрамор,
Двери резные висят, золоченым становится зданье.
Ласковой речью тогда говорит им потомок Сатурна:[383]
«Праведный, молви, старик и достойная мужа супруга,
Молви, чего вы желали б?» — и так, перемолвясь с Бавкидой,
Общее их пожеланье открыл Филемон Всемогущим:

«Вашими быть мы жрецами хотим, при святилищах ваших
Службу нести, и, поскольку ведем мы в согласии годы,
Час пусть один унесет нас обоих, чтоб мне не увидеть,
Как сожигают жену, и не быть похороненным ею».
Их пожеланья сбылись: оставались стражами храма
Жизнь остальную свою. Отягченные годами, как-то
Став у святых ступеней, вспоминать они стали событья.
Вдруг увидал Филемон: одевается в зелень Бавкида;
Видит Бавкида: старик Филемон одевается в зелень.
Похолодевшие их увенчались вершинами лица.
Тихо успели они обменяться приветом. «Прощай же,
Муж мой!» — «Прощай, о жена!» — так вместе сказали, и сразу
Рот им покрыла листва. И теперь обитатель Тианы
Два вам покажет ствола, от единого корня возросших.
Это не вздорный рассказ, веденный, не с целью обмана,
От стариков я слыхал, да и сам я висящие видел
Там на деревьях венки; сам свежих принес и промолвил:
«Праведных боги хранят: почитающий — сам почитаем».
Кончил, и тронуты все и событьями и рассказавшим,
Всех же сильнее — Тезей. Вновь хочет он слушать о чудных
Божьих делах, — и, на ложе склонясь, обратился к Тезею
Бог калидонской реки: «О храбрый! Бывают предметы:
Если их вид изменен, — остаются при новом обличье;
Есть же, которым дано обращаться в различные виды, —
Ты, например, о Протей, обитатель обнявшего землю
Моря! То юношей ты, то львом на глаза появлялся,
Вепрем свирепым бывал, змеей, прикоснуться к которой
Боязно, а иногда ты рогатым быком становился.
Камнем порою ты был, порою и деревом был ты.
А иногда, текучей воды подражая обличью,
Был ты рекой; иногда же огнем, для воды ненавистным.
И Автолика жена, Эрис́хтона дочь, обладает
Даром таким же. Отец, презирая божественность Вышних,
На алтарях никогда в их честь не курил фимиама.
Он топором — говорят — оскорбил Церерину рощу,
Будто железом нанес бесчестье древней дубраве.

Дуб в той роще стоял, с долголетним стволом, преогромный,
С целую рощу один, — весь в лентах, в дощечках на память,
В благочестивых венках, свидетельствах просьб не напрасных
Часто дриады под ним хороводы в праздник водили,
Часто, руками сплетясь по порядку, они окружали
Дерева ствол; толщина того дуба в обхват составляла
Целых пятнадцать локтей. Остальная же роща лежала
Низменно так перед ним, как трава перед рощею всею.
Но, несмотря ни на что, Триопей[384] топора рокового
Не отвратил от него; приказал рабам, чтоб рубили
Дуб. Но, как медлили те, он топор из рук у них вырвал.
«Будь он не только любим богиней, будь ею самою,
Он бы коснулся земли зеленою все же вершиной!» —
Молвил. И только разить топором он наискось начал,
Дуб содрогнулся, и стон испустило богинино древо.
В то же мгновенье бледнеть и листва, и желуди дуба
Стали; бледностью вдруг его длинные ветви покрылись.
А лишь поранили ствол нечестивые руки, как тотчас
Из рассеченной коры заструилася кровь, как струится
Пред алтарями, когда повергается тучная жертва,
Бык, — из шеи крутой поток изливается алый.
Остолбенели кругом; решился один святотатство
Предотвратить, отвести беспощадный топор фессалийца.
Тот поглядел, — «За свое благочестье прими же награду!» —
Молвил и, вместо ствола в человека направив оружье,
Голову снес — и рубить стал снова с удвоенной силой.
Вдруг такие слова из средины послышались дуба:
«В дереве я здесь живу, Церере любезная нимфа,
Я предрекаю тебе, умирая: получишь возмездье
Ты за деянья свои, за нашу ответишь погибель!»
Но продолжает злодей; наконец от бессчетных ударов
Заколебавшись и вниз бечевами притянуто, с шумом
Дерево пало и лес широко придавило собою.
Сестры Дриады, своим потрясенные горем — и горем
Рощи священной, пошли и предстали в одеждах печали
Перед Церерой толпой: покарать Эрисихтона молят.

И согласилась она и, прекрасной кивнув головою,
Злачные нивы земли сотрясла, отягченные хлебом.
Мужа решила обречь на достойную жалости муку, —
Если жалости он при деяньях достоин подобных:
Голодом смертным томить. Но поскольку ко Гладной богине
Не было доступа ей, ибо волею судеб не могут
Голод с Церерой сойтись, обратилась она к Ореаде
Сельской, одной из нагорных богинь, с такими словами:
«Некое место лежит на окраине Скифии льдистой,
Край безотрадный, земля, где нет ни плодов, ни деревьев;
Холод коснеющий там обитает и Немочь и Ужас,
Тощий там Голод живет. Войдет пусть Глада богиня
В гнусную грудь святотатца; и пусть никакое обилье
Не одолеет ее. Пусть даже меня превозможет.
А чтоб тебя не страшил путь дальний, вот колесница,
Вот и драконы тебе. Правь ими в высоком полете».
Тотчас дала их. И вот, на Цереринои мчась колеснице,
В Скифию та прибыла. На мерзлой горе, на Кавказе
Остановилась она и змей распрягла и сейчас же
Глада богиню нашла на покрытом каменьями поле, —
Ногтем и зубом трудясь, рвала она скудные травы.
Волос взъерошен, глаза провалились, лицо без кровинки,
Белы от жажды уста, изъедены порчею зубы,
Высохла кожа, под ней разглядеть всю внутренность можно.
Кости у ней, истончась, выступали из лядвей скривленных.
Был у нее не живот, а лишь место его, и отвисли
Груди, — казалось, они к спинному хребту прикреплялись.
От худобы у нее вылезали суставы узлами,
Чашек коленных и пят желваки безобразно торчали.
Издали видя ее, подойти не решаясь, однако,
Передает ей богини слова; но лишь малость помедлив, —
Хоть и была далеко, хоть едва лишь туда появилась, —
Голод почуяла вдруг, — и гонит обратно драконов!
В край Гемонийский спешит, в выси натянув свои вожжи.
Глада богиня тотчас — хоть обычно она и враждебна
Делу Цереры — спешит ее волю исполнить. Уж ветер

К дому ее перенес Эрисихтона: вот к святотатцу
В спальню богиня вошла и немедленно спящего крепко, —
Ночью то было, — его обхватила своими руками,
В недра вдохнула себя; наполняет дыханием горло,
Рот и по жилам пустым разливает голода муку.
Сделала дело свое и покинула мир изобильный
И воротилась к себе, в дом скудный, к пещерам привычным.
Сладостный сон между тем Эрисихтона нежил крылами
Мягкими: тянется он к соблазнительно снящимся яствам,
Тщетно работает ртом; изнуряет челюсть о челюсть,
Мнимую пищу глотать обольщенной старается глоткой.
Но не роскошную снедь, а лишь воздух пустой пожирает.
Только лишь сон отошел, разгорается буйная алчность,
В жадной гортани царит и в утробе, отныне бездонной.
Тотчас всего, что земля производит, и море, и воздух,
Требует; блюда стоят, но на голод он сетует горько.
Требует яств среди яств. Чем целый возможно бы город,
Целый народ напитать, — для него одного не довольно.
Алчет все большего он, чем больше нутро наполняет.
Морю подобно, что все принимает земные потоки,
Не утоляясь водой, выпивает и дальние реки,
Или, как жадный огонь постоянно питания алчет
И без числа сожирает полен, и чем больше получит,
Просит тем больше еще и становится все ненасытней, —
Так нечестивого рот Эрисихтона множество разных
Блюд принимает и требует вновь: в нем пища любая
К новой лишь пище влечет. Он ест, но утроба пустует.
Вот истощает уже, голодая пустою утробой,
Средства отцовские. Ты лишь один, о безжалостный голод,
Не притуплялся внутри; не смирённое пламя пылало
В глотке его. Наконец все имущество кануло в чрево.
Дочь оставалась одна, — не такой подобал ей родитель!
Нищий, он продал и дочь. Но та господина отвергла,
К морю она подошла и, простерши ладони, сказала:
«У господина меня отними, о Ты, что похитил
Девства дары моего!» Нептун овладел ее девством.

И не отверг он мольбы: когда увидал ее шедший
Следом владелец ее, изменил ее бог, и в мужское
Деву обличье облек, и снаряды ей дал рыболова.
Видит ее господин, — «О ты, что крючочек из меди
Малой приманкой закрыл и следишь за удой, — говорит он, —
Море да будет всегда для тебя безмятежно и рыба
Вечно доверчива, пусть, заглотнув лишь, крючок твой почует!
Девушка в платье простом, что стояла, растрепана, рядом,
Здесь на морском берегу, — ибо видел я сам, что стояла, —
Где она, делась куда? Тут сразу следы пропадают».
Внятен ей дар божества, что ставят вопрос ей о ней же, —
Девушка рада душой и спросившему так отвечает:
«Кто бы ты ни был, скажу: ты ошибся; с волны я ни разу
Глаз не сводил, целиком своим занят был делом.
Не сомневайся, поверь, — о, пусть мне подмогою будет
В этом искусстве Нептун! — за время, пока тут сижу я,
Не появлялся никто, и женщина здесь не стояла».
Он не поверить не мог и назад по песку удалился.
Так он, обманут, ушел; а к ней вид прежний вернулся.
Но, убедившись, что дочь принимает различные виды,
После отец продавал Триопеиду часто, — и дева
То кобылицей была, то оленем, коровой и птицей
И доставляла отцу беззаконное тем пропитанье.
После того, как алчба достояние все истощила,
Снова и снова еду доставляя лихому недугу,
Члены свои раздирать, зубами грызть Эрисихтон
Начал: тело питал, убавляяся телом, — несчастный!
Что о других говорю? У меня самого же способность,
Юноши, тело мое изменять в ограниченной мере:
То я таков, как сейчас, иногда же в змею обращаюсь,
То вожаком перед стадом иду, и в рогах — моя сила.
Были когда-то рога… А теперь одного из оружий
Лоб мой, как видишь, лишен…» — и за речью послышались вздохи.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

Ахелой (1—97); Несс (98—133); Деянира, Геркулес на Эте (134—210); Лихас (211—238); апофеоз Геркулеса (239—272); Галантида (273—323); Дриопа (324—393); Иолай; судьбы героев (394—438); Библида (439—665); Ифис (666—797).

Что за причина вздыхать и как рог обломился у бога,
Просит Нептунов герой рассказать; и Поток Калидонский,[385]
Под тростниковый венок подобрав свои волосы, начал:
«Просьба твоя тяжела, ибо кто, побежденный, захочет
Битвы свои вспоминать? Расскажу по порядку, однако:
Меньше в моем пораженье стыда, чем в боренье — почета,
И победителем я столь великим утешен немало.
Может быть, издалека до тебя и дошло Деяниры[386]
Имя; когда-то была она дивнопрекрасною девой,
Многих влюбленных в нее домогателей целью завидной.
С ними, ее испросить, в дом тестя явился я тоже.
«Зятем меня назови, — я сказал ему, — сын Парфаона!»
Так же сказал и Алкид[387]. Остальные нам двум уступили.
Тот похвалялся, что даст им Юпитера в свекры, и славу
Подвигов трудных, и все, что по воле он мачехи вынес.
Я возражал, что позор, если бог человеку уступит, —
Богом он не был тогда: «Пред собою ты видишь владыку
Вод, что, наклонно катясь, по владеньям твоим протекают.
Нет, не из чуждых краев постояльцем зять тебе прислан, —
Буду я — свой человек и часть твоего достоянья.
Не повредило бы мне лишь одно, что царицей Юноной
Я не гоним, не несу никакой подневольной работы![388]
Ежели хвалишься ты, что Алкменой рожден, то Юпитер
Ложный родитель тебе, а коль подлинный, — значит, преступный.
Матери блудом себе приобрел ты отца: выбирай же,
Иль не Юпитер родитель тебе, иль рожден ты постыдно?»
На говорящего так он давно уже скошенным глазом
Смотрит, не в силах уже управлять распалившимся гневом,

И возражает в ответ: «Не язык, а рука — моя сила.
Лишь бы в борьбе одолеть, — побеждай в разговорах, пожалуй!»
Грозный ко мне подступил. После речи такой уж не мог я
Пятиться: тотчас с себя я зеленую сбросил одежду,
Выставил руки вперед и держал кулаки перед грудью,
Став в положенье бойца, все члены к борьбе приготовил.
Пригоршню пыли набрав, меня он той пылью осыпал;
Тотчас и сам пожелтел, песком занесенный сыпучим.
То за зашеек меня, то за ноги проворные схватит, —
Правда, иль чудится так, — но со всех он сторон нападает.
Тяжесть моя защищала меня, он наскакивал тщетно.
Так неподвижна скала, на которую с шумом великим
Приступом волны идут: стоит, обеспечена грузом.
Вот мы чуть-чуть отошли и уж снова сходимся биться.
Крепко стоим на земле, порешив не сдаваться. Прижались
Крепко ногою к ноге. Всей грудью вперед наклонившись,
Пальцами пальцы давлю и на лоб его лбом нажимаю.
Видел я, сходятся так два могучих быка, состязаясь,
Если награда борьбы, красавица первая паствы,
Самка кидает их в бой, а скотина глядит и страшится,
В недоумении, кто завоюет такую державу.
Трижды отбросить хотел от себя сын грозный Алкея
Грудь мою в этой борьбе. По четвертому разу объятий
Все ж он избег и сумел свои вызволить руки, отвел их;
Тут же он руку напряг, — это чистая правда! — и сразу
Перевернул меня вдруг и налег всей тяжестью сзади.
Верите ль, нет ли, — но я не стремлюсь неправдивым рассказом
Славу снискать! — почудилось мне, что горой я придавлен.
Еле я вытащить мог увлажненные потом обильным
Руки, едва разорвав вкруг груди тугое объятье.
Я задыхался, но он не позволил мне с силой собраться.
Шею мою захватил. Наконец, уж не мог я не тронуть
Землю коленом своим и песок закусил, побежденный.
Силой слабее его, прибегаю к своим ухищреньям
И ускользаю из рук, превратившись в длинного змея.

Но между тем как я полз, образуя извивы и кольца,
Страшно свистя и притом шевеля языком раздвоенным,
Захохотал лишь тиринфский герой на мои ухищренья, —
Молвив: «Змей укрощать, — то подвиг моей колыбели!
Если драконов других победить, Ахелой, ты и можешь,
Все ж не ничтожная ль часть ты, змей, Лернейской Ехидны?
Та размножалась от ран; из сотни голов ни единой
Было нельзя у нее безнаказанно срезать, чтоб тотчас,
Две обретя головы, ее выя не стала сильнее;
Отпрыски новых гадюк появлялись в погибели, убыль
Впрок ей была, я ее одолел и пленил, одолевши.
Кто же ты после того, — змеей обернувшийся лживо,
Воин с оружьем чужим, обличьем прикрытый заёмным?»
Так он сказал; и схватил, как узлом, меня сверху за горло
Пальцами. Дух занялся, был я сдавлен словно клещами:
Освободить лишь гортань я большими перстами пытался.
После того, побежденному, мне оставался лишь третий
Образ — быка; и, в быка обратясь, вновь в битву ступаю.
С левой тогда стороны он на шею закинул мне руки,
Тащит меня за собой, — побежавшего было, — крутые
В землю вставляет рога и меня на песок простирает.
Мало того: беспощадной рукой он ломает мой крепкий
Рог, захваченный им, и срывает, чело искажая.
Нимфы плодами мой рог и цветами душистыми полнят,
И освящают, — и он превращается в Рог изобилья», —
Молвил. Наяда тогда, подобравшись, подобно Диане, —
Из услужавших одна, — с волосами, упавшими вольно,
Входит, с собою неся в том самом роскошнейшем роге
Целую осень — плодов урожай в завершение пира.
Лишь рассвело и едва по вершинам ударило солнце,
Юноши, встав, разошлись; дожидаться не стали, что волны
Снова покой обрели и текли безмятежно, что воды
Бурные вновь улеглись. Ахелой же свой лик деревенский,
Свой обездоленный лоб — в глубокую спрятал пучину.
Но не вредила ему украшенья былого утрата.
Рог был другой невредим. К тому же ветловой листвою

Мог он позор головы прикрывать иль венком камышовым.
Но для тебя, Несс[389] лютый, любовь к той деве причиной
Гибели стала, — ты пал, пронзенный крылатой стрелою.
Древле Юпитера сын, с молодой возвращаясь супругой
К отчим стенам, подошел к стремительным водам Эвена[390];
Больше обычного вздут был поток непогодою зимней,
В водоворотах был весь, прервалась по нему переправа.
Неустрашим за себя, за супругу Геракл опасался.
Тут подошел к нему Несс — и могучий, и знающий броды.
«Пусть, доверившись мне, — говорит, — на брег супротивный
Ступит она, о Алкид! Ты же — сильный — вплавь переправься».
Бледную, перед рекой и кентавром дрожавшую в страхе,
Взял калидонку герой-аониец[391] и передал Нессу.
Сам же, — как был, отягчен колчаном и шкурою львиной, —
Палицу, также и лук, на берег другой перекинул, —
«Раз уж пустился я вплавь, — одолею течение!» — молвил.
Смело поплыл; где тише места на реке, и не спросит!
Даже не хочет, плывя, забирать по теченью потока.
Только он брега достиг и лук переброшенный поднял,
Как услыхал вдруг голос жены и увидел, что с ношей
Хочет кентавр ускользнуть. «На ноги надеясь напрасно,
Мчишься ты, дерзкий, куда? — воскликнул он. — Несс двоевидный,
Слушай, тебе говорю, — себе не присваивай наше!
Если ты вовсе ко мне не питаешь почтенья, припомнить
Мог бы отца колесо и любви избегать запрещенной.
Но от меня не уйдешь, хоть на конскую мощь положился.
Раной настигну тебя, не ногами!» Последнее слово
Действием он подтвердил: пронзил убегавшего спину
Острой вдогонку стрелой, — и конец ее вышел из груди.
Только он вырвал стрелу, как кровь из обоих отверстий
Хлынула, с ядом смесясь смертоносным желчи лернейской.
Несс же ту кровь подобрал: «Нет, я не умру неотмщенным!» —
Проговорил про себя и залитую кровью одежду
Отдал добыче своей, — как любовного приворот чувства.

Времени много прошло, и великого слава Геракла
Землю наполнила всю и насытила мачехи[392] злобу.
Помня обет, Эхалию[393] взяв, победитель собрался
Жертвы Кенейскому жечь Юпитеру.[394] Вскоре донесся
Слух, Деянира, к тебе — молва говорливая рада
К истине ложь примешать и от собственной лжи вырастает, —
Слышит и верит жена, что Амфитриона пленила
Дева Иола вдали. Потрясенная новой изменой,
Плакать сперва начала; растопила несчастная муку
Горькой слезой; но потом, — «Зачем я, однако, — сказала, —
Плачу? Слезы мои лишь усладой сопернице будут.
Скоро прибудет она: мне что-нибудь надо придумать
Спешно, чтоб ложем моим завладеть не успела другая.
Плакать ли мне иль молчать? В Калидон ли вернуться, остаться ль?
Бросить ли дом? Иль противиться, средств иных не имея?
Что, если я, Мелеагр, не забыв, что твоею сестрою
Я рождена, преступленье свершу и соперницы смертью
Всем докажу, какова оскорбленной женщины сила!»
В разные стороны мысль ее мечется! Все же решенье
Принято: мужу послать напоенную Нессовой кровью
Тунику, чтобы вернуть вновь силу любви ослабевшей.
Лихасу дар, неизвестный ему, снести поручает, —
Будущих бедствий залог! Несчастная ласково просит
Мужу его передать. Герой принимает, не зная:
Вот уж он плечи облек тем ядом Лернейской Ехидны.
Первый огонь разведя и с мольбой фимиам воскуряя,
Сам он из чаши вино возливал на мрамор алтарный.
Яд разогрелся и вот, растворившись от жара, широко
В тело Геракла проник и по всем его членам разлился.
Сколько он мог, подавлял привычным мужеством стоны, —
Боль победила его наконец, и алтарь оттолкнул он
И восклицаньями всю оглашает дубравную Эту.
Медлить нельзя: разорвать смертоносную тщится рубаху,
Но, отдираясь сама, отдирает и кожу. Противно
Молвить! То к телу она прилипает — сорвать невозможно! —

Или же мяса клоки обнажает и мощные кости.
Словно железо, когда погрузишь раскаленное в воду,
Кровь у страдальца шипит и вскипает от ярого яда.
Меры страданию нет. Вся грудь пожирается жадным
Пламенем. С тела всего кровяная испарина льется.
Жилы, сгорая, трещат. И, почувствовав, что разъедает
Тайное тленье нутро, простер к небесам он ладони.
«Гибелью нашей, — вскричал, — утоляйся, Сатурния, ныне!
О, утоляйся! С небес, о жестокая, мукой любуйся!
Зверское сердце насыть! Но если меня пожалел бы
Даже и враг, — ибо враг я тебе, — удрученную пыткой
Горькую душу мою, для трудов порожденную, вырви!
Смерть мне будет — как дар, и для мачехи — дар подходящий!
Некогда храмы богов сквернившего путников кровью,
Я Бузирида смирил; у Антея свирепого отнял
Я материнскую мощь; не смутил меня пастырь иберский
Тройственным видом, ни ты своим тройственным видом, о Цербер!
Руки мои, вы ль рогов не пригнули могучего тура?
Ведомы ваши дела и Элиде, и водам Стимфалы,
И Партенийским лесам. Был доблестью вашей похищен
Воинский пояс с резьбой, фермодонтского золота; вами
Взяты плоды Гесперид, береженые худо Драконом.
Противостать не могли мне кентавры, не мог разоритель
Горной Аркадии — вепрь, проку в том не было Гидре,
Что от ударов росла, что мощь обретала двойную.
Разве фракийских коней, человечьей насыщенных кровью,
Я, подойдя, не узрел у наполненных трупами яслей,
Не разметал их, узрев, не пленил и коней и владельца?
В этих задохшись руках, и Немейская пала громада.
Выей держал небеса. Утомилась давать приказанья
В гневе Юнона; лишь я утомленья не знаю в деяньях![395]
Новая ныне напасть, — одолеть ее доблесть бессильна,
Слабы копье и броня; в глубине уж по легким блуждает,
Плоть разъедая, огонь и по всем разливается членам.
Счастлив меж тем Эврисфей! И есть же, которые верят,

В существованье богов!» — сказал, и по верху Эты
Вот уже шествует он, как тур, за собою влачащий
В тело вонзившийся дрот, — а метавший спасается бегством.
Ты увидал бы его то стенающим, то разъяренным,
Или стремящимся вновь изорвать всю в клочья одежду,
Или валящим стволы, иль исполненным гнева на горы,
Или же руки свои простирающим к отчему небу.
Лихаса он увидал трепетавшего, рядом в пещере
Скрытого. Мука в тот миг все неистовство в нем пробудила.
«Лихас, не ты ли, — вскричал, — мне передал дар погребальный?
Смерти не ты ли виновник моей?» — а тот испугался,
Бледный, дрожит и слова извинения молвит смиренно.
Вот уж хотел он колена обнять, но схватил его тут же
Гневный Алкид и сильней, чем баллистой, и три и четыре
Раза крутил над собой и забросил в Эвбейские воды.
Между небес и земли отвердел он в воздушном пространстве, —
Так дожди — говорят — под холодным сгущаются ветром,
И образуется снег, сжимается он от вращенья
Плавного, и, округлясь, превращаются в градины хлопья.
Так вот и он: в пустоту исполинскими брошен руками,
Белым от ужаса стал, вся влажность из тела исчезла,
И — по преданью веков — превратился в утес он бездушный.
Ныне еще из Эвбейских пучин выступает высоко
Стройной скалой и как будто хранит человеческий облик.
Как за живого — задеть за него опасается кормщик, —
Лихасом так и зовут. Ты же, сын Юпитера славный,
Древ наломав, что на Эте крутой взросли, воздвигаешь
Сам погребальный костер, а лук и в уемистом туле
Стрелы, которым опять увидать Илион предстояло,
Сыну Пеанта[396] даешь. Как только подбросил помощник
Пищи огню и костер уже весь запылал, на вершину
Груды древесной ты сам немедля немейскую шкуру
Стелешь; на палицу лег головой и на шкуре простерся.
Был же ты ликом таков, как будто возлег и пируешь
Между наполненных чаш, венками цветов разукрашен!
Стало сильней между тем и по всем сторонам зашумело

Пламя, уже подошло к его телу спокойному, он же
Силу огня презирал. Устрашились тут боги, что гибнет
Освободитель земли; и Юпитер с сияющим ликом
Так обратился к богам: «Ваш страх — для меня утешенье,
О небожители! Днесь восхвалять себя не устану,
Что благородного я и отец и правитель народа,
Что обеспечен мой сын благосклонностью также и вашей.
Хоть воздаете ему по его непомерным деяньям,
Сам я, однако, в долгу. Но пусть перестанут бояться
Верные ваши сердца: презрите этейское пламя!
Все победив, победит он огонь, созерцаемый вами.
Частью одной, что от матери в нем, он почувствует силу
Пламени. Что ж от меня — вековечно, то власти не знает
Смерти, и ей непричастно, огнем никаким не смиримо.
Ныне его, лишь умрет, восприму я в пределах небесных
И уповаю: богам всем будет подобный поступок
По сердцу. Если же кто огорчится, пожалуй, что богом
Станет Геракл, то и те, хоть его награждать не желали б,
Зная заслуги его, поневоле со мной согласятся».
Боги одобрили речь, и супруга державная даже
Не омрачилась лицом, — омрачилась она, лишь услышав
Самый конец его слов, и на мужнин намек осердилась.
А между тем что могло обратиться под пламенем в пепел,
Мулькибер все отрешил, и обличье Гераклово стало
Неузнаваемо. В нем ничего материнского боле
Не оставалось. Черты Юпитера в нем сохранились.
Так змея, обновясь, вместе с кожей сбросив и старость,
В полной явясь красоте, чешуей молодою сверкает.
Только тиринфский герой отрешился от смертного тела,
Лучшею частью своей расцвел, стал ростом казаться
Выше и страх возбуждать величьем и важностью новой.
И всемогущий отец в колеснице четверкой восхитил
Сына среди облаков и вместил меж лучистых созвездий.
Тяжесть почуял Атлант. И тогда Эврисфея, однако,
Все еще гнев не утих. Он отца ненавидя, потомство,

275 Лютый, преследовать стал. С арголидской Алкменой, печальной
Вечно, Иола была, и лишь ей поверяла старуха
Жалобы или рассказ о всесветно известных деяньях
Сына и беды свои. А с Иолой, веленьем Геракла,
Юноша Гилл[397] разделял и любовное ложе и душу;
280 Ей благородным плодом он наполнил утробу. Алкмена
Так обратилася к ней: «Да хранят тебя боги всечасно!
Пусть они срок сократят неизбежный, когда ты, созревши,
Будешь Илифию[398] звать, — попечение робких родильниц, —
Что не хотела помочь мне по милости гневной Юноны.
285 День приближался, на свет нарождался Геракл, совершитель
Подвигов, солнце меж тем до десятого знака достигло.
Тяжесть чрево мое напрягла, и плод мой созревший
Столь оказался велик, что в виновнике скрытого груза
Всякий Юпитера мог угадать. Выносить свои муки
290 Долее я не могла. И ныне от ужаса тело
Все холодеет, когда говорю; лишь вспомню, — страдаю.
Семь я терзалась ночей, дней столько же, и утомилась
От нескончаемых мук, и к небу простерла я руки,
С громким криком звала я Луцину и Никсов двойничных.[399]
295 И появилась она, но настроена гневом Юноны
Злобной, готовая ей принести мою голову в жертву.
Только лишь стоны мои услыхала, на жертвенник села
Возле дверей и, колено одно положив на другое,
Между собою персты сплетя наподобие гребня,
300 Мне не давала родить. Заклинания тихо шептала,
Ими мешала она завершиться начавшимся родам.
Силюсь, в безумье хулой Олимпийца напрасно порочу
Неблагодарного. Смерть призываю. Могла бы и камни
Жалобой сдвинуть! Со мной пребывают кадмейские жены,
305 К небу возносят мольбы, утешают болящую словом.
Тут Галантида была, из простого народа, служанка,
Златоволосая, все исполнять приказанья проворна,
Первая в службе своей. Почудилось ей, что Юнона
Гневная что-то творит. Выходя и входя постоянно

В двери, она и алтарь, и воссевшую видит богиню, —
Как на коленях персты меж собою сплетенные держит.
«Кто б ни была ты, поздравь госпожу! — говорит, — разрешилась
И родила наконец, — совершилось желанье Алкмены».
Та привскочила, и вдруг развела в изумленье руками
Родов богиня, — и я облегчилась, лишь узел расторгся.
Тут, обманув божество, хохотать начала Галантида.
Но хохотавшую вмиг схватила в гневе богиня
За волоса, не дала ей с земли приподняться и руки
В первую очередь ей превратила в звериные лапы.
Так же проворна она, как и прежде, и не изменила
Цвета спина. В остальном же от прежнего облик отличен.
Так как, устами солгав, помогла роженице, — устами
Ныне родит; и у нас, как прежде, в домах обитает».[400]
Молвила так и, былую слугу вспомянув, застонала,
Тронута: на ухо ей, застонавшей, невестка шепнула:
«Тем ли растрогана ты, что утратила облик служанка,
Чуждая крови твоей. Что, если тебе расскажу я
Дивную участь сестры? — хоть и слезы и горе мешают
И не дают говорить. Единой у матери дочкой —
Я от другой рождена — и красою в Эхалии первой
Наша Дриопа была. Она ранее девства лишилась,
Бога насилье познав, в чьей власти и Дельфы и Делос.[401]
Взял же ее Андремон — и счастливым считался супругом.
Озеро есть. Берега у него опускаются словно
Берег пологий морской и увенчаны по верху миртой.
Как-то к нему подошла, его судеб не зная, Дриопа.
И возмутительней то, что венки принесла она нимфам!
Мальчика, — сладостный груз! — еще не достигшего года,
Нежно несла на руках, молоком его теплым питая.
Недалеко от воды, подражая тирийской окраске,
Лотос там рос водяной, в уповании ягод расцветший.
Стала Дриопа цветы обрывать и совать их младенцу,
Чтоб позабавить его; собиралась сделать я то же, —
Ибо с сестрою была, — но увидела вдруг: упадают
Капельки крови с цветов и колеблются трепетно ветки.

Тут, наконец, — опоздав, — нам сказали селяне, что нимфа
Именем Лотос, стыда избегая с Приапом,[402] когда-то
С деревом лик измененный слила, — сохранилось лишь имя,
Было неведомо то для сестры. Устрашенная, хочет
Выйти обратно и, нимф приношеньем почтив, удалиться, —
Ноги корнями вросли; их силой пытается вырвать,
Может лишь верхнюю часть шевельнуть; растущая снизу,
Мягкие члены ее постепенно кора облекает.
Это увидев, она попыталась волосы дернуть, —
Листья наполнили горсть: голова покрывалась листвою.
А малолетний Амфис — ибо имя от Эврита деда
Он унаследовал — вдруг ощущает, что грудь затвердела
Матери, что молоко не струится в сосущие губы.
Я же, как зритель, была при жестоком событье, не в силах
Быть тебе в помощь, сестра! Лишь сколько могла, превращенье
Тщилась я задержать, и ствол обнимая и ветви.
Я бы желала, клянусь, под тою же скрыться корою!
Вот подошли и супруг Андремон, и родитель несчастный, —
Оба Дриопу зовут. Зовущим Дриопу на Лотос
Я указала. Они неостывшие члены целуют,
Оба, к родным приникая корням, оторваться не могут.
Стало уж деревом все, ты одно лишь лицо сохранила,
О дорогая сестра! И на свежие листья, на место
Бедного тела ее, — льет слезы; пока еще можно
И пропускают уста, как жалобно молит в пространство:
«Ежели верите вы несчастливцам, клянуся богами,
Не заслужила я мук. Терплю, неповинная, кару.
Чистой я жизнью жила. Пусть, если лгу, я засохну,
Всю потеряю листву и, срублена, пусть запылаю.
Но уж пора, отнимите дитя от ветвей материнских,
Дайте кормилице. Пусть — вы о том позаботьтесь! — почаще
Здесь он сосет молоко и играет под тенью моею.
А как начнет говорить, — чтоб матери он поклонился,
С грустью промолвил бы: «Мать укрывается в дереве этом».
Пусть лишь боится озер и цветов не срывает с деревьев,
Да и кустарники все пусть плотью богов почитает.

Милый супруг мой, прости! Ты, родная сестра, ты, отец мой!
Если живет в нас любовь, молю: от укусов скотины
И от ранений серпа вы листву защитите родную!
385 Так как мне не дано до вас наклониться, то сами
Вы протянитесь ко мне и к моим поцелуям приблизьтесь.
Можно еще прикоснуться ко мне, поднесите сыночка!
Больше сказать не могу; уже мягкой древесной корою
Белая кроется грудь, — теряюсь в зеленой вершине.
390 Руки от глаз отведите моих: и без вашей заботы
Этой растущей корой, умирая, затянутся очи».
Одновременно уста говорить и быть перестали.
Ветви же долго еще превращенной тепло сохраняли».
Так о печальных делах повествует Иола. Свекровь же,
395 Пальцем большим вытирая с лица Эвритиды потоки
Слез, льет слезы сама. Но утешило все их печали
Новое диво: стоит в глубине на пороге пред ними
Чуть ли не мальчик, с лицом, на котором лишь пух незаметный,
Прежние годы свои обретя, Иолай[403] превращенный.
400 Так одарила его от Юноны рожденная Геба,[404]
К просьбам супруга склонясь, и готовилась было поклясться,
Что никому уж не даст перемены подобной. Фемида
Не потерпела того и сказала: «Усобицы в Фивах
Уж возбуждают войну. Капаней же Юпитером только
405 Будет в борьбе побежден. Убьют два брата друг друга.
Лоно разверзнет земля, и живым прорицатель увидит
Душу в Аиде свою. За отца отомстит материнской
Кровью сын и, убив, благочестным преступником станет;
Но, устрашенный грехом, рассудка лишившись и дома,
410 Будет гоним Эвменидами он и матери тенью,
Злата доколь у него рокового не спросит супруга
И не пронзит ему бок меч родственный в длани фегейской.
И наконец, Ахелоева дочь Каллироя попросит
У Громовержца, чтоб он ее детям года приумножил
415 И не оставил притом неотмщенной мстителя смерти.
Просьбами тронутый бог дар падчерице и невестке
Ранее срока пошлет и в мужей превратит — малолетних».[405]

Лишь провещали уста провидицы судеб грядущих
Девы Фемиды, тотчас зашумели Всевышние разом,
Ропот пошел, почему у других нет прав на такую
Милость — и вот на года престарелого сетует мужа
Паллантиада[406]; что сед Ясион — благая Церера
Сетует также; Вулкан — тот требует, чтоб обновился
И Эрихтония век. О грядущем заботясь, Венера
Хочет вступить в договор, чтоб лета обновились Анхиза.
Нежной заботы предмет есть у каждого бога. Мятежный
Шум от усердья растет. Но разверз уста Громовержец
И произнес: «О, ежели к нам в вас есть уваженье, —
Что поднялись? Иль себя вы настолько могучими мните,
Чтобы и Рок превзойти? Иолай в свои прежние годы
Был возвращен. Каллирои сынам по велению судеб
В юношей должно созреть: тут ни сила, ни спесь не решают.
Все это надо сносить спокойней: правят и вами
Судьбы, и мной. О, когда б я силу имел изменить их,
Поздние годы тогда моего не согнули б Эака,
Переживал бы всегда Радамант свой возраст цветущий,
Также мой милый Минос. А к нему возбуждает презренье
Старости горестный груз, и не так уж он правит, как прежде».
Тронул Юпитер богов. Ни один не посетовал боле,
Раз увидав, что Эак с Радамантом своим долголетьем
Удручены, и Минос, кто, бывало, в цветущие лета,
Именем страх наводя, грозой был великих народов,
Ныне же немощен стал. Дионина сына Милета,
Гордого силой своей молодой и родителем Фебом,
Старый страшился. Боясь, что его завоюет он царство,
Юношу все ж удалить от родных не решался пенатов.
Но добровольно, Милет, бежишь ты и судном взрезаешь
Быстрый Эгейскую ширь, и в Азийской земле отдаленной
Стены кладешь: тот град получил основателя имя.
Там-то Меандрова дочь, по извилине брега блуждая
Возле потока-отца, что течет и туда и обратно,
Стала женою тебе, — Кианея, прекрасная телом.
Двойню потом для тебя родила она: Бúблиду[407] с Кавном.

Бúблиды участь — урок: пусть любят законное девы!
Бúблида стала пылать вожделением к брату — потомку
Феба. Его не как брата сестра, не как должно, любила.
Не понимает сама, где страстного чувства источник;
В помыслах нет, что грешит, поцелуи с ним часто сливая
Или объятьем своим обвиваючи братнину шею.
Долго вводило ее в заблуждение ложное чувство.
Мало-помалу оно переходит в любовь: чтобы видеть
Брата, себя убирает она, казаться красивой
Хочет и всем, кто краше ее, завидует тайно.
Все же сама не постижна себе; никакого желанья
Не вызывает огонь; меж тем нутро в ней пылает.
Брата зовет «господин», — обращенье родства ей постыло, —
Предпочитает, чтоб он ее Бúблидой звал, не сестрою.
Бодрствуя, все же питать упований бесстыдных не смеет
В пылкой душе. Но когда забывается сном безмятежным,
Часто ей снится любовь; сливаются будто бы с братом
Плотски, — краснеет тогда, хоть и в сон погруженная крепкий.
Сон отлетает; молчит она долго, в уме повторяя
Зрелище сна, наконец со смущенной душой произносит:
«Горе! Что значит оно, сновидение ночи безмолвной?
Лишь бы оно не сбылось! И зачем мне подобное снится?
Он ведь собою красив и для взора враждебного даже,
Как я любила б его, не родись мы сестрою и братом.
Он ведь достоин меня; быть истинно плохо сестрою!
Только бы я наяву совершить не пыталась такого!
Все ж почаще бы сон возвращался с видением тем же!
Нет свидетеля сну, но есть в нем подобье блаженства!
Ты, о Венера, и ты, сын резвый[408] матери нежной!
Как наслаждалась я! Как упоеньем несдержанным сердце
Переполнялось! О, как на постели я вся изомлела!
Как вспоминать хорошо! Но было недолгим блаженство, —
Ночь поспешила уйти, ей мечты мои были завидны.
Если бы, имя сменив, я могла съединиться с тобою,
Я бы отцу твоему, о Кавн, называлась невесткой,
Ты же отцу моему, о Кавн, назывался бы зятем!

Если бы было у нас от богов все общее, кроме
Предков! Хотелось бы мне, чтоб был ты меня родовитей!
Матерью кто от тебя, ненаглядный, станет, не знаю.
Мне же, на горе себе от родителей тех же рожденной,
Братом останешься ты — одна для обоих преграда.
Что же виденья мои для меня означают? Какая
Сила, однако, во снах? Иль силою сны обладают?
Лучше богам! Не раз любили сестер своих боги:
Опию[409] выбрал Сатурн, с ней связанный кровно, с Тетидой
В брак вступил Океан, с Юноной — властитель Олимпа.
Свой у Всевышних закон: для чего же приравнивать нравы
Неба к нравам людей, на чужие ссылаться союзы?
Иль у меня из груди запретное пламя исчезнет,
Или, — когда не смогу, — пусть раньше умру, и на ложе
Мертвую сложат меня, и целует пусть мертвую брат мой!
Все же, чтоб это свершить, согласье потребно обоих.
Пусть это по сердцу мне, — преступленьем покажется брату!
А ведь Эола сыны не боялись сестрина ложа![410]
Знаю откуда про них? Зачем их в пример привела я?
Что я, куда меня мчит? Прочь, прочь, бесстыдное пламя!
Буду я брата любить подобающей сестрам любовью.
Если б, однако же, он был первый любовью охвачен,
Может быть, к страсти его снисходительна я оказалась.
Или сама, в чем просьбе его отказать не могла бы,
Стану просить? И могла б ты сказать? И могла бы признаться?
Нудит любовь. Смогу. А если уста мои свяжет
Стыд, пусть скрытый огонь потаенные строки объявят».
Так решено; эта мысль победила души колебанья.
Приподнялась на боку и, на левую руку опершись,
Молвила: «Сам он увидит, я пыл безумный открою.
Горе! Что я творю? О, какою пылаю любовью?»
Вот уж обдуманных слов ряд чертит рукою дрожащей,
Правою держит стилет, а левой — пустую дощечку;
Только начнет — прервет; вновь пишет — и воск проклинает;
Что начертала — сотрет; отвергает, меняет, приемлет,
Только дощечки взяла — бросает, а бросив — берет их.

Хочет чего — не поймет; что сделать решила, то снова
Кажется худо; в лице со стыдливостью смешана смелость.
Вот написала «сестра» — и решила «сестра» уничтожить,
И переглаженный воск покрывает такими словами:
«Это письмо, лишь с тобой иль ни с кем не надеясь на счастье,
Пишет влюбленная. Стыд, ах, стыд назвать ее имя!
Если стремленья мои ты желаешь узнать, — я хотела б,
Имя свое не открыв, достичь, чтоб не раньше узналась
Библида, нежель сама в пожеланьях уверена станет.
Может свидетельством быть для тебя моей раны сердечной —
Бледность лица, худоба, выражение, влажные вечно
Веки, из груди моей беспричинно встающие вздохи,
Или объятья мои слишком частые, иль поцелуи,
Что далеко, как ты сам замечал, не сестрины были.
Я и сама, хоть душа страдала от раны тяжелой,
Хоть и пылало огнем нутро от раны тяжелой,
Боги свидетели мне! — избавить себя от безумья.
Долго вела я борьбу, избежать порываясь оружья
Мощного страсти. Сносить мне пришлось страданья сильнее,
Нежели деве терпеть подобает. Должна я признаться:
Побеждена я, тебя умоляю о помощи робко.
Ныне один ты спасти и сгубить полюбившую можешь.
Выбери, что совершить. Об этом не враг умоляет,
Но человек, что к тебе уже крепко привязан, но крепче
Жаждет связаться с тобой и плотнее узлом затянуться.
Долг соблюдать — старикам; что дозволено, что незаконно
Или законно, пускай вопрошают, права разбирая, —
Дерзкая нашим годам подобает Венера. Нам рано
Знать, что можно, что нет, готовы мы верить, что можно
Все, — и великих богов мы следуем в этом примеру.
Нет, ни суровость отца, ни почтение к толку людскому
Нас не удержит, ни страх. Так нечего нам и страшиться!
Сладостный сердцу обман прикроем с тобой именами
«Брат» и «сестра». Я могу говорить потихоньку с тобою.
Мы обниматься вольны, мы целуем друг друга открыто.
Недостает нам чего? Над признанием сжалься любовным!

Не излилось бы оно, но понудил огонь нестерпимый.
Пусть на могиле моей не означат, что ты ей виновник».
Все исчертила рука, не оставил ей больше простору
Воск: на самом краю примостилась последняя строчка.
Вот преступленья свои скрепляет печатью, слезами
Камень резной намочив: не влажен язык пересохший.
Вот и рабов одного позвала, застыдившись, и в страхе
Ласково молвила: «На! Отнеси это — верный из верных —
Ты моему… — потом, после долгого времени, — брату…»
Передавая, из рук уронила дощечки. Приметой
Дева была смущена… Удобную выбрав минуту,
К Кавну слуга подошел и слова потаенные отдал.
Сразу же гнев охватил молодого Меандрова внука.[411]
Часть лишь посланья прочтя, от себя он отбросил дощечки
И, удержавши едва над слугою трепещущим руки,
Молвит: «Скорей, о любви недозволенной вестник негодный,
Прочь убегай! Если б гибель твоя не влекла за собою
Также стыда моего, ты сейчас поплатился бы смертью!»
В страхе слуга убежал. Слова те жестокие Кавна
Передает госпоже. И, отвергнута, ты побледнела,
Библида! В ужасе грудь сковал ей холод ледяный.
Чувства вернулися к ней, и с ними вернулось безумство, —
И через силу уста так в воздух пустой восклицают:
«И поделом! О, зачем показала я в дерзости праздной
Рану мою? Для чего то признанье, которое должно
Было таить, я, увы, поручила дощечкам поспешным?
Надо мне было вперед души его выведать тайны
Речью окольной! Затем, чтобы мне не носиться по ветру,
Часть парусов развернув, испытать дуновенье сначала
Надобно было — и плыть проверенным морем; теперь же
Я парусов напрягла полотно неизведанным ветром,
И на утесы несет мой корабль; потону — и нахлынет
Весь на меня Океан, моему не вернуться ветрилу!
Что же? Иль ясные мне не вещали приметы — преступной
Не предаваться любви, — недаром письмо при посылке —
Я уронила и с ним мои уронила надежды?

Что бы число изменить, или даже письма содержанье?
Все-таки лучше число… Сам бог советовал, ясно
Сам указанья давал, — да только была я безумна!
Должно мне было самой говорить, а не воску вверяться,
Надо мне было пред ним обнаружить безумие страсти.
Слезы увидел бы он; лицо бы увидел влюбленной.
Больше могла б я сказать, чем эти вместили таблички!
Против желанья его я могла бы обвить ему шею,
Милые ноги обнять и о жизни молить, припадая.
Если б отверг он меня, увидал бы, что я умираю.
Предприняла бы я все; и когда бы одно не смягчило
Жесткую душу его, — могло бы все вместе. Отчасти,
Может быть, в том виноват и посыльный-слуга. Подошел он,
Верно, некстати, избрал неудачное время. Не выждал
Мига, когда у того и досуг был, и мысли свободны.
Это сгубило меня. Он, однако, рожден не тигрицей!
Ведь не каменья же он, не железо он твердое носит
И не алмазы в груди; молоком он вскормлен не львицы!
Будет он все ж побежден; повторю нападенье; досада
Не остановит меня нипочем до последнего вздоха.
Если бы можно назад воротить совершенное, — лучше
Было бы не начинать, — но начатое должно докончить!
Так, но не может же он, если б я отложила признанья,
Не вспоминать постоянно о том, что я сделать решилась.
Если я буду молчать, он подумает: то увлеченье
Легкое; боле того — что его искушаю коварством.
Будет он думать, что я покорилась не богу, который
Сильно так жег и сжигает мне грудь, — но влечению плоти.
Все, наконец, мне равно: несказанное я совершила.
Я написала ему, молила, греха я желала.
Это одно совершив, не могу я назваться невинной.
Действуя дальше, любовь я спасу, а вины не прибавлю», —
Молвила. И до того в ней расстроен смущенный рассудок! —
Жаждет опять испытать, что ее же сразило. Не знает
Меры, несчастная; вновь подвергает себя униженью…
Делу не видя конца, он бежал от греха, он покинул

Родину и основал град новый в земле чужедальней.
Скорбью томима, тогда Милетида лишилась и вовсе
Разума, как говорят. Тогда сорвала она платье
С груди и стала в нее ударять в исступленном безумье.
И откровенно, в бреду, признается при всех, что надежды
Не совершились любви. Родимый свой край и пенатов
Бросив постылых, идет по следам убежавшего брата.
Как, потрясая свой тирс, о потомок Семелы,[412] по чину
Раз в три года тебя исмарийские славят вакханки, —
Так на просторных полях завывавшую Библиду жены
Зрели бубасские[413]. Их же оставив, она у карийцев
И у лелегов была ратоборных, и в Ликии тоже.
Вот уж оставила Краг, и Лимиру, и Ксанфовы воды,
Также хребет, где Химера жила, извергавшая пламя
Из глубины,[414] — с змеиным хвостом и с львиною пастью.
Вот уже нет и лесов, — блужданьем своим утомившись,
Библида, падаешь ты головой на твердую землю
И неподвижно лежишь, лицом в облетевшие листья.
Нимфы лелегов не раз приподнять ее в нежных объятьях
Тщетно пытались, не раз с уговорами к ней подступали,
Чтобы умерила страсть: утешали ей душу глухую.
Молча лежит, запустив свои ногти в зеленые травы,
Библида и мураву потоками слез орошает.
Создали нимфы из слез — по преданью — струю водяную
Неиссякаемую. Что дать могли они больше?
Вскоре, подобно смоле, что из свежего каплет надреза,
Или как липкий битум, что из тучной земли истекает,
Иль как вода, что весной, под дыханием первым Фавона[415]
Ставшая твердой от стуж, размягчается снова на солнце, —
Так же, слезой изойдя, и несчастная Фебова внучка,
Библида, стала ручьем, сохраняющим в этих долинах
Имя своей госпожи и текущим под иликом[416] черным.
Критских сто городов, быть может, наполнила б слава
О превращении том, когда бы недавнее чудо —
Ифис, сменившая вид, — как раз не случилось на Крите.
Феста земля, что лежит недалеко от Кносского царства,

670 Некогда произвела никому не известного Лигда,
Был из простых он людей, отличался богатством не боле,
Чем благородством. Зато незапятнанны были у Лигда
И благочестье и жизнь. К супруге он, бремя носившей,
Так обратился, когда уж родить подходили ей сроки:
675 «Два пожеланья тебе: страдать поменьше и сына
Мне подарить: тяжела была бы мне участь иная.
Сил нам Фортуна не даст. Тогда, — пусть того не случится! —
Если ребенка родишь мне женского пола, хоть против
Воли, но все ж прикажу: — прости, благочестье! — пусть гибнет!»
680 Вымолвил, и по лицу покатились обильные слезы
И у того, кто приказ отдавал, и у той, кто внимала.
Тщетно тут стала молить Телетуза любезного мужа,
Чтоб надеждам ее он подобной не ставил препоны.
Но на решенье своем тот твердо стоял. И созревший
685 Плод через силу уже Телетуза носила во чреве.
Вдруг, среди ночи явясь ей видением сонным, однажды
Инаха дочь[417] у постели ее в окружении пышном
Будто стоит, — иль привиделось. Лоб украшали богини
Рожки луны и колосья, живым отливавшие златом,
690 И диадема; при ней — Анубис, что лает по песьи,
Апис, с окраской двойной, Бубастида святая и оный,[418]
Кто заглушает слова и перстом призывает к молчанью.
Систры[419] звучали; тут был и вечно искомый Озирис
Вместе с ползучей змеей, смертоносного полною яда.
695 И, отряхнувшей свой сон, как будто все видящей ясно,
Шепчет богиня: «О ты, что присно при мне, Телетуза!
Тяжкие думы откинь, — обмани приказанья супруга.
Не сомневайся: когда облегчит твое тело Луцина, —
То и прими, что дано: я богиня-пособница, помощь
700 Всем я просящим несу; не будешь пенять, что почтила
Неблагодарное ты божество». Так молвив — исчезла.
Радостно с ложа встает и к созвездьям подъемлет критянка
Чистые руки, моля, чтобы сон ее сделался явью.
Муки тогда возросли, и само ее бремя наружу

Выпало: дочь родилась, а отец и не ведал об этом.
Девочку вскармливать мать отдает, объявив, что родился
Мальчик. Поверили все. Лишь кормилица знает про тайну.
Клятвы снимает отец и дает ему дедово имя,
Ифис — так звали того. Мать рада: то имя подходит
И для мужчин и для женщин; никто заподозрить не может.
Так незаметно обман покрывается ложью невинной.
Мальчика был на ребенке наряд, а лицо — безразлично
Девочки было б оно или мальчика — было прекрасно.
А между тем уж тринадцатый год наступает подростку.
Тут тебе, Ифис, отец белокурую прочит Ианту.
Между фестийских девиц несравненно она выделялась
Даром красы, рождена же была от диктейца Телеста.
Годами были равны и красой. От наставников тех же
Знанья они обрели, возмужалости первой начатки.
Вскоре любовь их сердца охватила. И с силою равной
Ранила сразу двоих: но различны их были надежды!
Срока желанного ждет и обещанных светочей свадьбы,
Мужем считает ее, в союз с ней верит Ианта.
Ифис же любит, сама обладать не надеясь любимым,
И лишь сильнее огонь! Пылает к девице девица.
Слезы смиряя едва, — «О, какой мне исход, — восклицает, —
Если чудовищной я и никем не испытанной новой
Страстью горю? О, когда б пощадить меня боги хотели,
То погубили б меня, а когда б и губить не хотели,
Пусть бы естественный мне и обычный недуг даровали!
Ибо коровы коров и кобылы кобыл не желают,
Любят бараны овец, и олень за подругою ходит;
Тот же союз и у птиц; не бывало вовек у животных
Так, чтобы самка у них запылала желанием к самке.
Лучше б мне вовсе не жить! Иль вправду одних лишь чудовищ
Крит порождает?.. Быка дочь Солнца[420] на Крите любила, —
Все-таки был он самец. Но моя — если только признаться
В правде — безумнее страсть: на любовь упованье питала
Та. Ухищреньем она и обличьем коровьим достигла,
Что испытала быка. Для обмана нашелся любовник.

Тут же, когда бы весь мир предложил мне услуги, когда бы
Вновь на вощеных крылах полетел бы по воздуху Дедал,
Что бы поделать он мог? Иль хитрым искусством из девы
Юношей сделать меня? Иль тебя изменить, о Ианта?
Что ж не скрепишь ты души, в себе не замкнешься, о Ифис,
Что не отбросишь своих безнадежных и глупых желаний?
Кем родилась ты, взгляни, и себя не обманывай доле.
К должному только стремись, люби, что для женщины любо.
Все от надежды: она и приводит любовь, и питает.
А у тебя ее нет. Отстраняет от милых объятий
Вовсе не стража тебя, не безмолвный дозор господина
И не суровость отца; и сама она просьб не отвергла б,
Все ж недоступна она; когда б и всего ты достигла, —
Счастья тебе не познать, хоть боги б и люди трудились.
Из пожеланий моих лишь одно остается напрасным:
Боги способствуют мне, — чтó могут — все даровали.
Хочет того же она, и родитель, и будущий свекор,
Только природа одна, что всех их могучее, — против.
Против меня лишь она. Подходит желанное время,
Свадебный видится свет, и станет моею Ианта, —
Но не достигнет меня: я, водой окруженная, жажду!
Сваха Юнона и ты, Гименей, для чего снизошли вы
К таинствам этим, где нет жениха, где мы обе — невесты!»
И замолчала, сказав. Но не в меньшем волненье другая
Девушка; молит тебя, Гименей, чтоб шел ты скорее.
Просит она, — но, боясь, Телетуза со сроками медлит.
То на притворный недуг ссылается; то ей приметы
Доводом служат, то сны; но средства лжи истощила
Все наконец. И уже подступает отложенной свадьбы
Срок; уже сутки одни остаются. Тогда Телетуза
С дочки своей и с себя головные срывает повязки
И, распустив волоса, обнимает алтарь, — «О Изида, —
Чьи Паретоний, Фарос и поля Мареотики,[421] — молит, —
Вместе с великим, на семь рукавов разделяемым Нилом!
Помощь подай мне, молю, о, избавь меня ныне от страха!
В день тот, богиня, тебя по твоим угадала я знакам,

Все я признала: твоих провожатых, светочи, звуки
Систров, и все у меня отпечаталось в памяти крепко.
Если она родилась, если я не стыдилась обмана, —
Твой то совет, поощренье твое! Над обеими сжалься,
Помощью нас поддержи!» — слова тут сменились слезами.
Чудится ей, что алтарь колеблет богиня, — и вправду
Поколебала! Врата задрожали у храма; зарделись
Лунным сияньем рога; зазвучали гремящие систры.
Верить не смея еще, но счастливому знаменью рада,
Мать из храма ушла. А за матерью вышла и Ифис, —
Шагом крупней, чем обычно; в лице белизны его прежней
Не было; силы ее возросли; в чертах появилось
Мужество, пряди волос свободные стали короче.
Более крепости в ней, чем бывает у женщин, — и стала
Юношей, девушка, ты! Приношенья несите же в храмы!
Радуйтесь, страх отрешив, — и несут приношения в храмы.
Сделали надпись, — на ней был коротенький стих обозначен:
«Юноша дар посвятил, обещанный девушкой, — Ифис».
Вскоре лучами заря мировые разверзла просторы,
Вместе Венера тогда и Юнона сошлись с Гименеем
К общим огням. И своей — господином стал Ифис Ианты.

КНИГА ДЕСЯТАЯ

Орфей (1—105); Кипарис (106—142); песнь Орфея, Ганимед (143—161); Гиацинт (162—219); Керасты (220—242); Пигмалион (243—297); Мирра (298—502); Адонис (503—552); Аталанта (553—707); смерть Адониса (708—739).

После, шафранным плащом облаченный, по бездне воздушной
Вновь отлетел Гименей, к брегам отдаленным киконов[422]
Мчится — его не к добру призывает там голос Орфея.
Все-таки бог прилетел; но с собой ни торжественных гимнов
Он не принес, ни ликующих лиц, ни счастливых предвестий.
Даже и светоч в руке Гименея трещит лишь и дымом
Едким чадит и, колеблясь, никак разгореться не может.
Но тяжелей был исход, чем начало. Жена молодая,
В сопровожденье наяд по зеленому лугу блуждая, —
Мертвою пала, в пяту уязвленная зубом змеиным.
Вещий родопский певец, обращаясь к Всевышним, супругу
Долго оплакивал. Он обратиться пытался и к теням,
К Стиксу дерзнул он сойти, Тенарийскую щель[423] миновал он,
Сонмы бесплотных теней, замогильные призраки мертвых,
И к Персефоне[424] проник и к тому, кто в безрадостном царстве
Самодержавен, и так, для запева ударив по струнам,
Молвил: «О вы, божества, чья вовек под землею обитель,
Здесь, где окажемся все, сотворенные смертными! Если
Можно, отбросив речей изворoты лукавых, сказать вам
Правду, дозвольте. Сюда я сошел не с тем, чтобы мрачный
Тартар увидеть, не с тем, чтоб чудовищу, внуку Медузы,[425]
Шею тройную связать, с головами, где вьются гадюки.
Ради супруги пришел. Стопою придавлена, в жилы
Яд ей змея излила и похитила юные годы.
Горе хотел я стерпеть. Старался, но побежден был
Богом Любви: хорошо он в пределах известен наземных, —
Столь же ль и здесь — не скажу; уповаю, однако, что столь же.
Если не лжива молва о былом похищенье, — вас тоже

Соединила Любовь! Сей ужаса полной юдолью,
Хаоса бездной молю и безмолвьем пустынного царства:
Вновь Эвридики моей заплетите короткую участь!
Все мы у вас должники; помедлив недолгое время,
Раньше ли, позже ли — все в приют поспешаем единый.
Все мы стремимся сюда, здесь дом наш последний; вы двое
Рода людского отсель управляете царством обширным.
Так и она: лишь ее положённые годы созреют,
Будет под властью у вас: возвращенья прошу лишь на время.
Если же милость судеб в жене мне откажет, отсюда
Пусть я и сам не уйду: порадуйтесь смерти обоих».
Внемля, как он говорит, как струны в согласии зыблет,
Души бескровные слез проливали потоки. Сам Тантал[426]
Тщетно воды не ловил. Колесо Иксионово[427] стало.
Птицы печень клевать перестали; Белиды на урны
Облокотились;[428] и сам, о Сизиф,[429] ты уселся на камень!
Стали тогда Эвменид, побежденных пеньем, ланиты
Влажны впервые от слез, — и уже ни царица-супруга,
Ни властелин преисподних мольбы не исполнить не могут.
Вот Эвридику зовут; меж недавних теней пребывала,
А выступала едва замедленным раною шагом.
Принял родопский герой нераздельно жену и условье:
Не обращать своих взоров назад, доколе не выйдет
Он из Авернских долин,[430] — иль отымется дар обретенный.
Вот уж в молчанье немом по наклонной взбираются оба
Темной тропинке, крутой, густою укутанной мглою.
И уже были они от границы земной недалеко, —
Но, убоясь, чтоб она не отстала, и в жажде увидеть,
Полный любви, он взор обратил, и супруга — исчезла!
Руки простер он вперед, объятья взаимного ищет,
Но понапрасну — одно дуновенье хватает несчастный.
Смерть вторично познав, не пеняла она на супруга.
Да и на что ей пенять? Иль разве на то, что любима?
Голос последним «прости» прозвучал, но почти не достиг он
Слуха его; и она воротилась в обитель умерших.
Смертью двойною жены Орфей поражен был, — как древле

Тот, устрашившийся пса с головами тремя,[431] из которых
Средняя с цепью была, и не раньше со страхом расстался,
Нежель с природой своей, — обратилася плоть его в камень!
Или как оный Олен, на себя преступленье навлекший,
Сам пожелавший вины; о Летея несчастная, слишком
Ты доверяла красе: приникавшие прежде друг к другу
Груди — утесы теперь, опорой им влажная Ида.[432]
Он умолял и вотще переплыть порывался обратно, —
Лодочник[433] не разрешил; однако семь дней неотступно,
Грязью покрыт, он на береге сидел без Церерина дара.[434]
Горем, страданьем души и слезами несчастный питался.
И, бессердечьем богов попрекая подземных, ушел он
В горы Родопы, на Гем, поражаемый северным ветром.
Вот созвездием Рыб морских заключившийся третий
Год уж Титан завершил, а Орфей избегал неуклонно
Женской любви. Оттого ль, что к ней он желанье утратил
Или же верность хранил — но во многих пылала охота
Соединиться с певцом, и отвергнутых много страдало.
Стал он виной, что за ним и народы фракийские тоже,
Перенеся на юнцов недозрелых любовное чувство,
Краткую жизни весну, первины цветов обрывают.
Некий был холм, на холме было ровное плоское место;
Все зеленело оно, муравою покрытое. Тени
Не было вовсе на нем. Но только лишь сел на пригорок
Богорожденный певец и ударил в звонкие струны,
Тень в то место пришла: там Хаонии дерево[435] было,
Роща сестер Гелиад,[436] и дуб, вознесшийся в небо;
Мягкие липы пришли, безбрачные лавры и буки,
Ломкий пришел и орех, и ясень, пригодный для копий,
Несуковатая ель, под плодами пригнувшийся илик,
И благородный платан, и клен с переменной окраской; —
Лотос пришел водяной и по рекам растущие ивы,
Букс, зеленый всегда, тамариск с тончайшей листвою;
Мирта двухцветная там, в плодах голубых лавровишня;
С цепкой стопою плющи, появились вы тоже, а с вами
И винограда лоза, и лозой оплетенные вязы;

Падубы, пихта, а там и кусты земляничника с грузом
Алых плодов, и награда побед — гибколистная пальма;
С кроной торчащей пришли подобравшие волосы сосны, —
Любит их Матерь богов, ибо некогда Аттис Кибелин,
Мужем здесь быть перестав, в стволе заключился сосновом.
В этом же сонмище был кипарис, похожий на мету,[437]
Деревом стал он, но мальчиком был в то время, любимцем
Бога, что лука струной и струной управляет кифары.
Жил на картейских брегах,[438] посвященный тамошним нимфам,
Ростом огромный олень; широко разветвляясь рогами,
Голову сам он себе глубокой окутывал тенью.
Златом сияли рога. К плечам опускалось, свисая
С шеи точеной его, ожерелье камней самоцветных.
А надо лбом его шар колебался серебряный, тонким
Был он привязан ремнем. Сверкали в ушах у оленя
Около впадин висков медяные парные серьги.
Страха не зная, олень, от обычной свободен боязни,
Часто, ничуть не дичась, и в дома заходил, и для ласки
Шею свою подставлял без отказа руке незнакомой.
Боле, однако, всего, о прекраснейший в племени Кеи,
Был он любезен тебе, Кипарис. Водил ты оленя
На молодые луга и к прозрачной источника влаге.
То оплетал ты цветами рога у животного или,
Всадником на спину сев, туда и сюда направляя
Нежные зверя уста пурпурной уздой, забавлялся.
Знойный был день и полуденный час; от горячего солнца
Гнутые грозно клешни раскалились прибрежного Рака,[439]
Раз, притомившись, лег на лужайку со свежей травою
Чудный олень и в древесной тени наслаждался прохладой.
Неосторожно в тот миг Кипарис проколол его острым
Дротом; и видя, что тот умирает от раны жестокой,
Сам умереть порешил. О, каких приводить утешений
Феб ни старался! Чтоб он не слишком скорбел об утрате,
Увещевал, — Кипарис все стонет! И в дар он последний
Молит у Вышних — чтоб мог проплакать он целую вечность.
Вот уже кровь у него от безмерного плача иссякла,

Начали члены его становиться зелеными; вскоре
Волосы, вкруг белоснежного лба ниспадавшие прежде,
Начали прямо торчать и, сделавшись жесткими, стали
В звездное небо смотреть своею вершиною тонкой.
И застонал опечаленный бог. «Ты, оплаканный нами,
Будешь оплакивать всех и пребудешь с печальными!» — молвил.
Рощу такую Орфей привлек. Посредине собранья
Всяческих диких зверей и множества птиц восседал он.
Вот уже пальцем большим испытал он достаточно струны
И, убедившись, что все, хоть разно звучат они, стройно
Звуки сливают свои, — молчанье прервал песнопеньем:
«Муза, с Юпитера ты — всем миром Юпитер владеет! —
Песню мою зачинай! О мощи Юпитера раньше
Много я песен сложил: величавым я плектром Гигантов
Пел, на флегрейских полях[440] победительных молний сверженье.
Лирою легкой теперь зазвучу. Буду отроков петь я —
Нежных любимцев богов, и дев, что, пылая напрасно,
Кару в безумье своем навлекли на себя любострастьем.
В оные дни небожителей царь к Ганимеду фригийцу
Страстью зажегся; и вот изобрел он, во что превратиться,
Чтобы собою не быть; никакой становиться иною
Птицею сан не велел, — лишь его же носящей перуны.
И не помедлил: рассек заемными крыльями воздух
И Илиада[441] унес, — он доныне его виночерпий
И, хоть Юнона мрачна, подает Вседержителю нектар.
Так же тебя, Амиклид,[442] Аполлон поселил бы в эфире,
Если б туда поселить разрешили печальные судьбы.
Выход дозволен иной — бессмертен ты стал. Лишь прогонит
Зиму весна и Овен водянистую Рыбу заступит,
Ты появляешься вновь, распускаясь на стебле зеленом.
Более всех ты отцом был возлюблен моим. Понапрасну
Ждали владыку тогда — земли средоточие — Дельфы.
Бог на Эвроте[443] гостил в то время, в неукрепленной
Спарте. Ни стрелы уже у него не в почете, ни лира;
Сам он себя позабыл; носить готов он тенета
Или придерживать псов, бродить по хребтам неприступным

Ловчим простым. Свой пыл питает привычкою долгой.
Был в то время Титан в середине меж ночью грядущей
И отошедшей, — от них находясь в расстоянии равном.
Скинули платье друзья и, масляным соком оливы
Лоснясь, готовы уже состязаться в метании диска.
Первый метнул, раскачав, по пространству воздушному круг свой
Феб, и пред ним облака разделились от тяжести круга;
Времени много спустя, упадает на твердую землю
Тяжесть, паденьем явив сочетанье искусства и силы.
Неосторожный тогда, любимой игрой возбуждаем,
Круг подобрать поспешил тенариец[444]. Но вдруг содрогнулся
Воздух, и с крепкой земли диск прянул в лицо тебе прямо,
О Гиацинт! Побледнели они одинаково оба —
Отрок и бог. Он в объятия взял ослабевшее тело.
Он согревает его, отирает плачевные раны,
Тщится бегство души удержать, траву прилагая.
Все понапрасну: ничем уж его исцелить невозможно.
Так в орошенном саду фиалки, и мак, и лилея,
Ежели их надломить, на стебле пожелтевшем оставшись,
Вянут и долу свои отягченные головы клонят;
Прямо держаться нет сил, и глядят они маковкой в землю.
Так неподвижен и лик умирающий; силы лишившись,
Шея, сама для себя тяжела, к плечу приклонилась.
«Гибнешь, увы, Эбалид, обманутый юностью ранней! —
Феб говорит. — Эта рана твоя — мое преступленье.
Ты — моя скорбь, погублен ты мной; с моею десницей
Смерть да свяжут твою: твоих похорон я виновник!
В чем же, однако, вина? Так, значит, виной называться
Может игра? Так может виной и любовь называться?
О, если б жизнь за тебя мне отдать или жизни лишиться
Вместе с тобой! Но меня роковые связуют законы.
Вечно ты будешь со мной, на устах незабывших пребудешь;
Лиры ль коснется рука — о тебе запоют мои песни.
Будешь ты — новый цветок — мои стоны являть начертаньем.
После же время придет, и славный герой заключится
В тот же цветок, и прочтут лепестком сохраненное имя».

Так говорят Аполлона уста, предрекая правдиво, —
Кровь между тем, что, разлившись вокруг, мураву запятнала,
Кровью уже не была: блистательней червени тирской
Вырос цветок. У него — вид лилии, если бы только
Не был багрян у него лепесток, а у лилий — серебрян.
Мало того Аполлону; он сам, в изъявленье почета,
Стоны свои на цветке начертал: начертано «Ай, ай!»
На лепестках у него, и явственны скорбные буквы.
Спарте позора в том нет, что она родила Гиацинта;
Чтут и доныне его; что ни год, по обычаю предков,
Славят торжественно там Гиацинтии — праздник весенний.[445]
Если же ты, Амафунт,[446] изобильный металлами, спросишь,
Горд ли он тем, что родил Пропетид, — он откажется, так же
Как и от тех, у которых рога — в стародавнее время —
Были на лбу, — от чего получили прозванье керастов.[447]
Возле ворот их стоял Юпитера Гостеприимца
С прошлым печальным алтарь. Как завидит пришелец, что пятна
Крови на камне его, он думает: тут зарезают
Богу телят-сосунков да двухлетних овец амафунтских.
Путник сам жертвой бывал. Оскорбясь несказанным служеньем,
Милые грады свои и змеиные долы Венера
Бросить готова была, — «Но места мне любезные, грады
Чем согрешили мои? Чем они-то, — сказала, — преступны?
Лучше уже покарать изгнаньем безбожное племя,
Смертью иль ссылкою, — нет, чем-нибудь меж изгнаньем и смертью.
Среднее что же найду, как не казнь превращением вида?»
И между тем как она колебалась, во что изменить их,
Взор на рога навела и решила: рога им оставим.
И в косовзорых коров их большие тела обратила.
Все же срамных Пропетид смел молвить язык, что Венера
Не божество. И тогда, говорят, из-за гнева богини,
Первыми стали они торговать красотою телесной.
Стыд потеряли они, и уже их чело не краснело:
Камнями стали потом, но не много притом изменились.

Видел их[448] Пигмалион, как они в непотребстве влачили
Годы свои. Оскорбясь на пороки, которых природа
Женской душе в изобилье дала, холостой, одинокий
Жил он, и ложе его лишено было долго подруги.
А меж тем белоснежную он с неизменным искусством
Резал слоновую кость. И создал он образ, — подобной
Женщины свет не видал, — и свое полюбил он созданье.
Было девичье лицо у нее; совсем как живая,
Будто с места сойти она хочет, только страшится.
Вот до чего скрывает себя искусством искусство!
Диву дивится творец и пылает к подобию тела.
Часто протягивал он к изваянию руки, пытая,
Тело пред ним или кость. Что это не кость, побожился б!
Деву целует и мнит, что взаимно; к ней речь обращает,
Тронет — и мнится ему, что пальцы вминаются в тело,
Страшно ему, что синяк на тронутом выступит месте.
То он ласкает ее, то милые девушкам вещи
Дарит: иль раковин ей принесет, иль камешков мелких,
Птенчиков, или цветов с лепестками о тысяче красок,
Лилий, иль пестрых шаров, иль с дерева павших слезинок
Дев Гелиад.[449] Он ее украшает одеждой. В каменья
Ей убирает персты, в ожерелья — длинную шею.
Легкие серьги в ушах, на грудь упадают подвески.
Все ей к лицу. Но не меньше она и нагая красива.
На покрывала кладет, что от раковин алы сидонских,[450]
Ложа подругой ее называет, склоненную шею
Нежит на мягком пуху, как будто та чувствовать может!
Праздник Венеры настал, справляемый всюду на Кипре.
Возле святых алтарей с золотыми крутыми рогами
Падали туши телиц, в белоснежную закланных шею.
Ладан курился. И вот, на алтарь совершив приношенье,
Робко ваятель сказал: «Коль все вам доступно, о боги,
Дайте, молю, мне жену (не решился ту деву из кости
Упомянуть), чтоб была на мою, что из кости, похожа!»
На торжествах золотая сама пребывала Венера
И поняла, что таится в мольбе; и, являя богини

Дружество, трижды огонь запылал и взвился языками.
В дом возвратившись, бежит он к желанному образу девы
И, над постелью склонясь, целует, — ужель потеплела?
Снова целует ее и руками касается груди, —
И под рукой умягчается кость; ее твердость пропала.
Вот поддается перстам, уступает — гиметтский[451] на солнце
Так размягчается воск, под пальцем большим принимает
Разные формы, тогда он становится годным для дела.
Стал он и робости полн и веселья, ошибки боится,
В новом порыве к своим прикасается снова желаньям.
Тело пред ним! Под перстом нажимающим жилы забились.
Тут лишь пафосский[452] герой полноценные речи находит,
Чтобы Венере излить благодарность. Уста прижимает
Он наконец к неподдельным устам, — и чует лобзанья
Дева, краснеет она и, подняв свои робкие очи,
Светлые к свету, зараз небеса и любовника видит.
Гостьей богиня сидит на устроенной ею же свадьбе.
Девять уж раз сочетавши рога, круг полнился лунный, —
Паф[453] тогда родился, — по нему же и остров был назван.
Был от нее же рожден и Кинир, и когда бы потомства
Он не имел, почитаться бы мог человеком счастливым.
Страшное буду я петь. Прочь, дочери, прочь удалитесь
Вы все, отцы! А коль песни мои вам сладостны будут,
Песням не верьте моим, о, не верьте ужасному делу!
Если ж поверите вы, то поверьте и каре за дело.
Ежель свершенье его допустила, однако, природа, —
За исмарийский народ и за нашу я счастлив округу,
Счастлив, что эта земля далеко от краев, породивших
Столь отвратительный грех. О, пусть амомом богаты,
Пусть и корицу, и нард, и из дерева каплющий ладан,
Пусть на Панхайской земле[454] и другие родятся растенья,
Пусть же и мирру растят! Им дорого стала новинка!
Даже Эрот объявил, что стрелой не его пронзена ты,
Мирра; свои он огни от греха твоего отвращает.
Адской лучиной была ты овеяна, ядом ехидны,
Ты их трех фурий одна: преступленье — отца ненавидеть,

Все же такая любовь — преступленье крупней. Отовсюду
Знатные ищут тебя домогатели. Юность Востока
Вся о постели твоей соревнуется. Так избери же,
Мирра, себе одного, но, увы, все в одном сочетались.
Все понимает сама, от любви отвращается гнусной
Мирра, — «Где мысли мои? Что надо мне? — молвит, — о боги!
Ты, Благочестье, и ты, о право священное крови,
Грех запретите, — молю, — преступлению станьте препоной,
Коль преступленье в том есть. Но, по правде сказать, Благочестье
Этой любви не хулит. Без всякого выбора звери
Сходятся между собой; не зазорно бывает ослице
Тылом отца приподнять; жеребцу его дочь отдается,
Коз покрывает козел, от него же рожденных, и птицы
Плод зачинают от тех, чьим семенем зачаты сами.
Счастливы те, кто запретов не знал! Дурные законы
Сам себе дал человек, и то, что природа прощает,
Зависть людская клеймит. Говорят, что такие, однако,
Есть племена, где с отцом сопрягается дочь, или с сыном
Мать, и почтенье у них лишь растет от любви их взаимной.
Горе мое, что не там привелось мне родиться! Вредят мне
Здешних обычаи мест! Но зачем возвращаюсь к тому же?
Прочь, запрещенные, прочь, надежды! Любви он достоин, —
Только дочерней любви! Так, значит, когда бы великий
Не был отцом мне Кинир, то лечь я могла бы с Киниром!
Ныне ж он мой, оттого и не мой. Мне сама его близость
Стала проклятием. Будь я чужой, счастливей была бы!
Лучше далеко уйду и родные покину пределы,
Лишь бы греха избежать. Но соблазн полюбившую держит:
Вижу Кинира я здесь, прикасаюсь к нему, говорю с ним,
Для поцелуя тянусь, — о, пусть не дано остального!
Смеешь на что-то еще уповать, нечестивая дева?
Или не чувствуешь ты, что права и названья смешала?
Или любовью отца и соперницей матери станешь?
Сыну ли старшей сестрой? Назовешься ли матерью брата?
Ты не боишься Сестер,[455] чьи головы в змеях ужасных,

Что, беспощадный огонь к очам и устам приближая,
Грешные видят сердца? Ты, еще непорочная телом,
В душу греха не прими, законы могучей природы
Не помышляй загрязнить недозволенным ею союзом.
Думаешь, хочет и он? Воспротивится! Он благочестен,
Помнит закон. О, когда б им то же безумье владело!»
Молвила так. А Кинир, посреди женихов именитых,
В недоумении, как поступить, обращается к Мирре,
По именам их назвав, — чтоб себе жениха указала.
Мирра сначала молчит, от отцова лица не отводит
Взора, горит, и глаза обливаются влагою теплой.
Но полагает Кинир, — то девичий стыд; запрещает
Плакать, и щеки ее осушает и в губы целует.
Рада она поцелуям его. На вопрос же, — который
Был бы любезен ей муж, — «На тебя, — отвечала, — похожий!»
Он же не понял ее и за речь похваляет: «И впредь ты
Столь же почтительной будь!» И при слове «почтительной» дева,
С мерзостным пылом в душе, головою смущенно поникла.
Ночи средина была. Разрешил и тела и заботы
Сон. Но Кинирова дочь огнем неуемным пылает
И не смыкает очей в безысходном безумье желанья.
Вновь то отчается вдруг, то готова пытаться; ей стыдно,
Но и желанья кипят; не поймет, что ей делать, так мощный
Низко подрубленный ствол, последнего ждущий удара,
Пасть уж готов, неизвестно куда, но грозит отовсюду.
Так же и Мирры душа от ударов колеблется разных
Зыбко туда и сюда, устойчива лишь на мгновенье.
Страсти исход и покой в одном ей мерещится — в смерти.
Смерть ей любезна. Встает и решает стянуть себе петлей
Горло и, пояс уже привязав к перекладине, молвив, —
«Милый, прощай, о Кинир! И знай: ты́ смерти виновник!» —
Приспособляет тесьму к своему побелевшему горлу.
Ропот ее, — говорят, — долетел до кормилицы верной,
Что по ночам охраняла порог ее спальни. Вскочила
Старая, дверь отперла и, увидев орудие смерти
Подготовляемой, вдруг завопила; себя ударяет

В грудь, раздирает ее и, питомицы вызволив шею,
Рвет тесьму на куски. Тут только слезам отдается;
Мирру она обняла и потом лишь о петле спросила.
Девушка молча стоит, недвижно потупилась в землю.
Горько жалеет она, что попытка нарушена смерти.
Молит старуха, своей сединой заклинает; раскрыла
Ныне пустые сосцы, колыбелью и первою пищей
Молит довериться ей и поведать ей горе; девица
Стонет молящей в ответ. Но кормилица вызнать решила, —
Тайну сулит сохранить и не только — взывает: «Откройся,
Помощь дозволь оказать, — моя не беспомощна старость.
Если безумье в тебе, — исцелят заклинанье и травы;
Если испорчена ты, обрядом очистим волшебным;
Если же гнев от богов, — умиряется жертвами гнев их.
Что же полезней еще предложу? И участь и дом твой
Счастливы, все хорошо; мать здравствует, жив и родитель!»
Лишь услыхав об отце, испустила глубокие вздохи
Мирра. Кормилица все ж и теперь греха никакого
Не заподозрила, но о какой-то любви догадалась.
Крепко решив разузнать, что б ни было, — молит поведать
Все, на старую грудь привлекает льющую слезы
Деву, сжимает в руках своих немощных, так говоря ей:
«Вижу я: ты влюблена; но — откинь спасенья! — полезной
Буду пособницей я в том деле. Отец не узнает
Тайны!» Но злобно она отскочила от старой, припала
К ложу лицом, — «Уйди, я прошу, над стыдом моим горьким
Сжалься, — сказала, — уйди, — настойчивей молвила, — или
Спрашивать брось, отчего я больна: лишь грех ты узнаешь».
В ужасе та, от годов и от страха дрожащие руки
К ней простирает с мольбой, питомице падает в ноги.
То ей пытается льстить, то пугает на случай, коль тайны
Та не откроет, грозит ей уликой тесьмы и попытки
Кончить с собой; коль откроет любовь, обещает ей помощь.
Голову та подняла, и внезапные залили слезы
Старой кормилицы грудь; и, не раз порываясь признаться,
Речь пресекает она; застыдившись, лицо закрывает

Платьем и молвит, — «О, как моя мать осчастливлена мужем!»
Смолкла и стон издала. Кормилица похолодела,
Чувствует — ужас проник до костей в ее члены. Поднявшись,
Волосы встали торчком на ее голове поседелой.
Много добавила слов, чтобы та — если сможет — извергла
Злую любовь. Хоть совет и хорош, повторяет девица,
Что не отступит, умрет, коль ей не достанется милый!
Та же в ответ ей, — «Живи, овладеешь своим…» — не решилась
Молвить «отцом» и молчит; обещанья же клятвой скрепляет.
Праздник Цереры как раз благочестные славили жены,
Тот, ежегодный, когда, все окутаны белым, к богине
Связки колосьев несут, своего урожая початки.
Девять в то время ночей почитают запретной Венеру,
Не допускают мужчин. Кенхреида,[456] покинув супруга,
Вместе с толпою ушла посетить тайнодейства святые.
Благо законной жены на супружеском не было ложе,
Пьяным Кинира застав, на беду, расторопная нянька,
Имя другое назвав, неподдельную страсть описала
Девы, красу расхвалила ее; спросил он про возраст.
«С Миррой, — сказала, — одних она лет». И когда приказал он
Деву ввести, возвратилась домой. «Ликуй, — восклицает, —
Доченька! Мы победили!» Но та ощущает неполной
Эту победу свою. Сокрушается грудь от предчувствий.
Все же ликует она: до того в ней разлажены чувства.
Час наступил, когда все замолкает; промежду Трионов,[457]
Дышло скосив, Боот поворачивать начал телегу.
И к преступленью она подступила. Златая бежала
С неба луна. Облаков чернотой закрываются звезды.
Темная ночь — без огней. О Икар,[458] ты лицо закрываешь!
Также и ты, Эригона, к отцу пылавшая свято!
Трижды споткнулась, — судьба призывала обратно. Три раза
Филин могильный давал смертельное знаменье криком.
Все же идет. Темнота уменьшает девичью стыдливость.
Левою держит рукой кормилицы руку; другая
Ищет во мраке пути; порога уж спальни коснулась.
Вот открывает и дверь; и внутрь вошла. Подкосились

Ноги у ней, колена дрожат. От лица отливает
Кровь, — румянец бежит, сейчас она чувства лишится.
Чем она ближе к беде, тем страх сильней; осуждает
Смелость свою и назад возвратиться неузнанной жаждет.
Медлит она, но старуха влечет; к высокому ложу
Деву уже подвела и вручает, — «Бери ее! — молвит, —
Стала твоею, Кинир!» — и позорно тела сопрягает.
Плоть принимает свою на постыдной постели родитель,
Гонит девический стыд, уговорами страх умеряет.
Милую, может быть, он называет по возрасту «дочка»,
Та же «отец» говорит, — с именами страшнее злодейство!
Полной выходит она от отца; безбожное семя —
В горькой утробе ее, преступленье зародышем носит.
Грех грядущая ночь умножает, его не покончив.
И лишь когда наконец пожелал, после стольких соитий,
Милую он распознать, и при свете внесенном увидел
Сразу и грех свой и дочь, разразился он возгласом муки
И из висящих ножен исторг блистающий меч свой.
Мирра спаслась; темнота беспросветная ночи убийство
Предотвратила. И вот, пробродив по широким равнинам,
Пальмы арабов она и Панхаи поля покидает.
Девять блуждает потом завершающих круг полнолуний.
И, утомясь наконец, к земле приклонилась Сабейской.[459]
Бремя насилу несла; не зная, о чем ей молиться,
Страхом пред смертью полна, тоской удрученная жизни,
Так обратилась к богам, умоляя: «О, если признаньям
Верите вы, божества, — заслужила печальной я казни
И не ропщу. Но меня — чтоб живой мне живых не позорить,
Иль, умерев, мертвецов — из обоих вы царств изгоните!
Переменивши меня, откажите мне в жизни и смерти!»
Боги признаньям порой внимают: последние просьбы
Мирры нашли благосклонных богов: ступни у молящей
Вот покрывает земля; из ногтей расщепившихся корень
Стал искривленный расти, — ствола молодого опора;
Сделалась деревом кость; остался лишь мозг в сердцевине.
В сок превращается кровь, а руки — в ветви большие,

В малые ветви — персты; в кору — затвердевшая кожа.
Дерево полный живот меж тем, возрастая, сдавило;
Уж охватило и грудь, закрыть уж готовилось шею.
Медлить не стала она, и навстречу коре подступившей
Съежилась Мирра, присев, и в кору головой погрузилась.
Все же, хоть телом она и утратила прежние чувства, —
Плачет, и все из ствола источаются теплые капли.
Слезы те — слава ее. Корой источенная мирра
Имя хранит госпожи, и века про нее не забудут.
А под корою меж тем рос грешно зачатый ребенок,
Он уж дороги искал, по которой — без матери — мог бы
В мир показаться; живот бременеющий в дереве вздулся.
Бремя то мать тяготит, а для мук не находится слова,
И роженицы уста обратиться не могут к Луцине.
Все-таки — словно родит: искривленное дерево частый
Стон издает; увлажняют его, упадая, слезинки.
Остановилась тогда у страдающих веток Луцина;
Руки приблизила к ним и слова разрешенья сказала.
Дерево щели дает и вот из коры выпускает
Бремя живое свое. Младенец кричит, а наяды
В мягкой траве умащают его слезами родимой.
Зависть сама похвалила б дитя! Какими обычно
Голых Амуров писать на картинах художники любят,
В точности был он таким. Чтоб избегнуть различья в наряде,
Легкие стрелы ему ты вручи, а у тех отними их!
Но неприметно бежит, ускользает летучее время,
Нет ничего мимолетней годов. Младенец, зачатый
Дедом своим и сестрой, до этого в дереве скрытый,
Только родиться успел, красивейшим слыл из младенцев.
Вот он и юноша, муж; и себя превзошел красотою!
Вот и Венере он мил, за огни материнские мститель!
Мать как-то раз целовал мальчуган, опоясанный тулом,
И выступавшей стрелой ей нечаянно грудь поцарапал.
Ранена, сына рукой отстранила богиня: однако
Рана была глубока, обманулась сначала Венера.
Смертным пленясь, покидает она побережье Киферы.

Ей не любезен и Паф, опоясанный морем открытым,
Рыбой обильнейший Книд, Амафунт, чреватый металлом.
На небо тоже нейдет; предпочтен даже небу Адонис.
С ним она всюду, где он. Привыкшая вечно под тенью
Только лелеять себя и красу увеличивать холей,
С ним по горам и лесам, по скалам блуждает заросшим,
С голым коленом, подол подпоясав по чину Дианы;
Псов натравляет сама и, добычи ища безопасной,
Зайцев проворных она, иль дивно рогатых оленей
Гонит, иль ланей лесных; но могучих не трогает вепрей,
Но избегает волков-похитителей, также медведя,
С когтем опасным, и львов, пресыщенных скотнею кровью.
Увещевает тебя, чтоб и ты их, Адонис, боялся, —
Будь в увещаниях прок! «Быть храбрым с бегущими должно, —
Юноше так говорит, — а со смелыми смелость опасна.
Юноша, дерзок не будь, над моей ты погибелью сжалься!
Не нападай на зверей, от природы снабженных оружьем,
Чтобы не стоила мне твоя дорого слава. Не тронут
Годы, краса и ничто, чем тронуто сердце Венеры,
Вепрей щетинистых, львов, — ни взора зверей, ни души их.
Молнии в желтых клыках у жестоких таятся кабанов,
Грозно бросается в бой лев желтый с великою злостью,
Весь их род мне постыл». Когда ж он спросил о причине,
Молвит: «Скажу, подивись чудовищ провинности давней.
От непривычных трудов я, однако, устала, и кстати
Ласково тенью своей приглашает нас тополь соседний;
Ложе нам стелет трава. Прилечь хочу я с тобою
Здесь, на земле!» И легла, к траве и к нему прижимаясь.
И, прислонившись к нему, на груди головою покоясь,
Молвила так, — а слова поцелуями перемежала:
«Может быть, слышал и ты, как одна в состязании бега
Женщина быстрых мужчин побеждала. И вовсе не сказка
Эта молва. Побеждала она. Сказать было трудно,
Чем она выше была — красотой или ног превосходством.
Бога спросила она о супружестве. «Муж, — он ответил, —
Не для тебя, Аталанта![460] Беги от супругина ложа.

Но не удастся бежать — и живая себя ты лишишься!»
Божья вещанья страшась, безбрачной жить она стала
В частом лесу и толпу домогателей страстных суровым
Гонит условием: «Мной овладеть единственно можно,
В беге меня победив. Состязайтесь с моими ногами.
Быстрому в беге дадут и супругу и спальню в награду.
Плата же медленным — смерть: таково состязанья условье».
Правила жестки игры! Но краса — столь великая сила!
И подчиняется ей домогателей дерзких ватага.
Тут же сидел Гиппомен, тот бег созерцая неравный, —
«Ради жены ли терпеть, — восклицает, — опасность такую?»
Он осудить уж готов чрезмерное юношей чувство.
Но увидал лишь лицо и покрова лишенное тело, —
Как у меня или как у тебя, если б женщиной стал ты, —
Остолбенел он и руки простер. «Простите! — сказал он. —
Был я сейчас виноват: еще не видал я награды,
Из-за которой борьба!» Восхваляя, он сам загорелся.
Чтобы никто обогнать в состязанье не смог ее, жаждет;
Чувствует ревность и страх. «Отчего мне в ристании этом
Счастья нельзя попытать? — говорит. — Всевышние сами —
Смелым помога!» Пока про себя Гиппомен рассуждает
Так, Аталанта уже окрыленным несется полетом.
Юноша видит ее аонийский, — как мчится быстрее
Пущенной скифом стрелы, — но сильнее девичьей красою
Он поражен; на бегу она ярче сияет красою!
Бьет пятами подол, назад его ветер относит,
По белоснежной спине разметались волосы вольно;
Бьются подвязки ее подколенные с краем узорным.
Вот заалелось уже белоснежное тело девичье.
Так происходит, когда, осеняющий атриум белый,
Алого цвета покров искусственный сумрак наводит.
Смотрит гость, а меж тем пройдена уж последняя мета.
Миг — и венок торжества украшает чело Аталанты;
Слышится стон побежденных, — и казнь по условью приемлют.
Но не испуган судьбой тех юношей, посередине
Встал аонийский герой и взоры направил на деву:

«Легкого ищешь зачем торжества, побеждая бессильных? —
Молвил, — со мной поборись! Коль волей судьбы одолею,
Не испытаешь стыда, что нашелся тебе победитель.
Ибо родителем мне Мегарей онхестиец.[461] Ему же
Дедом — Нептун. Властелину морей, выходит, я правнук.
Доблесть не меньше, чем род. Победив Гиппомена, получишь —
Если меня победишь — долговечное, громкое имя!»
Так говорит, а Схенеева дочь на юношу смотрит
Нежно, в сомненье она, пораженье милей иль победа?
«Кто ж из богов, — говорит, — красоте позавидовав, ищет
Смерти его? Опасности жизнь дорогую подвергнув,
Брака со мною велит домогаться? Но нет, я не стою.
Я не красой пленена, но, пожалуй, плениться могла бы.
Чем же? Что юн? Так не сам он меня привлекает, а возраст.
Чем же? Что доблестен он, что страха смерти не знает?
Чем же? Что в роде морском поколеньем гордится четвертым?
Чем же? Что любит меня и так наш союз ему ценен,
Что и погибнуть готов, если рок ему жесткий откажет?
Гость, пока можно, беги, откажись от кровавого брака!
Брак со мною жесток. Сочетаться ж с тобою, наверно,
Каждая рада. Тебя и разумная девушка взыщет.
Но почему ж, столь многих сгубив, о тебе беспокоюсь?
Видел он всё. Пусть падет, коль стольких искателей смертью
Не вразумился еще, коль собственной жизнью наскучил.
Значит, падет он за то, что брака желает со мною?
И за свою же любовь недостойную гибель потерпит?
Нечего будет, увы, завидовать нашей победе.
Но не моя в том вина! О, когда б отступить пожелал ты!
Если ж сошел ты с ума, о, будь хоть в беге быстрее!
Сколь же в юном лице у него девичьего много!
Бедный, увы, Гиппомен, никогда бы тебя мне не видеть!
Жизни достоин ты был, когда бы счастливей была я.
Если бы рока вражда мне в супружестве не отказала,
Был бы единственным ты, с кем ложе могла б разделить я», —
Молвила. И в простоте, сражена Купидоном впервые,
Любит, не зная сама, и не чувствует даже, что любит.

Вот и народ, и отец обычного требуют бега.
Тут призывает меня умоляющим голосом правнук
Бога морей, Гиппомен: «Киферею молю, чтобы делу
Смелому помощь дала и свои же огни поощрила».
Нежные просьбы ко мне ветерок благосклонный доносит.
Тронута я, признаюсь. И немедленно помощь приспела.
Поприще есть, — Тамазейским его называют туземцы, —
Кипрской земли наилучший кусок. Старинные люди
Мне посвятили его и решили, как дар благочестья,
К храму придать моему. Посреди его дерево блещет
Золотоглаво, горят шелестящие золотом ветви.
Яблока три золотых я с него сорвала и явилась,
Их же в руке принесла; не зрима никем, им одним лишь,
К юноше я подошла и что с ними делать внушила.
Трубы уж подали знак, и от края, склоненные, оба
Мчатся, легкой ногой чуть касаются глади песчаной.
Мнится, могли бы скользить и по морю, стоп не смочивши,
И, не примявши хлебов, пробежать по белеющей ниве.
Юноши дух возбужден сочувствием, криками, — слышит
Возгласы: «Надо тебе приналечь, приналечь тебе надо!
Эй, Гиппомен, поспешай! Пора! Собери же все силы!
Не замедляй! Победишь!» Неведомо: сын Мегарея
Более этим словам иль Схенеева дочь веселится.
Сколько уж раз, хоть могла обогнать, но сама замедлялась,
Долго взглянув на него, отвести она глаз не умела!
Из утомившихся уст вылетало сухое дыханье.
Мета была далеко. Тогда наконец-то Нептунов
Правнук один из древесных плодов на ристалище кинул.
И обомлела она, от плода золотого в восторге,
И отклонилась с пути, за катящимся златом нагнулась.
Опередил Гиппомен, и толпа уж ему рукоплещет.
Но нагоняет она остановку свою и потерю
Времени. Юношу вновь позади за спиной оставляет.
Вот, задержавшись опять, лишь он яблоко бросил второе,
Следом бежит и обходит его. Оставался им кончик
Бега. «Теперь, — говорит, — помогай, о виновница дара!»

И через поприще вбок — чтобы позже она добежала —
Ловким, ребячьим броском он блестящее золото кинул.
Вижу, колеблется — взять или нет; но я повелела
Взять, и лишь та подняла, увеличила яблока тяжесть;
Ей помешала вдвойне: промедленьем и тяжестью груза.
Но — чтоб не стал мой рассказ самого их ристанья длиннее —
Девушка обойдена: награду увел победитель.
Я ль не достойна была, о Адонис, и благодарений,
И фимиамов его? Но несчастный забыл благодарность,
Не воскурил фимиам; я, конечно, разгневалась тотчас
И, на презренье сердясь, чтоб впредь мне не знать унижений
Меры решаю принять и на эту чету ополчаюсь.
Раз проходят они мимо храма Кибелы, который
Ей в посвященье возвел Эхион знаменитый в тенистой
Чаще лесов. Отдохнуть захотели от долгой дороги.
И охватила в тот миг Гиппомена не вовремя жажда
Совокупления, в нем возбужденная нашим наитьем.
Было близ храма едва освещенное место глухое,
Вроде пещеры. Над ним был свод из пемзы природной, —
Веры старинной приют, а в нем деревянных немало
Изображений богов стародавних жрецы посбирали.
Входят туда и деяньем срамным оскверняют святыню.
И божества отвратили глаза. Башненосная Матерь[462]
Думала их погрузить — виноватых — в стигийские воды:
Казнь показалась легка. И тотчас рыжею гривой
Шеи у них обросли, а пальцы в когти загнулись.
Стали плечами зверей человечьи их плечи. Вся тяжесть
В грудь перешла, и хвост повлачился, песок подметая.
Злость выражает лицо; не слова издают, а рычанье.
Служит им спальнею лес. Свирепостью всех устрашая,
Зубом смиренным — два льва — сжимают поводья Кибелы.
Их ты, о мой дорогой, а с ним и прочих животных,
Не обращающих тыл, но грудь выставляющих в битве,
Всех избегай. Чтобы доблесть твою не прокляли — двое!»
Так убеждала она. И вот на чете лебединой
Правит по воздуху путь; но совсем противится доблесть.

Тут из берлоги как раз, обнаружив добычу по следу,
Вепря выгнали псы, и готового из лесу выйти
Зверя ударом косым уязвил сын юный Кинира.
Вепрь охотничий дрот с клыка стряхает кривого,
Красный от крови его. Бегущего в страхе — спастись бы! —
Гонит свирепый кабан. И всадил целиком ему бивни
В пах и на желтый песок простер обреченного смерти!
С упряжью легкой меж тем, поднебесьем несясь, Киферея
Не долетела еще на крылах лебединых до Кипра,
Как услыхала вдали умиравшего стоны и белых
Птиц повернула назад. С высот увидала эфирных:
Он бездыханен лежит, простертый и окровавленный.
Спрянула и начала себе волосы рвать и одежду,
Не заслужившими мук руками в грудь ударяла,
Судьбам упреки глася, — «Но не все подчиняется в мире
Вашим правам, — говорит, — останется памятник вечный
Слез, Адонис, моих; твоей повторенье кончины
Изобразит, что ни год, мой плач над тобой неутешный!
Кровь же твоя обратится в цветок.[463] Тебе, Персефона,
Не было ль тоже дано обратить в духовитую мяту[464]
Женщины тело? А мне позавидуют, если героя,
Сына Кинирова, я превращу?» Так молвив, душистым
Нектаром кровь окропила его. Та, тронута влагой,
Вспенилась. Так на поверхности вод при дождливой погоде
Виден прозрачный пузырь. Не минуло полного часа, —
А уж из крови возник и цветок кровавого цвета.
Схожие с ними цветы у граната, которые зерна
В мягкой таят кожуре, цветет же короткое время,
Слабо держась на стебле, лепестки их алеют недолго,
Их отряхают легко названье им давшие ветры.[465]

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

Гибель Орфея, фракийские вакханки (1—84); Мидас (85—193); Гесиона (194—220); Фетида (221—265); Пелей, Дедалион (266—345); Псамафа (346—409); Кеик и Алкиона (410—748); Эсак (749—795).

Но, между тем как леса и диких животных и скалы,
Пенью идущие вслед, ведет песнопевец фракийский,
Жены киконов, чья грудь, опьяненная вакховым соком,
Шкурами скрыта зверей, Орфея с вершины пригорка
Видят, как с песнями он согласует звенящие струны.
И между ними одна, с волосами, взвитыми ветром, —
«Вон он, — сказала, — вон он, — презирающий нас!» — и метнула
В полные звуков уста певца Аполлонова тирсом,
Но, оплетенный листвой, ударился тирс, не поранив.
Камень — оружье другой. Но, по воздуху брошен, в дороге
Был он уже побежден согласием песни и лиры:
Словно прощенья моля за неистовство их дерзновенья,
Лег у Орфеевых ног. А вражда безрассудная крепнет;
Мера уже прейдена, все безумной Эринии служат.
Все бы удары могло отвести его пенье; но зычных
Шум голосов и звук изогнутых флейт берекинтских,[466]
Плеск ладоней, тимпан и вакхических возгласов вопли
Струн заглушили игру, — тогда наконец заалели
Выступы скал, обагрясь песнопевца злосчастного кровью.
Завороженных еще его пения звуками, разных
Птиц бесчисленных, змей и диких зверей разогнали
Девы-менады, отняв у Орфея награду триумфа.
Вот на него самого обратили кровавые руки.
Сбились, как птицы, вокруг, что ночную случайно приметят
Птицу, незрячую днем; в двустороннем театре не так ли
Ждет обреченный олень, приведенный для утренней травли,
Вскоре добыча собак! На певца нападают и мечут
Тирсы в зеленой листве, — служений иных принадлежность! —

Комья кидают земли, другие — древесные сучья.
Те запускают кремни. Но и этого мало оружья
Бешенству. Поле волы поблизости плугом пахали;
Сзади же их, урожай себе потом обильным готовя,
Твердую землю дробя, крепкорукие шли поселяне.
Женщин завидев толпу, убегают они, побросали
В страхе орудья труда — кругом пораскиданы в поле,
Где бороздник, где мотыга лежит, где тяжелые грабли, —
Буйной достались толпе! В неистовстве те обломали
Даже рога у волов, — и бегут погубить песнопевца.
Руки протягивал он и силы лишенное слово
К ним обращал — впервые звучал его голос напрасно.
И убивают его святотатно. Юпитер! Чрез эти
Внятные скалам уста, звериным доступные чувствам,
Дух вылетает его и уносится в ветреный воздух.
Скорбные птицы, Орфей, зверей опечаленных толпы,
Твердые камни, леса, за тобой ходившие следом,
Дерево, листья свои потеряв и поникнув главою, —
Плакало все о тебе; говорят, что и реки от плача
Взбухли. Наяды тогда и дриады оделись в накидки
Темные и по плечам распустили волосы в горе.
Прах был разбросан певца. Ты голову принял и лиру,
Гебр! И — о чудо! — меж тем как несутся реки серединой,
Чем-то печальным звучит, словно жалуясь, лира; печально
Шепчет бездушный язык; и печально брега отвечают.
Вот, до моря домчав, их река оставляет родная,
И достаются они метимнейского Лесбоса брегу.[467]
На чужедальнем песке змея на уста нападает
Дикая и на власы, что струятся соленою влагой.
Но появляется Феб и, готовую ранить укусом
Остановив, ей пасть превращает раскрытую в твердый
Камень. Как было оно, затвердело зияние зева.
Тень же Орфея сошла под землю. Знакомые раньше,
Вновь узнавал он места. В полях, где приют благочестных,
Он Эвридику нашел и желанную принял в объятья.
Там по простору они то рядом гуляют друг с другом,

То он за нею идет, иногда впереди выступает, —
И не страшась, за собой созерцает Орфей Эвридику.
Но не позволил Лиэй, чтоб осталось без кары злодейство:
Он, о кончине скорбя песнопевца его тайнодействий,
В роще немедленно всех эдонийских женщин, свершивших
То святотатство, к земле прикрепил извилистым корнем.
Пальцы у них на ногах — по мере неистовства каждой —
Вытянул и острием вонзил их в твердую почву.
Каждая — словно в силке, поставленном ловчим лукавым, —
Стоит ногой шевельнуть, тотчас ощутит, что попалась,
Бьется, но, вся трепеща, лишь сужает движения путы.
Если ж какая-нибудь, к земле прикрепленная твердой,
Тщится побегом спастись, обезумев, то вьющийся корень
Держит упорно ее и связует порывы несчастной.
Ищет она, где же пальцы ее, где ж стопы и ноги?
Видит, что к икрам ее подступает уже древесина;
Вот, попытавшись бедро в огорченье ударить рукою,
Дубу наносит удар, — становятся дубом и груди,
Дубом и плечи. Ее пред собой устремленные руки
Ты бы за ветви признал, — и, за ветви признав, не ошибся б.
Не удовольствован Вакх. Он эти поля покидает:
С хором достойнейших жен удаляется к Тмолу родному,
На маловодный Пактол, — хоть тот золотым еще не был
В те времена, златоносным песком не струился на зависть!
К богу привычной толпой сатиры сошлись и вакханки.
Но не явился Силен: дрожащий от лет и похмелья,
Схвачен селянами был из фракийцев и стащен в цветочных
Путах к Мидасу-царю, кому с кекропийцем Эвмолпом[468]
Таинства оргий своих Орфей завещал песнопевец.
Царь лишь увидел его, сотоварища, спутника таинств,
Гостю желанному рад, торжественный праздник устроил,
Десять дней и ночей веселились они беспрестанно.
Вот уж одиннадцать раз Светоносец высокое войско
Звезд побеждал; тогда в лидийские долы, довольный,
Царь пришел и вернул молодому питомцу Силена.
Бог предоставил ему, веселясь возвращенью кормильца,

Право избрать по желанию дар, — но, увы, не на благо!
Царь, себе на беду, говорит: «Так сделай, чтоб каждый
Тронутый мною предмет становился золотом чистым!»
Дал изволенье свое, наделил его пагубным даром
Либер; но был огорчен, что о лучшем его не просил он.
Весел ушел он; доволен бедой, — Берекинтии чадо, —
Верность обещанных благ, ко всему прикасаясь, пытает.
Сам себе верит едва: с невысокого илика ветку
С зеленью он оборвал — и стала из золота ветка.
Поднял он камень с земли — и золотом камень блистает,
Трогает ком земляной — и ком под властным касаньем
Плотным становится; рвет он сухие колосья Цереры —
Золотом жатва горит; сорвав ли яблоко держит —
Скажешь: то дар Гесперид[469]; дверных косяков ли коснется
Пальцами — видит уже: косяки излучают сиянье;
Даже когда омывал он ладони струей водяною,
Влага, с ладоней струясь, обмануть могла бы Данаю![470]
Сам постигает едва совершенье мечты, претворяя
В золото все. Столы ликовавшему ставили слуги
С нагромождением яств, с изобильем печеного теста.
Только едва лишь рукой он коснется Церерина дара —
Дар Церерин тотчас под рукою становится твердым;
Жадным зубом едва собирается блюдо порушить,
Пышные кушанья вмиг становятся желтым металлом,
Только он с чистой водой смешает виновника дара,
Как через глотку питье расплавленным золотом льется.
Этой нежданной бедой поражен, — и богатый и бедный, —
Жаждет бежать от богатств и, чего пожелал, ненавидит.
Голода не утолить уж ничем. Жжет жажда сухая
Горло: его поделом неотвязное золото мучит!
Он протянул к небесам отливавшие золотом руки:
«Ныне прости, о родитель Леней,[471] я ошибся. Но все же
Милостив будь и меня из прельстительной вырви напасти!»
Кроток божественный Вакх: едва в погрешенье сознался
Царь, он восставил его, от условья и дара избавил.
«Чтоб не остаться навек в пожеланном тобою на горе

Золоте, — молвил, — ступай к реке, под великие Сарды,[472]
Горным кряжем иди; навстречу струящимся водам
Путь свой держи, пока не придешь к рожденью потока.
Там, под пенный родник, где обильней всего истеченье,
Темя подставь и омой одновременно тело и грех свой!»
Царь к тем водам пришел. Окрасила ток золотая
Сила и в реку ушла из его человеческой плоти.
Ныне еще, получив златоносное древнее семя,
Почва тверда, и блестят в ней влажные золота комья.
Царь, убоявшись богатств, в лесах стал жить по-простому
С Паном, который весь век обитает в нагорных пещерах.
Ум лишь остался тугим у него. Опять обратились
Глупые мысли царя обладателю их не на пользу.
Там, в даль моря смотря, поднимается гордо обширный
Тмол с подъемом крутым; его опускаются склоны
К Сардам с одной стороны, с другой — к невеликим Гипепам[473].
Пан, для нимф молодых там песни свои распевая,
Голос их сам выводя на воском скрепленной цевнице,
Ниже напевов своих оценил Аполлоново пенье,
Вышел в неравный с ним бой, а Тмол был избран судьею.
Сел на гору свою судья престарелый, а уши
Освободил от листвы — одним лишь увенчаны дубом
Сизые волосы; вкруг висков упадают, он видит,
Желуди. Вот, посмотрев на скотского бога, сказал он:
«Ждать не заставит судья!» Тот начал на сельской свирели.
Варварской песней своей он Мидаса, который случайно
При состязании был, прельстил. И лицо обращает
Старый судья к Аполлону, — с лицом и леса обернулись.
Феб, с золотой головой, увитою лавром парнасским,
Землю хламидою мёл, пропитанной пурпуром Тира.
Лиру в убранстве камней драгоценных и кости индийской
Шуйцей поддерживал он, десница щипком управляла.
Вся же осанка была — музыканта. Вот потревожил
Струны искусным перстом. И, сладостью их покоренный,
Тмол порешил, чтоб Пан не равнял своей дудки с кифарой.
Суд священной горы и решенье одобрены были

Всеми. Их только один порицал, называя сужденье
Несправедливым, — Мидас. И Делиец теперь не изволил,
Чтоб человеческий вид сохранили дурацкие уши:
Вытянул их в длину, наполнил белеющей шерстью,
Твердо стоять не велел и дал им способность движенья.
Прочее — как у людей. Лишь одной опорочен он частью.
Так был украшен Мидас ушами осла-тихохода.
Все же пытается он скрыть стыд свой: голову с тяжким
Знаком позора прикрыть пурпурного цвета повязкой.
Только один его раб, который обычно железом
Волосы царские стриг, все видел. Не смея позора
Выдать, но всем разгласить его страстно желая, не в силах
Более тайну хранить, убежал он и выкопал ямку
И о господских ушах, которые видел случайно,
Повесть тихонько ведет, и в самую ямочку шепчет.
Свой потаенный донос он опять зарывает землею
Той же и молча назад от закопанной ямки уходит.
Вскоре там начал расти тростник трепещущий, целой
Рощей. А только созрел, — лишь год исполнился, — тайну
Выдал он жителям сел; колеблемый ласковым ветром,
Молвит зарытую речь, обличая Мидасовы уши.
С Тмола ушел отомщен и, воздухом ясным понесшись,
Узким морем промчась Нефелиной дочери Геллы,[474]
В Лаомедонта полях[475] появился потомок Латоны.
С правой руки от Сигея лежит, от Ретея же — с левой
Древний алтарь: посвящен Паномфейскому он Громовержцу.[476]
Там зрит бог, что создать для Трои новые стены
Силится Лаомедонт, что его велико предприятье,
Но что идет не легко и требует денег немало.
Вместе с отцом глубоких пучин, трезубец носящим,
В смертном обличии Феб предстает, — и владыке-фригийцу
Стены возводят они, обеспечив условием плату.
Труд завершают. Но царь отрицает свой долг, добавляя, —
Верх вероломства! — что он никогда не давал обещанья.
«Это тебе не пройдет!» — говорит бог моря и воды
Стал свои наклонять к побережью скупящейся Трои.

Земли Нептун обратил в сплошную пучину, богатства
Отнял у жителей сел; он волны обрушил на пашни.
Кара и эта мала: сама дочь царская в жены
Чуду морскому дана; к скале прикрепленную деву
Освобождает Алкид и в награду обещанных коней
Требует и, за отказ оплатить столь великое дело,
Крепость Трои берет, победив, — вероломную дважды.
Не без почета ушел Теламон, ополченья участник:
В жены ему Гесиона[477] дана. Супругой-богиней
Был уже славен Пелей. Не больше гордился он дедом,
Нежели тестем своим — затем, что Юпитера внуком
Многим случалося быть, но женат на богине — единый.
Старец Протей Фетиде сказал: «Водяная богиня,
Сына зачни! Твой будущий сын деяньями славы
Славу отцову затмит и больше отца назовется».
Так, чтоб в мире ничто Юпитера не было больше,
Хоть и не слабое он в груди своей чувствовал пламя,
Все ж с Фетидой морской избегает соитья Юпитер.
Этот желанный удел он велит унаследовать внуку,
Сыну Эака: вкусить объятия девы подводной.
Есть Гемонийский залив, закругленный в подобие лука:
В море уходят концы. Будь глубже вода, там была бы
Гавань. Но море едва на поверхность песка набегает.
Берег же — твердый, на нем от ноги отпечатка не видно,
Не замедляется шаг, не тянется поросль морская.
Сверху — миртовой лес с изобилием ягод двухцветных:
Есть там пещера; сказать, природа она иль искусство, —
Трудно. Искусство скорей. Нередко, Фетида нагая,
Ты приплывала сюда, на взнузданном сидя дельфине.
Там ты, окована сном, лежала; Пелей же тобою
Там овладел: поскольку мольбы ты отвергла, прибег он
К силе и шею тебе обеими обнял руками.
Тут, не воспользуйся ты для тебя обычным искусством, —
Свойством обличья менять, — тобой овладел бы наверно.
Птицею делалась ты, — он тотчас же схватывал птицу;
Корни пускала в земле, — Пелей уж на дереве виснул.

В третий ты раз приняла пятнистой тигрицы обличье,
И, устрашен, Эакид разомкнул вкруг тела объятье.
Вот он морским божествам, вино возливая на волны,
Жертвы приносит, и скот приводя, и куря фимиамы.
И из морской глубины наконец вещун карпатийский[478]
Молвил ему: «Эакид,[479] ты желанного брака достигнешь!
Только лишь дева уснет, успокоясь в прохладной пещере,
Путы накинь на нее и покрепче свяжи незаметно.
Да не обманет тебя она сотнями разных обличий, —
Жми ее в виде любом, доколь не вернется в обычный».
Молвил Протей и лицо скрыл вновь в пучину морскую,
Волнам нахлынуть велел и залил окончание речи.
Мчался к закату Титан и дышлом касался наклонным
Вод гесперийских. Краса Нереида покинула море
И, как обычно, вошла в знакомую опочивальню.
Только лишь девичий стан обхватили объятья Пелея,
Стала та виды менять. Но чувствует, крепко он держит
Тело; туда и сюда пришлось ей протягивать руки —
И застонала: «Твоя не без помощи божьей победа!» —
Стала Фетидою вновь и открылась; герой ее обнял.
Взял, что желал, и могучий Ахилл был Фетидою зачат.
Счастлив сыном Пелей и богинею счастлив супругой;
Все бы досталось ему, когда б не его преступленье,
Фока убийство! Его, виновного в братниной крови,
Вон из-под кровли родной убежавшего, принял Трахинский
Край. Державствовал там, убийств и насилий не зная,
Сын Светоносца-звезды, в лице сохранивший сиянье
Отчее, добрый Кеик. В то время он был опечален:
Сам на себя не похож, — потерю оплакивал брата.
Тут-то к нему Эакид, истомленный путем и тревогой,
Прибыл и в город его при немногих вошел провожатых,
Все же довольствие, скот, который с собою водил он,
Неподалеку от стен в тенистой оставил долине.
Вот, получив изволенье войти во дворец государев
И протянув на руке край платья в знак умоленья,
Кто он, чей сын, говорит. Лишь одно преступленье скрывает.

Бегства причину назвав измышленную, просит приюта
В городе или вне стен. Трахинец с лицом благодушным
Так отвечает ему: «И простому народу открыты
Наши угодья, Пелей. Не грешим мы негостеприимством.
К расположенью души и другие прибавь побужденья:
Имя и то, что ты внук Громовержца, — не траться на просьбы.
Все, чего просишь, бери, — и пусть во всем, что увидишь,
Часть ты видишь свою! О, когда бы ты лучшее видел!»
Молвив, заплакал. Ему о причине подобных страданий
Ставят вопрос и Пелей и сопутники. Тот отвечает:
«Верно, пернатую ту, что живет грабежом и пугает
Птиц всех, считаете вы обладавшей всегда опереньем?
Мужем была! У нее и душевная крепость его же:
Был он жесток и свиреп на войне, в бой вечно он рвался,
Дедалионом был зван; у нас с ним общий родитель,
Что вызывает зарю и с неба последним уходит.
Мир я любил. Всегда я заботу лелеял о мире
И о супружестве. Брат — войною пленен был жестокой,
Доблесть его покоряла ему и народы и царства,
Ныне же доблестно он голубей преследует в Тисбе.
Дочь он Хиону родил. Женихов она тысячи дивным
Видом своим привлекла, как четырнадцать лет ей минуло.
Раз возвращались вдвоем, Аполлон и Майей Рожденный,[480]
Первый из Дельф, а второй — с вершины Киллены; и оба
Сразу узрели ее и сразу же к ней воспылали.
Но упованья любви Аполлон отлагает до ночи.
Тот же не в силах терпеть — и тростью, сон наводящей,
Девьих касается уст: та спит под могучим касаньем.
Силою взял ее бог. Ночь в небе рассыпала звезды.
Образ старухи приняв, и Феб достигает блаженства.
Вот уже сроки свои исполняет созревшее чрево:
Хитрый родился побег от ствола крылоногого бога.
Звался Автоликом он, на всякие ловок проделки,
Сделать свободно — и тем он искусства отца не позорил —
Черное белым он мог и из белого черное сделать.
Фебов же сын у нее — ибо двойней она разрешилась —

Был Филаммон, знаменитый игрой на кифаре и пеньем.
Что породила двоих, что двоим божествам полюбилась,
И что отец у нее силач, и что дед Громовержец, —
Было ли девушке впрок? Не многих ли слава сгубила?
Вправду, сгубила ее. Пред Дианою превозноситься
Стала она и в лицо похулила богиню. И лютым
Гневом исполнилась та. «Понравлюсь делами!» — сказала;
И не помедлила: лук напрягла, стрелу наложила
На тетиву и, стрельнув, пронизала язык виноватый.
Смолк язык; не смогли раздаться ни голос, ни слово:
Хочет сказать, но уж с кровью и жизнь ее покидает.
Деву, — о горе любви! — как отец пожалел я всем сердцем,
Братнину зная любовь, утешать его тщился словами.
Им он, однако, внимал, как ропоту моря — глухие.
Сетуя, горько стонал он о гибели дочери милой.
В час, как сжигали ее, четырежды он устремлялся
Ринуться в самый костер. Четырежды был он удержан;
Кинулся в бегство тогда; быку был подобен, который
Шершня жало с собой, застрявшее в шее, уносит
И без дороги бежит. Я вижу: скорей человека
Мчится он, — будто его оперилися крыльями ноги.
Он ото всех убежал и, жаждою смерти стремимый,
Верха Парнаса достиг. Аполлона тронула жалость,
Как увидал он, что Дедалион с утеса низвергся:
В птицу его превратил; поддержал, окрыливши внезапно.
Дал ему загнутый клюв, крючковатые дал ему когти,
Прежнюю доблесть его и мощь не по малому росту.
Ныне он ястреб; ко всем беспощаден пернатым, со всеми
Злобен и, мучаясь сам, другим становится мукой».
Но между тем как рассказ о чуде, свершившемся с братом,
Сын Светоносца ведет, к ним вдруг, запыхавшись от бега,
Сторож Пелеевых стад прибегает, фокеец Онéтор.
«Ой, Пелей, Пелей! Я великого вестник несчастья!»
Проговорил, но Пелей приказал — что бы ни было — молвить.
Сам Трахинский герой в ожиданье от страха трепещет.
Тот говорит: «Усталых коров пригнал я к излуке

Берега, солнце как раз в наивысшей точке вселенной
Столько же зрело пути позади, сколько спереди было.
Часть коров на песок золотой преклонила колени, —
Лежа глядели они на широкое поприще моря;
Шагом тяжелым меж тем другие свободно бродили;
Часть их плывет, из воды выставляя высокую выю.
Храм возле моря стоит, где ни золота нет, ни порфира.
Чащей гордится дерев, осененный дубравою древней.
В нем Нереид и Нерея алтарь. Что их почитают
В храме, сказал нам рыбак, на прибрежии сети чинивший.
Рядом болотце лежит, поросшее ветлами густо,
Образовалось оно из воды застоявшейся моря.
Вдруг, зашумев, затрещав, устрашая ближайшую местность,
Зверь громаднейший, волк из чащи болотной выходит;
Смочена грозная пасть и пеной, и спекшейся кровью;
Страшно сверкают глаза, налитые пламенем красным.
Равно от голода он и от ярости бешен, но, видно,
Больше от ярости; он не стремится коров растерзаньем
Дикую алчность свою, голодая, насытить; но кряду
Весь разрывает он скот, им все положены кряду.
Часть из нас роковым уязвил он укусом: в то время
Как на защиту спешат, встречают погибель. От крови
Красен весь берег, вода и полное воем болото.
Но в промедлении — смерть, колебания дело не терпит!
Цело еще кое-что, соберемся же все и оружье
Схватим скорей и все вместе пойдем от врага отбиваться!» —
Молвил пастух, но рассказ о несчастье не тронул Пелея:
Вспомнил он о грехе, все понял: в тоске Нереида
Фоку несет своему то бедствие в дар поминальный.
Вооружиться мужам, взять на плечи мощные копья
Царь этейский[481] велит; и сам он готовился с ними
Выступить, но Алкиона, жена его, шумом встревожась,
Быстро бежит из дверей, волос не окончив убора;
Порастолкала их всех и, повиснув на шее супруга,
Просит словами его и слезами, чтоб помощь послал он,
Но чтобы сам не ходил и две спас жизни в единой.

Ей Эакид: «Свой полный любви и прекрасный, царица,
Страх отреши! Я вполне с пожеланьем твоим соглашаюсь;
Не по душе поднимать мне оружье на новых чудовищ —
Должно морское почтить божество!» Там высилась башня,
Видная издалека, — маяк для судов утомленных.
Вот туда поднялись и на береге простертое стадо
Видят с печалью они, и с устами кровавыми зверя —
Опустошителя зрят, с окровавленной длинною шерстью.
Руки тогда протянув к побережью открытого моря,
Начал Пелей умолять Псамафу[482] лазурную, чтобы,
Гнев позабыв, на помощь пришла. Но мольбы Эакида
Тронуть ее не могли. За супруга взмолилась Фетида
И получила ему отпущенье. Из бойни отозван,
Все же упорствует волк, разъярившись от сладости крови.
Но между тем как повис он на шее растерзанной телки,
В мрамор был сам обращен; все тело осталось, как было,
Кроме окраски его; цвет камня напоминает,
Что уж теперь он не волк, что его опасаться не должно.
В этой, однако, земле беглецу оставаться Пелею
Рок не позволил. Пришел к Магнетам изгнанник и там лишь
От преступления был гемонийцем очищен Акастом.
Чудом с братом своим и вторично свершившимся чудом
В сердце смущен и встревожен Кеик и готовится, с целью
Божьи вещанья узнать — утешенье всегдашнее смертных, —
В Клар к Аполлону идти. Форбант в то время безбожный
С шайкой флегийцев пути заступал к святыням дельфийским.[483]
И о решенье тебя, Алкиона вернейшая, нежный
Предупреждает супруг. Но ее, лишь об этом узнала,
Холод пронзил до костей. Лицо ее стало бледнее
Бледного букса, и слез струи увлажнили ей щеки.
Трижды хотела сказать, и трижды струилися слезы.
И, прерывая свои задушевные жалобы всхлипом,
Молвит: «Какую вину допустила я, милый, что мыслью
Ты отвратился? Куда твоя прежняя делась забота?
Ныне ты можешь уйти, Алкиону спокойно покинув,
Люб тебе длительный путь, — я издали стала милее!

Лишь бы по суше ты шел, — печалиться буду я так же, —
Страха не будет зато; тосковать мне тогда без боязни:
Сердце страшит мне вода, унылое зрелище моря.
На побережье на днях я разбитые видела доски;
И на холмах погребальных, без тел, — имена прочитала.
Да не обманет души уверенность ложная, друг мой,
Что Гиппотад[484] тебе тесть, который могучие ветры
Держит в темнице и зыбь по желанью смиряет морскую.
Если он выпустит их и они овладеют зыбями,
Им не запретно ничто, перед ними земля беззащитна
Вся, беззащитны моря; они гонят и по небу тучи,
И вытряхают огонь багряный, сшибаясь жестоко.
Знала я их хорошо, да, знала; я маленькой часто
Видела их у отца и тем более знаю опасность.
Если решенье твое никакими нельзя уж мольбами,
Милый супруг, изменить и отправишься ты непременно, —
В путь возьми и меня. Всему мы подвергнемся вместе.
Не устрашусь я ничем, все сама испытаю. Снесем мы
Вместе что ни случись и по морю вместе помчимся!» —
Молвит Эолова дочь. Словами ее и слезами
Тронут был звездный супруг. Он не меньше любовью пылает,
Но путешествия все ж отложить не желает морского
И, чтоб опасности с ним Алкиона делила, — не хочет.
Много он ей говорил в утешение робкому сердцу, —
Тщетно: ничем убедить не может ее. Добавляет
Ей в облегчение так, — лишь этим склонил он супругу:
«Длительно всякое мне промедленье; тебе обещаю
Отчим огнем, я вернусь — коль будет судеб изволенье —
Раньше, чем дважды луна успеет достичь полнолунья».
При обещанье таком на возврат в ней возникла надежда.
Тотчас велит он сосновый корабль из гавани вывесть,
В море спустить и его оборудовать всем снаряженьем.
И, увидавши корабль, как будто в грядущем читая,
В ужас пришла Алкиона, и слез заструились потоки.
Мужа она обняла и устами печальными, в горе,
Молвит «прости» наконец и, промолвив, без чувств упадает.

Но уж торопит Кеик, и юноши, сдвоенным рядом,
К груди могучей уже придвигают гребущие весла,
Ровными волны они разрезают ударами. Очи
Влажные тут подняла Алкиона и видит супруга,
Как он на гнутой корме стоит и машет рукою.
Знакам его отвечает она. Земля отступает
Дальше; скоро и лиц различить уже очи не в силах;
Все ж, пока можно, следит она взором за судном бегущим;
А как уже и корабль не могла в отдалении видеть,
Стала на парус смотреть, высоко трепетавший на мачте.
А как и парус исчез, ушла, опечалена, в спальню
И на пустую постель прилегла; вновь вызваны слезы
Ложем и местом; ей все говорит об утраченном друге!
Вышли из порта они. Дуновенье гребцов заменило.
Боком уже мореход обращает висящие весла;
Реи на самом верху помещает он мачт и полотна
Все наставляет и в них принимает поднявшийся ветер.
Вот полдороги уже — но, конечно, не больше — по водам
Судно проплыло, и был еще берег противный далёко, —
Вдруг перед ночью белеть набухавшими волнами море
Начало, сразу сильней стал дуть неожиданный ветер.
«Верхние реи снимать! живей! — восклицает в тревоге
Кормчий. — Эй! Привязать полотнища к мачтам, не медлить!»
Так он велит, — но мешает уже налетевшая буря.
Голоса слышать уже не дают грохотанием волны;
Сами спешат моряки тем не менее вытащить весла;
Те — укрепляют борты, паруса отнимают у ветра;
Черпает влагу иной, льет воду же в воду морскую;
Этот схватился за снасть; пока действуют так без приказа,
Грозная буря растет; отовсюду жестокие ветры
В битву идут и крутят зыбей возмущенные глуби.
Кормчий в ужасе сам, признается себе, что не знает,
Как поступить, что ему запрещать, что приказывать должно, —
Тяжесть беды такова, настолько сильнее искусства!
Вправду, и крик моряков раздается, и весел скрипенье,
Воды набегом воды угрожают, и небо громами —

Волн громады встают с небесами как будто бы вровень,
Море и брызгами волн окропляет нашедшие тучи;
То поднимая со дна золотистый песок, принимает
Краску его, то черней становится стиксовой влаги;
То простирается вдруг и шумящею пеной белеет.
Вслед переменам его и трахинское[485] мечется судно:
То высоко вознесясь, как будто бы с горной вершины
Смотрит оно на долины внизу и на глубь Ахеронта,[486]
То, как обстанут корабль опустившийся волны крутые,
Будто на небо вверх из аидовой смотрит пучины.
Борт, то и дело волной ударяем, грохочет ужасно, —
Он не слабее гремит, чем железный таран иль баллиста,
Чей потрясает удар крепостную уставшую стену;
Или чем дикие львы, что бегут, на ходу удвояя
Силы, грудью вперед, навстречу протянутым копьям.
Так устремлялась вода под порывом восставшего ветра
И подступала к снастям, и намного уж их превышала.
Клинья расшатаны; вот, воскового лишившись покрова,
Щели зияют, пути открывая погибельным водам.
Вот из разъявшихся туч широко извергаются ливни.
Можно подумать, что все опускается на море небо
Или что море само подымается к хлябям небесным.
Дождь промочил паруса, с небесными водами воды
Моря смешались, и нет ни проблеска в черном эфире.
Вкупе бессветную ночь гнетут ее темень и буря;
Их разрывают одни, полыханьями мрак озаряя,
Молнии. Молний огнем загораются бурные воды.
И уж ввергается внутрь через дыры бортовой обшивки
Водный поток; как солдат, из всего превосходнейший строя,
Что наконец, подскочив к стенам защищенного града,
Видит свершенье надежд и, зажженный желанием славы,
Стену один среди тысяч мужей наконец занимает, —
Так о крутые бока ударяли жестокие волны;
Все же могучее всех был приступ девятого вала!
Он лишь тогда перестал штурмовать корабль истомленный,
Как запрокинулся внутрь, за борт плененного судна.

Все же часть моря еще кораблем овладеть устремлялась,
Часть наполняла корабль. И не менее все трепетали,
Нежели в граде, когда пробивают одни крепостную
Стену, другие меж тем ее изнутри занимают.
Слабо искусство. Дух пал. И сколько валов ни нахлынет, —
Кажется, — что ни волна, то мчатся и рушатся смерти!
Этот расплакался, тот отупел, другой называет
Счастьем обряд похорон иль богов почитает обетом, —
Руки напрасно воздев к небесам, невидимым взору,
Молит о помощи; тот — отца вспоминает и братьев;
Этот — с имуществом дом, — чтó каждый на бреге оставил.
Но к Алкионе Кеик устремлен. На устах у Кеика
Лишь Алкиона одна. Ее хоть одной он желает, —
Рад, что не с ними она. Он жаждет родные пределы
Вновь увидать, обратить на дом свой последние взоры.
Только не знает, где он, столь сильным море вскипает
Водоворотом, а тень, наведенная черною тучей,
Небо окутала все и образ удвоила ночи.
Сломлена мачта, сразил ее вихрь, из туч налетевший,
Сломлен и руль, и, добычей гордясь, высоко подымаясь,
Как победитель волна на согбенные воды взирает
И тяжело, как будто весь Пинд с Афоном с их места
Кто-то спихнул и стремглав опрокинул в открытое море,
Рушится в бездну сама и силой удара и веса
Вглубь погружает корабль. Немалая часть мореходов
Тяжкой пучиной взята, на воздух уже не вернувшись,
В бездне погибель нашла; другие схватились за части
Судна разбитого; сам рукою, державшею скипетр,
Стиснул Кеик обломок весла. К отцу он и к тестю
Тщетно взывает, увы! Но жена Алкиона не сходит
С уст пловца. Он ее вспоминает, о ней говорит он.
Чтобы пред очи ее был мертвый он выброшен морем,
Молит, чтоб руки друзей возвели ему холм надмогильный.
Только позволит волна уста разомкнуть, он далекой
Имя супруги твердит, под водою — и то его шепчет.
Но над волнами меж тем вдруг черная водная арка

Рушится, пеною вод погруженную голову кроя.
И Светоносец в ту ночь был темен, его невозможно
Было признать, поскольку с высот отлучиться Олимпа
Не дозволялось, свой лик он густыми закрыл облаками,
Дочь Эола меж тем, о стольких не зная несчастьях,
Ночи считает; уже разбирает поспешно, какие
Платья наденет Кеик; в какие, когда он вернется,
Ей нарядиться самой: о возврате мечтает напрасно!
Всем между тем божествам приносила она воскуренья,
Боле, однако же, всех почитала святыню Юноны;
Ради супруга, — уже неживого! — алтарь посещала.
Чтобы супруг ее был невредим, чтобы он возвратился,
В сердце молила, чтоб ей предпочесть не подумал другую, —
Этого лишь одного из стольких достигла желаний!
Дольше богиня терпеть не могла, что за мертвого мужа
Просит она; чтоб алтарь оградить от молений зловещих,
Молвит: «Ирида, моей вернейшая вестница воли!
Быстро отправься ко Сну в наводящую дрему обитель
И прикажи, чтобы он Алкионе послал в сновиденье
Мужа покойного тень, подобие подлинной смерти!»
Молвила так, — и в покров облекается тысячецветный
Вестница и, небеса обозначив округлой дугою,
В скрытый под скалами дом отлетела царя сновидений.
Близ Киммерийской земли,[487] в отдаленье немалом, пещера
Есть, углубленье в горе, — неподвижного Сна там покои.
Не достигает туда, ни всходя, ни взойдя, ни спускаясь,
Солнце от века лучом: облака и туманы в смешенье
Там испаряет земля, там смутные сумерки вечно.
Песней своей никогда там птица дозорная с гребнем
Не вызывает Зарю; тишину голоса не смущают
Там ни собак, ни гусей, умом собак превзошедших.
Там ни скотина, ни зверь, ни под ветреным веяньем ветви
Звука не могут издать, людских там не слышится споров.
Полный покой там царит. Лишь внизу из скалы вытекает
Влаги летейской родник; спадает он с рокотом тихим,
И приглашают ко сну журчащие в камешках струи.

Возле дверей у пещеры цветут в изобилии маки;
Травы растут без числа, в молоке у которых сбирает
Дрему росистая ночь и кропит потемневшие земли.
Двери, которая скрип издавала б, на петлях вращаясь,
В доме во всем не найти; и сторожа нет у порога.
Посередине кровать на эбеновых ножках с пуховым
Ложем, — неявственен цвет у него и покров его темен.
Там почивает сам бог, распростертый в томлении тела.
И, окружив божество, подражая обличиям разным,
Всё сновиденья лежат, и столько их, сколько колосьев
На поле, листьев в лесу иль песка, нанесенного морем.
Дева едва лишь вошла, сновиденья раздвинув руками,
Ей преграждавшие путь, — засиял от сверканья одежды
Дом священный. Тут бог, с трудом отягченные дремой
Очи подъемля едва и вновь их и вновь опуская
И упадающим вновь подбородком о грудь ударяясь,
Все же встряхнулся от сна и, на ложе привстав, вопрошает, —
Ибо ее он признал, — для чего появилась. Та молвит:
«Сон, всех сущих покой! Сон между бессмертных тишайший!
Мир души, где не стало забот! Сердец усладитель
После дневной суеты, возрождающий их для работы!
Ты сновиденьям вели, что всему подражают живому,
В город Геракла пойти, в Трахины, и там Алкионе
В виде Кеика предстать, и знаки явить ей крушенья.
Это — Юноны приказ». Передав порученье, Ирида
Вышла. Дольше терпеть не в силах была испарений;
Сон стал в теле ее разливаться, — она убежала
И возвратилась к себе на той же дуге семицветной.
Сон же из сонма своих сыновей вызывает Морфея, —
Был он искусник, горазд подражать человечьим обличьям, —
Лучше его не сумел бы никто, как повелено было,
Выразить поступь, черты человека и звук его речи.
Перенимал и наряд и любую особенность речи,
Но подражал лишь людям одним. Другой становился
Птицей, иль зверем лесным, или длинною телом змеею.
Боги «Подобным» его именуют, молва же людская

Чаще «Страшилом» зовет. От этих отличен искусством
Третий — Фантаз: землей, и водой, и поленом, и камнем, —
Всем, что души лишено, он становится с вящим успехом.
Эти царям и вождям среди ночи являют обычно
Лики свои; народ же и чернь посещают другие.
Ими старик пренебрег; из братьев всех он Морфея,
Чтоб в исполненье привесть повеления Таумантиды,
Выбрал; и снова уже, обессилен усталостью томной,
Голову Сон преклонил и на ложе простерся высоком.
Вот Морфей полетел, на крыльях рея бесшумных,
Сквозь темноту, и спустя недолгое время явился
В град гемонийский, и там отложил свои крылья и принял
Облик Кеика-царя, и отправился, в облике новом,
Иссиня-желт, без кровинки в лице, без всякой одежды,
К ложу несчастной жены и стал там; мокры казались
И борода, и волос обильно струящихся пряди.
Так, над постелью склонясь и лицо заливая слезами,
Молвил: «Несчастная, ты узнаешь ли Кеика, супруга?
Или мне смерть изменила лицо? Вглядись: ты узнаешь;
Но не супруга уже обретешь, а призрак супруга.
Не помогли мне, увы, твои, Алкиона, обеты!
Да, я погиб. Перестань дожидаться меня в заблужденье!
Судно застиг грозовой полуденный, в Эгеевом море,
Ветер. Носил по волнам и разбил дуновеньем ужасным.
Эти уста, что имя твое призывали напрасно,
Воды наполнили; то не рассказчик тебе возвещает,
Коему верить нельзя, и не смутные слухи ты слышишь, —
Сам о себе говорю, потерпевший кораблекрушенье!
Встань же; плакать зачни; оденься в одежды печали;
Без возрыданий, жена, не отправь меня в Тартар пустынный!»
Голос прибавил Морфей, который она за супружний
Голос могла бы принять; и казалось, доподлинно слезы
Он проливает; в руках — движения были Кеика.
И застонала в слезах Алкиона; все время руками
Движет во сне; но, к телу стремясь, лишь воздух объемлет
И восклицает: «Постой… Куда ж ты? Отправимся вместе!»

Голосом, видом его смущена, отряхает, однако,
Дрему и прежде всего озирается, все ли стоит он
Там, где виден был ей. Но, встревожены голосом, слуги
Свет внесли; и когда не нашли его, как ни искали,
Бить себя стала в лицо, на груди разрывая одежды,
Ранит и грудь. Волос распустить не успела — стрижет их, —
И на вопрос, отчего она плачет, кормилице молвит:
«Нет Алкионы уже, нет больше! Мертвою пала
Вместе с Кеиком своим. Прекратите слова утешенья!
В море супруг мой погиб: я видела, я распознала;
Руки простерла его задержать, как стал удаляться, —
Тенью он был! Все ж тень очевидна была; то супруга
Подлинно тень моего. Но ежели спросишь, — другим был
Облик его, необычным; лицом не сиял он, как прежде,
Бледный он был и нагой, со струящимися волосами
Перед несчастною мной! На этом вот месте стоял он
В образе жалком, — искать я стала, следов не видать ли, —
Вот оно, вот оно то, что вещую душу страшило!
Чтобы за ветром вослед он не плыл, я его умоляла;
Как я хотела, чтоб он, коль уже отправлялся на гибель,
Взял с собой и меня! С тобою бы надо, с тобою
Плыть мне. Поскольку во всю мою жизнь ничего не свершила
Я несовместно с тобой, — пусть были б и в смерти мы вместе! —
Я погибаю одна. Одну меня бурею носит:
Нет меня в море, но все ж я у моря во власти: и моря
Горше да будет мне мысль, что стану стараться напрасно
Жизни срок протянуть, а с ней и великую муку!
Не постараюсь я, нет, тебя не оставлю, мой бедный!
Спутницей тотчас к тебе я отправлюсь, — и если не урна
Свяжет в могиле двоих, то надпись надгробная. Если
Кости к костям не прильнут, хоть имени имя коснется».
Больше сказать не могла от страданья. Прервал ее слово
Плач, и жалобный стон из убитого сердца исторгся.
Утро пришло, и в тоске Алкиона выходит на берег
К месту, откуда она на отплывшего мужа глядела.
Молвит: «Медлил он здесь, здесь, — молвит, — парус он поднял,

Здесь на морском берегу он меня целовал…» — повторяет.
Все, что свершилось тогда, пред очами встает; и на море
Бросила взор; в волнах на большом расстоянии что-то
Видится ей — будто тело плывет. Сначала не может,
Что там такое, решить. Но лишь малость приблизились волны —
Явственно тело она признает, хоть оно и далёко.
Пусть не знала, кто он, но, видя, что жертва он моря,
Знаком дурным смущена, льет слезы над ним, незнакомым:
«Горе тебе, о бедняк, и твоей — коль женат ты — супруге!»
Тело меж тем на волнах приближалось. Чем долее смотрит,
Меньше и меньше она сомневается; вот уже близко,
Около самой земли: уже распознать его можно.
Смотрит: то был ее муж! «Он, он!» — восклицает и сразу
Волосы, платье, лицо раздирает; дрожащие руки
Тянет к Кеику она, — «Ах, так-то, супруг мой любимый,
Так-то, мой бедный, ко мне возвращаешься?» — молвит. У моря
Есть там плотина, людьми возведенная: первое буйство
Волн разбивает она и напор водяной ослабляет.
Вот вскочила туда, и — не чудо ли? — вдруг полетела.
Вот, ударяя крылом, появившимся только что, воздух,
Стала поверхность волны задевать злополучная птица,
И на лету издавали уста ее жалобы полный,
Скорбный как будто бы звук трещанием тонкого клюва.
Вот прикоснулась она к немому бескровному телу,
Милые члены держа в объятии крыльев недавних,
Тщетно лобзанья ему расточает холодные клювом.
То ли почувствовал он, иль почудилось ей, что приподнял
Он из прибоя лицо, толкуют по-разному; только
Чувствовал он. Наконец пожалели их боги, и оба
В птиц превратились они; меж ними такой же осталась,
Року покорна, любовь; у птиц не расторгся их прежний
Брачный союз: сочетают тела и детей производят.
Зимней порою семь дней безмятежных сидит Алкиона
Смирно на яйцах в гнезде, над волнами витающем моря.
По морю путь безопасен тогда: сторожит свои ветры,
Не выпуская, Эол, предоставивши море внучатам.

Некий старик увидал, как они по широким просторам
Носятся, и похвалил их любовь, неизменную вечно.
Некий другой, или, может быть, он, говорит: «Но и эта
Птица, которую ты замечаешь в морях, на поджатых
Ножках, этот нырок, широко раскрывающий глотку,
Тоже потомство царей. Коль имеешь охоту спуститься
По родословной к нему, то знай, что предки у птицы —
Ил, Ассарак, Ганимед, что Юпитером в небо похищен,
Старец Лаомедонт и Приам, последние Трои
Дни переживший: нырок был некогда Гектору братом.
Если б его не застигла судьба в его юности ранней,
Может быть, не был бы он и по имени Гектора ниже.
Хоть и Димантова дочь[488] породила младенца, однако
Ходит молва, что Эсак был тайно на Иде тенистой
Алексироей рожден, отец же Граник ей двурогий.[489]
Он не любил городов. Из пышных хором убегал он
В чащи глухие лесов, в местах проводил свое время
Необитаемых, — гость в илионских собраниях редкий.
Всё же был сердцем не груб, не была для любви недоступна
Грудь его. Часто в лесах ловил он Гесперию-нимфу.
Раз увидал он ее на береге родимом Кебрена,
Как, по плечам распустив волоса, их сушила на солнце.
Нимфа бежит от него, как от серого волка в испуге
Лань, как, попавшись вдали от привычного озера, утка
Мчится от ястреба. Так и троянский герой догоняет
Нимфу, так, быстр в любви, настигает он быструю в беге.
Вдруг, в траве не видна, убегающей ногу гадюка
Зубом пронзила кривым и яд свой оставила в теле.
Кончились бегство и жизнь. Бездыханную нимфу безумный
Обнял Эсак и кричит: «О, зачем, о, зачем догонял я!
Не побоялся змеи! Не желал я подобной победы!
Бедную ныне тебя мы вдвоем погубили: гадюка
Ранила, я же — причиною был, и змеи нечестивей
Буду, коль в смерти своей не найду искупления смерти!»
Вымолвил — и со скалы, шумящим подточенной морем,
Кинулся в волны. Его пожалела Тетида, и мягким

Было паденье его: поплывшего в море одела
Перьями. Не получил на желанную смерть изволенья
Любящий и возмущен, что жить против воли придется;
Против себя восстает, из жилища несчастного жаждет
Выпрянуть — и уж от плеч молодые подъемлются крылья,
Вот он взлетает и вновь повергается телом на волны.
Крылья смягчают удар; в неистовстве вглубь головою
Мчится Эсак, без конца вновь смерти дорогу пытая.
Он исхудал от любви; на ногах его длинны суставы,
Так же и шея длинна; голова же — далёко от тела.
Любит моря, и прозванье его — от ныряния в море».

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

Данайцы в Авлиде, прибытие под Трою (1—38); молва (39—63); Кикн (64—145); Кеней (146—209); кентавры и лапифы (210—468); гибель Кенея (469—535); Периклимен (536—579); гибель Ахилла, спор за оружье (580—628).

Старый не ведал Приам, что Эсак, став отныне пернатым,
Жив, — и рыдал. Над холмом, на котором лишь значилось имя,[490]
С братьями вместе свершал поминки напрасные Гектор.
И лишь Парис не присутствовал там на печальных обрядах.
Только что долгую брань, похитив супругу,[491] занес он
В землю родную свою, и тысяча следом союзных
Шла кораблей и на них всем скопом народы пеласгов,
И не замедлила б месть, когда бы свирепые ветры
По морю путь не прервали, когда б в земле Беотийской
Не задержала судов изобильная рыбой Авлида[492].
Жертву Юпитеру, тут по обычаю предков готовить
Стали, и древний алтарь уж зарделся огнем возожженным;
Вдруг увидали змею голубую данайцы[493]: всползала
Вверх по платану она поблизости начатой жертвы.
Было в вершине гнездо, в нем восемь птенцов находилось;
Всех их, также и мать, что летала вкруг горькой утраты,
Вдруг пожирает змея и в жадной скрывает утробе.
Остолбенела толпа, но, правды провидец, гадатель,
Фестора сын[494] говорит: «Победим! Веселитесь, пеласги!»
Троя падет, но наши труды долговременны будут,
Девять же птиц как девять годов он брани толкует.
Молвил, змея ж, как была обнявшей зеленые ветки,
Камнем стала, но вид навсегда сохранила змеиный.
Все ж продолжает Нерей в аонийских свирепствовать водах,
Воинств не хочет везти. Полагают иные, что стены
Трои жалеет Нептун, ибо он вкруг града возвел их, —
Только не Фестора сын: он не может не знать, не скрывает,
Что укротить надлежит гнев Девы-богини[495] — девичьей

Кровью. Когда победило любовь всенародное дело,
Царь[496] — отца победил, и, чтоб чистой пожертвовать кровью,
Пред алтарем, меж рыдавших жрецов, Ифигения стала, —
Покорена богиня была: всем очи покрыла
Облаком вдруг и в толпе, при служенье, меж гласов молебных,
Деву Микен, — говорят, — заменила подставленной ланью.
Лишь долженствующим ей убиеньем смягчилась Диана,
Как одновременно гнев прекратился и Фебы и моря:
Тысяча тотчас судов, дождавшись попутного ветра
И натерпевшись в пути, к пескам прибывают фригийским.
Есть посредине всего, между морем, сушей и небом,
Некое место, оно — пограничье трехчастного мира.
Все, что ни есть, будь оно и в далеких пределах, оттуда
Видно, все голоса человечьи ушей достигают.
Там госпожою — Молва; избрала себе дом на вершине;
Входов устроила там без числа и хоромы; прихожих
Тысячу; в доме нигде не замкнула прохода дверями;
Ночью и днем он открыт, — и весь-то из меди звучащей:
Весь он гудит, разнося звук всякий и все повторяя.
Нет тишины в нем нигде, нигде никакого покоя,
Все же и крика там нет, — лишь негромкий слышится шепот.
Ропот подобный у волн морского прибоя, коль слушать
Издали; так в небесах, когда загрохочет Юпитер
В сумрачных тучах, звучат последние грома раскаты.
В атриях — толпы. Идут и уходят воздушные сонмы.
Смешаны с верными, там облыжных тысячи слухов
Ходят; делиться спешат с другими неверною молвью,
Уши людские своей болтовнею пустой наполняют.
Те переносят рассказ, разрастается мера неправды;
Каждый, услышав, еще от себя прибавляет рассказчик.
Бродит Доверчивость там; дерзновенное там Заблужденье,
Тщетная Радость живет и уныния полные Страхи;
Там же ползучий Раздор, неизвестно кем поднятый Ропот.
Там обитая, Молва все видит, что в небе творится,
На море и на земле, — все в мире ей надобно вызнать!
Распространила она, что с сильным пришли ополченьем

Греков суда; но нет, их встретил во всеоружье
Враг; проходы закрыл, защитить позаботился берег
Трои. Первым тогда от Гектора, волею рока,
Пал ты, Протесилай![497] Недешево стоил данайцам
Бой и могучий душой, убиеньем прославленный Гектор!
Но и фригийцам[498] пришлось всю силу изведать ахейской
Длани и крови пролить немало. Уже и сигейский[499]
Берег багрился, и Кикн, потомок Нептунов, уж смерти
Тысячу предал мужей. Ахилл стоял в колеснице
И пелионским[500] копьем укладывал строи троянцев;
Он по рядам, или Кикна ища, или Гектора, встретил
Кикна, — и на́ десять лет отложилась Гектора гибель.
Вот, погоняя коней, ярмом блестящие шеи
Сжав, герой на врага колесницу направил; в могучих
Дланях потряс он копье, задрожавшее грозно, и молвил:
«Кто бы ты ни был, юнец, да станет тебе утешеньем
В смерти, что был ты копьем гемонийца заколот Ахилла!»
Так промолвил герой, — и копье вслед голосу взвилось,
Но хоть в ударах его никакой не случалось ошибки,
Он ничего не достиг наконечником брошенной пики.
Только лишь слабый удар поразил ему грудь, произносит
Тот: «Богини дитя, — ибо ты по молве мне известен, —
Что удивляешься так, что нет на груди моей раны?»
Он удивился и впрямь. «Мой шлем, который ты видишь,
С гривой коня золотой, щит — груз руки моей левой, —
Нет, я не ими спасен. Они — украшенье, и только.
Этого ради и Марс надевает доспехи; но если
Скину доспехи совсем, не меньше уйду невредимым.
Что-нибудь значит, что я не рожден Нереидой, но оным,
Кто над Нереем самим, над детьми и над морем владыка!» —
Молвил; и, целясь копьем в закругленье щита, в Эакида
Бросил его, и оно слой меди и кожи бычачьей
Девять пробило слоев и только в десятом застряло.
Вырвал герой острие и обратно дрожащую пику
Кинул могучей рукой. Двукратно поранено тело —
Все ж невредимо оно. Не пронзило и третье оружье

Незащищенного, грудь под удар подставлявшего Кикна.
Разгорячился Ахилл, как бык на открытой арене,
Что на дразнящую ткань пунцовую рогом ужасным
Тщится напасть, хоть чует, что ран избегает противник.
Иль отвалился с копья — глядит — наконечник железный?
Нет, на древке торчит. «Так, значит, рука ослабела?
На одного истощила она в ней бывшие силы!
Годной, однако, была, когда я Лирнесскую крепость[501]
Первым в прах разметал; когда Тенедос я и Фивы,[502]
Ээтионов предел, наполнил их собственной кровью,
И Эолийский Каик багряным от кровопролитья
Тек, и копья моего мощь дважды почувствовал Телеф![503]
На побережии здесь немало убитых я сгрудил.
Вижу, моя тут рука и была и осталась пригодна!» —
Молвил; но, мало еще доверяя свершенному, прямо
Кинул в Мента копье, в ликийского простолюдина, —
Сразу ему и броню прободал, и грудь под бронею.
А как ударился тот головой полумертвой о землю,
Тотчас извлек он копье, из дымящейся раны и молвил:
«Руку свою узнаю и копье, с каким победил я.
Их я направлю в него и, молю, да успеха достигну!»
Так произнес и на Кикна напал; с пути не склонился —
В левом плече зазвенел, не избегнут противником, ясень
Но как от некой стены или твердой скалы отскочил он.
Там, где ударил Ахилл, он увидел, однако, что пятна
Крови на Кикне, и вот взвеселился герой — но напрасно:
Раны не было, — Кикн обагрен был Ментовой кровью.
В ярости шумно тогда Эакид с колесницы высокой
Спрянул и светлым мечом спокойно стоящего Кикна
С маху разит — и видит: броня и шелом прохудились,
Но посрамилось опять в твердокаменном теле железо.
Тут не стерпел Эакид и трижды, четырежды Кикна
Тылом округлым щита по лицу и вискам ударяет,
За уходящим идет, теснит то обманом, то боем
И не дает передышки ему, изумленному. Кикна
Страх обуял; задернул глаза его мрак; а покуда

Задом шагал он, ему среди поля стал камень преградой.
Тут, навалившись, его, лежащего навзничь, с огромной
Силою перевернул Эакид и повергнул на землю.
После, щитом и коленами грудь придавив ему крепко,
Шлема стянул он ремни, и они, охватив подбородок,
Горло сдавили, лишив и пути и дыхания душу.
И уж хотел с побежденного снять он доспехи, но видит:
Только доспехи лежат. Бог моря в белую птицу
Тело его обратил, и хранит она Кикново имя.[504]
Эти труды, многодневный их бой привели за собою
Отдых; оружье сложив, враги прекратили сраженье.
Бдительно стража блюдет крепостные фригийские стены,
Бдительно стража блюдет аргосские рвы крепостные.
Вот и торжественный день наступил, и Ахилл, победитель
Кикна, умилостивлял Палладу закланьем телицы.
На раскаленный алтарь положил он сваренные части,
И заструился в эфире дым жертвы, бессмертным угодный;
Пламя свое унесло, остальное назначено пиру.
Вот и вожди возлежат и досыта жареным мясом
Полнят утробы, вином облегчают заботы и жажду.
Их услаждала в тот раз не кифара, не пенье, не звуки
Длинных флейт о многих ладах, прорезанных в буксе, —
Ночь в разговорах течет, и доблесть — предмет их беседы.
Передают о победах своих и врага. Им отрадно
Между собой вспоминать об опасностях, ими столь часто
Преодоленных; о чем говорить подобало Ахиллу?
Да и о чем говорить подобало в шатре у Ахилла?
Больше всего на устах пораженье недавнее Кикна
Было, и все изумлялись тому, что бойца молодого
Тело пронзить не могло никакое копье, что поранить
Нечего думать его, что юноша ломит железо.
Сам Эакид в изумлении был и ахейские мужи.
Нестор промолвил тогда: «На вашем веку был один лишь
Пренебрежитель копья, никаким не сразимый ударом, —
Кикн; а я видел в дни давние, как невредимым
Телом тысячи ран выносил Кеней перхебеец,

Славный делами Кеней перхебеец, который на склоне
Офриса жил. Но еще удивительней быль о Кенее:
Женщиной он родился». Небывалым взволнованы чудом
Все — и просят его рассказать, и Ахилл между ними:
«Молви, затем что у всех одинакова слушать охота,
Красноречивый старик, премудрость нашего века,
Кто был Кеней, как в пол обратился противуположный,
В деле военном каком, в бореньях какого сраженья
Знал ты его; кем был побежден, коль был побеждаем?»
Старец в ответ: «Хоть мне и помехой глубокая древность,
Хоть ускользает уже, что видел я в ранние годы,
Многое помню я все ж, но из воинских дел и домашних
Больше, однако, других мне врезались эти событья
В память. Если кому даровала глубокая старость
Многих свидетелем дел оказаться — так мне, ибо прожил
Двести я лет и теперь свой третий уж век проживаю.
Славилась дивной красой — Элата потомство — Кенида,
Краше всех дев фессалийских была; в городах по соседству,
Также в твоих, о Ахилл, — ибо тех же ты мест уроженец, —
Многих она женихов оставалась напрасным желаньем.
Может быть, сам бы Пелей посвататься к ней попытался,
Только владел он тогда твоей уже матери ложем
Иль обещанье имел. Кенида, однако же, замуж
Не выходила. Ее, на пустынном блуждавшую бреге,
Бог обесчестил морской; об этом молва разносилась.
Возвеселился Нептун, любви той новой отведав.
«Пусть пожеланья твои, — он сказал, — исполнятся тотчас!
Что по душе — выбирай!» — и об этом молва разносилась.
«Оскорблена я тобой, и немало мое пожеланье:
Чтоб никогда не терпеть мне подобного, — так отвечала, —
Женщиной пусть перестану я быть: вот дар наилучший!»
Низким голосом речь заключила, мужским показаться
Мог он — мужским уже был: бог моря широкого просьбу
Девы уже исполнял, — и так содеял, чтоб телу
Раны грозить не могли и оно от копья не погибло.
Радуясь дару, Кеней ушел; в мужских упражненьях

Стал свой век проводить, по полям близ Пенея скитаясь.
С Гипподамией свой брак справлял Пирифой Иксионов.[505]
Вот тучеродных зверей — лишь столы порасставлены были —
Он приглашает возлечь в затененной дубравой пещере.
Были знатнейшие там гемонийцы; мы тоже там были.
Пестрой толпою полна, пированьем шумела палата.
Вот Гименея поют, огни задымились у входа,
И молодая идет в окружении женщин замужних,
Дивнопрекрасна лицом. С такою супругой — счастливцем
Мы Пирифоя зовем, но в предвестье едва не ошиблись,
Ибо твое, о кентавр из свирепых свирепейший, Эврит,
Сердце вино разожгло и краса молодой новобрачной,
В нем опьянения власть сладострастьем удвоена плотским!
Сразу нарушился пир, столы опрокинуты. Силой
Вот уже буйный схватил молодую за волосы Эврит,
Гипподамию влачит, другие — которых желали
Или могли захватить; казалось, то — город плененный.
Криками женскими дом оглашаем. Вскочить поспешаем
Все мы, и первым воскликнул Тезей: «Сумасбродство какое,
Эврит, толкает тебя, что при мне при живом оскорбляешь
Ты Пирифоя, — двоих, не зная, в едином бесчестишь?»
Духом великий герой не задаром об этом напомнил:
Он наступавших отбил, отымает у буйных добычу.
Эврит на это молчит; не может таким он деяньям
Противустать на словах. Руками он наглыми лезет
Мстителю прямо в лицо, благородную грудь ударяет.
Рядом случился как раз, от литых изваяний неровный,
Древний кратер; огромный сосуд — сам огромней сосуда —
Поднял руками Эгид и в лицо супротивника бросил.
Сгустки крови, и мозг, и вино одновременно раной
Тот извергает и ртом и, на мокром песке запрокинут,
Тщится лягнуть. Разожглись двуприродные братья от крови,
Наперерыв, как один, восклицают: «К оружью! К оружью!»
Пыла вино придает. И вот, зачиная сраженье,
Хрупкие кади летят, и кривые лебеты, и кубки, —
Утварь пиров, а теперь — убийственной брани орудье!

Первым Ами́к Офионов дерзнул с домашней святыни
Нагло ограбить дары; решился он первым алтарный
Тяжкий светильник схватить, где обильно сияли лампады,
И, высоко приподняв, как будто он белую шею
Жертвы священной — быка — собирался ударить секирой,
Лоб им лапифа разбил Келадонта; разбил лицевые
Кости и перемешал, и узнать уж нельзя Келадонта,
Выпали яблоки глаз; лишь кости лица размозжил он,
Нос вдавился вовнутрь, пройдя серединою нёба.
Гнутую ножку стола схватив кленового, наземь
Недруга грохнул Пелат, — тот свесил на грудь подбородок.
И между тем как плевал он с кровью багровые зубы,
Ранил вторично его и в Тартар к теням отправил.
Рядом стоящий Гриней, на дымящийся жертвенник глядя
Взором ужасным, сказал: «Отчего б не пустить его в дело?»
Поднял огромный алтарь он со всеми его пламенами
И в середину метнул наступавших лапифов, и двое
Были придавлены им, — Бротейд и Орион; Орион
Той был Микалой рожден, молва о которой ходила,
Что заклинаньем луну низводить она может на землю.
«Это тебе не пройдет, оружия только б достало!» —
Молвил Эксадий; как раз в замену оружья оленьи
Тут оказались рога, — на высокой сосне приношенье.
В очи Гриней поражен был этою ветвью двойною, —
И выпадают глаза, их часть на рогах застревает,
Часть течет по браде и свисает с запекшейся кровью.
Вот с середины схватил алтаря головню сливяную,
Жарко горевшую, Рет и стоявшему справа Хараку
Голову ею разбил под защитой волос золотистых.
Быстро занявшись огнем, подобно созревшим колосьям,
Волосы вспыхнули, кровь, от огня закипевшая в ране,
Страшно шипеть начала, как железа кусок раскаленный
Докрасна, если его кривленьми мастер щипцами
Вытащит вон из огня и в воду опустит — железо
Тут и шипит и свистит, погрузясь в забурлившую воду.
Раненный Ретом лапиф от торчащих волос отряхает

Жадный огонь и, порог от земли оторвав, подымает
На плечи, — груз для волов! Но метнуть во врага помешала
Самая тяжесть его; товарища каменной глыбой
Он невзначай придавил — Кометея, стоявшего рядом.
Радости Рет не сдержал. «Об одном я молю, — он воскликнул, —
В стане да будут твоем остальные все так же могучи!»
И повторяет удар вполовину сгоревшим поленом.
Трижды, четырежды швы головные ударом тяжелым
Он разломил, и в мозгу истекающем кости засели.
Вот, победив, он напал на Эвагра, Корита, Дрианта.
Отрок, которому пух покрыл лишь недавно ланиты,
Мертвым повержен Корит. «Что за славу себе приобрел ты,
С мальчиком сладив?» — Эвагр восклицает. Но больше промолвить
Рет не позволил ему. Он багряное пламя, свирепый,
Вставил в раскрывшийся рот и в грудь вогнал. За тобою
Также, могучий Дриант, он мчится, огонь обращая
Вкруг головы. Но тебя не постигла такая же гибель, —
Ты, пока тот ликовал, что в бою неизменно успешен,
Кол обожженный ему — где плечо начинается — вставил.
Тут застонал и с трудом кол вырвал из кости могучей
Рет и бежит, на ходу обливаясь собственной кровью.
В бегство пустились Орней, и Ликаб, и в правую руку
Раненный тяжко Медон, бежали Тавмант с Пизенором;
Также проворностью ног до того побеждавший любого
Мермер медлительно шел, тяжелою мучимый раной.
Фол, Меланей, и Абант, знаменитый охотник на вепрей,
И, понапрасну своих отвращавший от боя, гадатель
Астил: он Нессу сказал, который ранений боялся:
«Ты не беги: сохраняют тебя для стрелы Геркулеса!»
Ни Эврином, ни Ликид, ни Арей, ни Имбрей не сумели
Смерти избегнуть. Их всех поразила Дрианта десница
Спереди. Также и ты был спереди ранен, хоть тылом
Был обращен, убегая, Креней. Назад обернувшись,
Тяжким ударом меча меж глаз поражен был в то место

Лба, где нижняя часть с носовой сочетается костью.
В шуме таком, от вина, которое пил он без меры,
Сонный лежал, не проснувшись, Афид; рукой ослабевшей
Все еще чашу держал с разбавленным Вакховым соком.
В шкуру мохнатую был он укутан медведицы осской.
Издали видя его, хоть тот и не поднял оружья,
Пальцы вставляя в ремни, — «Пить будешь вино ты с водою
Стиксовой!» — молвил Форбант и в юношу без промедленья
Дрот свой метнул, — и попал с наконечником кованым ясень
В шею Афида, пока он лежать продолжал, запрокинут.
Смерти своей не почувствовал он. Из полной гортани
Черная кровь потекла и на ложе, и в винную чашу.
Видел еще, как пытался Петрей желудями покрытый
Выдернуть дуб из земли, но, когда заключил он в объятья
Дерево, начал качать, поколебленный ствол потрясая,
Вдруг Пирифоя копье, угодившее в ребра Петрею,
К крепкому дубу его пригвоздило могучею грудью.
От Пирифоя погиб достославного Лик, говорили,
От Пирифоя — Хромид. Но меньше доставили чести
Оба они победившему их, чем Дектид и Гелоп:
Гелопа он проколол, сквозь голову путь проложил он:
В правое ухо войдя, дрот вышел из левого уха.
Диктид в то время бежал с горы двухвершинной, и, в страхе
От поспешавшего вслед уходя Иксионова сына,
В пропасть низвергся кентавр и тяжестью тела огромной
Вяз поломал, и кишки на поломанном вязе повисли.
Мститель приспел Афарей и, скалу от горы оторвавши,
Кинуть в Эгида готов; но пока он готовился, этот
Предупреждает его, ствол дуба метнув, и ломает
Локоть огромный: но нет ему времени, нет и охоты
Смерти без проку его предавать, — Биенору-гиганту,
Кроме себя никого не носившему, на спину прянул;
В ребра колени упер и, волосы левой рукою
Крепко схватив и держа, лицо узловатой дубиной
Грозное он раздробил и череп, твердого тверже.
Дубом Медимна сразил и метателя копий Ликота,

И Гиппозона, чья грудь бородой защищалася длинной,
Он уложил, и Рифея, леса превзошедшего ростом;
И приводившего с гор в свой дом зачастую живыми
Пойманных им медведей, свирепо рычащих, Терея.
Дольше не может стерпеть боевых Тезея успехов
Демопеон: из твердой земли суковатую с корнем
Древнюю вырвать сосну с превеликим усилием тщится.
Вырвать, однако, не смог: сломав, в противника бросил.
Но далеко от удара Тезей отстранился, Палладой
Предупрежденный, — ему самому так верить хотелось!
Рухнула все же сосна не напрасно: высокому ростом
Крантору с левым плечом всю грудь отделила от шеи.
Оруженосцем, Ахилл, у отца твоего состоял он.
Некогда, бой проиграв, владыка долопов, Аминтор,
Дал Эакиду его залогом мира и дружбы.
Только увидел Пелей, сколь он мерзостной раной разодран,
Молвил: «Прими, из юношей всех мне любезнейший, Крантор,
Дар поминальный!» — и сам могучею кинул рукою
Ясеневое копье, всей силою гнева, в кентавра.
Клетку грудную оно прорвало и внутри, меж костями,
Затрепетало, — рукой тот вынул без кончика древко;
Кончик не вышел совсем: застряв, задержался он в легком.
Боль ему сил придала; на противника, в лютой досаде,
Он поднялся и его лошадиными топчет ногами.
Шлемом Пелей и щитом принимает кентавра удары.
Плечи спешит защитить, наготове он держит оружье,
И из-за плеч мечом две груди зараз поражает.
Раньше он смерти предал Флегрея, однако, и Гила —
Издали; а Гифиной и Кланид в непосредственной схватке
Пали; погиб и Дорил, — покрывал себе голову волчьей
Шкурою он и вместо копья возносил, угрожая,
Бычьи кривые рога, обагренные кровью обильной.
Силы мне гнев придает, говорю я ему: «Так увидишь,
Сколь эти бычьи рога моему уступают железу!»
Дрот я в кентавра метнул. Он не мог уж удара избегнуть,
Правой рукой себе лоб заградил, защищаясь от раны.

Тотчас со лбом была сшита рука. Крик подняли. Ближе
Бывший Пелей, меж тем как лежал тот с тяжкою раной,
Посередине в живот мечом поразил его насмерть.
Тот привскочил и кишки по земле, разъяренный, волочит;
Стал их топтать, волоча; истоптав, разорвал, и ногами
Сам же запутался в них, и с пустым пал чревом на землю.
В этом сраженье, Киллар, ты не был спасен красотою, —
Ежели мы красоту за такою породой признаем.
Лишь зачалась борода и была золотой; золотые
Падали волосы с плеч, половину скрывая предплечий.
Милая честность в лице; голова его, плечи и руки,
Грудь, мужская вся часть знаменитые напоминала
Статуи скульпторов; часть, что коня изъявляет подобье, —
Не уступала мужской. Придай ему голову, шею —
Кастору будет под стать! Так удобна спина, так высоко
Мышцы приподняли грудь! И весь-то смолы он чернее,
И белоснежен лишь хвост, и такие же белые ноги;
Многих из рода его возбуждал он желанья. Пленила
Лишь Гилонома его. Никакая меж полуживотных
Женщина краше ее не живала в надгорных дубравах.
Эта и лаской своей, и любовью, и клятвой любовной
Держит Киллара одна. Насколько возможно украсить
Тело такое, она его украшает: гребенкой
Волосы чешет, цветы розмарина, фиалки вплетает,
Розы, а иногда белоснежные лилии. Дважды
В день в студеном ручье, что с вершины лесной Пагасея
Падает, моет лицо; погружается в воду двукратно;
И выбирает к лицу зверей пушистые шкуры,
Чтобы себе на плечо или на спину слева накинуть.
Их обоюдна любовь. По горам они странствуют вместе;
Входят в пещеры вдвоем; и в дом к лапифам явились
Оба они и вели то сраженье жестокое оба.
Кто тут зачинщиком был — неизвестным осталось, но слева
Взвилось копье и в месте, где грудь подходит под шею,
Был ты проколот, Киллар. Задетое легкою раной
Сердце и вскоре он весь, лишь вынули меч, холодеют;

И Гилонома тотчас приняла полумертвое тело,
Руку на рану кладет, согревает его, приближает
Губы к губам, и душе уходящей препятствовать тщится.
Но увидав, что он мертв, со словами, которых за криком
Слух мой не мог уловить, на копье, что торчало из тела,
Пала она и еще обнимала супруга, кончаясь.
Так и стоит перед взором моим, завязавший узлами
Львиные шкуры — их шесть на себя надевал он, — огромный
Феокомед, человека зараз и коня защищая.
Кинул он пень, который едва и две пары могли бы
Сдвинуть, — и Фоноленид поражен был в голову сверху,
И широко головы разверзлась громада. Чрез уши,
Рот и глаза и отверстья ноздрей истекает тягучий
Мозг, — отстоявшись, так молоко из дубовой струится
Крынки, иль масляный сок под давленьем тяжелого гнета
Каплями, дóгуста сжат, выступает из частых отверстий.
Я же, увидев, что снять он с лежащего хочет доспехи, —
Пусть это знает Пелей, твой отец, — всадил ему меч свой
В недра нутра. Повалил и Хтония с Телебоадом
Меч мой. Первый из них был вилоподобною ветвью
Вооружен и дротом другой. Меня он поранил.
Видишь ты знак? До сих пор этот шрам стародавний приметен.
Надо тогда бы меня посылать завоевывать Пергам!
Не одолеть — так сдержать великого Гектора руку
Мог я рукою тогда; но тогда его не было вовсе
Или он мальчиком был; а ныне мне возраст мешает.
О Перифанте, в бою победившем кентавра Пирета,
Или об Ампике что расскажу, который Оэкла
Прямо в лицо проколол неокованным древком терновым?
Пелефронейца сразил Эригдупа, рожон ему всунув
В грудь, Макарей, — вспоминаю, и я в подбрюшье Кимелу
Вставил большое копье, что было завещано Нессом.
Ты не подумай, что мог лишь грядущие судьбы пророчить
Ампика детище, Мопс. Мопс дрот метнул, и на землю
Пал двоевидный Одит, говорить он напрасно пытался:
Был к подбородку язык, подбородок к гортани приколот.

Гибели предал Кеней пятерых, Антимаха, Стифела,
Брома, Гелима сразил и двуострой секирой Пиракма.
Вспомнить я ран не могу; имена ж и число я приметил.
Но вылетает Латрей, облаченный в доспехи Галеза,
Коего он умертвил, — и руками и телом огромен.
Возрастом был уж не юноша он, но еще и не старец:
Силен по-юному был; а виски сединой уж пестрели.
Шлемом своим и щитом, своей македонской красуясь
Пикой, лицом обратясь к обоим враждующим станам,
Вот он оружьем потряс и, по-конски прошедшись по кругу,
Бросил такие слова, горделивый, в пустое пространство:
«Я ли, Кенида, тебя потерплю? Век женщиной будешь,
Прежней Кенидою ты для меня. Тебя не смущает
Происхожденье твое? Позабыла, за дело какое
Ты, как награду, мужской получила обманчивый образ?
Вспомни, кем ты родилась и что испытала. Иди же,
Сядь за корзинку свою; знай пальцем верти веретенце, —
Битвы мужчинам оставь!» Пока говорил он так дерзко,
В беге растянутый бок Кеней разорвал ему дротом
В месте, где муж сочетался с конем: и завыл он от боли,
В лик без забрала копьем он филейского юношу ранит;
Но отскочило копье, как градины скачут от кровли
Иль если камешком кто в игральную кинул лопатку.
Вот подступает кентавр и пытается в бок его твердый
Меч свой вонзить. Но мечу преграждается в тело дорога.
«Нет, не сбежишь ты! Падешь, серединой меча перерублен,
Коль острие притупилось!» — сказал и меч направляет
Наискось, сам же врага захватил уже длинной рукою.
Громко удар застонал, словно было из мрамора тело,
И разлетелось в куски лезвие, об шею ударясь.
И, удивленному дав насмотреться на здравые члены, —
«Ну-ка, — промолвил Кеней, — о твои телеса испытаем
Наше оружье!» — и вмиг в плечо свой меч смертоносный
До рукояти вонзил и в мясе задвигал вслепую:
Руку не раз повернул и ранами рану умножил.
Вот, во весь голос крича, полузвери бросаются, рьяны,

Копья свои на него одного направляют и мечут.
Копья, отпрянув, лежат. Невредим под ударами всеми,
Не окровавлен ничуть пребывает Кеней элатеец.
Делом невиданным все поражаются. «Стыд нам великий! —
Так восклицает Моних. — Мы — народ — одному поддаемся, —
Муж он, и то не совсем; пусть муж; но в слабости нашей
Стали мы тем, чем он был. На что нам тела великанов?
Силы двойные к чему? И то, что двойная порода
В нас мощнейшие два существа воедино связала?
Нет, не богиня нам мать, и отец не Иксион, который
Столь был велик, что надежды свои простирал на Юнону
Вышнюю. Мы же, к стыду, поддаемся врагу-полумужу!
Камни, стволы на него громоздите и целые горы!
Двиньте леса на него, задушите живучую душу!
Лес пусть сдавит гортань: пусть раны бремя заменит!» —
Молвил и, ствол увидав, безумною силою Австра
Сваленный, взял и его в противника мощного бросил.
То был пример остальным. В короткое время лишен был
Офрис деревьев своих, Пелион — без тени остался.
Страшным придавлен холмом, Кеней под грузом деревьев
Борется, бешенства полн, и дубы, сам ими завален,
Держит на крепких плечах. Но, лицо закрывая и темя,
Тяжесть росла, и уже не хватало простора дыханью, —
Он между тем ослабел; не раз приподняться пытался, —
Но понапрасну, — и лес, на него понакиданный, сбросить.
Двигался лес между тем; так Иды — что вон, перед нами —
При колебаньях земли потрясаются склоны крутые.
Но неизвестен исход: уверяли иные, что тело,
Свергнуто грузом лесов, опустилось в пустоты Аида.
То отрицал Амникид: он видел, как желтая птица
Вышла из груды дерев и в воздухе чистом исчезла, —
Видел ту птицу тогда я в первый раз и последний.
Тут, созерцая ее, летевшую тихо над станом,
Хлопаньем крыльев своих широко оглашая округу,
Мопс, одинаково вслед и глазами несясь и душою,
Проговорил: «О, привет, прославление рода лапифов!

Муж величайший Кеней — а теперь небывалая птица!»
Верили все, ибо он так сказал. Скорбь гнев подогрела.
Тяжко нам было снести, что от стольких врагов пострадал он,
И лишь тогда обагрять перестали мы кровью железо,
Как умертвили мы часть, часть — бегство и ночь удалили».
Так говорил о боях лапифов с кентаврами Нестор.
А Тлеполем[506] огорчился, что тот позабыл про Алкида;
Перенести молчаливо не мог он досады и молвил
Так: «Удивительно мне, что дела Геркулесовой славы,
Старец, ты замолчал! Меж тем мне рассказывал часто
Сам мой родитель, как он одолел тучеродных». На это
Грустно пилосец в ответ: «Зачем вспоминать понуждаешь
Беды мои, оживлять смягченное годами горе
И открывать, как отца твоего, пострадав, ненавижу?
Боги! Деянья его превзошли вероятье всем миром
Он по заслугам ценим, — я их отрицать предпочел бы!
Но Деифоба ведь мы или Полидоманта не хвалим,[507] —
Гектора даже, — врагу расточать кто станет хваленья?
Твой ведь когда-то отец крепостные Мессении стены
Срыл, он Элиду и Пил — неповинные грады — разгрому
Предал; он меч и огонь в мой дом к родимым пенатам
Внес; о других умолчу, которых сгубил он; двенадцать
Было нас всех у Нелея сынов, — молодежи отборной, —
Все от ударов руки Геркулесовой пали — двенадцать,
Кроме меня. Что других победил он, то было понятно;
Периклимена лишь смерть поразительна; мог по желанью
Облики он изменять и в прежние вновь возвращаться, —
Так соизволил Нептун, основатель Нелеева рода.
Периклимен, испытав понапрасну различные виды,
В птицу себя обратил, которая в согнутых лапах
Молнии держит небес и любезна владыке бессмертных.
Средствами пользуясь птицы, крылами и загнутым клювом,
Крючьями острых когтей терзал он лицо человека.
Целясь в него, натянул тиринфянин лук свой, чрезмерно
Меткий, и там в облаках несущего легким пареньем
Тело свое в высоте, у начала крыла поражает.

Рана ничтожна была. Но, раненьем разорваны, мышцы
Ослабевают, уж нет ни движенья, ни силы в полете.
Падает на землю он, крылом искалеченным воздух
Не в состоянье забрать. Стрела, что впилась неглубоко,
Вдавлена в мясо была всем грузом упавшего тела,
По верху боком пройдя, показалась слева из глотки.
И неужель твоего Геркулеса я должен деянья
Славить еще, о родосских судов предводитель прекрасный?
Значит, не иначе я, как молчаньем об этих деяньях
Братьев своих отомщу. Но с тобою крепка моя дружба».
Сладости полные так Нелида уста заключили.
Только лишь старец замолк, вновь Вакхом наполнили чаши,
С лож потом поднялись; ночь прочую сну посвятили.
Бог меж тем, чье копье управляет морскими волнами,
Сердцем отцовским болел, что сын в Сфенелеиду-птицу[508]
Был превращен, и жестокого стал ненавидеть Ахилла, —
Больше обычного гнев питает, памятлив крепко.
Целых два пятилетья прошло, как война продолжалась,
И обратился он так к длинновласому богу-сминфейцу:[509]
«О милейший из всех сыновей громкозвучного брата,
Ставивший вместе со мной вкруг Трои ненужные стены!
Иль, на эти, упасть обреченные, глядя твердыни,
Ты не вздохнул? Иль тебе не прискорбно, что тысячи пали
Храбрых защитников их? Иль еще — все другое миную —
Гектора тень не встает, провлаченного вкруг Илиона?
Самый же лютый меж тем, самой кровожаднее брани,
Жив и доныне Ахилл, разоритель нам общего дела?
Только он мне попадись, — у меня он узнал бы, что может
Этот трезубец! Но раз уж сойтись не дано мне вплотную
С недругом, ты погуби его тайной стрелою нежданно!»
Тот согласился. И вот, своему и Нептунову чувству
Одновременно служа, за облаком скрытый Делосец
В стан илионский пришел и видит, что в гуще сраженья
Редкие стрелы свои в никому не известных ахейцев
Мечет Парис. Объявил себя бог и молвил: «Что тратишь
Стрелы на низкую кровь? Коль полн ты заботы о близких, —

Так обратись на Ахилла, отмсти за погубленных братьев!»
Молвил, а сам указал на Пелида, который железом
605 Рушил троянцев ряды, повернул его лук на героя,
Верным смертельным стрелам направленье давая десницей.
Ежели старец Приам, оплакав Гектора, ведал
Радость, то в этот лишь миг! Ахилл, победитель столь многих!
Робкий тебя победил похититель супруги-гречанки!
610 Если тебе на роду было пасть под женским ударом,
То предпочел бы ты смерть от двукрылой стрелы Фермодонта.[510]
Вот уже, трепет троян, краса и защита пеласгов,[511]
Внук Эака, герой, не ведавший равного в сечах, —
В пламени. Вооружил его бог, и сжег его он же.
615 Пеплом он стал, и осталось уже от героя Ахилла
Малая толика, чем едва бы наполнилась урна.
Слава, однако, жива и собою весь мир наполняет.
Мера такая ему соответствует, в этом величье
Стал несравненен Пелид и пучин не знает Аида.
620 Щит его спор возбудил, по нему догадаться ты мог бы,
Чьим был он раньше щитом. О доспехе сразились доспехи.
Требовать щит ни Тидид,[512] ни Аянт Оилеев не смеют,
Младший не смеет Атрид,[513] ни старший боями и веком.
Также никто из других; и только лишь сын Теламона[514]
625 С сыном Лаэрта[515] одни уверенно ищут награды.
Но от себя отклонил Танталид[516] затрудненье и зависть:
Всем он аргосским вождям приказал в середине их стана
Сесть и передал им обсуждение соревнованья.

КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ

Спор за оружье, речь Аянта (1—122); речь Улисса (123—381); смерть Аянта (382—398); Гекуба (399—575); Мемнон (576—622); Эней, Аний (623—674); Короны (675—704); сицилийская Скилла (705—739); Акид и Галатея (740—897); Главк и Цирцея (898—968).

Сели вожди, а толпа их венком окружала, и прянул
Перед лицо их Аянт, щитом семикожным владевший
И, нетерпеньем горя и гневясь, он искоса взором
Берег сигейский обвел и суда и прибрежья; и, руки
Кверху воздев, говорит: «Юпитер свидетель, решаем
Спор мы в виду кораблей! И мне Улисс соревнует!
Не усомнился бежать он от пламени Гектора,[517] я же
Пламя сдержал и пожар отвратил от ахейского флота.
Стало быть, дело верней состязаться лукавою речью,
Нежели биться рукой! Но не больно ретив я на слово,
Так же, как он — на дела. Насколько я в битве жестокой
Острым оружьем силен, настолько он — острою речью.
Незачем, думаю, мне о своих вам деяньях, пеласги,
Напоминать. Вы их видели. Пусть о своих он расскажет,
Что без свидетельских глаз свершены и лишь ночи известны!
Правда, награды большой я прошу. Но соперник лишает
Чести меня. Как ни будь велика, для Аянта не станет
Гордостью тем овладеть, что надеждою было Улисса!
А для него — награда в самом состязании этом:
Будет Улисс побежден, но скажут: он спорил с Аянтом!
Я же — когда бы моя подверглась сомнению доблесть —
И благородством велик, Теламоном рожденный, который
Крепость троянскую взял, предводим Геркулесом могучим,
И с пагасейским проник кораблем к побережью Колхиды.[518]
Он же Эаком рожден, что суд над безмолвными правит,
Там, где Сизифа томит, эолийца, тяжелая глыба.
Вышний Юпитер его признает, называя открыто
Сыном своим; так, значит, Аянт от Юпитера третий.

Предков, однако же, ряд мне впрок не пошел бы, ахейцы,
Ежели он у меня и с Ахиллом не был бы общим.
Он мне брат. Мне и братнин доспех. Иль потомок Сизифа,
Вточь на него и лукавством своим и коварством похожий,
В род Эакидов внесет имена постороннего рода?
Первым надел я доспех, до призыва еще, и за это
Мне же в доспехе отказ? И почтется сильнее, который
Взялся последним за меч и, ложным прикрывшись безумьем,
Отговорился от битв, — я хитрее Улисса, но только
Меньше себе на уме. Навплиад[519] обнаружил обманы
Робкой души и его потащил в нежеланную сечу!
Лучшее ныне возьмет, — кто что-либо взять отказался!
Я же пусть чести лишусь, останусь без братнина дара,
Я, подвергший себя всем первым опасностям брани!
Лучше бы, правда, с ума он сошел иль поверили б в это,
Чтобы товарищем нам не пришел под фригийские стены
Этот внушитель злодейств! И тебя бы, потомок Пеанта,[520]
Лемнос[521] теперь не держал, а с тобой — преступление наше.
Ныне — все знают о том — ты, скрытый в пещерах дубравных,
Стоном, сдвигаешь скалы́, на виновника бед призывая
Должную кару. Коль есть божества, не вотще призываешь!
Ныне ж, с нами одну приносивший как воин присягу, —
Горе! — один — из вождей, унаследовавший Геркулесов
С тулом и стрелами лук, болезнью и голодом сломлен,
Сыт и одет иждивением птиц; на пернатых охотясь,
Тратит он стрелы свои, где таились троянские судьбы!
Все-таки жив Филоктет, оттого что не спутник Улиссу!
Так же покинутым быть Паламед предпочел бы несчастный!
Был бы еще он в живых иль скончался б, наверно, невинным!
Этот же, бред не забыв, что ему на беду обернулся,
Ложно в измене его обвинил; обвиненье сумел он
И подтвердить: показал им самим же зарытое злато!
Так иль изгнанием он, или смертью ахейские силы
Уничтожал; так бьется Улисс, так страх возбуждает!
Пусть красноречием он даже верного Нестора больше,
Все-таки я не могу не признать, что Нестора бросить

Было преступно, когда он, с мольбой обращаясь к Улиссу,
Связанный раной коня, сам дряхлостью лет удрученный,
Брошен товарищем был. Не выдумал я преступленье!
Знает об этом Тидид. Призывая по имени, труса
Он задержал, понося убежавшего в трепете друга!
Боги на жизнь людей справедливыми смотрят очами.
Просит о помощи тот, кто не подал ее; покидавший
Будет покинут теперь: он сам приговор себе вынес.
Кличет товарищей; я подбежал и гляжу: он трепещет,
Бледен от страха, дрожит, приближение чувствуя смерти.
Тяжкий поставил я щит и лежащего им прикрываю
И — хоть мала эта честь — спасаю ничтожную душу.
Если упорствуешь ты, вернемся на прежнее место,
Всё да повтóрится: враг, и рана твоя, и обычный
Ужас. Таись под щитом и со мною за ним состязайся!
А как я вырвал его, он, коего раны лишали
Силы стоять, убежал, никакой не удержанный раной!
Гектор предстал — и богов с собою в сражение вводит.
Натиск встречая его, не один ты, Улисс, устрашился б, —
Храбрые даже, и те — столь сильный внушался им ужас,
Я же, когда ликовал он успеху кровавого боя,
Тяжкое бремя метнув вблизи, его опрокинул,
Как вызывал неприятелей он, я один отозвался;
Тут умоляли вы все, чтоб жребий мне выпал, ахейцы;
Ваши свершились мольбы. А когда об исходе той схватки
Спросите, — знайте, что я одолеть себя Гектору не дал.
Все троянцы стремят и огонь, и железо, и громы
Прямо на греческий флот: где снова Улисс златоустый?
Тысячу ваших судов отстоял я, доподлинно, грудью, —
В них же возврата залог. За суда наградите доспехом!
Да и, по правде сказать, доспехам то бóльшая почесть,
Нежели мне самому, и наша сливается слава;
Нужен доспехам Аянт, доспехи не нужны Аянту.
С этим пусть Реза сравнит итакиец и труса Долона
Или Гелена еще Приамида и кражу Паллады![522] —
Все совершалось в тени и все не без рук Диомеда!

Если ж доспехи за столь вы дурные даете деянья,
Их разделите: и часть Диомедова больше да будет!
Для итакийца что в них? Он тайно, всегда безоружный,
Делает дело; врасплох уловляет врага ухищреньем!
Этот сияющий шлем, лучащийся золотом ясным,
Будет помехой ему, обнаружит его сокровенность.
Шлем ведь Ахилла надев, дулихийское[523] темя не сможет
Груза такого снести. Не в подъем оказаться тяжелым
Может копье с Пелиона его невоинственной длани.
Щит, на котором резьбой дан образ широкого мира,[524]
Робкой твоей не под стать, для хитрости созданной шуйце!
Наглый! Что просишь доспех, от которого сам обессилешь?
Если ж ахейский народ тебе его даст по ошибке,
Будет врагу что отнять, но не будет ему устрашенья.
Бегство, которым одним, трусливейший, всех побеждаешь,
Медленно станет, когда ты наденешь такие доспехи.
К этому также прибавь, что редко в сражениях бывший
Щит твой цел-невредим, а мой от ударов копейных
Тысячью дыр прободен; ему и преемник потребен.
Да наконец, что борьба на словах? Поглядим-ка на деле!
Славного мужа доспех пусть бросят промежду врагами,
Нам повелите сойтись, — одолевшего им украшайте!»
Сын Теламона сказал, и, едва он закончил, раздался
Ропот толпы. Но герой, потомок Лаэртов, поднялся,
Очи к земле опустив, помедлил немного и поднял
Взор на ахейских вождей перед словом, которого ждали.
Заговорил — красоты лишены его не были речи:
«Если бы просьбы мои исполнялись и ваши, пеласги,
Незачем был бы нам спор, не сомнителен был бы наследник.
Ты бы оружьем своим, мы — тобою б, Ахилл, обладали.
Ныне ж, поскольку и мне и вам отказали в нем судьбы
Несправедливые (он вытирал на очах своих будто
Слезы), о, кто же бы мог наследовать лучше Ахиллу,
Нежели тот, чрез кого получили данайцы Ахилла?
Впрок ли Аянту, что весь он таков, как виден снаружи?
Мне же во вред мой находчивый ум, — постоянно, ахейцы,

Бывший вам впрок. Моему красноречью, — коль им обладаю, —
Коим сейчас за себя, как, бывало, за вас, состязаюсь,
Пусть не завидуют. Пусть что хорошего в ком, то и будет.
Род, и предков, и все, чего мы не сами достигли,
Собственным не назову. Но Аянт заявил, что он будто
Правнук Юпитера, — пусть, но и нашего рода виновник
Тоже Юпитер; и я от него на такой же ступени.
Ибо отец мне Лаэрт, а Аркесий — родитель Лаэрта,
Он же Юпитеру сын. Не проклят никто и не изгнан.
Также по матери род мой восходит к Киллению, — в нем же
Знатность вторая моя. От бессмертных родители оба.
Но не затем, что по матери я родовитей Аянта,
И не затем, что в братской кровй мой отец неповинен,
Этих доспехов прошу. По заслугам дело решайте.
То, что два брата родных Теламон и Пелей, вы не ставьте
Это в заслугу ему. При подобной добыче не крови
Происхожденье, но честь и доблесть должны уважаться;
Если же близость родства, — то найдется ближайший наследник:
Если родитель Пелей, есть Пирр, его сын. Остается ль
Место Аянту? Доспех пусть в Скир отправят иль Фтию!
Также родился и Тевкр двоюродным братом Ахиллу, —
Разве же требует он, завладеть уповает оружьем?
Значит, поскольку дела мы в пренье решаем открытом,
Более мной свершено, чем в краткую может вместиться
Речь, но меня поведет, однако ж, порядок событий.
Мать Нереида, прознав о грядущей погибели сына,
В женском наряде его утаила,[525] и все обманулись —
Был в том числе и Аянт! — уловкой с заемной одеждой.
С женским товаром ведь я́ оружие смешивал, чтобы
Мужеский дух возбудить. Но герой не бросал одеянья
Девы, доколе ему, стоявшему с торчем и древком,
Я не сказал: «О богини дитя! Для тебя бережется
Пергама гибель. Чего ж ты колеблешься Трою повергнуть?»
Длань я его возбудил и храброго к храбрым направил.
Значит, деянья его — и мои. Копьем покорил я
Телефа, ведшего бой; он молил, побежден, — и помог я.

Дело мое — и падение Фив; поверьте, — я Лесбос,
И Тенедос, и Хрисею, и Килл, — Аполлоновы грады, —
Также и Скир полонил; потрясенные этой десницей,
Прахом на землю легли крепостные твердыни Лирнесса.
Об остальном промолчу, — но могущего справиться с лютым
Гектором грекам я дал. Чрез меня пал доблестный Гектор.
Ныне оружием тем, которым я создал Ахилла,
Дара прошу: живому вручил и наследовать вправе.
Только позор одного остальных всех тронул данайцев,
Тысяча наших судов стояла в Авлиде Эвбейской.
Долго там ждем мы ветров, но не дуют они или флоту
Противоборны; велят Агамемнону жесткие судьбы
Деву невинную — дочь — заколоть для гневной Дианы.
Но не согласен отец; на самых богов он разгневан;
Все же родитель в царе говорит; я мягко словами
Дух непокорный отца обернул на всеобщую пользу.
Да, я теперь признаюсь, — Атрид извинит мне признанье, —
Перед пристрастным судьей защищал я нелегкое дело.
Все ж побуждает его о народе забота и брате,
Скиптра врученного власть, чтоб кровью платил он за славу!
Послан и к матери я, — предстояло ее не советом
Взять, но хитро обольстить. Когда бы пошел Теламонид,
Наших судов паруса до сих пор не имели бы ветра!
Послан и в крепость я был, в Илион, — дерзновенный оратор.
Видел я сам, посетил совещание Трои высокой;
Было мужами оно переполнено; я же без страха
Вел поручённое мне всей Грецией общее дело.
Мною Парис обвинен; добиваюсь казны и Елены.
Тронут Приам и — Приама родня — Антéнор, — Парис же
С братьями всеми и те, кто участником был похищенья,
Руки сдержали едва нечестивые; ты это знаешь,
О Менелай, — ведь первым с тобой разделил я опасность.
Долго докладывал вам, чтó, советами или рукою,
Сделал полезного я за время войны долголетней.
После начальных боев враги за стенами твердыни
Долго сражались еще; возможности брани открытой

Не было и, наконец, уже год мы сражались десятый.
Что же ты делал меж тем, ты, знающий только сраженья?
Чем ты полезен бывал? О моих коль действиях спросишь, —
Строю засады врагам; укрепляю окопы валами;
Я утешаю своих, чтобы с кроткой душою сносили
Скуку столь долгой войны; учу, как едой обеспечить,
Вооруженьем людей, — я всюду, где требует польза.
Вот, Юпитеру вняв, введенный в обман сновиденьем,
Царь приказал отложить попеченье о начатой брани;
Дело свое защищал, на внушителя дела ссылаясь.
Но не допустит Аянт, разрушенья потребует Трои.
В бой он — воитель — пойдет. Что ж он уходящих не сдержит?
Что ж он оружья не взял? Не повел колебавшейся рати?
Это не вдосталь тому, кто всегда говорит о великом?
Как? Убегаешь и сам? Я видел, стыдился я видеть,
Как ты показывал тыл, паруса недоступные ставил!
Я не помедлил сказать: «Что с вами? Какое безумье
Вас, о товарищи, мчит из-под Трои уйти осажденной?
И на десятый-то год вы домой лишь позор принесете?
Этак и так говоря, красноречьем богат от страданья,
Я отступивших сумел возвратить от бегущего флота, —
И созывает Атрид товарищей,[526] ужаса полных,
Сын Теламона тогда и рот раскрыть не решился,
В страхе молчал он; посмел на царей нападать дерзновенной
Речью Ферсит, но его безнаказанным я не оставил.
Я поднялся и дрожащих людей на врага возбуждаю,
Требую в речи своей возвращения к доблести прежней.
Если ж и после Аянт проявлял свою храбрость, заслуга
В этом моя, ибо я возвратил показавшего спину,
Кто, наконец, из данайцев тебя уважает и ищет?
Ну, а со мною Тидид сочетает деянья; меня он
Чтит; он уверен, когда в сотоварищи примет Улисса.
Что-нибудь значит и то, что я меж тысяч данайцев
Избран единый был им. Повеленья судьба не давала,
Я же, однако, презрел от врага и от ночи опасность;

То же осмелясь свершить, Долон, из народа фригийцев,
Мной был убит, — но не раньше, чем я его выдать заставил
Все что готовила нам вероломно коварная Троя.
Все я узнал, ничего мне выведывать не оставалось,
И возвратиться назад с обещанной смог я добычей.
Но не доволен еще, проник до палаток я Реза. —
В них и его самого, и товарищей всех уничтожил.
Победоносен тогда, с желанною тайной и пленным,
На колеснице своей в ликованьях въезжаю триумфа.
В вооруженье того, чьих коней за ночную разведку
Требовал враг, откажите же мне! Осчастливьте Аянта!
Поминать ли мне[527] строй Сарпедона ликийца, который
Опустошил я копьем! С великим пролитием крови
Пал от меня и Керан Гипасид, и Аластор, и Хромий,
И Пританид, и Алкандр, и Ноэм поражен был, и Галий,
Херсидаманта еще я гибели предал, Фоона,
Также Харопа, еще рокового поверг я Эннома,
Многих известных не столь, моей распростертых рукою
Около стен крепостных. У меня есть, граждане, раны
Славные местом самим. Но слову не верьте пустому, —
Вот, посмотрите! (Рукой он одежду отвел.) Перед вами
Грудь, что всечасно, — сказал, — ради вашего дела трудилась.
Но за товарищей сын Телемона в те долгие годы
Крови не пролил! Его не отмечено ранами тело.
Что же он вам говорит, что оружье за флот пеласгийский
Он подымал, говорит, — и на Трою с Юпитером даже?
Да, подымал, — признаю, ибо доброе дело другого
Я не привык отрицать. Достоянья пусть общего все же
Не забирает один. Пусть каждому честь он оставит —
Актора внук[528] отогнал, обеспечен обличьем Ахилла,
Рати троян с их вождем, огню от судов обреченных.
Думает он, что один он с Гектором, Марса любимец,
Стал состязаться, забыв про царя, про вождей, про Улисса?
В деле девятым он был, и дар ему выпал случайный.
Вашего боя исход каков был, однако, о храбрый?
Гектор из битвы ушел, ни единою раной не ранен.

О я несчастный! О, как мне мучительно, — все же напомнить
Вам принужден я о дне, в который — греков твердыня —
Умер Ахилл! Но мне ни слезы, ни стоны, ни ужас
Не помешали поднять с земли велелепное тело.
Плечи вот эти, — скажу, — да, плечи вот эти — Ахилла
Тело несли и доспех, — носить его впредь добиваюсь!
Силы достанет моей для поднятья подобного груза;
Есть и душа у меня, чтобы вашу почувствовать почесть.
И для того ль лазурная мать своим сыном гордилась,
Чтобы подарок небес, творенье такого искусства
Грубый вояка надел, чье сердце не чувствует вовсе?
Изображенья щита, он и те разобрать не сумел бы,
Где Океан и Земля, где с небом высоким созвездья,
Сонмы Плеяд и Гиад, и Аркт, отрешенный от моря,
Разные неба круги и сияющий меч Ориона.
Дать ему просит доспех, для него самого непостижный!
Он попрекает меня, что бежал я от тягостной брани?
Что с опозданьем вступил в начатое дело? Но что же?
Или не чует, что тем он величье злословит Ахилла?
Ежель обман преступленьем зовет, — он[529] обманывал тоже!
Ежели медлить — вина, так был я его расторопней!
Медлил я с милой женой, Ахилл же — с матерью милой.
Первое время мы им посвятили, а вам — остальное.
Я не боюсь защищать преступленье, которое с мужем
Я разделяю таким. Находчивым духом Улисса
Был он, однако, пленен. Аянт не пленил же Улисса!
Брань, что излил на меня он своим языком скудоумным,
Мы без вниманья пройдем. Он и вам обвинения бросил
Стыдные: или легко обвинять было мне Паламеда
Гнусно в измене, а вам приговор ему вынести смертный?
Сам не умел Навплиад защищать это мерзкое дело,
Всем очевидное, вы не могли не признать преступленья
Тоже; вы видели все, — в награде открылась улика.
В том, что Пеантов сын на Вулкановом Лемносе ныне,
Я не виновен ничуть; защищайте свое же деянье!
Вы согласились на то. Я советовал, — не отрицаю, —

Чтобы себя отстранил от трудов он войны и дороги
И попытался смягчить жесточайшие муки покоем.
Внял он, — и ныне живет; совет мой не только был верен,
Но и удачен; ему и верности было б довольно!
Если пророки ему предназначили Пергам разрушить,
Не посылайте меня: пусть лучше пойдет Теламонид,
Пусть красноречием он взбешенного гневом и хворью
Мужа смягчит иль искусством любым возвратит его ловко.
Раньше назад Симоид потечет, и безлесною Ида
Станет, и помощь подать обещают ахейцы троянам,
Нежели ваши дела перестанут отстаивать грудью,
Или же впрок вам пойдет скудоумного рвенье Аянта.
На сотоварищей пусть, на царя и меня ты в обиде,
Гневом ты полн, Филоктет! Пускай проклинаешь и эту
Голову не устаешь обрекать; чтоб тебе я попался,
Жаждешь в безумье; моей утолиться стремишься ты кровью, —
Чтобы как ты у меня, так был у тебя я во власти.
Все же отправлюсь к тебе: увести постараюсь с собою;
И, коли даст мне судьба, овладею твоими стрелами,
Как овладел, захватив, прорицателем я дарданейцем,
Как я ответы богов и троянские судьбы проведал,
Как потаенный кумир похитил фригийской Минервы
Прямо из гущи врагов… И со мною Аянт поравнялся?
Рок не позволил того, чтоб без них пленена была Троя,
Где же был храбрый Аянт? Где великого мужа реченья
Пышные? Страх почему? Улисс почему же решился
Мимо дозора идти, вручая судьбу свою ночи?
Мимо свирепых мечей, не на стены троянские только.
В самую крепость, наверх взойти и похитить богиню
Прямо из храма, ее унесть через вражьи заставы?
Не соверши я того, вотще Теламоном рожденный
Семь шкур бычьих тогда в руке своей левой держал бы!
В эту глубокую ночь родил я над Троей победу,
Пергам я тем победил, что сделал возможной победу.
Ты перестань и лицом и ворчаньем казать на Тидида
На моего! В тех славных делах и Тидидова доля.

Но ведь и ты, за суда наши общие щит выставляя,
Был не один, — но с толпой; одного мне достало, который, —
Если бы только не знал, что задирчивый мудрого ниже
И никогда не дают наград необузданной длани —
Сам бы наград просил, — и Аянт скромнейший[530] просил бы,
Лютый в бою Эврипил, и преславного сын Андремона;[531]
Также и Идоменей, и из той же земли[532] происшедший
Мерионей; попросил бы и брат старшого Атрида.
Хоть и могучи рукой, хоть в брани тебе они равны, —
Мудрости все уступили моей. Ты в битве десницей
Действуешь; разумом — я, его осторожностью силен.
Мощь проявляешь свою без ума. Я — будущим занят.
Можешь ты биться в бою, но время для боя — со мною
Определяет Атрид. Ты лишь силой телесной полезен,
Я же — умом. Как тот, кто судно ведет, превосходит
В деле гребца, как ратника вождь превышает, настолько
Я превышаю тебя. Поверьте, в Улиссовом теле
Мысли сильнее руки; вся мощь Улиссова — в мыслях.
Так, награду, вожди, дозорному вашему дайте!
Ради столь многих годов забот, неусыпных стараний,
Эту высокую честь присудите же мне по заслугам!
Труд — подходит к концу. Отвел я враждебные судьбы.
Пергам возвышенный взял, возможным взятие сделав.
Именем общих надежд, стен Трои, упасть обреченных,
Именем оных богов, у врагов отнятых, умоляю;
Всем, что еще совершить премудрого мне остается;
Всем, что отважного мне предстоит иль опасного сделать.
Если вы мните еще, что троянцы надеяться могут, —
Не позабудьте меня! Если ж мне не дадите доспехов,
Дайте вот ей!» — И клятву скрепил обращеньем к Минерве.
Тронут старейшин совет; подтверждается мощь красноречья:
Велеречивый унес храбрейшего мужа доспехи.
Тот, кто на Гектора шел, кто железо, огонь и ненастье
Столько мог вынести раз, одного лишь не вынес — досады.
Непобедимый в бою — побежден был страданьем; схватил он
Меч и воскликнул: «Он — мой! Иль Улисс и на меч посягает?

Я подыму этот меч на себя; орошавшийся часто
Кровью фригийской теперь оросится хозяина кровью, —
Чтоб Аянта никто не осилил, кроме Аянта!» —
Так он воскликнул и в грудь, наконец получившую рану,
Там, где проходит клинок, вонзил острие роковое.
Сил не достало руке вонзенное вынуть оружье.
Вышибло кровью его. А земля обагренная вскоре
Алый цветок родила на зеленом стеблé, что когда-то
Был уж из крови рожден, излитой эвбалийскою раной.[533]
На лепестках у него посредине начертаны буквы —
Жалобы отрока в них сливаются с именем мужа.
А победитель поплыл в тот край, где жила Ипсипила[534]
Древле и славный Тоант, в ту гнусную землю, убийством
Громкую стольких мужей, — вернуть тиринфские стрелы.[535]
После того, как он грекам привез их, вместе с владельцем,
Долгой войне наконец завершенье положено было.
Пал Илион и Приам; у несчастной супруги Приама
Отнято все; наконец, пропал даже вид человечий;
Воздух чужой начала устрашать новоявленным лаем.
Длинный где Геллеспонт замыкается узким проливом,
Ярко пылал Илион. Не стихало еще полыханье.
Скудную кровь старика Приама Юпитеров выпил
Жертвенник; тащат враги за волосы Фебову жрицу,[536]
И понапрасну она простирает молящие руки.
Женщин дарданских меж тем, обнимавших еще изваянья
Отчих богов, наполнявших толпой запылавшие храмы,
Данью завидной с собой победители-греки уводят.
Сброшен и Астианакс[537] с той башни, откуда столь часто
С матерью он глядел на отца дорогого, который
Бился и сам за себя и отстаивал прадедов царство.
Вот уж отъезд поощряет Борей; дуновеньем попутным
Тронуты, бьют паруса: не терять приказано ветра.
«Троя, прощай! Нас увозят!» — кричат троянки, целуя
Землю, прочь уходя от родимых дымящихся кровель.
И на корабль последней сошла — было жалостно видеть! —
Между сыновних могил найдённая матерь Гекуба,

Их обнимавшая, прах целовавшая, — но дулихийцев
Руки ее повлекли; зачерпнула лишь пригоршню пепла,
В плен с собой унесла, за пазухой, Гектора пепел.
И на надгробном бугре оставила Гектору волос, —
Скудный покойнику дар, — седой свой волос да слезы.
Есть, где Троя была, — напротив, — фригийская область,
Край бистонийских мужей. Полиместора пышное царство
Там находилось. Ему, Полидор,[538] отец тебя отдал
На воспитанье, стремясь удалить от фригийских сражений, —
Мудрая мысль, когда бы тебе не вручил он великих
Ценностей — злому соблазн, раздражение алчного духа!
Только фортуна троян в прах пала, безбожный фракийский
Царь свой выхватил меч и вонзил его в горло питомцу.
Сделал — и, словно могло преступление с телом исчезнуть, —
Труп бездыханный низверг с утеса высокого в море.
Флот свой Атрид между тем привязал у фракийского брега:
Ждали, чтоб стихла волна, чтобы ветер подул дружелюбный.
Вдруг там, — ростом таков, каким его знали живого, —
Из-под земли, широко разошедшейся, лик показал свой
Грозный Ахилл, — таким появился, каким он когда-то
Несправедливым мечом умертвить Агамемнона думал.
«Вы, позабыв обо мне, отправляетесь ныне, ахейцы?
Вместе со мной умерла ль благодарность за подвиги наши?
Нет! Пусть могила моя не лишается чести, — угодно
Тени Ахилла, чтоб ей на алтарь принесли Поликсену!» —
Молвил. За дело взялись, и в угоду безжалостной тени
С груди у матери, чьей лишь она оставалась опорой,
Сильная в горе своем и старше, чем женщина, дева
Подведена к алтарю — костра погребального жертва.
В полном владенье собой, приведенная перед жестокий
Жертвенник, чуя, что ей это дикое действо готовят,
Видя, как рядом стоит, железо держа, Неоптолем,
Как на лицо ее взор устремляет упорный, сказала:
«Время настало пролить благородную кровь. Так не надо
Медлить. Как хочешь, рази; иль в грудь, иль в горло оружье
Смело вонзай! — и она себе горло и грудь приоткрыла, —

Рабство у чуждых людей ужели сносить Поликсене —
А через этот обряд примирю я божественность чью-то.
Но я хочу, чтобы мать о моей не узнала кончине;
Мать мне помехой, она уменьшает мне гибели радость,
Хоть не о смерти моей, а о жизни своей горевать ей.
Вы же, чтоб я не пришла несвободною к манам стигийским,
Прочь отойдите, — прошу справедливого. Не прикасайтесь
К деве мужскою рукой. Кто б ни был тот мертвый, который
Должен быть смертью моей успокоен, ему же угодней
Будет свободная кровь. И если последние могут
Тронуть вас просьбы мои, — так дочь вас просит Приама,
Не полонянка! Молю: без выкупа труп мой отдайте
Матери. Право она на печальный обряд не за злато
Купит — за слезы свои. А раньше б за злато купила».
Молвила так, и народ слёз, сдержанных ею, не в силах
Доле сдержать; и даже сам жрец, в слезах, неохотно
Острым оружьем своим полоснул по подставленной груди.
И, к обагренной земле припав ослабевшим коленом,
Миг свой последний с лицом безбоязненным встретила дева.
Даже теперь прикрывала она, что таить подобало, —
И при падении все ж сохраняя стыдливости прелесть.
Взяли троянки ее; Приамидов, оплаканных раньше,
Воспомянули, — всю кровь, единым пролитую домом!
Дева, они о тебе голосят; о тебе, о царица
Мать и царица жена, цветущей Азии образ! —
Ныне убогая часть добычи, которой не взял бы
И победитель Улисс, когда бы она не рождала
Гектора. Добыл, увы, господина для матери Гектор!
Тело немое обняв, где не стало столь сильного духа,
Слезы, — их столько лила над отчизной, сынами, супругом, —
Ныне над дочерью льет; льет слезы на свежую рану,
Ртом приникает ко рту и в привыкшую грудь ударяет.
Так сединами влачась по крови запекшейся, много
Слов говорила она, — так молвила, грудь поражая:
«Дочь, о последнее ты — что ж осталось? — матери горе!
Дочь, ты мертва. Вижу рану твою, и моя она рана!

Вот, — чтоб никто из моих не погиб ненасильственной смертью, —
Заклана ныне и ты. Как женщине — я рассуждала —
Меч не опасен тебе; от меча ты — женщина — пала.
Бедных братьев твоих и тебя уничтожил единый —
Трои погибель — Ахилл, сиротитель Приамова дома.
После того, как он пал, Парисом застрелен и Фебом,
Я говорила: теперь перестанем бояться Ахилла!
Все же бояться его я должна была. Даже и пепел
Род преследует наш; находим врага и в могиле.
Я плодородна была — для Ахилла! Великая Троя
Пала; печальным концом завершились несчастья народа, —
Коль завершились они. Одной мне Пергам остался.
Горе в разгаре мое. Недавно во всем изобильна,
Столько имев и детей, и зятьев, и невесток, и мужа, —
Пленницей нищей влачусь, от могил отрешенная милых,
В дар Пенелопе. Меня, за уроком моим подневольным,
Женам итакским перстом указуя, — «Вот Гектора, — скажет, —
Славная мать. Вот она, Приамова, — молвит, — супруга».
После стольких потерь ты мне — одно утешенье
Слез материнских моих — погребенье врага очищаешь!
Дар поминальный врагу родила! Иль я из железа?
Медлю зачем? Для чего мне потребна проклятая старость?
Жизнь старухи теперь бережете, жестокие боги,
Или для новых еще похорон? Кто мог бы подумать,
Что и Приама сочтут после гибели Трои счастливым?
Счастлив он смертью своей, что тебя, моя дочь, не увидел
Он убиенной и жизнь одновременно с царством оставил!
Но удостоишься ты похорон, быть может, царевна?
Тело положат твое в родовых усыпальницах древних?
Не такова Приамидов судьба; приношением будет
Матери плач для тебя да песка чужеземного горстка.
Вот я утратила все. Остается одно, для чего я
Краткую жизнь доживу, — любимое матери чадо,
Ныне единый, в былом наименьший из рода мужского,
В этом краю, Полидор, врученный царю исмарийцев.

Что же я медлю меж тем жестокие раны водою
Свежей омыть и лицо, окропленное кровью враждебной?»
Молвит и к берегу вод подвигается старческим шагом,
И, распустив седины, — «Кувшин мне подайте, троянки!» —
Молвила в горе, черпнуть приготовившись влаги прозрачной.
Видит у берега вдруг — извергнутый труп Полидора,
Раны ужасные зрит, нанесенные дланью фракийца.
Вскрикнули жены троян, она — онемела от боли.
Ровно и голос ее, и внутри закипевшие слезы
Мука снедает сама; подобная твердому камню,
Остолбенела она: то в землю потупится взором,
То, поднимая чело, уставится в небо, иль смотрит
Сыну лежащему в лик, иль раны его созерцает, —
Раны особенно! Гнев и оружие дал и решимость.
Гневом как только зажглась, — поскольку царицей осталась, —
Постановила отмстить и в возмездие вся углубилась.
Как, если львенка отнять у нее, разъяряется львица
И по недавним следам за незримым врагом выступает,
Так и Гекуба, смешав в груди своей гнев и страданье,
Силы души не забыв, но забыв свои поздние годы,
Шла к Полиместору в дом, к виновнику злого убийства.
И побеседовать с ним попросила, как будто, мол, хочет
Злата остаток ему показать, предназначенный сыну.
Просьбе поверил Одриз,[539] любить приобыкший наживу.
Вот потаенно пришел — хитрец — с выраженьем любезным.
«Ждать не заставь, — говорит, — о Гекуба, дай сыну подарки,
Все, что ни дашь, — что и раньше дала, — его достоянье,
В том я богом клянусь!» И Гекуба в ужасе смотрит,
Как он клянется и лжет, — нарастает в ней гнев запылавший.
Вот уж он схвачен толпой полонянок троянских; Гекуба
Ринулась; пальцы ему в вероломные очи вдавила
И вырывает глаза; от гнева становится сильной;
И погружает персты, в залитые кровью преступной,
Даже не очи — их нет! — но глазницы рукой выскребает.
Тут, разъярясь на урон, нанесенный владыке, фракийцы
Копья и камни кидать, нападенье ведя на троянку,

Начали было. Она же за кинутым камнем с ворчаньем
Бросилась вдруг и его захватить уж старалась зубами.
Молвить хотела, но лай раздался́. Сохранилось то место —
Так и зовется оно. О старых несчастиях помня,
Долго, тоскуя, она в ситонийских полях завывала.
Участь ее — троянцев родных, и враждебных пеласгов,
И олимпийцев самих не могла не растрогать, и боги,
И между ними сама Громовержца сестра и супруга,
Все отрицали, чтоб так по заслугам свершилось с Гекубой.
Хоть дарданийцев успех боевой поощрила Аврора,
Тронуть ее не могли злоключенья Гекубы и Трои:
В сердце забота своя, домашнее горе богиню
Мучит, — Мемнонова смерть. Мать видела в поле фригийском,
Что поразило его копье золотое Ахилла.
Видела бедная мать, и румянец, которым алеет
Утренний час, побледнел, и покрылось тучами небо.
И не могла помириться она, что его не сложили
На погребальный костер. Какою была, распустивши
Волосы в горе, припасть к коленам Юпитера с просьбой
Не погнушалась и так со слезами ему говорила:
«Я, нижайшая всех, на златом обитающих небе, —
Ибо лишь редкие мне воздвигаются храмы по миру, —
Все же богиня — пришла; не затем, чтобы ты мне святыни
Дал иль обетные дни с алтарями, готовыми к жертвам.
Если ты вспомнишь, — хоть здесь предстала я женщиной ныне, —
Что с новоявленным днем охраняю я ночи пределы, —
Дара достойной сочтешь! Но забота не та, не такое
В сердце Авроры теперь, чтоб требовать почести должной.
Мемнона я своего потеряла. Напрасно за дядю
Поднял оружие он; сраженный в возрасте раннем,
Мертвым от мощного пал — так вы возжелали! — Ахилла.
Честь, умоляю, ему окажи в утешение смерти,
Высший правитель богов, облегчи материнскую рану!»
И согласился Отец. Едва лишь огнем был разрушен
Мемнона гордый костер, и скопления черного дыма

Застили день, — подобно тому как река зарождает
И испаряет туман, лучи не пускающий солнца, —
Черная сажа, сгустясь, полетела, сбирается в тело,
Приобретает лицо, от огня теплоту принимает,
Также и душу свою, а от собственной легкости — крылья.
С птицею схожа была изначала, — и подлинно птица
Затрепетала крылом; такие же сестры трепещут,
Неисчислимы; их всех одинаково происхожденье.
Трижды кружат над костром; широко раздается согласный
Трижды их крик; на четвертый пролет разобщаются станы.
Уж с супротивных сторон два разных свирепых народа
Битву ведут меж собой, и клювы и когти кривые
В гневе сцепив, грудь с грудью биясь, на лету притомляясь.
В пепле костра рождены, тела их, как дар погребальный,
Падают. Помнят они, что из мощного созданы мужа.
Имя создатель их дал внезапно явившимся птицам:
Их «мемнониды» зовут; лишь солнце исполнит двенадцать
Месяцев, бьются опять, чтоб гибнуть в войне поминальной.
Пусть для других огорчительно зреть, что Димантида[540] лает:
Горем Аврора своим занята, проливает и ныне
Слезы о сыне своем, и повсюду на свете — росится.
Но, чтобы с гибелью стен надежды покончились Трои,
Рок не сулил. Святыни несет и — другую святыню —
Старца-отца на плечах, груз чтимый, герой Кифереин.[541]
Выбрал из стольких богатств благочестный лишь эту добычу,
С милым Асканием. Он через море с изгнанником флотом
Вдаль, от Антандра, плывет. Минует он берег проклятый
Фракии, гнусный предел, где кровь пролилась Полидора.
И при попутных ветрах и волнении благоприятном
Он и товарищи с ним Аполлонова града[542] достигли.
Аний в том граде, как царь — людей, как жрец — Аполлона
Блюл благочестно. Гостей и в храме он принял и дома.
Город он им показал и святыни — дары посвященья:
Два показал им ствола, что Латона при родах держала.
Ладан в огонь положив и вина возлиявши на ладан,
В жертву закланных быков, по обычаю, мясо изжарив,

Входят они во дворец. К коврам прислонившись высоким,
Стали Цереры дары принимать со струящимся Вакхом.
Рек благочестный Анхиз: «О избранный Феба служитель,
Иль ошибаюсь? Когда эти стены я видел впервые,
Сын — мне помнится — был у тебя с четырьмя дочерями?»
Аний, главой покачав, окаймленною белой тесьмою,
Молвил печально в ответ: «Ты, великий герой, не ошибся!
Верно: детей пятерых ты меня обладателем видел.
Ныне же — так-то с людьми судьбы превратность играет! —
Видишь бездетным почти. Ибо помощь какая от сына,
Если отсутствует он? В земле, по нему нареченной,
В Андре, он вместо отца владеет престолом и царством.
Делий ему даровал предсказания дар, но иное
Либер дал сестрам его, превыше желаний и веры,
Качество дивное: все от моих дочерей прикасанья
В хлеб, иль во влагу лозы, или в ягоды девы Минервы[543]
Преобращалось; тот дар приносил нам великую пользу.
Слух лишь об этом дошел до рушителя Трои, Атрида, —
О, не подумай, что мы стороной не почуяли тоже
Бури, прошедшей у вас! — он силой оружья насильно
С лона отца их увлек и дал приказание девам,
Чтобы аргивян суда дарованьем небесным питали.
Кто куда мог, разбежались они. На Эвбею укрылись
Две из моих дочерей, две приняты братниным Андром.
Воин пришел и войною грозил, если их он не выдаст.
Братское чувство сломил воздаяния страх, и сестер он
Выдал: ты мог бы найти извинение робкому брату, —
Не было там ведь Энея при нем, чтоб за Андр заступиться,
Гектора не было, с кем продержались вы два пятилетья!
И для плененных уже приготовили поручней цепи, —
Но, протянув к небесам до времени вольные руки, —
«Вакх-отец, помоги!» — возопили. И дара виновник
Девам помог, если помощью мы назовем, что он чудом
Преобразил их. Но как потеряли они человечий
Облик, не мог я узнать, и сейчас объяснить не сумел бы.
Знаю про горе — и все. Поднялись на крылах, обратились

В птиц супруги твоей, белоснежными став голубями!»
Так о том, о другом разговоры ведя, завершили
Пир свой, убран и стол, и все расходятся вскоре
Спать. На заре поднялись и пошли к прорицалищу Феба,
И приказал он им плыть к их матери древней, к прибрежьям
Родственным. Царь их пришел проводить и дары предлагает:
Скипетр Анхизу поднес; Асканию — лук и хламиду;
Дал он Энею — кратер, что был ему прислан когда-то
От Аонийских брегов побратимом, исменцем Ферсеем.
Прислан Ферсеем он был; изготовлен же был он гилейцем
Алконом; вырезал тот на кратере предметов немало.
Град там виделся; врат показать ты мог бы седмицу
Имени града взамен: он был по вратам узнаваем.
А перед градом — обряд погребальный, костры и надгробья,
Волосы жен по плечам, обнаженные груди — все явно
Обозначало печаль, и плачут, как некие нимфы
Возле сухих родников. Торчит одиноко нагое
Дерево; козы среди раскаленных блуждают каменьев.
Посередине же Фив дочерей он явил Ориона:
Вот не по-женски свое подставляет открытое горло
Дева; другая, приняв бестрепетной раной оружье,
Мертвой легла за народ. Несут их по граду роскошным
Шествием скорбным и вот сжигают на месте отменном.
А между тем изошли близнецы из девичьего пепла,
Юношей двое, чтоб род не погиб; Коронами люди
Их нарекли; с торжеством они матери прах провожают.
А над рядами фигур, отливавших старинною бронзой,
По верху этот кратер золоченым кололся аканфом.
Но не беднее дары и трояне в ответ преподносят:
Ими подарен жрецу сосуд, фимиама хранитель,
Чаша и пышный венец, золотой, в драгоценных каменьях.
Вспомнили путники тут, что тевкры от Тевкровой крови[544]
Род свой ведут, и на Крите сошли: но сносить лишь недолго
Тамошний воздух могли; оставив со ста городами
Остров, стремятся скорей достигнуть портов Авсонийских.[545]
Буря встает и треплет людей. Принимают Строфады[546]

В порты неверные их, устрашает их птица Аэлло[547].
Вот уж Итаку они,[548] дулихийские порты, и Самос,
И неритийский предел, лукавого царство Улисса, —
Все миновали; потом Амбракию,[549] бывшую спорной
Между богов; и судьи, обращенного в камень, обличье
Видят, что всюду теперь Аполлоном зовется Актийским;[550]
Землю Додоны прошли со священным глаголющим дубом,
И хаонийский залив, где дети владыки Молосса
На обретенных крылах избежали когда-то пожара.
Вскоре феанов поля, с благодатным плодов урожаем,
Также Эпир посетили, Буфрот, где вещатель фригийский
Царствовал, и, наконец, новозданную новую Трою.
Зная грядущее все, что открыл им советник надежный,
Чадо Приама, Гелен, они в сиканийские входят
Гавани. Три языка протянула Сикания в море.
Первый из мысов, Пахин, обращен к дожденосному Австру,
К мягким Зефирам другой, Лилибей; Пелор же, последний,
Смотрит к Борею, на Аркт, никогда не сходящийся с морем.
Тевкры к нему подошли; на веслах и с ветром попутным
Ночью пристали суда к песчаному брегу Занклеи.
Скилла тут справа, а там беспокойная, слева, Харибда
Буйствуют: эта корабль пожрет, захватив, и извергнет;
Той же свирепые псы опоясали черное лоно, —
Девье при этом лицо у нее. Коль поэтов наследье
Все целиком не обман, то когда-то была она девой.
Много просило ее женихов; и, всех отвергая,
К нимфам морским — ибо нимфам была она очень любезна —
Шла и рассказы вела о любви молодых несчастливцев.
Волосы как-то ей раз давала чесать Галатея[551]
И обратилася к ней со словами такими, вздыхая:
«Все-таки, дева, тебя добиваются люди, не злые
Сердцем, а ты отвергать их всех безнаказанно можешь!
Я же, которой отец — Нерей, лазурной Дориды
Дочь, у которой сестер охранительный сонм, не иначе,
Как по воде уплывя, избежала Циклоповой страсти».
Тут говорящей слова остановлены были слезами;

Дева же, вытерев их беломраморным пальцем, богиню
Так утешать начала: «Ты мне расскажи, дорогая,
Можешь довериться мне, не скрывай причину страданья!»
И Нереида в ответ Кратеиной дочери молвит:
«Акид здесь жил, порожден Семетидою нимфой от Фавна.
Матери он и отцу утешением был превеликим,
Больше, однако же, — мне. Ибо только со мною красавец
Соединялся. Всего лишь два восьмилетья он прожил;
Были неясным пушком обозначены нежные щеки.
Я домогалась его, Циклоп же — меня, безуспешно.
Если ты спросишь теперь, что сильнее в душе моей было,
К Акиду нежная страсть или ужас к Циклопу, — не знаю.
Были те чувства равны. О Венера-кормилица, сколько
Мощи в державстве твоем! Ибо этот бесчувственный, страшный
Даже для диких лесов, безопасно которого встретить
Не привелось никому, презритель богов олимпийских,
Знал, что такое любовь. Ко мне вожделеньем охвачен,
Весь он горит. Позабыл он и скот, и родные пещеры.
Даже заботиться стал о наружности, нравиться хочет.
Гребнем ты, Полифем, торчащие волосы чешешь.
Вот захотел он серпом бороды пообрезать щетину,
Чтобы на зверский свой лик любоваться, его преобразив.
Дикость, страсть убивать и крови безмерная жажда —
Их уже нет. Приплывают суда, отплывают спокойно.
Телем[552] в то время как раз к сицилийской причаливший Этне,
Телем, Эврима сын, никогда не обманутый птицей,
К страшному всем Полифему пришел и промолвил: «Единый
Глаз твой, который на лбу, добычею станет Улисса!»
Тот засмеялся в ответ: «Из пророков глупейший, ошибся
Ты. Он — добыча другой!» Так истины слово презрел он, —
Тщетно! То, берег морской измеряя шагами гиганта,
Почву осаживал он, то усталый скрывался в пещеру.
Клином, длинен и остер, далекó выдвигается в море
Мыс, с обоих боков омываем морскою волною.
Дикий Циклоп на него забрался и сел посередке.
Влезли следом за ним без призора бродящие овцы.

После того как у ног положил он сосну, что служила
Палкой пастушьей ему и годилась бы смело на мачту,
Взял он перстами свирель, из сотни скрепленную дудок,
И услыхали его деревенские посвисты горы,
И услыхали ручьи. В тени, за скалою укрывшись,
С Акидом нежилась я и внимательным слухом ловила
Издали песни слова, и память мне их сохранила.
«Ты, Галатея, белей лепестков белоснежной лигустры,
Вешних цветущих лугов и выше ольхи длинноствольной,
Ты светлей хрусталя, молодого игривей козленка!
Глаже ты раковин тех, что весь век обтираются морем;
Зимнего солнца милей, отрадней, чем летние тени;
Гордых платанов стройней, деревьев щедрее плодовых;
Льдинки прозрачнее ты; винограда поспевшего слаще.
Мягче творога ты, лебяжьего легче ты пуха, —
Если б не бегала прочь! — орошенного сада прелестней.
Но, Галатея, — быков ты, еще не смиренных, свирепей,
Зыбких обманчивых струй и тверже дубов суковатых,
Веток упорней ветлы, упорней лозы белолистой;
Горных ты бешеней рек, неподвижнее этих утесов;
Жгучее пламени ты, хваленых надменней павлинов;
Трибул ты сельских грубей: лютее медведицы стельной;
Глуше, чем моря прибой, беспощадней задетой гадюки.
И, — это прежде всего, кабы мог, у тебя бы я отнял! —
Ты убегаешь быстрее оленя, гонимого звонким
Лаем, и даже ветров дуновенья воздушного легче.
Если б ты знала меня, не бежала бы, но прокляла бы
Ты промедленье свое, меня удержать бы старалась.
Есть у меня на горе́ с нависающим сводом пещеры,
Даже и в лета разгар у меня не почувствуешь солнца, —
И не почувствуешь стуж. Под плодами сгибаются ветви;
Есть на лозах витых подобные золоту гроздья,
Есть и пурпурные. Те и другие тебе сберегаю.
Будешь своею рукой под тенью рожденные леса
Нежные ягоды брать; рвать будешь осенние терны,
Слив наберешь — не одних от черного сока багровых,

Но и других, благородных, на воск весенний похожих.
Станешь моею женой, — недостатка не будет в каштанах,
Да и во всяких плодах: к услугам твоим все деревья.
Этот вот скот — весь мой, и немало в долинах пасется;
Много укрыто в лесу, но много и в хлевах пещерных.
Если спросишь меня — числа я назвать не сумею;
Бедным — подсчитывать скот. Коль его я расхваливать буду,
Ты не поверишь словам. А придешь — так сама убедишься,
Как еле-еле несут напряженное вымя коровы.
Есть — приплод молодой — ягнята в теплых овчарнях,
Есть и ровни ягнят — в других овчарнях козлята.
Век белоснежное есть молоко. Для питья остается
Часть. Другую же часть сохраняют творожные сгустки.
И не простые дары тебя ждут, узнаешь и больше
Радости: лани там есть, и зайцы есть там, и козы,
Там и чета голубей, и гнездо с древесной вершины.
Двух я недавно сыскал, — играть они могут с тобою, —
Сходных друг с другом во всем настолько, что ты ошибешься,
Там на высоких горах волосатой медведицы деток.
Я их достал и сказал: госпоже сохраним их в подарок!
Вынырни только — пора! — головой из лазурного моря!
О Галатея, приди! Подарков моих не отвергни!
Знаю свое я лицо: в отражении влаги прозрачной
Видел себя я на днях, и моя мне понравилась внешность.
Как я велик, посмотри! Не крупней и Юпитер на небе
Телом, — уж если у вас повествуют, что миром какой-то
Правит Юпитер. Мои в изобилии волосы пали
На запрокинутый лоб и, как лес, затеняют мне плечи.
Ты о щетине густой, на всем моем теле торчащей,
Дурно не думай, затем что без зелени дурны деревья;
Конь — коль на шее его золотая не треплется грива;
Птиц покрывает перо; для овец их шерсть — украшенье.
Муж красив бородой и колючей щетиной на теле.
Глаз во лбу у меня единственный, величиною
Вроде большого щита. Что ж? Разве великое солнце
В мире не видит всего? А глаз его круглый единствен.

Кроме того, мой отец владыкою в вашем же море;
Будет он свекром тебе. О, сжалься, молителя просьбы
Выслушай! Ибо одной твоей покоряюсь я власти.
Я презираю Эфир и Юпитера с молнией грозной, —
Но лишь тебя, Нереида, боюсь. Свирепее гнев твой
Молний. Отвергнутый, я терпеливее был бы, пожалуй,
Если б бежала ты всех. Но зачем, оттолкнувши Циклопа,
Акида любишь, зачем моих ласк милей тебе Акид?
Пусть он пленится собой и пленяет тебя, Галатея, —
Хоть не хочу я того! Но случаю дай подвернуться, —
Сразу почувствует он, сколь мощно подобное тело!
Проволокýу за кишки, все члены его раскидаю
В поле и в море твоем, — там пусть он с тобою сойдется!
Я пламенею, во мне нестерпимый огонь взбушевался, —
Словно в груди я ношу всю Этну со всей ее мощью,
Перенесенной в меня! Но тебя, Галатея, не тронешь!»
Попусту так попеняв (мне, все было издали видно),
Встал он и, бешен, как бык, с телицей своей разлученный,
Не в состоянье стоять, по лесам и оврагам блуждает.
Нас, не видавших его, не боявшихся дела такого,
Лютый заметил Циклоп и вскричал: «Все вижу, и этот
Миг да будет для вас последним мигом любовным!»
Голос его был таков, какой подобает Циклопу
В бешенстве; криком своим устрашил он высокую Этну.
Я, испугавшись, спешу погрузиться в соседнее море.
А Симетидин герой убегал, обращаяся тылом,
И говорил: «Помоги, Галатея! Молю! Помогите,
Мать и отец! Во владеньях своих от погибели скройте!»
Но настигает Циклоп. Кусок отломал он утеса
И запустил. И хотя лишь одной оконечностью камня
В Акида он угодил, целиком завалил его тело.
Я совершила тут все, что сýдьбы свершить дозволяли,
Чтобы прадедову мощь получил погибающий Акид.
Алая кровь из-под глыбы текла; чрез короткое время
Слабый пурпуровый цвет исчезать начинает помалу.
Вот он такой, как у рек от весеннего первого ливня;

Вскоре очистился; вот зияет, расколота, глыба,
И из расщелин живой вырастает тростник торопливо,
Рот же отверстый скалы зазвучал извергаемой влагой.
Дело чудесное! Вдруг выступает, до пояса виден,
Юноша, гибкими он по рогам оплетен камышами.
Он, — когда бы не рост и не лик совершенно лазурный, —
Акидом был. В самом деле уже превратился мой Акид
В реку: доныне поток сохранил свое древнее имя».
Кончила свой Галатея рассказ, и сонмом обычным
Врозь разбрелись и плывут по спокойным волнам Нереиды.
Скилла вернулась; она не решилась в открытое море
Плыть. По влажным пескам сначала нагая блуждает,
Но, притомясь и найдя на заливе приют потаенный,
В заводи тихой свое освежает усталое тело.
Вдруг, разрезая волну, гость новый глубокого моря,
Переменивший черты в Антедоне Эвбейском недавно,
Главк предстает, — застыл в вожделенье к увиденной деве!
И, уповая, что он побежавшую сдержит словами,
Вслед ей кричит; она же быстрей от испуга несется
И достигает уже вершины горы надбережной.
Прямо из моря встает, одним острием поднимаясь,
Голый огромный утес, над морем широким нависший.
Остановилася там и в месте спокойном, не зная,
Чудище это иль бог, в изумленье дивуется цвету
И волосам пришлеца, покрывавшим и спину и плечи,
И что внизу у него оконечность извилистой рыбы.
Главк приметил ее и, на ближнюю глыбу опершись,
Молвил: «Не чудище я, не зверь я дикий, о дева!
Нет, я бог водяной. Прав больше Протей не имеет
В глуби морской, ни Тритон, ни сын Атаманта Палемон.
Раньше, однако, я был человек. Но поистине предан
Морю глубокому был, тогда уже в море трудился.
Либо влачил стороной я с пойманной рыбою сети,
Либо сидел на скале, с камышовой удой управляясь.
Некие есть берега с зеленеющим смежные лугом;
Волнами край их один окаймлен, а другой — муравою,

И круторогие их не щипали ни разу коровы;
Смирные овцы там не паслись, ни косматые козы,
И трудовая пчела никогда не сбирала там меду.
Там не плелись и венки торжества; травы́ не срезали
Руки, держащие серп. Я первый на этом прибрежье
Сел на траву; сижу и сушу свои мокрые сети.
Чтобы попавшихся рыб сосчитать по порядку, которых
Случай мне в сеть позагнал иль своя же на крюк насадила
Зверская алчность, я их разложил по зеленому дерну.
Невероятная вещь. Но обманывать что мне за польза? —
Только, коснувшись травы, начала шевелиться добыча,
Переворачиваться, на земле упражняясь, как в море.
Я же стою и дивлюсь, — меж тем ускользает вся стая
В воду, покинув зараз своего господина и берег.
Остолбенел я, себя вопрошаю, с чего бы то было.
Бог ли то некий свершил, травы ли какой-нибудь соки?
Что же за силы в траве? — говорю и срываю рукою
Возле себя мураву и, сорвав, беру ее на зуб.
Только лишь глотка моя испила незнакомого сока,
Чувствую вдруг у себя в глубине неожиданный трепет,
Чувствую в сердце своем к инородной стихии влеченье.
И уж не мог я на месте стоять. Прощаясь навеки,
Молвил земле я «прости» и нырнул в голубую пучину.
Боги морей пришлеца отличают им общею честью;
Призваны были меня отрешить от свойств человечьих
И Океан и Тетида. И вот через них очищаюсь.
Девять я раз очистительный стих повторяю; велят мне,
Чтобы подставил я грудь под сто потоков различных.
Сказано — сделано. Вот отовсюду ниспавшие реки
Над головою моей всех вод своих токи проносят.
Только всего рассказать я могу, что стоило б вспомнить;
Только и помню всего; остального не чуяли чувства.
А лишь вернулись они, себя я обрел измененным, —
Был я весь телом другой, чем раньше, и духом не прежний.
Тут я впервые узрел синеватую бороду эту,
Волосы эти мои, что широко по морю влачатся,

Плечи свои увидал, громадные синие руки
И оконечности ног, как рыбьи хвосты с плавниками.
Что мне, однако, мой вид? К чему божествам я любезен?
965 Что мне за прок, что я бог, коль ничто тебя тронуть не может?»
Так он сказал и хотел продолжать, но покинула бога
Скилла. Свирепствует он и, отказом ее раздраженный,
К дивной пещере идет Цирцеи, Титановой дщери.

КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Скилла (1—74); керкопы (75—100); Сивилла (101—153); Ахеменид, Полифем (154—222); Цирцея (223—319); Пик (320—415); Канента (416—440); Эней в Лациуме, Диомед (441—511); Анул (512—526); корабли Энея (527—567); Ардея (568—580); Вертумн и Помона (581—697); Ифис и Анаксарета (697—771); Сабины, Тарпея, Таций (772—804); Квирин и Герсилия (805—851).

Снежную Этну уже, заткнувшую зевы Гигантов,
Также циклопов поля, что не знают мотыги и плуга,
Коим нужды никогда не бывало в высоких упряжках,
Бурно мятущихся вод обитатель эвбеец покинул,
Также Занклеи[553] залив, супротивную Регия крепость,
Также пролив, что губит суда и, зажат берегами,
Делит Авсонии край от границы земли сицилийской.
Божеской вскоре рукой прогребя по Тирренскому морю,
Главк достиг травоносных холмов и в чертоги Цирцеи,[554]
Дочери Солнца, вошел, где дикие звери столпились.
Только увидел ее, приветами с ней обменялся.
«Бога, богиня, молю, пожалей! — сказал, — ты одна мне
Можешь любовь облегчить, коль меня почитаешь достойным.
Сколь всемогущество трав велико, Титанида, известно
Мне, как нигде никому, ибо сам я чрез них изменился.
Знай, чтоб страсти тебе не была непонятна причина, —
На италийском брегу супротив Мессании нимфу
Скиллу я раз увидал. Стыжусь передать обещанья,
Нежности, просьбы мои, заслужившие только презренье.
Ты же, коль некая власть в заклинаниях есть, заклинаньем
Губы святые встревожь; а если действительней травы,
Чья испытана мощь, посильнее мне выбери зелье.
Не исцеляй мой недуг, облегчи лишь любовные раны,
Не разлюбить я хочу, — но она пусть пыл мой разделит!»
Главку Цирцея (вовек не бывало у женщины больше
Склонности к пылу любви; в самой ли таилась причина,

Или в Венере была, оскорбленной отцовским[555] доносом?)
Молвит такие слова: «Домогаться желающей легче,
Чающей тех же утех, одинаковым пылом плененной!
Ты же достоин. Тебя и без просьб, конечно, позвали б.
Только надежду подай, — поверь, позовут и без просьбы.
Не сомневайся, в свою красоту не утрачивай веры!
Я, например, и богиня, и дочь светозарного Солнца,
Чья одинакова мощь в заклинаниях тайных и зельях, —
Быть желаю твоей! Презирай презирающих; нежным
С нежною будь, и двоих отомстишь ты единым деяньем».
Но на попытку ее так Главк отвечает: «Скорее
Водоросль будет в горах вырастать и деревья в пучинах,
Нежели к Скилле любовь у меня пропадет», — и богиня
В негодованье пришла. Поскольку ему не умела
Вред нанести и, любя, не хотела, — взгневилась на нимфу
Ту, предпочтенную ей. Оскорбясь за отвергнутый пыл свой,
Тотчас же стала она с ужасными соками травы
Перетирать. Замешав, заклинания шепчет Гекаты.
Вот покрывало она голубое надела; и между
Льстивого строя зверей из средних выходит покоев.
В Регий дорогу держа, что против утесов Занклеи,
Вскоре вступила она на шумящее бурями море.
Словно на твердый песок, на волны ступни становила
И по поверхности вод сухими сбегала ногами.
Был там затон небольшой, заходивший под своды пещеры, —
Скиллы любимый приют; в то место от моря и неба
Летом скрывалась она, когда солнце стояло на высшей
Точке, когда от дерев бывают кратчайшими тени.
Этот богиня затон отравляет, сквернит чудодейной
Смесью отрав; на него она соком зловредного корня
Брызжет; темную речь, двусмысленных слов сочетанье,
Трижды по девять раз чародейными шепчет устами.
Скилла пришла и до пояса в глубь погрузилась затона. —
Но неожиданно зрит, что чудовища некие мерзко
Лают вкруг лона ее. Не поверив сначала, что стали
Частью ее самое, бежит, отгоняет, страшится

Песьих дерзостных морд, — но в бегство с собою влечет их.
Щупает тело свое, и бедра, и икры, и стопы, —
Вместо знакомых частей обретает лишь пасти собачьи.
Всё — лишь неистовство псов; промежности нет, но чудовищ
Спины на месте ее вылезают из полной утробы.
Главк влюбленный рыдал. Цирцеи, слишком враждебно
Силу составов своих применившей, объятий бежал он.
Скилла осталася там; и лишь только представился случай,
Спутников ею лишен был Улисс, на досаду Цирцеи.
Также троянцев она корабли потопить собиралась,
Да превратилась в скалу; выступает еще и доныне
Голый из моря утес, — и его моряки избегают.
Вот уж на веслах прошли мимо Скиллы и жадной Харибды
Тевкров суда; и уже от прибрежий Авсонии близко
Были, когда их отнес к побережью Ливийскому ветер.
В сердце своем и в дому приняла там Энея сидонка,[556]
Та, что стерпеть не могла супруга-фригийца отплытье
И на высоком костре, возводившемся будто для жертвы,
Пала на меч: сама обманувшись, других обманула.
От новостроенных стен убежав и прибрежий болотных,
В Эрикса город придя и встретившись с верным Акестом,[557]
Жертву приносит Эней и могилу отца почитает.
Те корабли, что Ирида едва не сожгла по приказу
Гневной Юноны, он спас; Гиппотада покинул он царство.
Земли, где сера дымит, и скалы́ дочерей Ахелоя,
Певчих сирен, — и корабль, лишенный кормчего, вывел[558]
К Инаримее, потом к Прохитее, потом к Питекузам,
Что на бесплодных холмах, — которых от жителей имя.
Древле родитель богов, рассердясь на обманы керкопов,
На нарушение клятв, на коварные их преступления,
Этих людей превратил в животных уродливых, — чтобы
Были несхожи они с человеком, но вместе и схожи.[559]
Члены он их сократил; опустил и приплюснул им ноздри;
Избороздил им лицо, стариковские придал морщины
И, целиком все тело покрыв им рыжею шерстью,
В этих местах поселил; предварительно речи способность

Отнял у их языков, уродившихся для вероломства:
Жалобы лишь выражать дозволил им хрипом скрипящим.
Эти края миновав, он Партенопейские стены[560]
С правой оставил руки, а с левой — Эолова сына[561]
Звонкого холм, и в места, что богаты болотной ольхою,
На берег Кумский приплыв, к долговечной Сивилле в пещеру[562]
Входит и молит ее, чтоб ему по Аверну спуститься
К манам отца. Она наконец свой потупленный долу
Лик подняла и в бреду прорекла, под наитием бога:
«Многого просишь, о муж, величайший делами, который
Руку прославил мечом, благочестье — святыми огнями.
Все же, троянец, боязнь отреши: исполнится просьба
И элизийский приют, последние мира пределы,
Узришь, мной предвиден, и родителя призрак любезный.
Для добродетели нет недоступной дороги». Сказала,
И показала ему золотую Авернской Юноны[563]
Ветвь, и велела ее оторвать от ствола. И послушен
Был ей Эней и узрел владенья огромного Орка,
Видел он предков своих, и предстал ему старческой тенью
Духом великий Анхиз. Тех мест познал он законы,
Также какие грозят ему бедствия в будущих войнах;
И по обратной стезе утомленным взбирается шагом,
Кумской Сивиллой ведом, коротал он в беседе дорогу.
Свой ужасающий путь в полумраке свершая туманном,
Молвил: «Богиня ли ты или божья избранница, только
Будешь всегда для меня божеством! Клянусь, я обязан
Буду навеки тебе, соизволившей дать мне увидеть
Смерти пределы и вновь от увиденной смерти вернуться.
Только на воздух опять изойду — за эти заслуги
Храм воздвигну тебе и почет окажу фимиамом».
Взор обратив на него, со вздохом пророчица молвит:
«Я не богиня, о нет; священного ладана честью
Смертных не мни почитать. Чтобы ты не блуждал в неизвестном,
Ведай, что вечный мне свет предлагался, скончания чуждый,
Если бы девственность я подарила влюбленному Фебу.
Был он надеждою полн, обольстить уповал он дарами

Сердце мое, — «Выбирай, о кумская дева, что хочешь! —
Молвил, — получишь ты все!» — и, пыли набравши пригоршню,
На бугорок показав, попросила я, глупая, столько
Встретить рождения дней, сколь много в той пыли пылинок.
Я упустила одно: чтоб юной всегда оставаться!
А между тем предлагал он и годы, и вечную юность,
Если откроюсь любви. Но Фебов я дар отвергаю,
В девах навек остаюсь; однако ж, счастливейший возраст
Прочь убежал, и пришла, трясущейся поступью, старость
Хилая, — долго ее мне терпеть; уж семь я столетий
Пережила; и еще, чтоб сравниться с той пылью, трехсот я
Жатв дождаться должна и сборов трехсот виноградных.
Время придет, и меня, столь телом обильную, малой
Долгие сделают дни; сожмутся от старости члены,
Станет ничтожен их вес; никто не поверит, что прежде
Нежно пылали ко мне, что я нравилась богу. Пожалуй,
Феб не узнает и сам — и от прежней любви отречется.
Вот до чего изменюсь! Видна я не буду, но голос
Будут один узнавать, — ибо голос мне судьбы оставят».
Речи такие вела, по тропе подымаясь, Сивилла.
Вот из стигийских краев наружу к Эвбейскому граду[564]
Вышел троянец Эней и, как должно, свершив возлиянья,
На берег прибыл, еще не носящий кормилицы имя.
Здесь пребывал, после долгих трудов и великих мучений,
Нерита сын, Макарей, сотоварищ страдальца Улисса.
Спутника прежнего он, что на кручах был Этны покинут,
Ахеменида, — узнал и, дивясь, что нежданно живого
Встретил его, говорит: «Ты случаем или же богом,
Ахеменид, сохранен? Почему ты на варварском судне,
Будучи греком, плывешь? Куда направляете путь свой?»
И вопрошавшему так — не в косматом уже одеянье,
В виде своем, без шипов, сшивавших ему покрывало, —
Ахеменид отвечал: «Да увижу я вновь Полифемов
Зев, откуда текут человеческой крови потоки,
Если Итака и дом дороже мне этого судна,
Если Энея почту я не так, как отца! Никогда-то

Не исчерпаю свою, хоть и выполню все, благодарность,
Если дышу, говорю, свет солнца вижу и небо,
Все — о, могу ли я стать непризнателен или забывчив? —
Он даровал мне; и то, что душа моя в брюхо Циклопу
Не угодила. Теперь хоть со светом жизни расстанусь,
Буду в земле схоронен, а не в этом, по крайности, брюхе.
Что испытал я в душе (если чувства в то время и душу
Страх у меня не отшиб!), когда увидал я, покинут,
Как уплываете вы по открытому морю! Хотел я
Крикнуть, да выдать себя побоялся Циклопу. Улисс же
Криком вас чуть не сгубил: я видел — огромную глыбу
Тот от горы оторвал и далеко швырнул ее в море.
Видел затем: он кидал, как будто бы силой машины,
Дланью гигантской своей огромные с острова глыбы.
И охватил меня страх, не разбили бы волны и скалы
Судно, как будто бы сам я на нем пребывал, незабытый!
После ж того как побег вас от горькой кончины избавил,
Всю поперек он и вдоль обстранствовал в бешенстве Этну.
Лес отстраняя рукой, единственный глаз потерявши,
Он на скалы́ налетал, и, вдаль осквернённые гноем
Руки свои протянув, проклинает ахейское племя,
И говорит: «О, когда б мне случай выдал Улисса
Иль из его молодцов хоть кого-нибудь — гнев мой насытить!
Съем я его потроха! Своею рукою изрежу
Тело, живое еще! До отказа я кровью наполню
Глотку! Члены его в челюстях у меня затрепещут!
Станет жизнь ни во что, станет легкой жизни утрата!»
Много, взбешенный, еще говорил; и в ужасе бледном
Был я, смотря на лицо с невысохшей кровью от раны,
Видя жестокую длань и впадину глаза пустую,
Члены и бороду, всю человеческой кровью залипшей,
Смерти я видел приход, — то было ничтожное горе!
Ждал я: он схватит меня, вот-вот мое тело потонет
В теле его. У меня из души не исчезла картина
Дня рокового, когда увидал я, как двадцать четыре
Спутника милых моих повергнуты были на землю;

Сам же он сверху налег, как лев налегает косматый,
И потроха их, и плоть, и кости с белеющим мозгом —
Полуживые тела — в ненасытную прятал утробу.
Дрожь охватила меня. Я стоял побелевший, со скорбью
Видел, как смачивал рот он кровавыми яствами, видел,
Как он выбрасывал их, с вином пополам изрыгая.
Воображал я — и мне такая же, бедному, участь!
Много подряд укрывался я дней, содрогался при каждом
Шорохе; смерти боясь, я с жадностью думал о смерти.
Голод я свой утолял желудями, травой и листвою,
Брошен и нищ, без надежд, на смерть и на казнь обреченный.
Много спустя увидал я корабль от земли недалёко,
Знаками стал о спасенье молить, сбежал к побережью;
Тронул Энея; и грек был судном принят троянским!
Ты мне теперь расскажи о себе, дорогой мой товарищ,
И о вожде, и о всех, что с тобою доверились морю».
Тот говорит, как Эол в глубинах державствует тускских,
Сам Гиппотад — царь Эол, что ветры в темнице содержит.
Их, заключенных в бурдюк, — достойный вниманья подарок! —
Вождь дулихийский увез; при их дуновенье попутном
Девять он суток прошел и увидел желанную землю.
Вскоре же после того, как девятая встала Аврора,
Спутники, пробуждены завистливой жаждой добычи,
Мысля, что золото там, ремни распустили у ветров;
Как он обратно пошел по водáм, по которым приехал,
И воротился корабль к царю эолийскому в гавань.
«После пришли, — он сказал, — в старинный мы град лестригона[565]
Лама; была та земля под державою Антипатея.
Был я отправлен к нему, и со мною товарищей двое.
Бегством едва удалось спастись одному лишь со мною,
Третий из нас обагрил лестригонов безбожную землю
Кровью своей; за бегущими вслед подымается с войском
Антипатей; собирается люд; каменья и бревна
Стали кидать; потопляют людей, корабли потопляют.

Только один избежал, который меня и Улисса
Вез; потеряв сотоварищей часть, в огорченье, о многом
Горько жалеючи, мы пристаем к тем землям, что взорам
Видимы там вдалеке; смотри, созерцай издалека
Остров, уж виденный мной. О ты, меж троян справедливец!
Чадо богини (затем, что окончилась брань и не враг ты
Нам, о Эней!), заклинаю, — беги от прибрежья Цирцеи!
Так же когда-то и мы, к прибрежью Цирцеи причалив,
Антипатея царя с необузданным помня Циклопом,
Не пожелали идти и порог преступить незнакомый.
Жребием избраны мы: я с верным душой Политеем,
И Эврилох, и еще Элпенор, что в вине неумерен,
И восемнадцать еще к Цирцеиным посланы стенам.
Только достигли мы их, у дворцового стали порога,
Тысяча сразу волков, и медведи меж ними, и львицы
Страху нагнали на нас, побежав: но страх был напрасен:
Не собирались они терзать нам тело зубами, —
Ласково, наоборот, хвостами махали и наши
Сопровождали следы, к нам ластясь. Но вот принимают
Женщины нас и ведут по атриям, в мрамор одетым,
Прямо к своей госпоже. В красивом сидела покое
На возвышенье она, в сверкающей палле, поверх же
Стан был окутан ее золотистого цвета покровом.
Нимфы кругом. Нереиды при ней, — персты их не тянут
Пряжи, и нити они не ведут за собою, но злаки
Располагают, трудясь; цветов вороха разбирают
И по корзинам кладут различные зеленью травы.
Всей их работой сама управляет; и сила какая
В каждом листке, каково их смешение — все ей известно;
Не устает различать и, исследуя, взвешивать травы.
Вот лишь увидела нас, лишь мы поздоровались с нею,
Заулыбалась она и ответила нам на приветы.
Тотчас велела для нас замешать подожженного жира
С медом и долей вина, молоком разбавила кислым
И, чтоб остались они незаметны в той сладости, — соки
Трав подлила. Из рук чародейных мы приняли чаши.

Только лишь высохшим ртом мы жадно испили напиток,
Наших коснулась волос богиня жестокая тростью.
Стыдно рассказывать! Вдруг ершиться я начал щетиной
И уж не мог говорить; слова заменило глухое
Хрюканье, мордою став, лицо мое в землю уткнулось.
Рот — почувствовал я — закривился мозолистым рылом.
Шея раздулась от мышц, и руки, которыми чашу
Только что я принимал, следы от копыт оставляли.
То же с другими стряслось, — таково всемогущество зелий!
С ними я заперт в хлеву. Тут заметили мы, что не принял
Вида свиньи Эврилох: он один отстранился от чаши.
Если бы выпил и он, и доныне б я был в поголовье
Этих щетинистых стад; от него не узнал бы об этом
Бедствии нашем Улисс и отмстить не явился б Цирцее.
Белый Улиссу цветок вручил миролюбец Киллений.
«Моли» он зван у богов. На черном он держится корне.
Вот, обеспечен цветком и в небесных уверен советах,
В дом он Цирцеин вошел. Приглашенный коварную чашу
Выпить, когда до него прикоснуться пыталась богиня,
Злостную он оттолкнул и мечом устрашал занесенным.
Руку ему и любовь даровала она. И, на ложе
Принят, товарищей он потребовал свадебным даром.
Нас окропляет она трав лучших благостным соком,
Голову нам ударяет другой оконечностью трости
И говорит словеса, словесам обратные прежним.
Дальше она ворожит — и вот, с земли подымаясь,
Все мы встаем: щетины уж нет, и ногй раздвоенной
Щель исчезает; опять есть плечи и ниже предплечий
Локти. И, сами в слезах, обнимаем мы льющего слезы,
Виснем на шее вождя и слов не находим сначала,
Кроме тех слов, что ему изъясняют признательность нашу.
Там задержались мы год; за это столь долгое время
Многое видел я там, обо многом узнал понаслышке.
Вот что поведала мне потихоньку одна из помощниц
Тех четырех, что у ней состоят при ее чародействах:
Раз, меж тем как мой вождь вдвоем прохлаждался с Цирцеей,

Мне показала она из белого мрамора образ
Юноши, а у него помещен был на темени дятел,
Сам же он в храме стоял, отменно украшен венками.
Кто он такой, почему почитается в храме священном,
Птица на нем почему? — я спросил, разузнать любопытен.
Та отвечала: «Изволь, Макарей; через это постигни
Силу моей госпожи. Так будь внимателен, слушай.
Чадо Сатурново, Пик, был прежде царем в авсонийских
Землях и страстно любил коней объезжать для сражений.
Изображенье его пред тобой; что был он прекрасен,
Видишь ты сам, вполне довериться статуе можешь.
Столь же прекрасен он был и душой. Еще не успел он
И четырех увидать пятилетних игрищ элидских.[566]
Он красотою привлек рожденных в латинских нагорьях
Юных дриад; полюбили его божества ключевые,
Девы наяды,[567] каких мчит Альбула в водах, Нумикий
И Аниена волна и Альм, быстрейший теченьем,
Нара стремнистый поток и Фáрфар с приятною тенью;
Те, что в дубравном краю обитают у скифской Дианы,
Или в озерах кругом, — но, всех отвергая, к одной лишь
Нимфе он нежность питал. Венилия будто бы нимфу
На Палатинском холме породила двуликому Яну.[568]
Только созрела она и невестою стала, как тотчас
Пику была отдана, предпочтенному всем лаврентийцам.
Дивной была красоты, удивительней — пенья искусством.
«Певчей» — Канентой ее назвали. Дубравы и скалы
Двигать, зверей усмирять, останавливать длинные реки
Силой изустной могла и задерживать птиц пролетавших.
Голосом женщины раз напевала она свои песни,
Пик же ушел из дворца и в поля удалился Лаврента
Тамошних бить кабанов. Туда он верхом на горячем
Ехал коне и держал два дротика левой рукою,
Алой хламидой одет, золотою заколотой пряжкой.
В это же время пришла дочь Солнца в те же дубравы,
Чтоб на обильных холмах нарвать себе новых растений.
Имя носящий ее оставила остров Цирцея.

Юношу Пика едва, полускрытая чащей, узрела,
Остолбенела; из рук заповедные выпали травы.
Сразу до мозга костей огонь проницает Цирцею;
Только лишь в этом пылу собрала она первые мысли,
Хочет с предметом любви говорить, но коня верхового —
Чтоб подойти не могла — он погнал в окружении свиты.
«Не убежишь от меня, — хотя бы умчал тебя ветер, —
Если я знаю себя, и не стали бессильными свойства
Трав, и если меня не обманут мои заклинанья!»
Молвила так и тотча́с создала бестелесного призрак
Вепря, ему пробежать перед взором царя повелела.
И показалось ему, что вепрь удаляется в чащу,
Где через гущу дерев коню невозможно пробраться.
Нечего медлить! И Пик, преследуя призрак добычи,
Мигом уже соскочил с дымящейся лошади наземь.
И, за мечтою гонясь, пешком углубляется в рощу.
Та же моленья твердит и слова ядовитые молвит
И непонятным богам непонятным заклятием служит —
Тем, от которого лик Луны белоснежной тускнеет
И на Отцовском челе собираются взбухшие тучи.
От заклинаний ее темнотой покрывается небо,
Мглу испаряет земля. По дорогам невидимым бродят
Спутники Пика, и сам государь остается без стражи.
Выбрала место и миг, — «Заклинаю твоими очами,
Что полонили мои, красотою твоей несравненной,
Сделавшей то, что — богиня — тебя умоляю! Сочувствуй
Пылу влюбленной! Прими всезрящее вечное Солнце
Тестем и, сердцем жесток, Титаниды не презри Цирцеи!» —
Молвила. Но и ее и моленья отверг он надменно
И отвечал: «Кто б ты ни была, твоим я не буду,
Пика другая пленит, и молю, чтобы долго пленяла!
Брачный союз осквернять я чужою не стану любовью, —
Ежели мне сохранят Каненту — дочь Янову — судьбы».
Снова мольбы попытав понапрасну, Титания молвит:
«Это тебе не пройдет! Не вернешься ты больше к Каненте.
Что оскорбленье, любовь и женщина могут, — узнаешь:

Оскорблена, влюблена и женщина тоже Цирцея!»
Дважды затем на восток обратилась и дважды на запад;
Палочкой трижды к нему прикоснулась и три заклинанья
Произнесла, — и бежит он, и сам удивляется бегу
Быстрому, как никогда, и пух замечает на теле;
И, возмущенный, что вот новоявленной птицей нежданно
В Лация рощи влетел, он твердым клювом деревья
Бьет в досаде своей, ветвям пораненья наносит.
Крылья же птицы хранят окраску пурпурной хламиды;
Прежняя пряжка его, золотая одежды заколка,
Стала пером: золотой вкруг шейки горит ожерелок.
Нет ничего уже в нем от прежнего Пика — лишь имя.
Спутники Пика меж тем понапрасну его призывали
Долго в полях и нигде отыскать не могли господина,
А Титаниду нашли; она уж расчистила воздух,
Ветрам и солнцу уже разрешила туманы рассеять.
Изобличают ее в преступленье и требуют Пика.
К силе прибегли; разить беспощадным готовы оружьем.
Вредные зелья она, ядовитые брызгает соки;
Ночь и полночных богов из Эреба, из Хаоса кличет,[569]
Молитвословье творит завыванием долгим Гекате.
С мест повскакали своих — сказать удивительно! — рощи,
И застонала земля, побледнело вдруг дерево рядом,
Крапом меж тем на лугу заалели кровавые капли,
Камни и те издают как будто глухое мычанье;
Лают как будто бы псы; земля в отвратительных змеях
Лоснится, а над землей — прозрачные души порхают.
И в изумленье толпа, устрашилась чудес. Устрашенным
Тростью волшебной она удивленные тронула лица, —
И от касанья того различные чудища-звери
В юношей входят. Никто не остался в обличии прежнем.
Феб, склоняясь, уже налегал на Тартессии[570] берег.
Но понапрасну ждала — душой и очами — Канента
Мужа. Челядь меж тем и народ по лесам разбежались
В поисках, перед собой освещая огнями дорогу.
Мало того что рыдала она, что в грудь ударяла,

Волосы в горе рвала, — хоть все это было; из дому
Вырвалась и по полям латинским блуждала в безумье.
Шесть наступивших ночей и столько же солнца восходов
Зрели ее, как она, без сна и без пищи, по воле
Случая, взад и вперед по горам и долинам бродила.
Видел последним ее, утомленную плачем и бегом,
Тибр, — как тело она преклонила на берег холодный.
Там, слезой исходя, страданьем рожденную песню
Петь начала, и звучал чуть слышно жалобный голос, —
Так, умирая, поет свою песню предсмертную лебедь.
Тонкая плоть наконец размягчилась от плача; помалу
Чахла она, а потом в воздушном исчезла пространстве.
Слава, однако, поднесь за местом осталась. Камены[571]
Древние Певчим его нарекли по прозванию нимфы».
Вот что за длительный год мне рассказано было, что сам я
Видел. Но там засидясь и ленивыми став от отвычки,
Мы получаем приказ вновь плыть, вновь парус наставить.
Тут же Титания нам предсказала, что снова неверный
Ждет нас и длительный путь и опасности в море суровом.
Взял меня страх, признаю́сь, и причалил я к этому брегу».
Кончил рассказ Макарей. Тут Энея кормилица в урне
Мраморной скрыта была, на холме же стих краткий начертан:
«Здесь Кайету — меня — благочестьем известный питомец
В должном пламени сжег, из аргосского пламени вырвав».
Вот отвязали причал, к прибрежным кустам прикрепленный,
И покидают дворец худословной богини, от козней
Дальше бегут и приходят в леса, где в темных туманах
Тибр с его желтым песком пробивается к морю. Энею
Дом достается и дочь рожденного Фавном Латина,
Но не без брани. Война разгорелась вскоре с жестоким
Племенем. Турн свирепел, за жену нареченную гневен.[572]
С Лацием вся вступает в борьбу Тиррения; долго
В бранных тревогах войска добиваются трудной победы.
Каждый помогой извне свою рать увеличить стремится.
Скоро рутулов уже и троян многочисленны стали
Станы; не тщетно Эней отправлялся к порогу Эвандра;

Венул же тщетно ходил к беглецу Диомеду[573] в великий
Город его. Диомед под державою Япига Давна
Мощную крепость возвел и полями владел, как приданым.
Передал Венул ему поручения Турновы, с просьбой
Помощь войсками подать, но герой этолийский сослался
На недостаточность войск; на войну посылать не хотел он
Тестя народы, а сам людей не имел-де, которых
Вооружить бы он мог: «Не подумай, что я измышляю,
И хоть страданья опять обновляются повестью горькой,
Я потерплю и о всем расскажу. Лишь в пепле погибла
Троя, и Пергам стал данайского пламени пищей,
Тут нарикийский герой[574] похитил деву у Девы,
Кару на всех наложил, что ему одному полагалась.
Все мы раскиданы, мчат нас в море враждебные ветры,
Молнии, ливень и мрак, неистовство неба и моря, —
Всё мы, данайцы, снесли; Кафарей[575] был вершиною бедствий.
Не задержусь, излагая подряд все бедствия наши, —
Грекам казалось тогда, что готов и Приам их оплакать.
Я же, заботой храним доспехи носящей Минервы,
Ею был вырван у волн, — и опять от родного отринут
Аргоса я. Не забыв о ране давнишней, Венера
Гонит благая меня. Так много трудов претерпел я
И на широких морях, и в военных на суше бореньях,
Что называл, и не раз, счастливыми тех, что погибли
Вместе от бури одной, Кафареем жестоким в пучину
Погружены. Я жалел, что не был одним из погибших.
Крайние беды терпя, сотоварищи в бурях и бранях
Духом упали, конца запросили блужданий; и Акмон,
Нравом горячий всегда, а несчастьем еще раздраженный,
Молвил: «Осталось ли что, чего бы терпение ваше
Не одолело, мужи? Что могла бы еще Киферея
Сделать, когда б захотела? Пока ждем худшего в страхе,
Время молитвы творить; когда ж нет участи хуже, —
Страх под пятою тогда: спокойна вершина несчастий.
Пусть же послушает, пусть! Пусть нас ненавидит, как ныне,
И Диомеда, и всех! Но всю ее ненависть дружно

Мы презираем! Для нас ее сила немногого стоит!»
Так говоря, оскорблял Венеру враждебную Акмон,
Воин плевронский, и в ней возбуждал ее давнюю злобу.
Это немногим пришлось по душе; друзья остальные
Все порицали его; когда ж он сбирался ответить,
Тоньше стал голос его, и уменьшилась сила, и волос
Вдруг превращается в пух; покрывается пухом и шея
Новая, грудь и спина; на руках появляются перья
Крупные, локти ж его изгибаются в длинные крылья;
Большая часть его ног становится пальцами; рогом
Затвердевают уста и концом завершаются острым.
Идас и Лик в изумленье глядят и Никтей с Рексенором,
Смотрит Абант, поражен; но пока поражаются, тот же
Вид принимают они. И большая доля отряда
Вдруг поднялась и, крылами плеща, вкруг весел кружится.
Ежели спросишь про вид нежданных пернатых, — то были
Не лебедями они, с лебедями, однако же, схожи.
Еле приплыл я сюда, где тестя Давна сухие
Принадлежат мне поля, и лишь малая свита со мною».
Повесть окончил Ойнид; и посол Калидонское царство
И Певкетейский залив и поля мессапийские бросил,
Видел, пещеру он там, затененную частой дубравой;
Каплями в ней проступает вода; там Пан обитает —
Полукозел. До того обитали в ней некогда нимфы.
Здесь апулийский пастух испугал их однажды, и девы
Прочь убежали скорей, не выдержав первого страха.
Вскоре, как в чувство пришли и смешон им пастух показался,
Мерным движением ног закружили они хороводы.
Стал насмехаться пастух, подражая им, прыгал по-сельски
И деревенскую брань к словам добавлял непристойным.
Он замолчал лишь тогда, как закрылась гортань древесиной;
Дерево соком своим повадки его обличает:
Дикой маслины плоды на зазорный язык указуют
Горечью — грубостью слов продолжают они отзываться.
Как возвратились послы и отказ принесли в этолийском
Войске, рутулы одни, без подмоги чужой, продолжают

Раз начатую войну. С обеих сторон было много
Пролито крови. Вот Турн к сосновым подносит обшивкам
Алчный огонь, и страшит пощаженных волнами пламя.
Вот уже воск и смолу и все, что огонь насыщает,
Мулькибер жадно сжигал; к парусам по высокой он мачте
Полз, и скамьи для гребцов дымились в судах крутобоких.
Вспомнив, что наверху те сосны срублены Иды,
Мать святая богов наполнила воздух гуденьем
Меди, звенящей о медь, и шумом буксовых дудок.
Черный воздушный простор на львах приручённых проехав,
Молвила: «Тщетно в суда ты пожар святотатственный мечешь,
Турн, я спасу корабли! Не могу потерпеть, чтобы пламя
Едкое ныне сожгло дубрав моих части и члены!»
И возгремело в выси, лишь сказала богиня; за громом
Крупный низринулся дождь со скачущим градом, и воздух
Взбухшее море и ветр возмущая для сшибки внезапной,
Между собою бои сыновья начинают Астрея.[576]
Силу из них одного использовав, Матерь благая
Флота фригийского вдруг обрывает пеньковые верви;
Мчит корабли на боку и вдали погружает в пучину.
Тут размягчилась сосна, древесина становится телом,
В головы, в лица людей превращаются гнутые кормы.
И переходят в персты и в ноги плывущие весла.
Бок остается собой, как был; в нутре корабельном
Ребра скрытые днищ в спинные хребты превратились;
Реи руками уже, волосами уж вервия стали.
Цвет, как и был, — голубой: в волнах, которые раньше
Страх наводили на них, ведут свои девичьи игры
Нимфы морские; они, уроженки суровых нагорий,
Нежную славят волну и свое забывают рожденье.
Но одного не забыв, — как много опасностей в бурю
Перетерпели они, — всегда подставляли ладони
Гибнущим в море судам — но не тем, где плыли ахейцы.
Фригии помня беду, ненавидели девы пеласгов,
Радостным взором они Неритийского[577] судна обломки
Встретили; радостно им было видеть корабль Алкиноя,[578]

Преображенный в утес и наросший на дерево камень.
В нимф морских превратились суда, и явилась надежда,
Что, убоявшись чудес, рутул воевать перестанет.
Тщетно! Есть боги свои у обеих сторон, а в согласье
С ними и доблесть души. И уже не приданные земли
Цель их, не тестя престол, не ты, о Лавиния дева, —
Им лишь победа нужна. Воюют, чтоб только оружья
Им не сложить. Наконец увидала Венера, что в битве
Сын одолел. Турн — пал. И Ардея пала, которой
Турн могуществом был. Лишь только в огне беспощадном
Город пропал и его под теплою скрылись золою
Кровли, из груды углей до тех пор неизвестная птица
Вдруг вылетает и с крыл стряхает взмахами пепел.
Голоса звук, худоба, и бледность, и все подобает
Пленному городу в ней; сохранила она и названье[579]
Города, бьет себя в грудь своими же крыльями цапля.
Но небожителей всех и даже царицу Юнону
Старый свой гнев отложить побудила Энеева доблесть.
А между тем, укрепив молодого державу Иула,[580]
Предуготовленным стал для Олимпа герой Кифереин.
Стала богов обходить всеблагая Венера и, шею
Нежно обвив у отца, говорила: «Ко мне ты жестоким
Не был, отец, никогда, — будь ныне, молю, подобрее!
Дай ты Энею теперь моему, которому дедом
Стал ты по крови моей, божественность, пусть небольшую!
Лишь бы ты что-нибудь дал! Довольно того, что он видел
Раз тот мрачный предел и прошелся по берегу Стикса!»
Боги сочувствует все; и царицы-супруги недвижным
Не остается лицо; и она соглашается кротко.
«Оба, — отец говорит, — вы достойны небесного дара,
Тот, о ком просишь, и ты, просящая. Все ты получишь», —
Он провещал. В восторге она и отцу благодарна.
Вот по воздушным полям, голубиной влекомая стаей,
К брегу Лаврента спешит, где вьется, одет камышами,
К близкому морю стремясь речною волною, Нумикий.
Повелевает ему, что смерти подвластно, с Энея

Смыть и бесшумной волной все смытое вынести в море.
Рогоноситель приказ выполняет Венеры; что было
Смертного в сыне ее, своей очищает волною,
Что же осталось — кропит. Так лучшая доля — сохранна.
Преображенную плоть натирает она благовоньем,
Что подобает богам, и, амброзией с нектаром сладким
Уст коснувшись его, в божество превращает. Квириты
Бога зовут «Индигет», алтари ему строят и храмы.
После Аксаний владел — именован двояко — и Альбой,
И всей латинской землей. Ему же наследовал Сильвий.
Им порожденный Латин получил повторённое имя,
Также и скипетр. За ним знаменитым владыкой был Альба;
После Эпи́т; за ним Капе́т и Капи́д управляли,
Раньше, однако, Капид. Потом перешла к Тиберину
Власть. Он в тускской земле, в волнах утонувши потока,
Дал свое имя реке. От него же родился и Ремул
С Акротом буйным. Из них был Ремул старше годами;
Ремул от грома погиб, сам грома удару подобен.
Акрот царскую власть, поступая разумнее брата,
Храброму передает авентинцу. Лежит он зарытый
Там же, где царствовал он, на холме, его имя принявшем.
Прока[581] верховную власть над народом держал палатинским.
В те времена и Помона[582] жила. Ни одна из латинских
Гамадриад не блюла так усердно плодового сада
И ни одна не заботилась так о древесном приплоде.
Имя ее — от плодов.[583] Ни рек, ни лесов не любила;
Сёла любила она да с плодами обильными ветви.
Правой рукою не дрот, но серп искривленный держала;
Им подрезала она преизбыточность зелени или
Рост укрощала усов; подрезала кору и вставляла
Ветку в нее, чужеродному сок доставляя питомцу.
Не допускала она, чтобы жаждой томились деревья.
Вьющихся жадных корней водой орошала волокна.
Тут и занятье и страсть, — никакого к Венере влеченья!
Все же насилья боясь, от сельчан запирала девица
Доступ к плодовым садам; не пускала мужчин и боялась.

Что тут ни делали все, — мастера на скаканье, сатиры
Юные, или сосной по рогам оплетенные Паны,[584]
Даже Сильван,[585] что всегда своих лет моложавее, боги
Все, что пугают воров серпом или удом торчащим, —
Чтобы Помоной владеть? Однако же чувством любовным
Превосходил их Вертумн. Но был он не более счастлив.
Сколько он ей, — как у грубых жнецов полагается, — в кошах
Спелых колосьев носил — и казался жнецом настоящим!
Часто в повязке бывал из травы свежескошенной, словно
Только что сам он косил иль ряды ворошил; а нередко
С дышлом в могучей руке, — поклясться было бы можно,
Что утомленных волов из плуга он только что выпряг.
То подчищателем лоз, садоводом с серпом появлялся;
То на стремянку влезал, как будто плоды собирая;
Воином был он с мечом, с тростинкой бывал рыболовом.
Так он обличья менял и был ему доступ свободный
К деве, и вольно он мог веселиться ее созерцаньем.
Раз, наконец, обвязав себе голову пестрой повязкой,
С палкой, согнувшись, покрыв себе голову волосом белым,
Облик старухи приняв, он в холеный сад проникает
И, подивившись плодам, говорит: «Вот сила так сила!»
И, похвалив, ей несколько дал поцелуев, — однако
Так целовать никогда б старуха не стала! Садится
На бугорок и на ветви глядит с их грузом осенним.
Рядом был вяз и на нем — лоза в налившихся гроздьях;
Он одобряет их связь и жизнь совместную хвалит.
«Если бы ствол, — говорит, — холостым, без лозы, оставался,
Кроме лишь зелени, нам ничем бы он не был приятен.
Также и эта лоза, что покоится, связана с вязом,
Если б безбрачной была, к земле приклоненной лежала б.
Этого дерева ты не внимаешь, однако, примеру:
Брачного ложа бежишь, ни с кем сочетаться не ищешь.
Если бы ты пожелала! Сама не знавала Елена[586]
Стольких просящих руки, ни та, что когда-то лапифов
Вызвала бой, ни Улисса жена, смельчака среди робких.
Ныне, меж тем как бежишь и просящих тебя отвергаешь,

Тысяча ждет женихов, — и боги, и полубоги,
Все божества, что кругом населяют Альбанские горы.[587]
Ежели умная ты и желаешь хорошего брака,
Слушай старуху меня, потому что люблю тебя больше
Всех, не поверишь ты как! Не думай о свадьбах обычных,
Другом постели своей Вертумна ты выбери. Смело
Я поручусь за него, — затем, что себя он не знает
Лучше, чем я. Не странствует он где придется по миру,
Здесь он, и только, живет. Он не то, что обычно другие, —
Как увидал, так влюблен. Ты первым его и последним
Пламенем будешь. Тебе он одной посвятит свои годы.
Знай еще, что он юн, что его наградила природа
Даром красы, хорошо подражает он образам разным,
Что ни прикажешь, во все обратится он, если захочешь.
Вкус, не один ли у вас? Твои он плоды получает
Первый и с радостью дар из рук твоих разве не примет?
Но не желает уже он с деревьев твоих урожая,
С соками нежными трав, воспитанных садом тенистым, —
Кроме тебя, ничего! Над пылающим сжалься! Поверь же,
Все, что он просит, прошу за него я моими устами.
Мести побойся богов, — идалийки,[588] которая недруг
Жестких сердец, не гневи и злопамятной девы Рамнузской!
Чтоб увеличить твой страх, — ибо старость меня научила
Многому, — я расскажу о делах, известных на Кипре
Каждому, — легче тогда убедишься и сердцем смягчишься.
Анаксарету узрел, старинною тевкровой кровью
Знатную, Ифис, — а сам человек он был низкого рода.
Только ее он узрел — и весь загорелся любовью.
Долго боролся с собой, но когда увидал, что безумья
Разумом не победить, пришел, умоляя, к порогу.
Жалкое чувство свое он поведал кормилице: молит
Не отвергать его просьб, призывает питомицы имя.
К каждому он из рабов приближался со льстивою речью,
Голосом всех он просил, в тревоге, помочь доброхотно.
Часто свои поручал он признания нежным дощечкам,
Сам же в то время венки, орошенные влагою слезной,

Вешал на двери ее: простирал он на твердом пороге
Нежное тело свое и замок проклинал злополучный.
Анаксарета ж — глуха, как прибой при поднявшемся Австре,
Жестче железа она, что огонь закалил норикийский,[589]
Тверже, чем камень живой, покуда он с корня не сорван.
Все отвергает его и смеется — к жестоким поступкам
Гордые злобно слова добавляет; надеяться даже
Не позволяет ему; и не вытерпел длительной муки
Ифис и, став у дверей, произносит последнее слово:
«Ты победила меня! Отныне уже я не буду
Больше тебе докучать. Триумф свой радостный празднуй!
Ныне «пеан!» восклицай, увенчайся блистательным лавром!
Ты победила! — умру; веселись, о железное сердце!
Ты поневоле меня хоть похвалишь за что-нибудь; чем-то
Стану любезен тебе, мою ты признаешь заслугу.
Все же не раньше мое о тебе прекратится томленье,
Нежели кончится жизнь! Зараз двух светов лишусь я.
Но не устами молвы о моей известишься кончине, —
Чтобы сомнения снять, сам буду я здесь, пред тобою,
Пусть бездыханная плоть насытит жестокие очи!
Если ж, о Вышние, вы на людские взираете судьбы,
То вспомяните меня: просить уж язык мой не в силах
Большего. Сделайте так, чтобы долго меня вспоминали:
Жизнь мою славы лишив, вековечную дайте мне славу!»
Молвил; а сам к косякам, украшавшимся часто венками,
Влажные очи свои, подымая и бледные руки,
К притолоке он узлом тесьму привязал и, промолвив:
«По сердцу ль этот венок жестокой тебе и безбожной?» —
Голову вставил в тесьму, к любимой лицом обращенный;
И, опустившись, в петле злосчастная тяжесть повисла, —
И ударяема ног движением трепетным, словно
Стоном ответила дверь и, открывшись, ужасное дело
Свету явила. Рабы закричали. Подняв, его тело
К матери в дом отнесли, — отец к тому времени умер.
Та, прижимая к груди, обнимая холодные члены
Сына, сказала все то, что несчастным родителям впору,

Все совершила она, матерям что впору несчастным, —
Вот через город ведет плачевное шествие скорби,
Желтое тело к костру провожая на смертных носилках.
Дом находился как раз на пути прохожденья унылой
Этой процессии; звук ударов по груди до слуха
Анаксареты достиг, — бог Мститель ее беспокоил.
Молвит, однако: «Взгляну на печальный обряд!» — и в волненье
Всходит на вышку дворца, где открыты широкие окна.
Но увидала едва на носилках лежащее тело,
Окоченели глаза, побледнело лицо и из тела
Будто вся кровь отлилась. Попыталась обратно ногами
Переступить, — не могла. Головой повернуться хотела —
Тоже не в силах; уже занимает помалу все тело
Камень, что ранее был в бесчувственном сердце. Не думай,
Это не вымысел, нет: сохраняется статуя девы
На Саламине поднесь. Там есть и Венеры Смотрящей
Храм. Не забудь же о том, что слышала ты, моя нимфа, —
Долгую гордость откинь и с влюбленным — молю — сочетайся!
И да не тронет твоих мороз весенний плодовых
Завязей, да не стряхнет и цветов стремительный ветер!»
Бог, столь много пред ней понапрасну менявший обличий,
Сделался юношей вновь; старушечьи все он откинул
Приспособленья; таким пред нею явился, какое
Солнце бывает, когда лучезарно блистающим ликом
Вдруг победит облака и уже без препятствий сияет.
Хочет он силою взять; но не надобно силы. Красою
Бога пленилась она и взаимную чувствует рану.
Воин Амулий потом авсонийскою правил страною,
Прав не имея на то, и Нумитору-старцу вернули
Внуки державу его. Был в праздник Палилий[590] заложен
Град укрепленный. Но с ним старшины сабинов и Таций
Начали брань; и, в крепость открыв им доступ, Тарпейя[591]
Должную казнь приняла, раздавлена грудой оружья.
Курий сабинских сыны меж тем, как стихшие волки,
Голос зажали в устах, и готовы напасть на заснувших
Крепко людей, и стремятся к вратам, которые запер

Наглухо сам Илиад[592]. Одни лишь врата отомкнула
Дочь Сатурна и их повернула бесшумно на петлях.
Только Венера одна услыхала движенье засова.
Створу закрыла б она, да только богам невозможно
Дело богов пресекать. Близ Яна местами владели
Нимфы Авсонии, ток населяя ключа ледяного.
Их попросили помочь. Справедливой богининой просьбе
Нимфы не внять не могли. Потока подземные воды
Вывели тотчас из недр. Но ворота открытые Яна
Были доступны еще, загражден путь не был водою.
Вот под обильный родник подложили они желтоватой
Серы и в жилах пустых дымящий битум запалили.
Силой обоих веществ проникает в глубины истоков
Пар. Дерзавшие в спор вступить с альпийскою стужей,
Самому пламени вы теперь не уступите, воды!
Возле обеих дверей огненосные брызги дымятся.
Вот ворота, что не впрок для суровых доступны сабинов,
Новым ручьем преграждаются. В бой успевают собраться
Воины спавшие; их на сражение Ромул предводит.
Римская вскоре земля телами покрылась сабинов,
Также телами своих; и с кровью свежею зятя
Тестя горячую кровь смешал тут меч нечестивый.
Все же они предпочли брань миром окончить и спора
Лучше мечом не решать, и стал содержанствовать Таций.
После кончины его ты, Ромул, обоим народам
Равно законы давал, и Марс, свой шлем отлагая,
С речью такой обратился к отцу и бессмертных и смертных:
«Время, родитель, пришло, — поскольку на твердой основе
Римское дело стоит, от вождя одного не завися, —
Те обещанья, что мне ты давал и достойному внуку,
Выполнить и, от земли унеся, поместить его в небе!
Ты мне когда-то сказал при соборе Бессмертных, — я это
Помню, в памяти я словеса сохраняю святые! —
Будет один: его вознесешь к лазурям небесным.
Так ты сказал, и твои да исполнятся ныне вещанья!»
И Всемогущий кивнул и черными тучами небо

Скрыл, и от грома его и от молний был ужас во Граде.
Знаменье в этом признав, что дано ему сына похитить,
На колесницу взошел, опершись на копье, и кровавым
Дышлом коней тяготя, погнал их, бичом ударяя,
Неустрашимый Градив и, скоро спустясь по простору,
Остановил и сошел на лесистом холме Палатинском.
Перед народом своим отправлявшего суд государев
Он Илиада унес. В дуновеньях воздушных распалось
Смертное тело его, — так, мощною брошен пращею,
Обыкновенно свинец распадается в небе далёко.
Вид он прекрасный обрел, достойнейший трапез высоких, —
В новом он облике стал трабею носящим Квирином.
Видя, как, мужа лишась, Герсилия плачет, Юнона
Тотчас Ириде своей по дуге семицветной спуститься
К ней, одинокой, велит и такие слова передать ей:
«О, латинского ты и сабинского племени слава,
Жен всех лучше жена! Достойная раньше такого
Мужа, супругой теперь достойная зваться Квирина,
Слезы свои осуши! И если хочешь супруга
Видеть, за мною иди, к той роще, одевшей Квиринов
Холм, которою храм царя затеняется римлян!»
Повиновалась и, вниз по радуге снидя на землю,
Эту, как велено, речь Герсилии молвит Ирида.
Та застыдилась; едва подымая глаза, говорит ей:
«Ты, о богиня! Твое неизвестно мне имя, однако
Вижу богиню в тебе! — о, веди, о, веди и супруга
Взору яви моему! Коль судьбы даруют один лишь
Раз мне увидеть его, примирюсь, что взят он на небо!»
Сказано — сделано. Вот взошли с Тавмантестой Девой
Вместе на Ромулов холм. И вдруг перед ними на землю
С неба упала звезда. От света ее загоревшись,
С тою звездою взвились у Герсилии волосы в небо.
В руки, знакомые ей, там принял жену основатель
Римского града, сменил он и тело ее и прозванье:
Горою стал величать, споклоняемой богу Квирину.

КНИГА ПЯТНАДЦАТАЯ

Нума, Алемонид и Мискел (1—59); учение Пифагора (60—478); Эгерия, Ипполит-Вирбий (479—551); Тагей, Кип (552—621); Эскулап (622—744); Юлий Цезарь (745—870); заключение (871—879).

Но возникает вопрос, кто б мог столь великого груза
Бремя нести и такого царя унаследовать скипетр.
Первый в решеньях тогда — глас общий народа — назначил
Славного Нуму. Ему недостаточно было, однако,
Ведать сабинов устав; он широкой душою иного
Жаждал — начал искать о природе вещей наставлений.
Новой заботой влеком, родные он Курии бросил;
В город направился тот, Геркулеса когда-то принявший.
И на вопрос его, кто был греческих стен становитель
На италийских брегах, ответил один из старейших
Жителей тамошних мест, старинные помнивший годы:
Есть преданье, что сын богатый Юпитера с моря
На иберийских конях к берегам Лакиния прибыл
Счастливо; стали бродить по мягким стада луговинам,
Сам же в дом он вошел к Кротону, под гостеприимный
Кров и по долгим трудам вкушал там заслуженный отдых.
А уходя, предсказал: «Со временем будет построен
Город внуками здесь», — и были верны предсказанья.
Некогда в Аргосе жил рожденный Алéмоном некто
Мискел, — в те времена олимпийцам любезнейший смертный.
Раз, наклонившись над ним, отягченным тяжелой дремотой,
Палиценосец сказал: «Оставь-ка родные пределы,
К дальнему Эзару путь держи, к каменистому устью!»
Если ж не внимет приказ, угрожал ему многим и страшным,
И одновременно прочь и виденье и сон отлетели.
Алемонид поднялся и с притихшей душой вспоминает
Сон, и борются в нем два разные долго решенья:
Бог велит уходить, а законы уйти запрещают, —
Смертною казнью казнят пожелавшего родины новой.

Светлое солнце главу лучезарную спрятало в море,
Ночь же главу подняла, венчанную звезд изобильем.
Бог появляется вновь и свои повторяет веленья;
Если ж не внимет приказ, — грозит ему большим и худшим.
Мискела страх обуял, и решил он родимых пенатов
К новым местам перенесть; возник тут в городе ропот,
И обвиняли его в нарушенье закона. Дознанье
Кончили судьи; вина без свидетелей всем очевидна.
К вышним тогда обратил и уста и ладони несчастный:
«О, по веленью небес двенадцать трудов совершивший,
Ныне молю, — помоги! Ведь ты — преступленья виновник».
Древний обычай там был, по камешкам белым и черным,
Брошенным в урну, решать, казнить или миловать должно.
Вынесли и на сей раз решенье печальное: черный
Камешек всеми подряд опускается в грозную урну.
Но, для подсчета камней лишь ее опрокинули, видят, —
Всех до единого цвет из черного сделался белым!
Белых наличье камней оправдательных — дар Геркулеса —
Алемонида спасло. Отца он Амфитриона
Благодарит и плывет Ионийским морем с попутным
Ветром;[593] уже и Тарент минует он лакедемонский,
Уж Сибарид в стороне остается, Нерет салентинский,
Также Турнийский залив и Темеса и Япига нивы.
Все эти земли пройдя, берегов не теряя из виду,
Мискел нашел наконец вещаньем указанный Эзар.
Неподалеку был холм, — святые Кротоновы кости
Там покрывала земля. Он в этой земле по веленью
Стены возвел и нарек Кротоновым именем город.
Верным преданием так утверждается место, где новый
Город греками был в италийских основан пределах.
Был здесь из Самоса муж. Однако он Самос покинул,
С ним и самосских владык. Ненавидя душой тиранию,
Сам он изгнанье избрал. Постигал он высокою мыслью
В далях эфира — богов; все то, что природа людскому
Взору узреть не дает, увидел он внутренним взором.
То же, что духом своим постигал он с бдительным тщаньем,

Все на потребу другим отдавал, и толпы безмолвных,
Дивным внимавших словам — великого мира началам,
Первопричинам вещей, — пониманью природы учил он:
Что есть бог; и откуда снега; отчего происходят
Молнии — бог ли гремит иль ветры в разъявшихся тучах;
Землю трясет отчего, что движет созвездия ночи;
Все, чем таинственен мир. Он первым считал преступленьем
Пищу животную. Так, уста он ученые первый
Для убеждений таких разверз, — хоть им и не вняли:
«Полноте, люди, сквернить несказанными яствами тело!
Есть на свете и хлеб, и плоды, под которыми гнутся
Ветви древесные; есть и на лозах налитые гроздья;
Сладкие травы у вас, другие, что могут смягчиться
И понежнеть на огне, — у нас ведь никто не отымет
Ни молока, ни медов, отдающих цветами тимьяна.
Преизобилье богатств земля предлагает вам в пищу
Кроткую, всем доставляет пиры без буйства и крови.
Звери — те снедью мясной утоляют свой голод; однако
Звери не все: и конь и скотина травою лишь живы.
Те ж из зверей, у кого необузданный нрав и свирепый, —
Тигры, армянские львы с их злобой горячей, медведи,
Волки лютые — тех кровавая радует пища.
Гнусность какая — ей-ей! — в утробу прятать утробу!
Алчным телом жиреть, поедая такое же тело,
Одушевленному жить умерщвлением одушевленных!
Значит, меж стольких богатств, что матерью лучшей, землею,
Порождены, ты лишь рад одному: плоть зубом жестоким
Рвать на куски и терзать, возрождая повадки Циклопов?
Значит, других не губя, пожалуй, ты даже не мог бы
Голод умиротворить неумеренно жадного чрева?
Древний, однако же, век, Золотым называемый нами,
Только плодами дерев да травою, землей воспоенной,
Был удовольствован; уст не сквернил он животною кровью.
Птицы тогда, не боясь, безопасно летали под небом
И по просторам полей бродил неопасливо заяц;
За кровожадность свою на крюке не висела и рыба.

Не было вовсе засад, никто не боялся обмана,
Все было мирно тогда. Потом, меж смертными первый, —
Кто — безразлично — от той отвратился еды и впервые
В жадное брюхо свое погружать стал яства мясные.
Он преступлению путь указал. Зверей убиеньем
Часто бывал и дотоль согреваем клинок обагренный.
Не было в этом вины: животных, которые ищут
Нас погубить, убивать при всем благочестии можно, —
Именно лишь убивать, но не ради же чревоугодья!
Дальше нечестье пошло; и первою, предполагают,
Жертвою пала свинья за то, что она подрывала
Рылом своим семена, пресекая тем года надежду.
После козел, объедавший лозу, к алтарю приведен был
Мстителя Вакха: двоим своя же вина повредила.
Чем провинились хоть вы, скот кроткий, овцы, на пользу
Людям рожденные, им приносящие в вымени нектар?
Овцы, дающие нам из собственной шерсти одежды,
Овцы, жизнью своей полезные больше, чем смертью?
Чем провинились волы, существа без обмана и злобы, —
Просты, безвредны всегда, рождены для труда и терпенья?
Неблагодарен же тот, недостоин даров урожая,
Кто, вола отрешив от плуга кривого, заколет
Пахаря сам своего; кто работой натертые шеи,
Коими столько он раз обновлял затвердевшую ниву,
Столько и жатв собирал, под ударом повергнет секиры!
Мало, однако, того, что вершится такое нечестье, —
В грех вовлекли и богов; поверили, будто Всевышний
Трудолюбивых быков веселиться может закланью!
Жертва, на ней ни пятна, наружности самой отменной, —
Пагубна ей красота! — в повязках и золоте пышном
У алтаря предстоит и, в незнанье, молящему внемлет;
Чувствует, как на чело, меж рогов, кладут ей колосья, —
Ею возделанный хлеб, — и, заколота, окровавляет
Нож, который в воде, быть может, приметить успела.
Тотчас на жилы ее, изъяв их из тела живого,
Смотрят внимательно, в них бессмертных намеренья ищут!

И почему человек столь жаждет еды запрещенной?
Так ли себя насыщать вы дерзаете, смертные? Полно!
О, перестаньте, молю. Прислушайтесь к добрым советам!
Если кладете вы в рот скотины заколотой мясо,
Знайте и чувствуйте: вы своих хлебопашцев едите.
Бог мне движет уста, за движущим следовать богом
Буду, как то надлежит. Я Дельфы свои вам открою,[594]
Самый эфир, возвещу я прозренья высокого духа;
Буду великое петь, что древних умы не пытали,
Скрытое долго досель. Пройти я хочу по высоким
Звездам; хочу пронестись, оставивши землю, обитель
Косную, в тучах; ступать на могучие плечи Атланта.
Розно мятущихся душ, не имеющих разума, сонмы
Издали буду я зреть. Дрожащих, боящихся смерти,
Ныне начну наставлять и сýдеб чреду им открою.
О человеческий род, страшащийся холода смерти!
Что ты и Стикса, и тьмы, что пустых ты боишься названий, —
Материала певцов, — воздаяний мнимого мира?
Ваши тела — их сожжет ли костер или время гниеньем
Их уничтожит — уже не узнают страданий, поверьте!
Души одни не умрут; но вечно, оставив обитель
Прежнюю, в новых домах жить будут, приняты снова.
Сам я — помню о том — во время похода на Трою
Сыном Панфеевым был Эвфорбом,[595] которому прямо
В грудь засело копье, направлено младшим Атридом.
Щит я недавно узнал, что носил я когда-то на шуйце, —
В храме Юноны висит он в Абантовом Аргосе ныне.
Так: изменяется все, но не гибнет ничто и, блуждая,
Входит туда и сюда; тела занимает любые
Дух; из животных он тел переходит в людские, из наших
Снова в животных, а сам — во веки веков не исчезнет.
Словно податливый воск, что в новые лепится формы,
Не пребывает одним, не имеет единого вида,
Но остается собой, — так точно душа, оставаясь
Тою же, — так я учу, — переходит в различные плоти.
Да не поддастся же в вас благочестие — жадности чрева!

О, берегись, говорю, несказанным убийством родные
Души из тел изгонять! Пусть кровь не питается кровью.
Раз уж пустился я плыть по открытому морю и ветром
Парус напружен, — скажу: постоянного нет во вселенной,
Все в ней течет — и зыбок любой образуемый облик.
Время само утекает всегда в постоянном движенье,
Уподобляясь реке; ни реке, ни летучему часу
Остановиться нельзя. Как волна на волну набегает,
Гонит волну пред собой, нагоняема сзади волною, —
Так же бегут и часы, вослед возникая друг другу,
Новые вечно, затем что бывшее раньше пропало,
Сущего не было, — все обновляются вечно мгновенья.
Видишь, как, выйдя из вод, к рассвету тянутся ночи,
Ярко сияющий день за черною следует ночью.
Цвет не один у небес в то время, как, сковано дремой,
Все в утомлении спит; иль в час, когда Светоносец
Всходит на белом коне; тогда ли, когда на рассвете
Паллантиада весь мир, чтобы Фебу вручить, обагряет.
Даже божественный щит, подымаясь с земли преисподней,
Ал, возникая, и ал, скрываясь в земле преисподней,
Но белоснежен вверху затем, что природа эфира
Благоприятнее там и далеко земная зараза.
Также Дианы ночной не может остаться единым
Облик, меняется он постоянно со сменою суток:
Месяц растущий крупней, а месяц на убыли — меньше.
Что же? Не видите ль вы, как год сменяет четыре
Времени, как чередом подражает он возрастам нашим?
Маленький он, сосунок, младенческим летам подобен
Ранней весной; ярка и нежна, еще сил не набравшись,
Полнится соком трава, поселян услаждая надеждой;
Все в это время цветет; в цветах запестрел, улыбаясь,
Луг благодатный; но нет еще в зелени зрелости должной.
В лето потом переходит весна, в могучую пору;
Сильным стал юношей год, — мощнее нет времени года,
Нет плодовитей его, бурнее в году не бывает.
Осень наступит затем, отложившая юную пылкость,

Зрелая, кроткая; год — не юноша, но и не старец —
Станет умерен, — меж тем виски сединою кропятся.
После старуха зима приближается шагом дрожащим,
Вовсе волос лишена иль с седыми уже волосами…
Также и наши тела постоянно, не зная покоя,
Преобращаются. Тем, что были мы, что мы сегодня,
Завтра не будем уже. Был день, мы семенем были
И — лишь намек на людей — обитали у матери в лоне.
Руки искусные к нам приложила природа; и, видя,
Что утесняется плод беременной матери чревом,
Скрытые в нем, в воздушный простор их выводит из дома.
Вот, появившись на свет, лежит без силы младенец;
Четвероногий почти, как зверь, влачит свои члены.
Вот понемногу, дрожа, на ступне, пока не окрепшей,
Начал стоять, но еще поддержки требует. Вскоре
Он уже силен и скор. Но поприще юности краткой
Пройдено. Вот и года миновали срединные также,
И по наклону уже несется он к старости шаткой.
Жизнь подрывает она; разрушаются прежние силы.
Старый заплакал Милон,[596] увидев, что стали бессильны
Мощные руки его, что, дряблые, виснут, — когда-то
Тяжкою крепостью мышц с Геркулесовой схожие дланью.
Плачет и Тѝндара дочь, старушечьи видя морщины
В зеркале; ради чего — вопрошает — похищена дважды?
Время — свидетель вещей — и ты, о завистница старость,
Все разрушаете вы; уязвленное времени зубом,
Уничтожаете все постепенною медленной смертью.
Не пребывает и то, что мы называем стихией.
Вас научу измененьям стихий, приготовьте вниманье.
Вечный содержит в себе четыре зиждительных тела
Мир. Два тела из них отличаются тяжестью, в область
Нижнюю их — то земля и вода — все собственный тянет.
У остальных же у двух нет веса, ничто не гнетет их;
Воздух летит в высоту и огонь, что воздуха чище.
И хоть далеко они отстоят друг от друга, однако
Все происходит из них и в них же все возвратится.

Чистую воду земля испаряет, редея в просторе,
Воздухом станет вода; а воздух, тяжесть утратив,
Сам растворившись еще, вновь вышним огнем засверкает.
Все обращается вспять, и круг замыкается снова.
Ибо, сгущаясь, огонь вновь в воздух густой переходит,
Воздух — в воду; земля из воды происходит сгущенной.
Не сохраняет ничто неизменным свой вид; обновляя
Вещи, одни из других возрождает обличья природа.
Не погибает ничто — поверьте! — в великой вселенной.
Разнообразится все, обновляет свой вид; народиться —
Значит начать быть иным, чем в жизни былой; умереть же —
Быть, чем был, перестать; ибо все переносится в мире
Вечно туда и сюда: но сумма всего — постоянна.
Мы полагать не должны, что длительно что-либо может
В виде одном пребывать: от Железного так к Золотому
Вы перешли, о века; так и мест меняются судьбы;
Зрел я: что было землей крепчайшею некогда, стало
Морем, — и зрел я из вод океана возникшие земли.
От берегов далеко залегают ракушки морские,
И на верхушке горы обнаружен был якорь древнейший:
Поле весенний поток, стремясь, обращает в долину;
Видел и то, как гора погрузилась от паводка в море.
Прежде болотистый край высыхает пустыней песчаной;
Жажду терпевший меж тем от болота стоячего влажен.
Новые здесь родники исторгает природа, другим же
Путь закрывает она; в содроганиях древнего мира
Множество рек полилось, но как их засыпалось много![597]
Также и Лик, например, зиянием почвенным выпит,
Снова выходит вдали, из иного родится истока.
Так, то вбираем землей, то опять исторгаем из бездны,
Мощный поток Эразин возвращен арголийской равнине.
Передают, что и Миз, наскучив своим исхожденьем
И берегами, течет по-иному и назван Каиком.
Там же теперь Аменан пески сицилийские катит
Волнами, а иногда, лишившись источников, сохнет.
Воду Анигра-реки все пили когда-то, теперь же

Не пожелают вкусить, с тех пор как — если хоть малость
Все-таки можно певцам доверять — в них мыли кентавры
Раны, что луком нанес Геркулес им Палиценосец.
Что ж? А Гипанис-река, в горах возникающий скифских,
Пресный сначала, потом не испорчен ли солью морскою?
Волнами были кругом охвачены Тир финикийский,
Фар и Антисса; из них ни один уже ныне не остров.
Материковой была для насельников древних Левкада, —
Ныне — пучины кругом. Говорят, и Занклея смыкалась
Прежде с Италией, но уничтожило море их слитность
И, оттолкнув, отвело часть суши в открытое море.
Ежели Буру искать и Гелику, ахейские грады, —
Их ты найдешь под водой; моряки и сегодня покажут
Мертвые те города с погруженными в воду стенами.
Некий находится холм у Трезены Питфеевой, голый.
Вовсе лишенный дерев, когда-то равнина, всецело
Плоская, ныне же — холм. Ужасно рассказывать: ветры,
Сильны и дики, в глухих заключенные недрах подземных,
Выход стремясь обрести, порываясь в напрасном усилье
Вольного неба достичь и в темнице своей ни единой
Щели нигде не найдя, никакого дыханью прохода,
Землю раздули холмом; подобно тому как бычачий
Ртом надувают пузырь иль мех, который сдирают
С зада пасущихся коз. То вздутье осталось и ныне,
Смотрит высоким холмом и за много веков отвердело.
Много примеров тому, известных иль слышанных вами, —
Несколько лишь приведу. А разве вода не меняет
Наново свойства свои? Средь дня, о Аммон[598] рогоносный,
Струи студены твои, на заре и закате — горячи.
Передают, что древесный кусок от воды Атаманта
Вдруг загорается в дни, когда лунный ущерб на исходе.
Есть у киконов река, — коль испить из нее, каменеют
Сразу кишки; от нее покрываются мрамором вещи.
Кратид-река и Сибара, полям пограничная нашим, —
Те придают волосам с янтарем и золотом сходство.
Но удивительно то, что такие встречаются воды,

Свойство которых — менять не только тела, но и души.
Кто не слыхал про родник Салмакиды с водой любострастной?
Или про свойство озер эфиопских? Кто выпьет глоток их,
Бесится или же в сон удивительно тяжкий впадает.
Если же кто утолит из криницы Клитория жажду,
Недругом станет вина и к чистой воде пристрастится, —
То ли противная в ней вину горячащему сила,
То ль Амита́она сын, по преданиям жителей местных,
После того, как унял он неистовство Пре́тид безумных
Помощью трав и заклятий, потом очищения средства
В воду криницы метнул, — с тех пор ей вино ненавистно.
Свойство иное совсем у воды из Линкестия. Если
Кто-нибудь станет ее пропускать неумеренно в горло,
То закачается так, будто цельным вином опьянился.
Есть в аркадской земле водоем — Фенеон у древнейших —
С двойственной странно водой, которой ночами страшитесь!
Ночью вредна для питья; днем пить ее можно безвредно.
Так у озер и у рек встречаются те иль другие
Разные свойства. Был век — Ортигия плавала в море,
Ныне ж на месте стоит. Аргонавтов страшили когда-то
Сшибкою пенистых волн разнесенные врозь Симплегады, —
Ныне недвижны они и способны противиться ветрам.
Так же, горящей теперь горнилами серными, Этне
Огненной вечно не быть: не была она огненной вечно.
Если земля — это зверь, который живет и имеет
Легкие, в разных местах из себя выдыхающий пламя, —
Может дыханья пути изменить он, особым движеньем
Щели одни запереть, а другие открыть для прохода.
Ныне пусть в недрах земли запертые летучие ветры
Мечут скалу о скалу и материю, что заключает
Пламени семя, она ж порождает огонь, сотрясаясь, —
Недра остынут, едва в них ветры, смирившись, затихнут.
Если же быстрый пожар вызывается мощною лавой,
Желтая ль сера горит незаметно струящимся дымом, —
Время придет все равно, и земля уже снеди богатой
Не предоставит огню, истощит она силы за век свой,

И недостанет тогда пропитания алчной природе,
Голод не стерпит она и, заброшена, пламя забросит.
В Гиперборейском краю, говорят, есть люди в Паллене, —
Будто бы тело у них одевается в легкие перья,
Стоит лишь девять им раз в озерко погрузиться Тритона.
Впрочем, не верю я в то, что женщины скифские, ядом
Тело себе окропив, достигают такого ж искусства.
Но ведь должны доверять мы явленьям, доказанным точно:
Ты не видал, как тела, полежав в растопляющем зное,
Мало-помалу загнив, превращаются в мелких животных?
Сам ты попробуй, зарой бычачью, по выбору, тушу;
Дело известное всем: из гниющей утробы родятся
Пчел-медоносиц рои; как их произведший родитель,
В поле хлопочут, им труд по душе, вся забота их — завтра.
Шершней воинственный конь порождает, землею засыпан.
Если округлых клешней ты лишишь прибрежного краба,
А остальное в земле погребешь, то из части зарытой
Выйдет на свет скорпион, искривленным хвостом угрожая.
Знаем и гусениц, лист оплетающих нитью седою;
Так же и эти — не раз то жители сел наблюдали —
Вид свой меняют потом, в мотылей превращаясь могильных.
Тина из скрытых семян производит зеленых лягушек.
Их производит без лап; для плаванья годные ноги
Вскоре дает; чтоб они к прыжкам были длинным способны,
Задние лапы у них крупней, чем передние лапы.
И медвежонок: родясь, он первые дни еле-еле
Жив, он лишь мяса кусок, — но мать его лижет и членам
Форму дает, и малыш получает медвежью наружность.
Иль не видал ты, как пчел медоносных приплод, заключенный
В шестиугольных домах восковых, без членов родится,
Как он и лапы поздней, и крылья поздней получает?
Птица Юноны сама, на хвосте носящая звезды,
Голубь Венеры и сам Юпитера оруженосец,
Птицы пернатые все из яичной середки родятся, —
В это поверит ли кто? Кто, зная, тому не поверит?
Мнение есть, что, когда догниет позвоночник в могиле,

Мозг человека спинной в землю́ превратится. Однако
Все эти твари одна от другой приемлют зачатки;
Только одна возрождает себя своим семенем птица:
«Феникс» ее ассирийцы зовут; не травою, не хлебом, —
Но фимиама слезой существует и соком амома.
Только столетий он пять своего векованья исполнит,
Тотчас садится в ветвях иль на маковку трепетной пальмы.
Клювом кривым и когтями гнездо себе вить начинает.
Дикой корицы кладет с початками нежного нарда,
Мятый в гнездо киннамон с золотистою миррою стелет.
Сам он ложится поверх и кончает свой век в благовоньях.
И говорят, что назначенный жить век точно такой же,
Выйдя из праха отца, возрождается маленький Феникс.
Только лишь возраст ему даст сил для поднятия груза,
Сам он снимает гнездо с ветвей возвышенной пальмы,
Благочестиво свою колыбель и отцову могилу
Взяв и чрез вольный простор в Гипери́она город донесшись,
Дар на священный порог в Гипери́она храме слагает.
Если мы в этом нашли небывалый предмет удивленья, —
То подивимся еще на гиену в ее переменах:
Жил гиена-самец — став самкой, самца подпускает!
Или животное то, чье питание воздух и ветер, —
Что ни коснется его, всему подражает окраской![599]
Рысей, как дань, принесла лозоносному Индия Вакху:
Передают, что у них всегда превращается в камень
То, что испустит пузырь, и на воздухе затвердевает.
Также кораллы: они, когда прикоснется к ним воздух,
Тоже твердеют, — в воде они были растением мягким!
Раньше окончится день, погрузит запыхавшихся ко́ней
В море глубокое Феб, чем я перечислю в рассказе
Все, что меняет свой вид. С течением времени так же, —
Мы наблюдаем, — одни становятся сильны народы,
Время другим — упадать. И людьми и казною богата,
Могшая десять годов лить кровь в таком изобилье,
Падшая, ныне лежит в развалинах древняя Троя,
Вместо стольких богатств — могильные прадедов хо́лмы.

Спарта преславна была; великими были Микены;
Кекропа крепость цвела; и твердыня Амфиона тоже, —
Ныне же Спарта пустырь; высокие пали Микены;
Что, коль не сказка одна, в настоящем Эдиповы Фивы?
И не названье ль одно Пандионовы ныне Афины?
Ныне молва говорит, что подъемлется Рим дарданийский.
Расположившись у вод Апеннинорожденного Тибра,
Строя громаду свою, основанья кладет государства.
Он изменяет свой вид, возрастая, и некогда станет
Целого мира главой; говорили об этом пророки,
Голос гаданий таков. Насколько я помню, Энею,
Лившему слезы, в свое переставшему верить спасенье,
Молвил Гелен Приамид во время погибели Трои:
«Отпрыск богини! Коль ты доверяешь моим предсказаньям,
Знай, не всецело падет, при твоем вспоможении, Троя!
Меч и огонь не задержат тебя; уйдешь, и с собою
Пергама часть унесешь, а потом для тебя и для Трои
Поприще в чуждой земле дружелюбной отчизною станет.
Вижу столицу уже, что фригийским назначена внукам.
Нет и не будет такой и в минувшие не было годы!
Знатные годы ее возвеличат, прославят столетья.
Но в госпожу государств лишь от крови Иула рожденный[600]
Сможет ее возвести. Им после земли взвеселятся
Божьи хоромы — эфир, небеса ему будут скончаньем!»
Все, что Энею Гелен, пенатов блюстителю, молвил, —
В памяти я сохранил, — и радостно мне, что все выше
Стены, что впрок для врагов победили фригийцев пеласги!
Но не дадим же коням позабывшимся дальше стремиться
К мете своей! Небеса изменяют и все, что под ними,
Форму свою, и земля, и все, что под ней существует.
Так — часть мира — и мы, — затем, что не только мы тело,
Но и летунья душа, — которая может проникнуть
После в звериный приют и в скотское тело укрыться, —
Эти тела, что могли б содержать и родителей души,
Братьев иль душу того, с кем некий союз нас связует, —
Так иль иначе — людей, — оставим же в мире и чести!

Недра не станем себе набивать пированьем Тиеста![601]
Как приобщается злу, нечестивый, и кровь человечью
Тот готов проливать, кто горло теленка пронзает
Острым ножом и мычанью его равнодушно внимает!
Или же тот, кто козла не смутится зарезать, который
Плачет притом, как дитя? Есть птицу, которую сам же
Только что хлебом кормил? От худшего из преступлений
Это далеко ль ушло? Как служит к нему переходом!
Вол пусть пашет, пусть он умирает, состарившись мирно!
Пусть доставляет овца от Бореева гнева защиту!
Пусть же козы свое подставляют нам вымя для дойки!
Всякие сети, силки, западни, все хитрости злые
Бросьте! Клейким прутом в обман не вводите пернатых
И оперенным шнуром не гоните оленя в облаву!
Загнутых острых крючков не прячьте в обманчивом корме.
Вредных губите одних; однако же только губите:
Да отрешатся уста, да берут себе должную пищу!»
Этой и многой другой наполнив мудростью сердце,
Как говорят, возвратился к себе и по просьбе всеобщей
Принял правленья бразды над народами Лация — Нума.
Нимфы счастливой супруг, Камен внушеньем ведомый,
Жертв он чин учредил, и племя, привыкшее раньше
Только к свирепой войне, занятиям мирным наставил.
Старцем глубоким уже он державство и век свой окончил, —
Жены, народ и отцы, оплакал весь Лаций кончину
Нумы; супруга его, оставивши град, удалилась
В дол арикийский и там, в густых укрываясь чащобах,
Плачем и стоном своим Дианы Орестовой[602] культу
Стала мешать. Ах! Ей и дубравы, и в озере нимфы
Часто давали совет перестать и слова утешенья
Молвили! Сколько ей раз средь слез сын храбрый Тезея, —
«О, перестань! — говорил, — судьба не твоя лишь достойна
Плача. Кругом посмотри на несчастья с другими — и легче
Перенесешь ты беду. О, если бы сам в утешенье
Мог я примером тебе не служить! Пример я, однако.
Слух, наверно, до вас о неком достиг Ипполите,

Жестокосердьем отца и кознями мачехи гнусной
Преданном смерти. О да, удивишься, — и трудно поверить! —
Все-таки я — это он. Меня Пасифаида когда-то,
Тщетно пытавшись склонить к осквернению отцовского ложа,
В том, что желалось самой, обвинила и, грех извращая, —
То ли огласки боясь, в обиде ль, что я непреклонен, —
Оклеветала. Отец невинного выгнал из града,
И на челе у меня тяготело отцово проклятье.
На колеснице — беглец — спешу я в Трезену, к Питфею.
И проезжал я уже прибрежьем Коринфского моря, —
Вдруг как подымется вал! Из него водяная громада
Целой загнулась горой, на глазах возрастала, мычанье
Вдруг из нее раздалось, и верхушка ее раскололась.
Бык круторогий тогда из разъятой явился пучины, —
Вровень груди из вод подымался в ласкающий воздух.
Моря струю из ноздрей изрыгал и из пасти широкой.
Спутников пали сердца, — я душой оставался бесстрашен,
Полон изгнаньем своим, — как вдруг мои буйные кони
Поворотили к волнам и, прядая в страхе ушами,
В страхе не помня себя, приведенные чудищем в ужас,
Прямо на скалы несут, — и я понапрасну стараюсь
Править зверями, держать убеленные пеною вожжи;
Сам отклонясь, натянуть ремни ослабевшие силюсь.
Мощи моей одолеть не могло бы неистовство коней,
Если бы вдруг колесо, в неустанном вкруг оси вращенье,
Не зацепилось за ствол и, упав, на куски не разбилось:
Миг — и я выброшен был. Ногами запутавшись в вожжи,
Мясо живое влачу, за кусты зацепляются жилы,
Часть моих членов при мне, а часть оторвана членов;
Кости разбиты, стучат; ты увидела б, как истомленный
Мой исторгается дух; ни одной не могла бы ты части
Тела уже распознать: все было лишь раной сплошною.
Можешь ли, смеешь ли ты сопоставить свое злополучье,
Нимфа, с моею бедой? Я видел бессветное царство,
Во Флегетона волну погружался истерзанным телом!
Если б не сила врача, Аполлонова сына искусство,

Не возвратилась бы жизнь. Когда ж от могущества зелий —
Хоть и досадовал Дит — я с помощью ожил Пеана, —
То чтобы с даром таким, там будучи, не возбуждал я
Зависти большей, густым меня Кинтия облаком скрыла;
И, чтобы я в безопасности жил, безнаказанно видим,
Возраста мне придала и сделала так, чтобы стал я
Неузнаваем. Она сомневалась, на Крит ли отправить
Или на Делос меня; но и Делос и Крит отменила
И поселила вот здесь; лишь имя, могущее кóней
Напоминать, повелела сменить: «Ты был Ипполитом, —
Молвила мне, — а теперь будь Вирбием — дважды рожденным!»
В этой я роще с тех пор и живу; божество я из меньших;
Волею скрыт госпожи, к ее приобщился служенью».
Горя Эгерии все ж облегчить не в силах чужие
Бедствия; так же лежит под самой горой, у подножья,
Горькие слезы лия. Наконец, страдалицы чувством
Тронута, Феба сестра из нее ледяную криницу
Произвела, превратив ее плоть в вековечные воды.
Тронула нимф небывалая вещь. И сын Амазонки
Столь же был ей потрясен, как некогда пахарь тирренский,
В поле увидевший вдруг ту глыбу земли, что внезапно,
Хоть не касался никто, шевельнулась сама для начала,
Вскоре же, сбросив свой вид земляной, приняла человечий,
После ж отверзла уста для вещания будущих судеб.
Местные жители звать его стали Тагеем, и первый
Дал он этрускам своим способность грядущее видеть;
Или как Ромул, — когда увидал он копье, что торчало
На Палатинском холме, покрывшемся сразу листвою;
Что не железным оно острием, а корнями вцепилось,
Что не оружье уже, но дерево с гибкой лозою
Эту нежданную тень доставляет дивящимся людям;
Или как Кип, увидавший рога на себе в отраженье
Глади речной; увидал он рога и, подумав, что ложный
Образ морочит его, лоб трогал снова и снова, —
Вправду касался рогов. И глаза обвинять перестал он,
Остановился, — а шел победителем с поля сраженья, —

К небу возвел он глаза, одновременно поднял и руки.
«Вышние! Что, — он сказал, предвещается чудом? Коль радость,
—
Радость родину пусть и квиринов народ осчастливит!
Если ж грозит — пусть мне!» И алтарь сложил он из дерна.
Он свой алтарь травяной почитает огнем благовонным;
Льет и патеры вина; убитых двузубых овечек,
Истолкованья ища, пытает трепещущий потрох.
Начал разглядывать жертв нутро волхователь тирренский,
И очевидна ему превеликая бездна событий —
Все же неявственных. Тут, приподнявши от жертвенной плоти
Острые взоры свои, на рога он на Киповы смотрит,
Молвя: «Здравствуй, о царь! Тебе, да, тебе подчинятся,
Этим державным рогам — все место и Лация грады!
Только не медли теперь, входи, открыты ворота;
Поторопись: так велит судьба; ибо, принятый Градом,
Будешь ты царь, и навек безопасен пребудет твой скипетр».
Кип отступает назад, от стен городских отвращает
В сторону взоры свои, — «Прочь, прочь предвещания! — молвит,
—
Боги пусть их отвратят! Справедливее будет в изгнанье
Мне умереть, — но царем да не узрит меня Капитолий!»
Молвил он так; народ и сенат уважаемый тотчас
Созвал; однако рога миротворным он лавром сначала
Скрыл; а сам на бугор, насыпанный силами войска,
Стал и, с молитвой к богам обратясь по обычаям предков, —
«Есть тут один, — говорит, — коль из Града не будет он изгнан,
Станет царем. Не назвав, его покажу по примете:
Признаком служат рога, его вам укажет гадатель,
Ежели в Рим он войдет, вас всех обратит он в неволю!
Он в ворота меж тем отворенные может проникнуть,
Но воспрепятствовал я, хоть самый он близкий, пожалуй,
Мне человек; вы его изгоните из Града, квириты,
Или, коль стоит того, заключите в тяжелые цепи,
Иль поборите свой страх, умертвив рокового владыку!»
Ропщут по осени так подобравшие волосы сосны,

Только лишь Эвр засвистит; у волнения в море открытом
Рокот бывает такой, — коль издали с берега слушать;
Так же шумит и народ. Но тут, сквозь речи кричащей
Смутно толпы, раздался вдруг голос отдельный: «Да кто ж он?»
Стали разглядывать лбы, рогов упомянутых ищут.
Снова им Кип говорит: «Вы знать пожелали, — смотрите!»
И, хоть народ не давал, венок с головы своей снял он
И указал на чело с отличьем особым — рогами.
Все опустили глаза, огласилося стоном собранье.
И неохотно они на достойную славы взирали
Кипа главу (кто поверить бы мог?), но все ж обесчестить
Не допустили его и снова венком увенчали.
Знатные люди, о Кип, раз в стены войти ты боялся.
Дали с почетом тебе деревенской земли, по обмеру,
Сколько ты мог обвести с запряженными в пару волами
Плугом тяжелым своим, на восходе начав, до захода,
И водрузили рога над дверью, украшенной бронзой,
Чтобы на веки веков хранить удивительный образ.
Ныне поведайте нам, о Музы, богини поэтов, —
Ибо вы знаете все, и древность над вами бессильна, —
Как Кориниду вписал, руслом обтекаемый Тибра
Остров, в список святынь утвержденного Ромулом Града.
Некогда пагубный мор заразою в Лации веял,
Бледное тело людей поражала бескровная немочь;
От погребений устав и увидя, что смертные средства
Не приведут ни к чему, ни к чему и искусство лечащих,
Помощи стали просить у небес и отправились в Дельфы,
Где средоточье земли, и явились в гадалище Феба.
Вот, чтобы в бедствии том помочь им спасительным словом
Феб пожелал, чтобы Град столь великий избавил он, — молят.
Все, что вокруг, и лавр, и на лавре висящие тулы
Затрепетали зараз; из глуби святилища ясный
Голос треножник издал и смутил потрясенные души:
«В месте ближайшем найдешь, что здесь ты, римлянин, ищешь,
В месте ближайшем ищи. Но сам Аполлон не подаст вам
Помощи, вашей беды не убавит, — но сын Аполлона.

С добрыми знаками — в путь! И нашего требуйте чада».
Только лишь мудрый сенат получил приказание бога,
Вызнав, во граде каком Аполлона дитя обитает,
Тотчас послали людей на судах к берегам Эпидавра.
Вот уже тех берегов коснулись кормою округлой,
Входят в совет эпидаврских старшин и просят, чтоб бога
Дали им греки того, кто присутствием мог бы покончить
Муки Авсонии; так непреложные волят гаданья.
И голоса раскололись: одни полагают, что помощь
Не оказать им нельзя: а многие — против; совет их —
Не выпускать божества и своей не утрачивать силы.
Так сомневались они, а сумрак согнал уж последний
Свет, и вскоре весь мир покрывается тенями ночи.
Но увидал ты во сне заступника бога стоящим
Возле постели твоей, о римлянин! Был он в том виде,
Как и во храме стоит: с деревенским посохом в шуйце,
Мощной десницей власы разбирал бороды своей длинной.
И благосклонно из уст такие слова излетают:
«Страх свой откинь, я приду; но обычное сброшу обличье;
Ты посмотри на змею, что узлами вкруг посоха вьется.
Взглядом ее ты приметь, чтоб после узнать ее с виду.
В эту змею обращусь, но больше; таким появлюсь я,
Как подобает одним небожителям преображаться».
Речь пропадает и бог, и с речью и богом отходит
Сон, и, лишь сон отошел, разливается свет благодатный,
И, подымаясь, Заря пламена прогоняет созвездий.
И в неизвестности, что предпринять, в святилище бога
Знатные люди сошлись и молят, чтоб сам указал он,
Знаки небесные дав, где хочет иметь пребыванье.
Лишь помолились они, как сияющий золотом гребня
Бог, обращенный в змею, провещал им пророческим свистом
И появленьем своим кумир, алтари, и входные
Двери и мраморный пол всколебал, и из золота кровлю.
Вот он по самую грудь посреди подымается храма,
Встал и обводит вокруг очами, где искрится пламя.
И ужаснулась толпа: и узнал божества появленье

По непорочным власам тесьмою повязанный белой
Жрец. «Это бог! Это бог! — восклицает, — и духом и словом
Бога почтите! О ты, прекраснейший! Кем бы ты ни был,
В пользу нам будь! Помоги божество твое чтущим народам!»
Кто он, не знают, но все чтут бога, как велено; вместе
Все повторяют слова за жрецом; и душою и речью
Благочестиво ему — Энеаду — являют почтенье.
Бог благосклонен, ответ им желанный даруя, шевелит
Гребнем, три раза подряд свистит трепещущим жалом
И по блестящим затем ступеням соскользает; но, раньше
Чем навсегда отойти, на древний алтарь обернулся,
Старый приветствует дом и святилище, где обитал он.
Выйдя из храма, змея по цветами усыпанной почве
Петля за петлей ползет, огромна, сквозь город проходит
И направляется в порт, защищенный загнутым молом.
Остановилась она и толпу, что с нею до моря
Свитой почтительной шла, обводит приветливым взором, —
И на корабль авсонийский вползла: и чувствует судно
Ноши божественной груз, — что божья гнетет его тяжесть!
Рады Энея сыны; и, быка заколов на прибрежье,
Вервия витых причал отвязали венчанного судна.
Легкий зефир подгоняет корабль. Бог виден высоко, —
Голову он положил на изогнутый нос корабельный,
Глядя на синюю даль. Пройдя Ионийское море
С ветром умеренным, вот, к Паллантиды шестому восходу,
Видит Италию.[603] Вот прошли вдоль Лакинии, славной
Храмом Богини; уже у брегов Скилакея несутся.
Япигский мыс позади; вот слева Амфрисии скалы
Мимо на веслах прошли и отвесы Келеннии — справа.
Вот и Рометий пройден, Кавлон с Нарикией тоже,
Преодолен и пролив, сицилийского горло Пелора;
Дом Гиппотада царя, Темесы медные руды,
И Левкосию прошли, и теплый, в розариях, Пестум;
Вот и Капрею они, и мыс миновали Минервы,
Также Суррента холмы с изобилием лоз; Геркулесов
Город и Стабии; вот для досуга рожденную, мимо

Партенопею прошли и святилище Кумской Сивиллы.
Мимо горячих ключей проплыли; лентиском поросший
Пройден Литерн; и обильно песок увлекающий в буйном
Беге Волтурн; Синуэсса, приют голубей белоснежных;
Область Минтурн нездоровых и край, где насыпан супругом
Холм, — Антипатов предел, с окруженной болотом Трахадой,
Также Цирцеи земля и Антий с берегом плотным.
Лишь паруса корабля повернули туда мореходы, —
На море буря была, — стал бог извиваться кругами,
Чаще изгибы ведя и вращая огромные кольца:
Храма отца он достиг, на самом прибрежье песчаном.
Но лишь затихла волна, алтари эпидаврец отцовы
Бросил, под кровом побыв божества, с кем кровью был связан.
Ходом шумящей своей чешуи бороздит он прибрежный
Крепкий песок и, взвиясь по рулю корабельному, на нос
Судна возлег головой и там пролежал до прибытья
В Кастр, священный предел Лавина, у Тибрского устья.
Весь отовсюду народ — и мужчины и женщины — богу
Валит навстречу толпой, и огонь твой хранящие девы,
Веста троянская. Клик ликованья приветствует бога.
И, между тем как корабль подымается вверх по теченью,
Вдоль берегов, на поставленных в ряд алтарях, фимиамы
С той и другой стороны, трепеща, благовонно дымятся,
И ударяющий нож согревают закланные жертвы.
Вот уже в мира главу, в столицу он римскую входит;
И выпрямляется змей и склоненною двигает шеей,
По верху мачты виясь, — подходящей обители ищет.
Здесь протекая, река на равные делится части;
Остров по ней наречен; с обеих сторон одинаков,
Равные два рукава Тибр вытянул, землю объемля,
С судна латинского тут змей Фебов сошел и остался
Жить, и конец положил, приняв вновь облик небесный,
Горю народа — пришел благодатным целителем Града.
Все ж явился чужим он в святилища наши, — а Цезарь
В Граде своем есть бог; велик он и Марсом и тогой;
Но не настолько его триумфальные войн завершенья,

Или деянья внутри, иль быстрая слава державы
Новым светилом зажгли, в звезду превратили комету, —
Сколько потомок его. Из свершенных Цезарем славных
Дел достославней всего, что сын порожден им подобный.
Истинно: значит, важней водяных ниспровергнуть британов,
Чрез семиустый поток в папирус одетого Нила
Мстящие весть корабли, нумидийцев восставших и Юбу
На кинифийских брегах, иль Понт, Митридата надменный
Именем, — всех покорить и прибавить к народу Квирина, —
Многих себе заслужить и немало увидеть триумфов, —
Нежели мужа родить столь великого нам, под которым
Так человеческий род вы взлелеяли, вышние боги?!
Но, чтобы не был рожден он от смертного семени, богом
Должен был сделаться ты. И мать золотая Энея
Все увидала и вот, увидав и скорбя, что готовят
Первосвященнику смерть, что оружьем гремит заговорщик,
Стала бледна и богам, всем ею встречаемым, молвит:
«Вы посмотрите, с каким мне и ныне готовят коварством
Козни, как, гнусно таясь, голове угрожает единой,
Что остается еще у меня от дарданца Иула!
Вечно ли буду одна я подвержена новым невзгодам?
Уязвлена я была копьем калидонским Тидида;
Рушились Трои потом защищенные худо твердыни;
Видела сына затем, как в странствии долгом, потерян,
Морем кидаем он был, сходил и в обитель покойных,
С Турном-царем воевал, — но ежели в правде признаться, —
Больше с Юноной самой! Для чего вспоминаю былую
Рода печаль моего? Страх нынешний не дозволяет
Старое припоминать, но меч окаянные точат!
Их отстраните, молю! Преступленью не дайте свершиться!
Да убиеньем жреца не погасится жертвенник Весты!»
Тщетно по всем небесам Венера, в отчаянье горьком,
Речи такие гласит и тронула всех, — но не могут
Боги железных разбить приговоров сестер вековечных, —
Все же грядущих скорбей несомненные знаки являют:
Стали греметь, говорят, оружием черные тучи;

Слышался рог в небесах и ужасные трубные звуки, —
Грех возвещали они, — и лик опечаленный Феба
Мертвенный свет проливал на покоя лишенную землю;
Часто видали, меж звезд полыхают огни погребений;
Часто во время дождя упадали кровавые капли;
Бледен бывал Светоносец, и лик его темным усеян
Крапом, была и Луны колесница в крапинах крови,
Бедствия в тысяче мест пророчил и филин стигийский.
В тысяче мест слоновая кость покрывалась слезами.
В рощах священных порой то речь раздавалась, то пенье;
Не было пользы от жертв; потрясенья великие были
Явлены в жилах; бывал край печени срезан у жертвы;
Всюду: на площадях, у домов и божественных храмов
Псы завывали в ночи; говорят, что покойников тени,
Выйдя, блуждали, и Град колебался от трепета дрожи.
Но предвещанья богов победить не могли ни злодейства,
Ни исполненья судеб, — и вносятся в место святое
Голых мечей клинки! Не выбрали места иного
В Граде, чтоб дело свершить роковое, — но зданье сената!
И Киферея двумя ударяет в печали руками
В грудь и пытается скрыть небесным облаком внука, —
Так был когда-то Парис у мстящего вырван Атрида.
Так, в дни оны, Эней от меча Диомедова спасся.
Но говорит ей отец: «Одна ли ты рок необорный
Сдвинуть пытаешься, дочь? Сама ты отправься в жилище
Древних сестер; у них на обширном увидишь подножье
Стол, где таблица судеб, — из бронзы литой и железа.
Нет, не боятся они ни ударов небесных, ни гнева
Молний, крушенья им нет, — стоят безопасны и вечны.
Там, у Сестер, ты найдешь в адамант заключенную прочный
Рода судьбу своего: читал я ее и запомнил
И расскажу, чтобы ты не была о грядущем в незнанье.
Время исполнил свое — о ком, Киферея, печешься —
Все; он прожил сполна земле одолженные годы.
Богом войдет в небеса, почитаться он будет во храмах, —
Этим обязан тебе и сыну. Наследовав имя,

Примет он на плечи Град и, отца убиенного грозный
Мститель, в войнах меня соратником верным получит.
Силою войска его осажденные стены Мутины
Мира попросят, склонясь; признают его и Фарсалы,
И орошенные вновь эмафийскою сечью Филиппы,[604]
И в сицилийских волнах[605] покорится великое имя;
Римского вскоре вождя супруга египтянка,[606] тщетно
Брака желая, падет; угрожать она будет напрасно,
Что Капитолий отдаст своему в услуженье Канопу,[607]
Буду ли Варварство я, народы на двух океанах
Перечислять? Все мира края, где могут селиться
Люди, — будут его: все море ему покорится.
Страны умиротворив, на гражданское он правосудье
Мысли направит и даст — справедливец великий — законы.
Нравы примером своим упорядочит; взор устремляя
В будущий век, времена грядущих внуков далеких
Видя, он сыну велит, священной супруги потомству,
Чтоб одновременно нес он имя его и заботы.
Только лишь после того, как Нестора лет он достигнет,
В дом он небесный войдет, примкнет к светилам родимым.
Эту же душу его, что из плоти исторглась убитой,
Сделай звездой, и в веках на наш Капитолий и форум
Будет с небесных твердынь взирать божественный Юлий!»
Так он это сказал, не медля благая Венера
В римский явилась сенат и, незрима никем, похищает
Цезаря душу. Не дав ей в воздушном распасться пространстве,
В небо уносит и там помещает средь вечных созвездий.
И, уносясь, она чует: душа превращается в бога,
Рдеть начала; и его выпускает Венера; взлетел он
Выше луны и, в выси, волосами лучась огневыми,
Блещет звездой; и, смотря на благие деяния сына,
Бóльшим его признает, и, что им побежден, веселится.
И хоть деянья свои не велит он превыше отцовских
Ставить, но слава вольна, никаким не подвластна законам,
Предпочитает его и в этом ему не послушна:
Так уступает Атрей Агамемнону в чести великой,

Так и Эгея Тезей, и Пелея Ахилл побеждает;
И наконец, — чтобы взять подходящий пример для сравненья,
Так уступает Сатурн Юпитеру. Правит Юпитер
Небом эфирным; ему троевидное царство покорно.
Август владеет землей: и отцы и правители оба.
Боги, вас ныне молю, Энеевы спутники, коим
Меч уступил и огонь; Индигет, Квирин, основатель
Града, и ты, о Градив, необорного родший Квирина!
Ты, меж пенатов его освященная Цезарем Веста!
С Вестою Цезаря ты, о Феб, очага покровитель!
Ты, о Юпитер, чей дом на высокой твердыне Тарпеи!
Все остальные, кого подобает призвать песнопевцу!
День пусть поздно придет, чтоб нас уж не стало, в который
Эта святая глава ей покорную землю покинет
И отойдет в небеса моленьям внимать издалёка.
Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба
Не уничтожит, ни меч, ни огонь, ни алчная старость.
Пусть же тот день прилетит, что над плотью одной возымеет
Власть, для меня завершить неверной течение жизни.
Лучшею частью своей, вековечен, к светилам высоким
Я вознесусь, и мое нерушимо останется имя.
Всюду меня на земле, где б власть ни раскинулась Рима,
Будут народы читать, и на вечные веки, во славе —
Ежели только певцов предчувствиям верить — пребуду.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Наталия Вулих

ПОЭТ БОГОВ

Монументальная эпическая поэма — это всегда вершина в творчестве античного художника, она увековечивает его имя, приобщая к сонму великих. Такие поэмы писали многие в век Августа, но до нас дошла одна «Энеида» Вергилия, прославившая Рим, возвеличившая его историю, поднявшая «к звездам» и самого императора. Август и его приближенные живо интересовались искусством, стремясь превратить Рим в столицу тогдашнего мира. Город менялся на глазах, всюду строились новые виллы, расширялись и украшались площади, возводились и реставрировались храмы. В садах, парках и портиках белели великолепные статуи, вывезенные из Греции, в храмах же они окружались особым благоговейным почитанием: храм Аполлона на Палатине украшали статуи Кефисидота и Скопаса, в святилище Юпитера Гремящего обнаженный Зевс Леохара почитался как культовое изображение. Самого Августа и Агриппу еще в тридцатые годы принято было изображать, как богов, обнаженными. Искусство должно было возвышать и облагораживать повседневную жизнь, и Овидий, как он пишет в поэме «Искусство любви», радуется, что живет именно в это время, соответствующее его идеалам. Как все римляне, он, несомненно, восхищался классическим искусством Греции, Парфеноном, Афинским акрополем, не раз виденными им, но, как уже было отмечено, его собственный стиль отнюдь не классицистичен, и в своей капитальной поэме Овидий пытается осмыслить богатство греческой мифологии, пересоздав ее заново. Задача грандиозная, оказавшаяся непосильной поздним (эллинистическим) поэтам Греции, собиравшим легенды о превращениях в своеобразные энциклопедии. Эти легенды, повествующие о смене обличий человеческих существ и метаморфозах предметов одушевленной и неодушевленной природы, были широко распространены у всех народов, сохранены в многочисленных преданиях и волшебных сказках. Они вызывали самый живой интерес ученых поэтов Александрии. Овидий в

известной степени опирался на них. Поэт взялся за создание обширной поэмы («непрерывной песни»), не просто собрав множество мифов, но сконструировав из них своего рода «историю человечества» от создания гармоничного космоса из грубого хаоса до века Августа, века, когда хаос гражданских войн был также упорядочен и приведен в гармонию.

Превращения, как он пишет, происходят со смертными с незапамятных времен, и их великое множество. В пятнадцати книгах собрано двести пятьдесят таких мифов, повествующих о превращениях человеческих существ в животных, цветы, деревья, камни, источники — и это не просто серия чудесных историй, но своего рода процесс, получивший свое обоснование еще в философии знаменитого Пифагора (VI в. до н. э.), широко известного в Риме и Италии (в Неаполе еще во время Августа действовала целая новопифагорейская школа).

Пифагор учил, что душа бессмертна и после гибели тела перевоплощается в другие существа, а это значит, что все живое связано глубоким родством. Он призывал к вегетарианству, к взаимопониманию, к бережному отношению к природе. Ему принадлежали и гениальные открытия в математике и музыке, но Овидий от профессиональной философии был далек, и хотя «откровению» мудреца из Самоса посвящены в поэме целых четыреста стихов, поэт заимствует у него главным образом то, что соответствует его собственной концепции, а именно: эстетическую ценность теории пестроты и разнообразия жизни, столь драгоценную для барочного художника, ведь Пифагор настаивает на царящем в мире законе вечной изменчивости, разделяя известное положение Гераклита, согласно которому «все течет, все меняется» и «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Эти вечные изменения — также своего рода превращения, они придают окружающему нас миру особую текучую красоту.

> …Постоянного нет во вселенной.
> Все течет, и меняется вечно обманчивый образ,
> Ведь в движении всегда пребывает и самое время,
> Словно река. Ни она, ни летучее время остановиться
> Не могут, и вечно волна на волну набегает.

Гонит ее пред собой, нагоняема сзади другою.
Также и время бежит, часы гоня за часами,
И, обновляясь всегда, ведь, что было прежде, минуло.
Новый миг родился, и мгновенья друг друга сменяют.
Видишь, как только родившись, к рассвету ночи стремятся,
Этот же день золотой сменяется черною ночью.
Цвет изменчив небес: один он, когда почивает
Все на земле, и другой, когда Люцифер ясный восходит.
Мчась на белом коне, иной он вновь при Авроре,
В час, как она, чтобы Фебу вручить, его обагряет.
Сам щит солнца, когда поднимается утром на небо,
Темно-багров, и багров, опускаясь вечером в море.
Но сияюще бел в высоте, в эфире прозрачном.
Так как далек от земли, от нечистых ее испарений.
Так же Дианы-луны не может быть лик постоянен,
И изменяется он непрерывно в течение суток,
То она — серп, а то, округлясь, всем диском сияет.
(XV, 173 и слл.)

И вот этот-то принцип вечной изменчивости пронизывает всю поэму, которая представляется на первый взгляд причудливым ковром из больших и малых повествовательных миниатюр, как бы независимых друг от друга. Поэма и принадлежит к особому жанру так называемого «собирательного» эпоса, возникшего в поздней Греции, где нет единого сюжета и постоянных героев; такими были, например, поэма Никандра «Изменения» или «Метаморфозы» Парфения, но легенды там были объединены по сходству, классифицировались по видам, у Овидия же в основе лежит новая псевдоисторическая концепция. Он показывает, как человек путем постоянных превращений, часто гибельных и трагических, восходит постепенно к «золотому веку» Августа, когда боги примиряются со смертными и метаморфозы им уже не грозят. Более того, внимательный анализ позволяет выделить основные темы и показать их развитие от первых книг к последним.

Мы обратимся к трем таким большим темам, о которых речь пойдет дальше: темам героического подвига, любви и искусства. Но,

конечно, связь между мифами основана и на их принадлежности отдельным местностям (фиванские, аттические и др.), на их тематике (любовь богов, наказание за гордыню и др.), и при этом поэт гениально изобретателен в продумывании разнообразных переходов, в чередовании кратких и длинных рассказов, в смене стилей и настроений. Сохраняет он и принцип расположения мифов, господствовавший в мифологических компендиях: от происхождения вселенной до предтроянского времени, затем к троянскому и послетроянскому, так называемому «историческому».

Последние книги посвящены Италии и Риму. Превращения возводятся в своеобразный закон, царящий во вселенной, люди меняют свой облик под влиянием страстей, по воле богов, из-за роковых ошибок, но и в новом существе продолжает жить главная черта их характера, их суть, неподвластная разрушению; коварный и хитрый царь Ликаон превращается в волка, искусная ткачиха Арахна — в паука, болтливые дочери царя Пиера — в сорок и т. п. Страсти и заблуждения людей, жестокость богов увековечиваются тем самым в мире природы, формируя и очеловечивая ее. Каждое растение, скала, звезда, камень хранят следы былой человеческой сущности.

В поэме с необычайно живой поэтичностью выражено то языческое миропонимание, которое так восхищало Ф. Шиллера, вдохновлявшегося «Метаморфозами»:

Где теперь, как нас мудрец наставил,
Мертвый шар в пространстве раскален,
Там в тиши величественной правил
Колесницей светлой Аполлон.

Здесь, на высях, жили ореады,
Этот лес был сенью для дриад,
Там из урны молодой наяды
Бил сребристый водопад.

Этот лавр был нимфою молящей,
В той скале дочь Тантала молчит,
Филомела плачет в темной чаще,
Стон Сиринги в тростнике звучит…

…
Где ты, светлый мир? Вернись, воскресни,
Дня земного ласковый расцвет!
Только в небывалом царстве песни
Жив еще твой баснословный след.
(Шиллер Ф. Боги Греции, перевод М. Лозинского)

Несмотря на множество трагедий, уверенность в том, что герой не гибнет, а продолжает жить в образе ласточки, соловья, фиалки или лебедя, примиряет в известной степени современного читателя с драматизмом происходящего, а он велик.

Что, собственно, такое — превращение? В чем его смысл? Освобождение ли это от страданий, целительное растворение в мире природы, несет ли он бессмертие или гибель? Овидий определяет его как промежуточное состояние между жизнью и смертью, между изгнанием и гибелью, как некий третий путь между двумя крайностями, но путь, редко дарующий счастье, чаще страдание, так как переводит человека на низшие ступени существования, лишает неповторимого индивидуального «я», сохраняя не личность, а тип; сохранение же своего «я» в веках — удел избранных, удел Геракла, освободившего мир от чудовищ, удел Ромула, основателя Рима, Юлия Цезаря и Августа, а также — и это очень важно для «Метаморфоз» — тех, кто приобщился к философии, поэзии и искусству, усовершенствовал жизнь или — и это уже типично овидианское — поднялся к высокой взаимной любви (Филемон и Бавкида, Кеик и Алькиона). Основной вопрос, волнующий автора, — это вопрос бессмертия. Тот, что был так актуален и для его современников, о чем свидетельствуют роспись вилл, устройство садов, изображения на саркофагах, тех, что и нынче украшают оживленную и шумную Аппиеву дорогу в Риме.

Умершие неизменно изображаются в окружении муз и прославленных поэтов, с писчими табличками и музыкальными инструментами в руках. К царству Муз и Диониса приобщены здесь даже простые ремесленники и малые дети, все они жаждут «вознестись к звездам». На вилле римлянин живет в окружении стенной живописи, среди героев мифа, прославленных мудрецов и

поэтов; в саду, воспроизводящем афинский ликей, — посреди мраморных статуй. Смертный как бы героизируется через культуру, и само коллекционирование произведений искусства возносит его над простыми смертными. Поэзия — это не belles lettres в современном смысле, она приобщает к божественным таинствам и дарует вечную жизнь. Недаром «Метаморфозы» кончаются многозначительным словом «vivam» (я буду жить), жить, воплотившись в бессмертное слово.

Во второй части гётевского «Фауста» Панталида после того, как Елена возвратилась в подземное царство, говорит троянским девушкам:

> Принадлежит к стихиям тот, кто имени
> Не приобрел и не стремился к высшему.
> Смешайтесь с ними.
> (Гёте И.-В. Фауст, перевод Б. Пастернака)

Слияние со стихиями, с «элементами» — здесь выход из замкнутого круга жизни и смерти, некий третий путь, путь растворения в природе, чему смертные радуются. У Овидия в «Метаморфозах» радости растворения в природе нет, она для него не только искусница, подражающая человеку в его садах, парках и цветниках, но и грозная гибельная стихия, завлекающая в свои сети неосторожных в заповедных местах, коварно-привлекательных озерах, на таинственных морских берегах. Эти древние представления известны нам по волшебным сказкам всего мира, но они еще были живы в современном Овидию Риме, где почитались сакральные рощи и древние деревья, украшавшиеся венками и повязками. Такое дерево, посвященное Церере, срубает нечестивый Эрисихтон, за что богиня карает его вечным голодом. Овидий явно романизирует здесь рассказ греческого поэта Каллимаха.

Но самый мир италийской природы полон для него живой прелести, он смотрит на него сквозь призму превращений героев и замечает стройность кипариса, возвышающегося к звездному небу своей колючей вершиной, высокую подпоясанность пиний, глухо шелестящих на морском побережье, пестроту весенних лугов,

изысканное сочетание красок на цветах гиацинта и лилии, душистость розариев Пестума, аромат италийского лавра. Рисуя с выразительной наглядностью процессы превращений, их фантастическую анатомию (какие члены человеческого тела в какие части растения или животного превращаются), он внимательно всматривается в красоту ласточки, в серебряную белизну красавца лебедя, в узоры плюща и резные листья винограда. Подобно Гёте и Леонардо да Винчи, он внимателен ко всем живописным подробностям, о чем можно было бы написать целую книгу. Воспитанный изысканной природой Италии, как томился он потом в унылых придунайских степях, заросших ковылем и полынью!

Но самый мир превращений в поэме необычайно разнообразен! Он состоит не только из «капитальных» метаморфоз, определяющих судьбу героя, трагических и подробно изображенных, но и из множества мелких, попутных превращений, к которым причисляются и просто чудесные явления, там и тут происходящие в природе. Поэт как бы конструирует особый микрокосм, живущий по своим законам, где реальность превращается в праздничную феерию, как в миниатюре о лидийском царе Мидасе, том самом, который пожелал, чтобы Вакх наградил его даром превращать в золото все, к чему бы он ни прикоснулся, и вот — сорванная ветка превращается в драгоценность, поднятый с земли камень — в тяжелый слиток, колосья сыплют лучи, яблоки становятся плодами гесперид, даже дверные косяки излучают сияние. Обыденное, повседневное волшебно преображается: царь моет руки — и с них течет блистающий дождь, способный обмануть Данаю. Перед ним ставят пиршественные столы, но хлеб под его пальцами твердеет, фрукты загораются чудесным блеском, вода и вино становятся расплавленными потоками золота, и роскошному богачу грозит голодная смерть. На помощь приходит тот же Дионис, приказывая лидийцу омыть руки в реке Пактоле, ставшей с тех пор золотоносной. Мидас наказан за свою жажду роскоши, но далее он карается и за безвкусие. Дурной вкус в поэме изысканного художника Овидия также порок, причем порок наказуемый. Лидийский варвар оказался глух к божественной лире Аполлона, предпочтя ей грубую дудку козлоногого Пана, и божественный мусагет наградил его за это ослиными ушами, которые Мидас тщательно скрывал лавровым венком, но тайну открыл царский… парикмахер. Не в силах молчать о

своем открытии, он выкопал ямку и нашептал сей секрет в дырочку, а оттуда вскоре вырос тростник и разгласил позор Мидаса всему миру. Чудеса следуют за чудесами, превращение за превращением, но постоянно меняется стиль рассказа, меняются ракурсы, угол зрения: юмор соседствует с драмой, комедия с идиллией, элегия с эпосом. Поэма сверкает, переливается радужными красками. Вот перед нами обширный рассказ о волшебнице Медее, интересной именно своими чудесами, могуществом магии, каким она владеет. Эта колдунья, в сущности, не лишена поэтического дара, в основе которого также лежат превращения; ее молитвы к владычице над таинственными духами природы, к хранительнице тайн Ночи, золотым звездам и Земле-владычице исполнены высокой поэзии. На крылатой колеснице облетает она всю Грецию, все ее горы, долины, берега — мир тесен для этой волшебницы. Всюду собирает Медея свои чудодейственные травы. Поэту даже известен в подробностях состав чудесного зелья, какое она варит в медном котле, чтобы омолодить отца Ясона — Эсона. На глазах у читателей вновь происходит нечто невероятное и чудесное: сухая ветвь оливы, которой мешают отвар, покрывается листьями, а потом и ягодами; от брызг пены зеленеет трава и распускаются цветы. Сам Эсон преображается, скидывая половину своих годов. Когда же волшебница вероломно заставляет дочерей Пелия умертвить отца, обещая и ему молодость, то в доказательство действенной силы состава туда погружают старого барана, обратно же выскакивает из него резвый ягненок.

Поэт любуется происходящим, как бы корректируя буднично-прозаическое, исправляя его, ведь и в простой повседневности, которая там и тут попадает в поле его зрения, он подмечает множество «обыкновенных чудес». Свидетельством тому многочисленные художественные сравнения — этот особый мир поэмы. О Пираме рассказано, как он пронзает себя в отчаянье мечом, и кровь стремительно брызжет вверх, как струя воды из трубы римского акведука — этого чуда современной Овидию техники. Венера же создает цветок из крови погибшего Адониса, окропляя ее нектаром, и она вскипает, как радужный пузырь, прыгающий на луже во время дождя. Чем не своеобразный miraculum, наблюдаемый каждый день!

Серьезные капитальные превращения, определяющие судьбы героев, как бы венчают множество мелких и мельчайших, но и они

наглядны, увидены метким взглядом и продолжают по сей день вдохновлять многочисленных живописцев и скульпторов, как раньше — средневековых иллюстраторов поэмы. Потеря человеческого облика — процесс мучительный, редко освободительный. Это прекрасно удалось запечатлеть О. Родену в статуе женщины-кентавра, вдохновленной Окиронеей Овидия. Наказанная за преждевременное пророчество о судьбе Эскулапа, она внезапно замечает, что у нее исчезает лицо, ей становится приятно жевать траву, тянет бежать по полю, словом, ей грозит превращение в «родную плоть», в кобылицу (ее отец был кентавром). Дальше ракурс меняется, берет слово внимательно наблюдающий за ней автор: трудно становится разбирать слова девушки. Она еще не ржет, а как бы подражает ржанию, но вот уже заржала и на самом деле. Сначала она просто цепляется руками за траву, но внезапно на них появляются копыта, удлиняются шея и лицо, часть платья превращается в хвост, волосы — в гриву *(II, 655—678)*. Автора интересуют переходные состояния, когда человек еще пока человек, но одновременно уже и лошадь, медведь, лебедь, корова, родник — происходит как бы раздвоение живого существа, своего рода двойничество, особенно отчетливо показанное, как мы увидим дальше, в миниатюре о Нарциссе и Эхо. Трагизм ощущений Окиронеи метко запечатлен О. Роденом, она с трудом расстается со своей плотью, мучительно ржет, пытается вырваться. Но сам этот эпизод у Овидия проходной, мелкий по сравнению с такими обширными полотнами, как темы Ниобы или Актеона, где развертываются целые драмы, приводящие к превращениям. Овидиевская Ниоба вдохновлена знаменитой, не дошедшей до нас трагедией Эсхила, и поэт стремится сохранить трагическую интонацию, обогащающую стиль его универсальной поэмы. Героиня поднята на котурны, облачена в пурпур и золото, держится как величавый герой греческой драмы. Она кичится своим богатством, царственным мужем и обилием детей (семь дочерей и семь сыновей) и, запрещая согражданам чтить богиню Латону, требует божественных почестей по отношению к себе, проявляя знаменитую эсхиловскую «юбрис» (гордыню). За это близнецы-олимпийцы, дети Латоны, жестоко расправляются с ее потомством. Соревнуясь с бесчисленными создателями знаменитых статуй, посвященных Ниобе и ниобидам, поэт насыщает сцену расправы подробностями,

недоступными скульпторам, трудными для живописцев. Стрела Аполлона трепещет в горле Сипила, пронзает занятых борьбой Фемида и Тантала, спаяв их друг с другом навеки; вытолкнутые кровью стрелы взлетают высоко в воздух, а последнюю, младшую дочь, Ниоба пытается закрыть своим телом (в этой позе ее обычно и любили изображать художники), но и та гибнет от стрелы Дианы. Оцепенев, потрясенная осиротевшая мать восседает посреди мертвецов. Ветер не колышет волос, глаза остановились, язык сросся с небом. Ее никто не превратил в камень, она стала им сама от безмерного отчаянья, и мрамор до сих пор источает слезы. Это ли не поучительный пример для смертного не хвастаться эфемерным счастьем, знать меру, не возноситься в гордыне! Так толковали эту миниатюру и средневековые моралисты. Правда, по словам автора, ее «пожалел бы теперь всякий!». Пожалел бы… но симпатии поэта не на ее стороне, и как раз эти оттенки симпатий и антипатий, активно выраженные в поэме, помогают проникнуть в те тайны авторской «индивидуальности», что так интересовали внимательно вчитывающегося в Овидия Пушкина.

Тут же, рядом с рассказом о Ниобе, повествуется о бедной, невинно гонимой «мачехой» ее детей Юноной Латоне, в жаркий день приходящей в Ликию и пытающейся утолить жажду в болотистом озерце. Но злобные поселяне не только гонят ее, но и взбаламучивают воду, хотя малыши с мольбой тянут к ним ручонки. В гневе Латона карает гордецов вечной жизнью в столь любимом ими болоте, и само превращение загадано читателю в виде своеобразного ребуса: поселянам нравится плавать и нырять, они продолжают браниться и под водой, голова срастается с телом, живот белеет, спина зеленеет — и вот в болоте прыгают… квакающие лягушки *(VI, 379—381).*

Вся эта история рассказана благочестивым поселянином, почитающим ветхий, окруженный трепещущими камышами алтарь Латоны. Таких алтарей было много и в современной Овидию Италии, их тщательно охраняли, и человек «из народа», «плебей» оказывается в поэме нравственно выше, нежели мощные правители и владыки, подобные Ниобе или знаменитому царю Пенфею, не признававшему Диониса *(III, 511 и след.).* Что касается последней миниатюры, то Овидий даже вводит в нее персонаж, придуманный им самим: скромного кормчего Акета, свидетеля расправы Вакха с вероломными

разбойниками, хотевшими продать бога в рабство. Пенфей кипит гневом, грозит казнью, презирая выдуманные вакханками чудеса. Акет спокоен, верит в мощь иррационального, чудесного, неподвластного разуму. Вера, пронизывающая, в сущности, всю поэму.

С бездной реальных подробностей знакомит читателей поэт, описывая превращение пиратов в дельфинов — сюжет бесчисленных ваз и стенных росписей. Достоверность подтверждается тем, что сами превращаемые наблюдают друг за другом, а их целых двадцать человек: один изогнулся и почернел, покрывшись чешуей; другой удивляется этому, и рот у него самого расширяется, ноздри обвисают; третий замечает, что руки его стали слишком короткими, и весла выскальзывают из них; четвертый хотел схватиться за веревки, но схватиться было нечем, и он рухнул в море, как обрубок с внезапно выросшим серповидным хвостом. Они образовали в волнах обширный хоровод, прыгая, выпуская воду из широких пастей, брызгая и резвясь.

Превращение не столь трагично, сколь занимательно, забавно, будучи окрашено живым юмором. Но бывает и так, что именно оно становится главным, центральным содержанием целой миниатюры, как в знаменитом рассказе об Актеоне, предваряемом специальным вступлением. Разве простая ошибка, спрашивает автор, может стать преступлением, и разве не судьба виновата в том, что произошло с героем! В самом деле, страстный охотник Актеон в жаркий день случайно попал в Гаргафию (в поэме всегда точно указывается место, где происходят события, и это также придает достоверность рассказу, а вместе с тем по-античному исключает романтические представления о неопределенной сказочной дали), в любимый Дианой грот. Поэту важна здесь экфраза (описание), так как сама местность у него постоянно является своего рода персонажем, не менее важным, чем люди. Гроты… Неизменное украшение римских садов. И пещера Дианы напоминает их, но украшена она не руками человека, а гением самой природы, подражающей искусству. Ведь в природе нет ни Фидия, ни Праксителя, ни Скопаса. И мысль эта важна, как мы увидим дальше, очень важна для Овидия. Именно человек — главный герой поэмы, а творцам и художникам отведено в ней особое, важнейшее место.

Под сводом искусно отделанной туфом пещеры журчит хрустальный ручей, где любит омываться богиня-охотница. Вот и

сейчас она пришла сюда со своими нимфами. Купанье Дианы! Сюжет, излюбленный живописцами, и поэт готов, как всегда, состязаться с ними. Движение, мимика, позы — вот что интересует его *(III, 135—175)*. Одна из прислужниц берет из рук Дианы лук и стрелы, другая — разувает, третья — подвязывает волосы, остальные черпают воду в звонкие урны, тут-то и появляется Актеон,

Раздаются крики испуга, нимфы, толпясь, пытаются загородить богиню, она же, не дотянувшись до лука, зачерпывает воду и брызгает в лицо охотнику, чтобы тот никогда и никому не смог рассказать о виденном. Выражение лица у богини зловещее, она покраснела, как туча, озаренная внезапно прорвавшимся солнечным лучом, а у Актеона тут же вырастают развесистые оленьи рога. Именно таким рогатым человеком изображали этого незадачливого героя на стенных картинах, таким воспроизводили его и актеры пантомима, любившие разыгрывать Актеонов сюжет. Но и шея у него раздается, заостряются уши, кисти рук становятся копытами, руки — длинными ногами, тело покрывается пятнистой шерстью, и страх, неожиданный страх одолевает его. Он бежит и сам удивляется своей быстроте. Увидев свое отражение в воде, несчастный осознает трагедию, но пока он решает, куда ему бежать, охотничьи псы, выдрессированные им самим, чуют добычу и бросаются на него. Автор растягивает рассказ, вставляет в него целый каталог псов Актеона — типичный прием эпического сказительства, здесь же важный для ретардации, для возможности продлить рассказ о страданиях охотника, тщетно взывающего к четвероногим. Голос у него олений, но поза человеческая, в мольбе падает он на колени, хочет отсутствовать, но присутствует, хочет видеть, а не испытывать. Природа его как бы раздваивается. И только когда он погиб, растерзанный псами, гнев Дианы «насытился». Она поступила с ним как жестокий владыка, чье «величие» оскорблено человеком. Величие — maiestas — ненавистное поэту. Он даже изображает его в своей поэме «Фасты» в виде самостоятельной богини, облаченной в пурпур и золото и командующей на Олимпе, где ныне попрано былое равенство, когда любой божок из «плебса» мог восседать рядом с олимпийцами *(Фасты. I, 18—27)*. Не от этого ли оскорбления «величия» пострадал и сам только что окончивший «Метаморфозы» поэт. У нас есть убедительные доказательства того,

что интерпретация легенды об Актеоне — плод раздумий поэта в изгнании, что она была вставлена им в поэму позднее.

В «Тристиях» Овидий пишет, что причиной его изгнания были «глаза», видевшие нечто недозволенное, и называет свой проступок ошибкой, а не преступлением, как во введении к Актеону *(Метаморфозы. III, 141—142, Тристии. II, 207- 208).* Мало того, он прямо просит дополнить поэму рассказом о своем превращении, ведь она ходит по Риму в списках:

> Есть там поэма в пятнадцати книгах о тел превращеньях.
> Та, что спасли из костра, где сожигали меня.
> Ей, прошу, передай, чтоб там среди превращений
> О превращеньи моем вставили новый рассказ.
> Да, превратилась судьба в какое-то новое тело.
> Прежнее счастье теперь в горестных тонет слезах.
> (Тристии. I, 1, 119—124)

Как и Актеон, он пережил мучительную гибель от какой-то случайной, неосмотрительной ошибки:

> Ах, зачем я смотрел, зачем я видел, что видел, —
> Глупый, зачем я узнал то, что нельзя было знать!
> Так невзначай Актеон обнаженной Диану увидел.
> Все же растерзан он был сворой своих же собак.
> (Тристии. II, 103—106)

Но на Дунае в гетских степях он понял и другое: понял, что превращение, если это растворение в мире природы, потеря индивидуальности, может быть целительным, освобождающим, о чем он лишь смутно догадывался в «Метаморфозах». Образы, созданные в этой поэме, теперь, здесь, в мире суровом, далеком от поэтической мифологии, продолжают глубоко волновать его:

> Плачу я, плачу, пока тупым не станет страданье
> И пока не скует холод смертельный мне грудь.
> Счастье Ниобою стать, хоть она и детей потеряла,

Но перестала страдать, камнем бесчувственным став.
Счастливы также и вы, гелиады, пока вы рыдали.
Тополь корой молодой вам запечатал уста.
Мне же, о мне невозможно ни деревом стать равнодушным.
Нет никого, кто бы мог в камень меня превратить!
(Послания с Понта. I, 2, 29—42)

Не таким ли настроением проникнута в прославленной капелле Медичи Ночь. Вспомним строки, сочиненные Микеланджело в ответ на льстивые стихи Джованни Строцци:

Мне сладко спать, а пуще — камнем быть,
Когда кругом позор и преступленье;
Не чувствовать, не видеть облегченье.
Умолкни ж, друг, к чему меня будить?
(В подлиннике: «говори тише!»)
(Пер. А. Эфроса)

Счастливый, избалованный жизнью Овидий постиг в ссылке глубокий трагизм жизни, что ставит его в один ряд с гениями всех веков и народов. Недаром еще знаменитый ученый Виламовиц считал, что муза Овидия совершенно естественно вписалась бы в эпоху Возрождения.

Вступление

Уже первые строки поэмы необычайно значительны: «Душу мою влечет желание воспеть, как тела меняют свои формы. О, боги — ведь именно вы изменяете людей — помогите моим начинаниям (дуньте в мои паруса) и доведите эту поэму в непрерывном движении от начала мира до моего времени» *(I, 1—4)*.

У эпических поэтов был неизменный обычай обращаться в первых строках к музе, ведущей рассказ, лишь воспроизводимый вдохновленным ею поэтом. У Овидия ударение сделано на личностном

начале, на побуждении собственной души, только поддержанном и поощренном богами, И дальше авторская точка зрения будет проявляться повсюду, мало того, поэт будет стремиться ввести читателей в свою лабораторию, приобщить к своим раздумьям, предлагая на выбор разные варианты преданий, делая вид, что не знает точно, о чем думали его герои, и высказывая предположения на эту тему. Самый процесс творчества для него интересен, ведь в нем проявляется гений автора (ingenium) — то «священное вдохновение», какое отличает поэта от рядового смертного и приобщает к богам. Как прядущая Арахна привлекает внимание окрестных нимф, любующихся превращением бесформенной груды шерсти в сверкающую красками ткань, так и поэт сплетает свою поэму как бы на глазах у изумленных читателей. Это мы будем наблюдать дальше на каждом шагу.

Главный же герой его поэмы — человек. Тот, для кого даже сама вселенная часто оказывается тесна. Но для появления человека нужно, чтобы возник сначала великий космос, украшением которого он стал. И поэма начинается первым великим превращением: превращением бесформенного, косного, серого хаоса «грубой и нерасчлененной громады» в прекрасный упорядоченный и гармоничный мир. (Самое слово «космос» значит и «украшение», то есть красота.) Восторженное преклонение перед космосом даже обожествление его, было свойственно великим греческим философам, создавшим много космогонических систем, учений о сочетании первичных элементов, породивших все остальное: воздухе, огне и воде. Эмпедокл говорил о четырех первичных стихиях, Парменид — о пяти.

Овидий не входит во все подробности, ему важен сам характер превращений, их стройная «механика»: воздух отделился от земли, огонь поднялся к небесам, под ними разместился легчайший эфир, а потом вселенную усовершенствовал первый в истории величайший художник и скульптор: «бог», «демиург», «мастер мира», творивший по законам красоты и гармонии. Мир представляется Овидию по-платоновски неотразимо прекрасным. Творец выровнял землю, разлил моря и велел им обнять побережья, окружил бегущие реки извилистыми берегами, создал поля, леса, горы, разделил землю на упорядоченные географические пояса: крайние покоятся под вечным снегом, посредине царит гибельный зной, в двух других — стужа и пламя равномерно смешались, и климат мягок. Бурным ветрам, чтобы

они не разнесли мир, указаны твердые границы. Позаботилось божество и о том, чтобы мир повсюду был населен живыми существами: земля — зверями, вода — рыбами, на небе же заблистали подобия божеств — сияющие звезды, эти посредники, по Платону, между землею и небом. Отсутствовало только высшее создание, «способное к высоким мыслям», «господин надо всем» — человек. Родился же он, в конце концов, то ли из «божественного семени», то ли из молодой земли, недавно отделившейся от высшего эфира и сохранивший воспоминание «о родном небе». Атлант замесил ее речной водой и сделал из нее «подобие богов».

Но на первом этапе «истории» человечество забывает о небе и неуклонно движется к катастрофе. За «золотым веком» следуют «серебряный», «медный» и «железный», так принято было и у мифографов — строить историю, об этом писал в свое время знаменитый поэт Гесиод (VIII—VII в. до н. э.), убежденный, что сам он живет в жестоком и безнравственном «железном веке». У Овидия за «железным веком» следует и восстание гигантов против олимпийских богов — тема не дошедшей до нас его поэмы «Гигантомахия». Здесь он обходит этот сюжет. Ему важно только то, что после победы богов из крови побежденных, смешанной с землей, родилось поколение, превзошедшее своей безнравственностью людей «железного века». Оно будет сметено с лица земли гибельным потопом, и только потом, «с третьего захода», родятся наконец предки современного человечества, и именно оно сможет подняться в конце поэмы к «моему времени» (авторское время), к веку Августа, но это произойдет уже после всемирного потопа, происходящего по воле Юпитера, сравнительно молодого бога, вершащего судьбы человечества.

Озабоченный безнравственностью юного поколения смертных, он созывает совет богов, подобно Августу, созывающему заседание сената. «Указующий перст» автора обращает внимание читателя на бросающееся в глаза сходство между древностью и современностью. Именно эта близость старого и нового постоянно оживляет рассказ и позволяет под покровом древности, ничего не боясь, интерпретировать настоящее, иногда с юмором, чаще — вполне серьезно.

Оказывается, что Млечный Путь — это дорога во дворец Юпитера, на олимпийский Палатин. Не забудем, что на Палатине в Риме располагался дворец Августа, возвышался построенный по его

воле храм Аполлона — своего рода центр духовной и государственной жизни. В святилище было две библиотеки: греческая и римская, и в библиотечном зале, под изображениями греческих мудрецов и философов император любил проводить заседания сената. Овидий подсмеивается и иронизирует: божественный «плебс» у него живет на окраинах неба. И вот тут на Палатине Юпитер объявляет богам-сенаторам о своем непреклонном решении — вырвать с корнем человеческий род, отдав землю плебсу: фавнам, сатирам и сильванам. Боги-сенаторы разделяют негодование «председателя», и ему это приятно. Подобным образом Августа радовало сочувствие сенаторов после убийства Юлия Цезаря.

Это было грозное, сохранившееся в памяти у всех событие, но Овидий и здесь не удерживается от юмора. Ведь у него речь идет о далеком мифологическом прошлом, о сказочном, невероятном наказании нечестивого царя Ликаона, превращенного в волка (самое имя Ликаон значит по-гречески «волк»), Ликаон не поверил в божественность спустившегося на землю Юпитера и решил для проверки накормить его мясом молосского заложника. Воспылав гневом, бог разрушил дом нечестивца молнией, а его самого увековечил на земле в образе волка. И вот перед нами первое превращение человека в животное: шерсть вырастает вместо волос, руки становятся лапами, но на морде сохраняется прежняя свирепость, и глаза сверкают злобно, по-разбойничьи. Значит, волки, бродящие и поныне в италийских лесах, — это бывшие нечестивцы, порожденные кровью гигантов.

С устрашающего примера, с кары за античеловечность начинается в поэме серия метаморфоз. Картина потопа в поэме уникальна в античной поэзии. Автор как будто следует здесь, как, впрочем, и во многих других местах, одному из любимых афоризмов Марины Цветаевой: «Обожаю легенду, ненавижу неточности». Мифологическое и метко подмеченное «реальное» создает полную блеска и движения картину, способную соперничать со зрелищем римского балета (пантомима) и стенной живописью.

С одной стороны, хорошо знакомая каждому италийцу картина весеннего или осеннего разлива реки: вода, несущая деревья, людей, животных, влачащая дома, затопляющая башни, но тут же и Овидиевы юморески — намек читателям, что все это фантастика, вымысел,

небылицы. Плавая над бывшим полем, уцелевшие удят рыбу, запутавшуюся в вершинах вяза; корма корабля цепляется за виноградник; там, где паслись козы, расположились тюлени, дельфины налетают на сучья, птица падает в воду, не найдя сухого места. Забавное зрелище, где нарушаются привычные нормы. С другой стороны, дождливый бог Нот — существо сказочное, мифологическое — с влажной бородой, с крыльями, роняющими капли. Он сжимает рукой тучи (своего рода кунштюк), и на землю проливаются потоки дождя. Тут же плавают изумленные нереиды, и богиня радуги Ирида собирает влагу и подносит ее тучам — образ олимпийской богини и фольклорной Радуги-дуги.

Не менее живописно и полно поэзии и юмора описание отступления водной стихии после того, как Юпитер умилился горем и душевной красотой единственной уцелевшей на земле супружеской пары: Девкалиона и Пирры. Нептун, командовавший потопом, призывает легендарного Тритона, морского божка с рыбьим хвостом, и требует, чтобы тот трубил отступление. Тритон, надув щеки, извлекает густые звуки из раковины (конхи), витой и расширяющейся кверху. Поэт шутливо свидетельствует при этом, ссылаясь на «личный опыт», что если дунуть в такую раковину, то все морские берега наполняются гулом. Реки постепенно возвращаются в русла, показываются сначала холмы, а к вечеру вздымаются из воды и вершины лесных деревьев. Перед нами картинка, как бы запечатленная в кинокадрах — искусство почти современное, позволившее французской исследовательнице Симоне Виарра назвать Овидия самым «кинематографичным» из античных поэтов, и недаром итальянцы создали в пятидесятые годы кинофильм по «Метаморфозам», показанный в Венеции.

Земля после потопа опустела, и на ней уцелели только двое: сын титана Прометея царь Девкалион и его сестра и супруга — дочь брата Прометея — Эпиметея, сына Япета. Все прославленные мифологические персонажи глубокой древности. Супруги — своего рода идеальная пара: благочестивые невинные, отличающиеся душевной чистотой и, к тому же, что немаловажно для Овидия, преданно любящие друг друга. Лодку их прибило к вершине Парнаса, знаменитого древним святилищем богини справедливости и пророчеств — Фемиды. Храм пуст и заброшен, огонь на алтарях погас, воды реки Кефиса еще мутны от недавнего разлива. На мольбу

супругов указать им путь к возрождению человечества богиня отвечает советом, кажущимся Пирре, боязливой, как все женщины, нечестивым и зловещим. Богиня предлагает им, покрыв головы и развязав пояса, бросать через плечи «кости праматери». Девкалион ласково успокаивает смятенную, догадываясь, как потомок мудрого Прометея, что «кости праматери» — это просто камни, а попытка бросить их за спину — «не пытка», и попробовать можно. Но то, что произошло потом, автор считает почти невероятным, невозможным, если бы не свидетельство древности. Из камней рождаются люди, вернее, камни превращаются в людей по законам, господствующим в мире метаморфоз. Каменная глыба размягчается, и сквозь нее постепенно начинает проступать человеческий образ, словно под рукой скульптора, обтачивающего мрамор. Земляная, влажная часть камня становится телом, твердая переходит в кости, а жилки остаются жилами; и род, родившийся из камней, — это род, «твердый и закаленный в трудах». Сущность камня как бы наложила отпечаток на души превращенных.

В этой миниатюре все важно, все значительно для дальнейшего рассказа. У колыбели человечества стоят не олимпийские боги, а своего рода идеальные смертные: благочестивые, наивные и влюбленные друг в друга супруги; люди же являются плодом их союза, в ком изначально заложена та самая candor animi (блеск, чистота души), которую Овидий ценит превыше всего не только в названной поэме, но и в поэзии изгнания. Человек уже при своем появлении высок душой и пронесет эту высоту через все преграды к «золотому веку» Августа, венчающему поэму; только в этом веке воцарится в конце концов прочный мир между людьми и богами, мир вечный и непоколебимый.

От Дафны до Альционы (тема любви)

Конечно, восходя постепенно к троянскому времени, а потом к послетроянскому («историческому»), Овидий придерживается и генеалогических ориентиров — ведь дети, родившиеся от божественных отцов, были согласно мифологии родоначальниками различных родов, но больше всего автора интересует самый феномен

любви и его значение в судьбе человека. При этом он демонстрирует читателям разнообразнейшие случаи страсти — от патологических до возвышенно-романтических — и показывает, как растет постепенно к концу поэмы содержательность и одухотворенность внутренней жизни героев.

После потопа, когда из илистых болот на земле появились уродливые и страшные существа, Аполлон избавил мир от чудовищного дракона Пифона. В честь победы были учреждены в Греции знаменитые пифийские игры, но об этом говорится походя, новый же раздел поэмы начинается многозначительными словами: «Первой любовью Феба была дочь бога реки Пенея — Дафна».

Автор начинает с первой в мифологической «истории» страсти всесильного божества, владевшего даром прорицаний и врачевания, а не только предводившего музами, полюбившего Дафну не по своей воле, но по мстительному желанию такого ничтожного по сравнению с ним малыша, как Амур. Гордый своей победой, как это вдохновенно воспроизвел знаменитый греческий скульптор IV в. до н. э. Леохар в статуе Бельведерского Аполлона, и сегодня стоящей в Ватикане, «где блистательный бог с торжеством попирает повергнутое чудовище»:

Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон.
(А. С. Пушкин)

И в этот момент торжествующий Олимпиец вдруг замечает божественного мальчика-шалуна с луком и стрелами, так не приставшими ему. Победитель Пифона начинает потешаться и над луком, и над «какими-то нежными страстями», подвластными малышу. Амур негодует: так пусть, решает он, гордец сам испытает силу этих «нежных страстей», и вынимает из колчана две стрелы: одна с крючком, другая гладкая; одна вызывает любовь, другая — отвращение: одной он пронзает Аполлона, другой — Дафну. Тогда-то и начинается действие: бог воспламеняется страстью, а Дафна бежит от него, и Овидий с юмором сравнивает божественную любовь со

вспыхнувшими в поле колосьями, с загоревшимся от забытого прохожим факела плетнем. Изысканный олимпиец похож на галльского пса, преследующего стремительно убегающего зайца, ведь не любовь ведет его, а примитивное вожделение, разжигаемое красотой Дафны. Она далека от пластически совершенных классицистических изваяний: непричесанные волосы развеваются на ветру, глаза горят, хорош рот, прекрасны пальцы и обнаженные плечи, что же говорить о том, что скрыто трепещущей одеждой. Смакующий красоту дочери Пенея Аполлон, как будто начитавшись поэмы «Искусство любви», представляет себе, какою бы стала Дафна, если бы ее одеть и причесать. Стремительно мчась за ней, он умоляет ее бежать потише, чтобы не ушибиться, уверяет, что он — не грубый пастух, не «плебей», а сын самого Юпитера, сведущий в прошлом и будущем, властитель музыки, божественный врачеватель. Словом, простенькая нимфа не может и не должна устоять перед ним, но она (удивительно!) устояла. Задыхаясь, побледнев от усталости, Дафна просит отца — бога реки Пенея — уничтожить ее соблазнительную красоту, и превращение происходит катастрофически быстро.

Бернини в своей мраморной группе «Дафна и Аполлон», украшающей и сегодня один из залов виллы Боргезе в Риме, точно следует удивительно наглядным подробностям описания Овидия. Тело цепенеет, грудь окружается корой, волосы превращаются в листья, руки — в ветви (у Бернини — листья появляются на кончиках пальцев), ноги костенеют, становясь неподвижными корнями. Но и дерево, столь почитаемый поныне в Италии лавр, избегает поцелуев влюбленного. И тогда Аполлон торжественно обещает вечную жизнь и славу никогда не теряющему свою листву лавру, в котором красота Дафны переживет века. Он станет украшать кудри бога, будет венчать римских триумфаторов, встанет, как страж, у самого дома Августа на Палатине. Действительно, у входа во дворец императора были посажены, по решению сената, два лавровых дерева. Лавровые венки были в то время излюбленным украшением серебряной посуды, лавровые ветки венчают Алтарь Мира, знаменитый памятник августовского Рима. «Мода» на лавр, как считают искусствоведы, особенно распространилась в Риме как раз в I в. до н. э., ведь и сам Аполлон считался после победы при Акции (30 г. до н. э.) покровителем Августа. У Овидия же это официально возвеличенное

дерево (в Италии лавры — не кусты, а высокие деревья) оказывается совсем не героического происхождения. В нем (самое имя «Дафна» значит по-гречески «лавр») как бы увековечена безответная страсть Аполлона; значительнейшее, официально весомое интерпретируется здесь с большой свободой: «нежные страсти» отнюдь не ниже героических подвигов, и победитель Пифона оказывается сам побежденным, но не чудовищем, а движением собственной души, тем миром чувств, которые, согласно Овидию, формируют окружающую человека природу.

Но не только Аполлон увлечен смертной красавицей. Трагична и судьба возлюбленных самого верховного правителя Олимпа, легко вспыхивающего мнимой любовью Юпитера; как раз его похождениям и посвящены первая и вторая книги поэмы, куда, правда, вставлено и первое «героическое» полотно (полет Фаэтона).

Могучая любвеобильность царя богов, вошедшая у римлян в поговорку, — это своеобразное преломление древнейших религиозных представлений о могучей зиждительной силе верховного бога. У Овидия он постоянно выступает в роли банальнейшего супруга банальнейшей ревнивой и злобной богини Юноны, этой покровительницы семейной жизни у римлян, над тяготами которой не раз потешается в других поэмах Овидий. Легенды же о «вражде жен» также многовековой давности, они восходят еще к родовому обществу, к полигамной семье, и лишь потом переоформились в мифы о злобной Гере — Юноне, преследующей своих соперниц. Рудименты волшебной сказки, сохранившей эти мотивы, можно встретил даже и в этой изысканнейшей поэме о превращениях.

Вот перед нами горюющий о своей пропавшей дочери бог реки Инах, не пришедший с соболезнованиями к Пенею, отцу Дафны. Подробности обычной повседневной жизни, где действуют не люди, а боги, и вся обстановка парадна, торжественна, согрета высоким искусством.

Пещера Пенея, откуда он управляет своей рекой, расположена в живописной долине Фессалии — Темпе. Она окружена вершинами Олимпа, Оссы и Пелиона. Река низвергается круто, окропляя брызгами величественные леса, шумя, прыгая по камням. Пейзаж напоминает излюбленную богатыми римлянами долину Тиволи, где стояли виллы, славившиеся игрой фонтанов и мощных водопадов. Поэт любит давать

экфразы (описания) местностей, пейзаж зачастую у него столь же важен, как и герой, и играет существенную роль в действии.

Так, Юпитер предпочитает совершать насилие над юными девушками в дремучих и темных, «не знавших топора» лесах. Туда он завлекает Ио, по которой горюет Инах, там утоляет страсть с девственной Каллисто. Дремучий лес — эта своего рода ловушка и для героев волшебных сказок у всех народов — постоянно упоминается в поэме при обстоятельствах зловещих, часто гибельных для героев. У римлян еще и при жизни Овидия существовали сакральные рощи, где нельзя было вырубить ни одного дерева, где царила темнота от разросшихся кустарников и вековых дубов. Там царствовали таинственные божества (numina), требовавшие особого почитания. Эта своего рода подпочва волшебных сказок — живая, почитаемая в Риме старина.

Самый миф о дочери Инаха Ио, превращенной Юпитером в корову, чтобы спасти ее от ревности Геры, — один из древнейших у греков. Об Ио упоминает еще Эсхил в знаменитом «Прикованном Прометее». Бунтующий против Зевса титан, мимо которого пробегает корова Ио, жалеет ее, предсказывает ей будущее превращение в богиню, возмущается разнузданным деспотизмом Зевса. Ио позднее отождествили с великой египетской богиней Изидой, чей храм также находился на Палатине и был реставрирован Августом. Нимфа Ио со сторожащим ее стоглазым Аргусом была изображена на стенной картине в доме супруги императора Ливии, которой Изида покровительствовала. Эта могущественная жена великого египетского бога Озириса не забыла у Овидия об испытанных страданиях. В девятой книге она нисходит к критской девушке Ифие, полюбившей неположенной любовью свою подругу Ианту, и превращает женщину в мужчину, покровительствуя их браку, помня, как она сама унизительно страдала когда-то. Теперь же она возвеличена, и ее культ приобщает к бессмертию, будучи широко распространенным среди народа после победы над Клеопатрой и завоеванием Египта (30 г. до н. э.). Ее почитательница Телетуза в «Метаморфозах» — жена ничем не примечательного в критском городке Лигда простого плебея. Овидий как бы пытается вскрыть корни человечности Ио, объясняя их ее судьбой,

В миниатюре о возлюбленных Юпитера Ио и Каллисто высокое, сказочное и бытовое образуют причудливое, типично овидианское, единство. Особенно интересен образ Каллисто — целомудренной служительницы Дианы, не заботящейся, как и полагается девственной служительнице богини, о своей наружности. (Не будем забывать, что перед нами автор «Искусства любви»!) Юпитеру приходится, чтобы овладеть ею, принять облик самой Дианы. С необычайными для эпоса подробностями и психологическим мастерством изображена манера поведения и характер ощущений претерпевшей насилие девушки, да и сам сюжет более новеллистичен, чем эпичен, и больше подходит для жанра романа, влияние которого испытывает в это время и стенная живопись. Все «реалии» здесь драгоценны, все это находки автора, его открытия: и отвращение Каллисто к лесу, где произошло несчастье, и ее забывчивость (забыла колчан в кустах), и робость перед товарками, румянец стыдливости на лице, страх перед богиней. Автор подтрунивает над «слепотой» девственницы Дианы, по самой своей природе не способной заметить все это; нимфы, однако, как с юмором замечает автор, все поняли.

И насилие привлекает его внимание, входит в коллекцию разновидностей человеческих страстей, но симпатии поэта всегда на стороне жертв. А Юпитер и, в особенности, Юнона постоянно беспощадно высмеиваются. Властительница Олимпа часто ведет себя, как злая волшебница сказок: она хватает Каллисто за волосы, бросает на землю, подобно Синей Бороде, расправляющемуся со своими женами, злорадно наслаждаясь тем, что «теперь-то она не сможет гордиться своей красотой», столь соблазнительной для ее небесного супруга. Так же поступает она и с Ио, заставляя стоглазого Аргуса сторожить ее, а потом гоня по всей земле, преследуемую оводами. Низменные житейские страсти свойственны ей всегда, и она как богиня Олимпа может дать себе полную волю. Мстя афинянке Аглавре, она отправляется к богине Зависти, приказывая, чтобы она наполнила колючками грудь девушки и разожгла в ней злобную зависть к сестре Герсе, полюбившейся Гермесу. Аффект зависти приобретает статус самостоятельного божества, придумывается целый пантомимический сценарий: обрисована пещера, где она живет в ледяной Скифии, показан ее змеиный взгляд, замедленные движения, отталкивающий лик, гнилые зубы, мясо гадюк, каким она питается. В

эпосе зависть вырастает в глобальный порок, находя олицетворение в таком конкретном образе, которого не знали ни Гомер, ни Вергилий. Но хорош и Юпитер! О нем поэт метко замечает, что «величие и любовь редко уживаются». И хотя в эпосе ему привычнее выступать в роли могучего правителя Олимпа, у Овидия он постоянно выпадает из образа. Опьянев от божественного нектара, он, как подвыпивший плебей, обсуждает с «бездельницей» Юноной, кто получает больше наслаждения в любви: женщина или мужчина.

Мы уже видели, как автор подсмеивается и над другими богами: Аполлон у него, убив из ревности свою возлюбленную Коронис, не может плакать. Боги лишены этой чисто человеческой способности, и он в состоянии только жалобно мычать, напоминая корову, на чьих глазах убивают теленка. Сравнение отнюдь не возвышенное. Гермес, вспыхнувший любовью к красавице Герсе, похож на ястреба, опасающегося броситься на жертвенное мясо, пока не удалились жрецы. Летя по небу, он раскаляется, как свинцовое ядро, пущенное знаменитой у римлян испанской (балеарской) пращой.

Для смертной же девушки выбираются совсем другие сравнения: ведь сама по себе красота — не менее значимый феномен, чем искусство, героизм и мудрость. Сравнение двухступенчато, прелесть Герсы как бы возрастает при взгляде на нее влюбленного бога: она так же превосходит подруг, как утренняя звезда — все другие звезды, но и Луцифера (звезда) затмевает сияющая в полном блеске луна (Феба). Гермес же, хоть он и бессмертный бог, приобщен к августовской культуре, ему знакомы советы Овидия в «Искусстве любви». Для того, чтобы пленить красотку, нужно позаботиться о наружности: божество приглаживает волосы, выставляет на всеобщее обозрение золототканый край своей хламиды, берет в руки сверкающий кадуцей (жезл). Это ли не блистательная юмореска!

И боги, и люди живут в «Метаморфозах» в современном поэту мире, это проявляется в поведении, одежде, психологии и во всем парадном декоре их жизни: покои героев отделаны черепахой и слоновой костью, как спальни богатых римлян; потолок в царственном гроте реки Ахелоя украшен позолоченными пластинками, как в храмах и дворцах; в пещере, где начинается грандиозный бой кентавров и лапифов, блещут драгоценные канделябры, а на дереве у входа висят трофеи, принесенные в дар Диане, — элементы, присущие римским

садам и стенным картинам. Гроты, излюбленные римлянами, ручьи и фонтаны, оживляющие их сады, — постоянное украшение пейзажей в поэме.

В то время как в классическом жанре эпоса (у Гомера в «Илиаде», у Вергилия в «Энеиде») всегда создавался «далевой план», то есть архаическая торжественная обстановка, старинные одежды, оружие, детали древней «героической» жизни, у Овидия вместо «далевого плана» — план современный, но возвышенно-парадный, создаваемый из избранных высоких реалий. Его персонажи окружены изысканным декором римской жизни, августовской культуры, начиная от предметов искусства и быта до манеры мыслить, рассуждать, двигаться. Эта поэма — драгоценный источник по истории римской культуры, еще далеко не полностью использованный в науке. Во всех миниатюрах, посвященных любви богов, соблюдено строго обдуманное разнообразие, барочная пестрота. Ио превращается в корову, Юпитер и Юнона ссорятся, спасающий нимфу от бдительного Аргуса Гермес рассказывает вставную легенду о происхождении пастушеской дудочки (сиринги). Она, оказывается, также родилась из превращенной девушки, нимфы Сиринги, спасавшейся от преследований бога Пана. В одну миниатюру вставляется другая, как в «Тысяче и одной ночи».

В рассказе о Европе, замыкающем вторую книгу, где автор как бы прощается с темой любви богов, главное — состязание с памятниками изобразительного искусства. Здесь и особая царственная красота быка: белоснежность, мощь, сверкающие самоцветами рога, и располагающая к себе обманчивая мирность и кротость. Краскам, как на стенных картинах, уделено особенное внимание: зеленая трава, желтый песок, белый, как снег, бык, его рога в венке из цветов, собранных на лугу Европой. Жесты, движения, позы в центре внимания: царевна, сидя на спине красавца, правой рукой держится за рог, левой опирается на его торс, одежда ее, как на картинах, трепещет на морском ветру.

Но влюбляется в смертных красавиц не один Юпитер. Овидий усиленно ищет разные варианты страстей, и при этом главное для него — «новаторство», поиски новых оттенков и нюансов, делающих каждую миниатюру по-своему оригинальной, по-своему интересной.

Что похождения Юпитера! Было еще и предание о любви самого бога Солнца, наказанного Венерой за донос на нее и на Марса. Она

влюбила его в восточную красавицу Левкотою. Атмосфера экзотического Востока окутывает эту легенду, в ней господствует фольклорное, народное начало, живо интересующее Овидия. Предание рассказывают вечером, в сумерках, когда особенно любят сказывать сказки дочери царя Миния за пряжей.

Солнце, полюбившее Левкотою, — не только олимпийское божество, но и «око мира», «красное солнышко» народных песен. Полюбив, оно помрачнело, заглядываясь на царевну, стало раньше подниматься, позже заходить, затуманилось. Оно даже разлюбило свою прежнюю возлюбленную Клитию, но, любя царевну, не отказалось, как и все боги, от насилия, проникло в ее спальню и овладело предметом страсти. Ревнивая Клития донесла об этом отцу красавицы, и он заживо закопал ее в землю. Обычай, действительно существовавший на Востоке. Солнце жаждет оживить возлюбленную, но ему удается только превратить ее в благовонный цветок левкоя.

Клития также стала цветком, напоминающим наш гелиотроп, всегда поворачивающийся вслед за плывущим по небу светилом. Этот цветок в Италии называют «невестой солнца».

Но в поэме прослеживается отчетливое восходящее движение: от страстей олимпийцев к высокой взаимной любви смертных, недоступной богам; правда, путь этот достаточно извилист. Попробуем же выбрать из множества миниатюр несколько наиболее значительных. К их числу, конечно же, относится знаменитый рассказ о Нарциссе и Эхо, с которого и начинается восхождение, начинается, собственно, с нуля.

Перед нами два существа, не могущие вступить в контакт. Один любит только себя, другая — только повторять чужое. Интересна как сама легенда, так и ее переделка Овидием. Нарцисс — сын речного бога Кефиса — отличался блистательной красотой, но отвергал всех своих поклонников, в мифах до Овидия он влюбился в собственное отражение в реке Ламос в Беотии, это показалось неправдоподобным, и предание было переделано: у юноши умерла сестра, очень на него похожая, и брат полюбил ее в собственном отражении. Поэт выбрал вариант, нелепости которого удивлялся греческий писатель Павсаний: Нарцисс влюбился в себя самого.

Но поэта как раз и заинтересовала «новизна страсти», парадоксальность происходящего, возможность придать

невозможному черты реальности. Замечательно само вступление к эпизоду, спор Юпитера и Юноны по поводу того, кто получает больше наслаждений в любви: мужчина или женщина (сценка, достойная Оффенбаха). Спор решает Тирезий, восемь месяцев пробывший женщиной, и решает его в сторону слабого пола, чем гневает Юнону («хотя повод того не заслуживает»). Она лишает Тирезия зрения, Юпитер компенсирует это пророческим даром. Оракулы, изрекаемые слепцом, таинственны, как все оракулы. Он обещает долгую жизнь Нарциссу, если он «не познает себя самого» (знаменитое аполлоновское «познай самого себя»), и пророчество неожиданно сбывается.

Вместо беотийской реки Нарцисс, на кого негодуют все те, чью любовь он отверг, требуя, чтобы он полюбил, но не смог бы овладеть любимым, приходит к чудесному, как то часто бывает у Овидия, заколдованному озеру, где живут грозные «хозяева» этих мест. Оно необычайно прозрачно и чисто, его не взбаламучивают стада, не трогают люди, деревья не роняют в него ветвей и листьев, и в нем как в зеркале отражается лицо пришельца, пленившее и горную нимфу Эхо. Но она наказана Юноной за то, что своей болтовней отвлекала богиню и мешала застигнуть Юпитера во время его любовных похождений, наказана лишением дара речи, ей позволено лишь повторять последние слова говорящих. Овидий как бы играет с труднейшим сюжетом, связывая его со всей тематикой первых книг, и читателю занятно следить за его гениальной изобретательностью. Хотя Эхо сама и не может изъясняться, ей удается открыть Нарциссу свою любовь. Между ними происходит такой диалог:

Нарцисс: Здесь кто-нибудь есть?

Эхо: Есть.

Нарцисс: Иди сюда!

Эхо: Иди сюда!

Нарцисс: Почему бежишь от меня?

Эхо: Почему бежишь от меня?

Нарцисс: Сойдемся здесь!

Эхо: Сойдемся здесь!

Решив, что все нужное сказано, нимфа выходит из леса и пытается обнять Нарцисса, но не тут-то было! Красавец отталкивает ее. Залюбовавшись собственным отражением, он объясняется в любви

призраку, призраку особенно прекрасному, когда Нарцисс бьет себя в отчаянии в грудь, и она краснеет, как яблоки белые с одной стороны, алые — с другой. Влюбленный испытывает муки Тантала, и поэт посвящает описанию его состояния целую сотню стихов. Нарцисс даже готов расстаться с жизнью, чтобы прибавить лишние годы своему отражению. Абсурды и парадоксы наслаиваются друг на друга. Индивидуальность потеряла границы, объект и субъект слились, и никакого превращения в конце концов не произошло. Просто на месте, где возлежал красавец, нашли цветок нарцисса, считавшийся у греков ядовитым, наркотическим. Страдания же влюбленного не прекратились и в Аиде, где он продолжает до сих пор любоваться собою в водах Стикса.

Это наиболее яркий пример в «Метаморфозах» раздвоения личности, того двойничества, что так или иначе присутствует во всяком превращении. А что же Эхо? Она истаяла от горя, и уцелел один ее голос, который и сегодня можно услышать в горных ущельях Италии. Так даже таинственный мир звуков, и тот хранит в поэме отголоски былых страстей.

Первые смертные, полюбившие друг друга без вмешательства богов, — это Пирам и Фисба. Те самые знаменитые, античные прообразы шекспировских Ромео и Джульетты. Это предание также восточное, ассирийско-вавилонское, и оно вложено в уста рассказчиц — прях Минеид.

Жили герои в соседних домах за стенами, которыми окружила город царица Семирамида — супруга ассирийского царя Нина. Родители влюбленных не разрешали женитьбу, и влюбленные разговаривали друг с другом через дырочку в стене («Чего только не приметит взгляд влюбленного»). Чем строже запреты, тем глубже любовь. Наблюдение вполне современное! («А неволя поневоле хитрости научит».) Они уславливаются тайно, ускользнув из дома, встретиться в сумерках у гробницы царя Нина, под шелковичным деревом с белоснежными ягодами. Фисба встречает по дороге львицу, теряет покрывало, укрывается в пещере, а позже пришедший Пирам решает, что девушку растерзал лев и, проклиная себя за медлительность, целуя покрывало, пронзает себя мечом, мощная струя крови, устремившись вверх, как вода из прорвавшейся трубы римского водопровода, окрашивает в пурпурный цвет белоснежные ягоды.

Современные интерпретаторы поэмы упрекают автора в незаинтересованности судьбой Пирама, проявившейся в «антипоэтическом», с их точки зрения, сравнении, но «указующий перст» автора предлагает здесь читателям сравнить восточную древность с римской современностью, технические чудеса которой не менее удивительны, чем сказочные. Струя, бьющая из прорвавшейся трубы римского акведука, представляется поэту своего рода маленьким превращением.

При Августе снабжением города водой ведал его ближайший сподвижник Марк Агриппа, обогативший столицу новыми акведуками, и среди них в 19 г. до н. э. знаменитым Аква Вирго, до сих пор питающим прославленный фонтан Треви, с его горной прозрачно-голубой водой. По ее обилию Рим превосходил современный Нью-Йорк. Художественные сравнения и разнообразные изобразительные детали («малые величины») постоянно подбираются поэтом из мира современных ему культуры и искусства, и это один из приемов острой актуализации повествования, чем так дорожили его римские читатели.

А Фисба? Что же произошло с Фисбой? Она нашла умирающего и закололась его мечом, умоляя родителей похоронить любящих в одной могиле, а богов — сохранить в плодах шелковицы вечную память о погибших.

Эта миниатюра — одна из излюбленных у писателей и художников Нового времени, начиная с XII века. Боккаччо включил ее в свое сочинение «О знаменитых женщинах», Шекспир упоминает ее в «Сне в летнюю ночь», а в 1960 году Бриттен в своей музыкальной пародии на итальянскую оперу комически обыграл и этот сюжет.

Овидий в присущей ему манере выбрал эту легенду «с дальним прицелом», не каждое превращение и не на любом месте подходит ему. Рассказ о Пираме продолжает тему Нарцисса и Эхо, любовь двух равных партнеров на сей раз кончается катастрофой, однако повествование движется постепенно к заключительному обширному полотну «мифологической части» — Кеику и Альционе. Впрочем, по дороге развертываются все новые и новые варианты страстей.

Рядом с восточным Пирамом и Фисбой встают ликийские Салмакида и Гермафродит. Оказывается, в далекой Ликии тоже есть свои божества-насильники, и во власть такого божества попадает Гермафродит — сын Афродиты и Гермеса. Салмакида —

хранительница священного озера, своего рода Шемаханская царица, по-восточному изнеженная, носящая прозрачные ткани, любующаяся собой в озере, как в зеркале. Она даже подбирает себе согласно «Искусству любви» идущие ей прически. И вот эта собирательница цветов, возлежащая на нежной траве луга, моментально вспыхивает страстью к юному пришельцу. Как Гермес в рассказе о Герсе прихорашивается, прежде чем появиться перед ней, так и Салмакида не только украшает себя, но даже меняет выражение лица (типично Овидиева тонкая деталь), чтобы стать прекрасной. Поэт пригоршнями сыплет драгоценные наблюдения за движениями, жестами, даже мимикой своих вполне современных, отнюдь не героически-эпических героев. Увидев плывущего по озеру Гермафродита, Салмакида совершенно теряет голову, бросается в воду, обвивается вокруг юноши, как змея, и по ее просьбе боги превращают их в единое нераздельное существо — парадокс природы — гермафродита. И этот патологический тип, разновидность существующих в природе отклонений от обычных норм, интересует поэта, недаром эпос его по-своему универсален. Но особенно удивительны здесь художественные сравнения, выразительно оттеняющие самую суть по-восточному страстной и кокетливой Салмакиды.

Глаза ее разгораются как солнце, отраженное в поверхности зеркала, сам же плывущий похож на изваяние из слоновой кости, просвечивающее сквозь прозрачное стекло. Ни дать, ни взять — модная безделушка, привезенная с Востока! Ими, кстати, увлекались в это время в Риме.

Однако соединение божества и нимфы здесь насильственно, безлюбовно, но озеро с тех пор получило особую изнеживающую силу, как это было свойственно, согласно Овидию, многим источникам таинственного Востока.

Миниатюра о Гермафродите — напоминание о старом, она перекликается с теми эпизодами, где речь шла о божественном насилии. Но есть и еще разновидность страсти — варварская низменная похоть диких фракийцев, таких, как владыка Терей — миф, один из самых известных в Греции. Овидий почувствовал здесь интересную возможность ввести в свой эпос элементы риторической драмы, следуя за древнегреческими трагиками. Универсальность его поэмы состоит не только в стремлении охватить разнообразнейшие

сюжеты, но и в желании воспроизвести пестроту разных стилей: элегического, идиллического, драматического — это тончайшее искусство, и его трудно воспроизвести в прямом переводе.

Драма Терея отчетливо поделена на ряд актов: начинается она с его прибытия в Афины и женитьбы на дочери Пандиона Прокне. Дальше показано, как Прокна уже во Фракии, просит мужа привезти к ней в гости сестру Филомелу, и тут по приезде Терей видит ее в первый раз. Чего стоят страсти богов в сравнении с той чудовищной похотью, какой, подобно сухой соломе, возгарающейся от случайной искры, вспыхивает фракийский варвар! Он не отводит от царевны глаз, проводит ночь в безумном томлении и умоляет со слезами Пандиона отпустить ее с собой. Тот с трудом расстается с «радостью своей старости» и берет с Терея слово, что тот доставит ее домой в целости. Его томят злые предчувствия, и действительно, корабль еще только отплывает от гавани, как варвар кричит: «Я победил!» — и не отводит пылающего взора от своей жертвы. А дальше, дальше он увлекает Филомелу в дремучий лес, в хлев, и там совершает над ней насилие. Несчастная грозит ему разглашением, позором, и варвар отрубает ей язык. Трепеща и прыгая по полу, извиваясь, точно змея, кровавый обрубок как бы продолжает грозить Терею. Здесь все по-варварски жестоко, отталкивающе, кроваво. Немая Филомела выткала на ковре все, что с ней произошло, и нашла способ переправить это сестре. Сказочный мотив. Та же, дождавшись праздника Диониса, устремляется в лес под видом вакханки и увлекает сестру во дворец. И здесь развертываются новые акты трагедии: малолетний Итис ласкается к матери, и она замечает его сходство с отцом. План мести созрел, а взгляд на немую сестру еще более разжигает гнев. Вдвоем они убивают Итиса и угощают его плотью пирующего за изысканным столом Терея. Ему, зовущему Итиса, Филомела швыряет в лицо голову сына и в этот момент больше всего жалеет, что не может разразиться злорадной речью. Тиран в ярости гонится за убийцами, и кажется, что они, убегая, повисают на крыльях… И вот они уже действительно летят, превратившись одна в соловья, другая в ласточку. Терей же, став воинственным удодом, мстительно преследует их.

А рядом, по контрасту, совсем другой мир, светлый мир афинской греческой культуры с его высокими и благородными героями Кефалом и Прокридой. Все в этой миниатюре значительно, все выписано с

вдохновенными деталями, пронизано высочайшим чувством. Посол Кефал удивительно красив и красноречив, и когда царевич Фок расспрашивает его о волшебном дроте (Кефал — страстный охотник), он долго колеблется, «стыдясь» своих страданий, в конце концов, вспоминая все-таки о «блаженном времени», когда был счастлив любовью целомудренной Прокриды. И вот перед нами первый случай, когда человек превосходит божество совершенством своей духовной жизни, а боги вмешиваются в эту жизнь и разрушают счастье!

Влюбленная в Кефала богиня Аврора вселяет в его душу сомнение в верности жены, и он доводит ее до того, что она бежит из собственного дома, но возвращается после мольбы раскаявшегося мужа. Счастью помешал трагический случай, о чем мы рассказывали уже в главе «Искусство любви». По доносу слуги, слышавшего, как Кефал, отдыхая в тени, призывал к себе дуновение прохладного ветерка Ауру, огорченная Прокрида решает сама удостовериться в измене мужа и прячется в кустах, а он, почуяв в зарослях зверя, мечет в лес волшебный, не знающий промаха дротик. Жена умерла на его руках, умоляя о верности. Метаморфозы не произошло никакой. Апофеоза нет. Но удивительна та красота смерти, которую в римской поэзии сумел впервые передать именно Овидий. «Выдохнув душу прямо в мои уста (у римлян был обычай ловить устами последний вздох умирающего. — *Н. В.*), она умерла с лицом, как будто бы смягчившимся, с выражением глубокого покоя» *(VII, 862—863).*

Столь резкими контрастами, как мы видим, богата поэма: от варварской страсти Тезея к тончайшим чувствам благородного Кефала, от страшных сцен насилия к полному достоинства обиходу афинской жизни. Разве же в этом не сказываются авторские симпатии, не проявляется его человеческая и поэтическая индивидуальность!

Но вот от первых людей Девкалиона и Пирры протягиваются нити к их отдаленным потомкам, сохранившим и возвысившим их благородство и высокую человечность. История идет вперед, человечество поднимается к новым вершинам, а ведь любовь — чувство не только универсальное, но и разнообразное в своих нюансах и переливах. Охватить по возможности весь мир ее вариантов стремится в своей удивительной поэме Овидий.

Филемон и Бавкида — персонажи, бесконечно любимые европейскими писателями, начиная с эпохи средневековья, кончая

Н. В. Гоголем. Это благочестивые старцы, к которым заходят в их бедную лачужку спустившиеся на землю Гермес и Юпитер. Гений Овидия кажется неисчерпаемым: из роскошной пещеры бога реки Ахелоя, где о старцах рассказывает Тетею Лелег, из пещеры с богато сервированным серебром и хрусталем столом автор переселяет нас в покрытую соломой хижину. Интерес к бесхитростному быту отличал еще греческих поэтов эпохи эллинизма — Каллимаха и Феокрита, но им был свойствен приземленный веризм, желание воспроизвести натуру, Овидий — художник, резко от них отличный. Его бедняки живут не в унылой обстановке повседневного быта, а в своего рода праздничной, живописной бедности. Под рукой этого поэта жизнь всегда празднично преображается. Особое внимание уделяется ужину, состоящему, как это было принято у римлян, из трех перемен. Изображается, по-существу, многокрасочный натюрморт, столь излюбленный в стенной живописи. Художники стремились здесь передать бьющую через край радость и красоту жизни. Так, на стене дома Юлии Феликс в Помпеях был изображен кувшин с водой, яйца на голубой тарелке, а на другой картине из той же виллы — ваза с фруктами разных цветов: румяные яблоки, лиловый виноград, отчетливо выделявшиеся на голубой стене. Около очага в Помпеях часто рисовали окорока, хлеб, свиные головы, горшки, вертела, висящих на шнуре зайцев.

Все это передавало праздничное настроение, господствовавшее и на самом пиру римлян. Праздничен и стол бедняков Филемона и Бавкиды: тут и творог, и яйца в глиняной утвари, финики и смоквы, корзины со сливами и виноградом, сорванным с пурпурных лоз. Кратеры глиняные, чаши из резного бука, внутри залитые желтым воском, — картина блещет красками и свидетельствует о том, что в бедности есть и своя праздничная сторона. И здесь древность сближается с живой современностью, и глубоко понята сама суть художественного жанра натюрморта.

Над живописным столом склоняются приветливые лица готовых услужить гостям старцев, еда же не убывает, об этом заботятся покоренные гостеприимством боги. Благочестие? Да. Старинная народная приветливость, а к этому еще — что особенно важно для Овидия — глубокая взаимная любовь. Все это требует награды. Олимпийцы превращают хижину в мраморный храмик с золотой

крышей (сказочная метаморфоза! своего рода апофеоз!) и спрашивают благочестивых хозяев об их заветном желании. Оно таково: умереть одновременно, а пока стать служителями в новом святилище. И вот, по прошествии ряда лет, Филемон вдруг превращается в дуб, а Бавкида — в липу (самое ее имя значит по-гречески «липа»). Эти деревья, рассказывает Лелег, и сейчас возвышаются за оградой, украшенные венками. И с чувством заключает: «Тех, кто почитает богов, они хранят, а почитающий сам удостаивается почтения».

Завершается же тема любви и в «мифологической», и в «исторической» части поэмы своего рода вершинами — вершинами, на которые в конце своего пути поднялось человечество.

В «мифологической» части — это большое повествовательное полотно о Кеике и Альционе (490 стихов), в «исторической» — о Вертумне и Помоне.

Но замечательна вся картина, своего рода вставной эпизод, как бы вырезанный со стенной картины. Перед нами болото у берега моря, песчаный пляж, бродящие тут и там, спокойно лежащие или плавающие с высоко поднятыми головами быки и коровы. По соседству виднеется древний храмик, посвященный морским божествам, а рядом — рыбак развешивает свои влажные сети. Все это: и сакральная постройка, и башенка, куда потом поднимается Кеик, чтобы обозреть окрестности, и пасущееся стадо, — излюбленные мотивы италийско-римской стенной живописи, но в ее особенном, наисовременнейшем варианте, представленном модным в это время художником Лудием (именно он впервые стал рисовать подлинные пейзажи, а не повторять привычные схемы садов, он населил их рыбаками, поселянами, охотниками). Значит, и экфразы в поэме по-своему драгоценны, имеют самостоятельную ценность и часто пронизаны духом августовского искусства, то есть животрепещуще актуальны. Это художественные вставки, своего рода искусные инкрустации, украшающие поэму.

Но само происшествие зловеще, и чтобы выяснить причину страшного знамения, Кеик вынужден отправиться к оракулу Аполлона, и тут перед нами появляется Альциона, окруженная ореолом волшебной сказки и вместе с тем героиня Овидиевых любовных элегий. Узнав о намерении Кеика, она бледнеет, как буковое дерево, проливает потоки слез, голос ее трижды прерывается. Что пугает ее?

Прежде всего само «печальное море», она ведь видела на берегу погребальные стелы над пустыми могилами и не уверена в мощи своего отца, ведь в детстве она наблюдала поведение строптивых вихрей-богатырей в доме Эола. Реалистическая деталь в сказочной обстановке! Она готова отправиться с мужем хоть на край света, как герой знаменитой Сульмонской элегии в сборнике «Amores» *(II, 16)*, но Кеик не хочет подвергать ее опасностям. И вот — прощание на берегу. Как Лаодамия, она падает без чувств, а очнувшись, долго смотрит вслед удаляющемуся кораблю. Картина, напоминающая послания героинь. И это сочетание сказочного, эпического с элегическим очень важно здесь для Овидия. Элегическая атмосфера в любви — атмосфера высочайшая, августовская.

В Эгейском море на корабль Кеика обрушивается грозная буря — один из постоянных мотивов в античном эпосе, но и в «Одиссее», и в «Энеиде» они всегда разражаются по воле богов, у Овидия же море разбушевалось само по себе, и главным действующим лицом оказывается волна (unda), с воинственным упорством наступающая на корабль, хотя сохранены и традиционные мотивы: ветры, одновременно дующие со всех сторон, валы, то вздымающие корабль к небу, то опрокидывающие его в преисподнюю, смятение корабельщиков. Но по богатству деталей, словно увиденных собственными глазами, Овидий превосходит своих предшественников, на что обратил внимание замечательный французский ученый Э. де Сен-Дени — сам моряк и сын адмирала, увлекшийся классической филологией. Именно он говорил мне о том, что Овидий смотрит на бурю «с близкого расстояния». Тут и растерянные гребцы, бросающиеся вычерпывать воду или предающиеся отчаянию: одни плачут, другие вздымают руки к небесам, третьи застыли в безнадежности. Волнение нарастает «crescendo»… и вот губительный десятый вал (у нас — девятый), undina (будущая «Ундина» Д.-Л. Мотт-Фуке и В. Жуковского)! Она напоминает воина, упорно стремящегося к славе и сражающегося в первых рядах. Когда же ей удается завладеть кораблем окончательно, то она, чувствуя себя победительницей, горделиво взирает на другие валы. Более того, именно ей шепчет Кеик, идя ко дну, имя Альционы и просит прибить тело к родным берегам. Что она и делает в конце рассказа. Когда боги отступают на второй план, то появляются новые «хозяева стихий», создаваемые

воображением поэта, своего рода сказочные персонажи в духе художественных сказок Нового времени. И в этом направлении работает художественный гений автора, создающий как бы свою мифологию.

Альциона о гибели мужа не знает, она ждет его возвращения. И опять рядом со сказкой бытовые детали! Верная жена обдумывает, какую одежду ему приготовить и во что одеться самой. Она воскуряет ладан на алтарях покровительницы браков Юноны, но та, зная о судьбе Кеика, считает это своего рода богохульством и шлет вестницу Ириду к богу Сна, чтобы тот уведомил несчастную о случившемся. Опять новая вставка, просто послать Ириду к Альционе кажется недостаточным, нужен демарш в пещеру Сна. Знаменитая, выдержанная в духе пантомима[608] миниатюра. Спускаясь на землю по Радуге-Дуге, чудесная вестница сама переливается тысячью красок.

И вот мы в пещере божества, в далекой Киммерии, у сумрачного грота, где с земли поднимаются облачные испарения. У грота стоит мертвая тишина, растут снотворные маки, молоком которых «влажная ночь» окропляет земли. Деревья не колышутся, не слышно ни людских споров, ни лая собак, птица «с гребнем на голове» не возвещает восход солнца. Вход сюда воспрещен, только усыпляюще журчит ручеек, с летейской (Лета — река забвения) влагой. Внутри же пещеры на пуховом ложе, покрытом одноцветным тусклым покрывалом, покоится само божество, а его окружают тысячи спящих сновидений, так что Ириде приходится раздвинуть их руками, чтобы добраться до ложа. При ее приходе грот весь озаряется радужным сиянием.

Феномен сна здесь преображен в целый сценарий, в своего рода живую картинку, так и просящуюся в театральное воспроизведение. И конечно, ее ставили в римских пантомимах, а недавно в Париже мне довелось видеть ее в исполнении актеров американского неклассического балета, танцевавших прямо на улице при свете прожекторов. Это было весьма поэтично и выразительно.

Бог сна пытается проснуться при приходе Ириды, но голова его все время падает на грудь. Ирида обращается к нему с замечательной речью, восславляя благостную мощь сна:

> Сон, приносящий покой, из всех бессмертных тишайший!
> Мир души, лишенной забот! О ты, кто усталых

Вновь возвращаешь к трудам, даруя им отдых желанный!
Повели сновиденьям, что разные лики приемлют,
В город Трахины пойти к Альционе царице, принявши
Образ супруга ее. Таково приказанье Юноны.
(XI, 622—630)

«Сладким» называют сон и Гомер, и Вергилий, у Гомера он — «укротитель сердечных тревог» *(Илиада. XXIII)*. «Особой сладостью» объемлет он и у Вергилия и людей, и богов *(Энеида. II)*. Его принято было изображать крылатым юношей со снотворными маками в руках, часто вместе с богиней Ночи, над которой, по Гомеру, не властен ни один бог. «Влажная, кропящая земли молоком снотворных трав», она у Овидия и богиня, и самый феномен ночи, так же, как и Сон — бог и одновременно состояние сна. Поэт, создавая эти образы, еще окруженные ореолом мифа, уже как бы пробивается к лирике Нового времени.

Ирида спешит улететь, ее одолевает сон, его близость всегда усыпляет. Но кого же царю сна послать на землю, ведь среди его слуг масса божков, умеющих, подобно актерам, разыгрывать кто людей, кто животных, а кто и неодушевленные предметы. Есть среди них и бог кошмаров. И вот искусный актер Морфей (на него падает выбор) появляется в образе Кеика над изголовьем спящей Альционы. Принимая вид смертных, олимпийцы и у Гомера подражают их голосу и жестам, но у Овидия все это доведено до артистического совершенства, Морфей-Кеик во всем подобен царю, даже «волна» стекает с его бороды, он употребляет любимые выражения погибшего, воспроизводит характерные движения его рук. Здесь перед нами Овидий выступает как тонкий ценитель актерского мастерства. Плача, царь умоляет жену о погребении, рассказывая о кораблекрушении. Потрясенная Альциона выходит утром на берег, вспоминая сцену расставания, и вдруг видит плывущее тело. Жалея родных утонувшего, она всматривается — и вдруг узнает в погибшем Кеика. В отчаянии она вскакивает на высокую дамбу, крылья чайки вырастают у нее от страстного стремления ринуться ему навстречу. Она летит и клювом, как поцелуем, касается его лица. И происходит чудо! Утопленник поднимается ей навстречу.

Есть люди, говорит поэт, думающие, что просто волна приподняла его в этот миг; другие — и это вернее — настаивают на том, что Кеик, почувствовав близость жены, поднялся и сам превратился в морскую чайку (Альциону), и они блаженно вместе полетели над морем, как и сейчас парят над морскими просторами, и волна… волна способствовала этому. Согласие и взаимная любовь этих удивительных героев сохранились в природе на века. Теперь, когда Альциона высиживает птенцов, волны плещутся мирно, и сам Эол сдерживает бури.

Превращение истолковано здесь как апофеоз, в противоположность традиционному мифу, засвидетельствованному у греческих мифографов. У них Кеик и Альциона представлены гордецами, ставившими свой брак выше союза Юпитера и Юноны и наказанными (не награжденными) за это. Очень вероятно, что именно Юнона поднимала бурю на море и карала Кеика. Овидий придумал новые варианты, переделав сюжет. Он украсил рассказ вставным эпизодом, посвященным сну, расширив его за пределы прямой повествовательной необходимости, он придумал новую героиню — преследовательницу и спасительницу Кеика — волну. И, наконец, он возвеличил великую, высочайшую взаимную любовь смертных апофеозом, нигде не засвидетельствованным. Этим как бы завершилась тема любви богов, которую превзошла своей глубиной и героизмом любовь смертных, смело поднимающихся к вершинам жизни.

В «исторической части», в четырнадцатой книге, где речь идет о квазиисторическом периоде, о легендарном времени римских царей, любовная тема получает свое окончательное победное завершение. В это время в Италии жила гамадриада (древесная нимфа) Помона (от pomum — плод) — одно из древнейших италийских божеств, покровительница плодов, богиня плодового сада, чьи изображения украшали во времена Овидия многие парки, а сегодня украшают и наши. В поэме она, как ей и положено, посвятила себя уходу за садом, поливает и холит деревья, делает им прививки, и меньше всего озабочена Венерой. Но вот ее полюбил другой (также очень древний) бог Италии Вертумн (божество сезонов, вечно меняющихся), но, полюбив, повел себя иначе, нежели божественные насильники мифологической части: он попытался разделить увлечения Помоны,

стал служить ей, превращаясь то в садовода, то в пахаря, то в рыбака. Превращения были его сферой, отсюда и его имя Вертумн. Однажды, приняв вид старухи, он пришел к Помоне в роли сводницы — одного из любимых персонажей комедии и римской любовной элегии — и стал уговаривать дриаду выбрать себе в суженые именно Вертумна. Он, как идеальный герой элегии, будет верен ей одной, она станет его единственной страстью на всю жизнь, он постарается выполнять все ее желания, жить с ней одной жизнью. Для острастки мнимая старуха рассказывает Помоне греческую легенду о надменной богачке Анаксарете и бедняке Ифисе, безнадежно полюбившем ее. Она довела его своей суровостью до самоубийства, за что и была превращена в каменное изваяние, до сих пор стоящее в храме Венеры на Саламине. Легенда эта позднегреческая, эллинистического времени, и жалобная песня, своего рода серенада, исполняемая Ифисом у запертой двери Анаксареты — один из излюбленных жанров эллинистической лирики. Овидий здесь явно хочет обратить внимание читателей на превосходство римской любовной элегии и самого типа любви, представленной ею, над греческой. Она и завершается блистательным триумфом. Помона ответила на любовь, заслуженную такой преданностью и «родством душ», и насилие, то самое, типичное для олимпийцев начала поэмы, здесь не понадобилось. Скинув старушечье обличье, бог вдруг предстает перед ней во всей своей сияющей красоте, подобно солнцу, вышедшему из-за туч и ослепительно сверкающему. Так родилось чудо взаимной любви, увенчанное своеобразным апофеозом. Именно этим торжествующим аккордом завершается в поэме симфония любви, сотканная из множества разнообразных мелодий, завершается победой человеческого гения. И это опровергает, окончательно опровергает мнение ученых прошлого века о «легкомысленном поэте-риторе». Перед нами — оригинальнейший и глубочайший художник.

Героические полотна

Эпическая поэма, сложенная высоким, освященным веками метрическим размером — гекзаметром в классической форме гомеровского эпоса, — один из самых торжественных, парадных,

монументальных жанров, где действуют прежде всего боги и герои. Мало того, по определению автора известных книг по античной эстетике А. Ф. Лосева, в эпосе все единичные события подчинены главному, связаны с общими законами мироздания, с действиями высших сил, определяющих жизнь человека, как это свойственно «Илиаде» Гомера. Римляне еще более усилили эти черты, о чем свидетельствует «Энеида» Вергилия, своего рода образец концептуального эпоса. Здесь все действия главного героя направлены к одной цели — основанию нового римского царства после разрушения древней Трои. Эней, подчиняясь типично римскому чувству долга, жертвует ради этого всем, даже своим личным счастьем. Чего стоит человеку, точнее государственному деятелю, выполнить свое назначение — вот что интересует автора.

Олимпийские боги и у него руководят действиями героев, они посылают им вестников, направляют к цели в вещих снах, иногда и сами являются им. Развертываются широчайшие полотна гибельных битв и совершаемых в это время подвигов, или картины далеких странствий («Одиссея»), где приходится преодолевать неслыханные трудности, попадать во власть коварных божеств, бороться с сокрушительными бурями.

Эпос Овидия, как мы уже видели, глубоко своеобразен — это, во-первых, так называемая «собирательная» поэма — поэма без сквозного действия и постоянных героев, но в ней, в отличие от греческих предшественников, эпизоды объединены не только темой превращений и квазиисторической концепцией, о чем шла речь выше, но и самим образом автора, постоянно интерпретирующего происходящее, выражающего свое отношение к героям и событиям. Среди разнообразных жанровых интонаций, какими отмечен этот «универсальный» эпос, есть и классически-эпическая: батальные полотна и картины героических подвигов, придающие, по мнению многих исследователей, решающий эпический колорит поэме. Следует, тем не менее, сразу отметить, что и эпичность у Овидия своеобразна, это скорее полемика с традиционным жанром, чем желание следовать его канонам и разделять возвеличиваемые им этические и эстетические идеалы. Важно, однако, что и в этой сфере отчетливо прослеживается линия постепенного восхождения, как и в других

основных темах поэмы. Мы можем определить этот путь как путь от Фаэтона к Персею, Мелеагру, Гераклу, Юлию Цезарю и Августу.

Первый герой, совершающий подвиг, — Фаэтон, которого поэт прямо называет «могучим духом» (magnanimus), но это юноша, почти мальчик, сын дочери океана Климены. Раздосадованный неверием друга, сына Европы, в то, что его родитель — сам бог Солнце, он для того, чтобы увериться в этом, отправляется в дом божества, стоящий на границе земли и неба. Весь рассказ окрашен поэзией сказки, причудливо сочетающейся с высоким мифом и реалиями повседневности. Замечательна сама экфраза места: дворец Солнца, где сказочность переплетена с изысканным августовским искусством. Стоит он на столбах (колоннах), сверкает золотом, серебром и самоцветами, но особенно примечательны парадные двери, драгоценные не столько материалом, сколько мастерством художника. Вспомним, что и хоромы олимпийских богов в «Илиаде» были выстроены по «творческим замыслам» небесного кузнеца-художника Гефеста. Но создатель дворца Солнца явно причастен к современному римскому искусству, он сумел (автор как знаток оценивает картину) на створках изобразить пятьдесят дочерей Дориды и морского бога Нерея не только в разных позах и положениях, но и с тем едва уловимым сходством лиц, какое отличает родных сестер. Блеск, ослепительное сияние исходит и от самого владыки, восседающего на сверкающем троне. Но сказочный царь света к тому же нежный и заботливый отец: чтобы не ослепить Фаэтона, он снимает с головы лучи, своего рода корону. Мальчику хочется прокатиться на солнечной колеснице в доказательство своего родства со светилом. Желание легкомысленное, опрометчивое, но отец, заранее поклявшийся выполнить любую просьбу, тщетно пытается отговорить сына. Солнечная колесница — это своего рода «ковер-самолет» волшебных сказок, а вместе с тем с ней связаны бега колесниц — излюбленное зрелище римского цирка. И вот в описание сказочного полета вводятся квазидостоверные реалии: небесная дорога сначала круто поднимается вверх, а потом стремительно катится вниз к океану, куда само Солнце вечером опускается с опаской; кроме того, земля вращается, а колесница должна мчаться наперерез, по сторонам же грозно сверкают знаки Зодиака — ядовитый Скорпион, чудовищный Рак, а в глубине, далеко-далеко внизу, виднеется земля, при взгляде в такую даль и у

царственного возницы иногда замирает сердце. Полет! Открывающиеся дали! В современной Овидию стенной живописи так называемого третьего стиля любили изображать парящие и летящие фигуры, и это увлечение еще усилилось в более позднем, четвертом стиле, а любование далью, ее поэзия были также хорошо знакомы римлянам. Их сады украшали башенки, откуда открывался широкий горизонт, они выбирали такие места для вилл, чтобы из сада был поэтический вид на поля, луга, горы или морские просторы; взгляд автора изощрен, воспитан августовским искусством, и сочетание обаятельной сказочности с изощренным искусством — одна из характерных особенностей поэмы.

Несмотря на предостережения, Фаэтон настаивает на своем, и, подобно тому, как в цирке по данному сигналу распахиваются ворота и оттуда вылетают колесницы, так и здесь Тифиса отмыкает затворы, едва только Восток начинает алеть, и отдохнувшие, сытые амброзией кони устремляются в полет.

Прекрасна встающая над миром Заря, а парадные атрии (залы римского дома) полны благовонных роз — изысканных у римлян цветов, которыми славился город Пестум. Удивительны и сами кони: Пирой, Эой, Этон и Флегон. Выдыхая пламя, они несутся, опережая ветры, но сказочное и здесь по-своему реально: колесница чересчур легка, ведь кони привыкли возить массивного бога, а Фаэтон хрупок, и они перестают ему подчиняться, налетают на звезды, сбиваются с пути, то поднимаются слишком высоко к небу, то опускаются совсем низко к земле, и на ней вспыхивают пожары. Поэт дорожит торжественностью эпического стиля с его обстоятельностью и любовью к каталогам, придающим повествованию ярко выраженный эпический колорит, он перечисляет горы, где загораются леса: Тмол, Афон, Ида, Геликон, Парнас, Киферон, Кавказ, а также Альпы и Апеннины. Путь Фаэтона ведет в Италию. Дается и каталог закипающих рек, кончающийся Тибром, которому обещано владычество над всем миром. Как «ученый поэт», Овидий знает, что именно тогда почернели эфиопы, а великий Нил убежал (смеется автор) в неизвестном направлении (античные географы действительно не могли определить истоки Нила), и все его семь русел пересохли. Устрашены и божества рек и морей. В пещерах прячутся Нерей и Дорида, Нептун тщетно пытается подняться из океана, но больше всех

страдает Земля: она, как это часто бывает у Овидия, и сама плоть земли, и богиня, поднимающаяся из себя и погружающаяся обратно в собственное лоно.

Она умоляет Юпитера вмешаться, не допустить поглощения мира хаосом, волосы ее обгорели, она задыхается от зноя, а ее заслуги перед богами и людьми велики — она плодородна, терпеливо переносит раны от плуга, дарит людям нежнейшие фрукты, а богам — благовоннейший фимиам. Юпитер озабочен, а Овидий шутит. Оказывается, у владыки богов не оказалось под рукой туч, а значит, и дождя, и пришлось обойтись молнией, перуном. Размахнувшись, он швырнул его в колесницу, и автор, как бы присутствующий при этом, показывает читателям: вот здесь лежат колеса и спицы от них, а там — остатки разбившейся колесницы. Фаэтон же медленно падает, как падают звезды, или, вернее, как кажется, что они падают. Овидий одновременно и сказочник, и фантаст, и просвещенный римлянин, разбирающийся в астрономии. Всюду он дает почувствовать своим читателям, что тешит их вымыслом, игрой фантазии, рассыпая перед ними сокровища своей изобретательности. Он ведет с читателем своеобразную игру, но игру высокую, высочайшую.

Неудачливый возница низвергается прямо в воды самой большой реки Италии Пада (По), и это важно для всей концепции поэмы. Фаэтон падает, как звезда, но к звездам поднимутся дальше Геракл, Ромул, Юлий Цезарь и Август. Нисходящее движение сменится восходящим. А превращение? Где же превращение? Ведь герой гибнет! Он-то гибнет, но в тополя превращаются оплакивающие его сестры Гелиады. Они даже ставят на месте, где погиб брат, камень с надписью:

Здесь погребен Фаэтон, конями правивший Солнца,
Пусть он их не сдержал, но, дерзнув на великое, пал он.

Вот для чего понадобился автору этот рассказ, превращение здесь второстепенно, хотя и описано со всеми подробностями. Но важнее другое: слезы Гелиад превращаются в янтарь, и великая река Италии несет их на украшение римским красавицам. Путь ведет в Рим, а мир во время полета Фаэтона еще молод, и сам он юн и не по летам дерзок,

но на смену ему придут другие, и прежде всего Персей — один из самых блистательных героев греческого мифа.

Он владеет миром чудес, обут в крылатые сандалии, ему принадлежит добытая хитростью голова Медузы, взгляд на которую смертельно опасен — взглянувший немедленно окаменевает. Трижды уверенно облетает землю сын Юпитера и Данаи. Кажется, что в поэме сама земля мала для человека, человек — центральная фигура «Метаморфоз». На крайнем Западе Персей обращает в горную громаду великана Атланта, отказавшего ему в гостеприимстве; на Востоке, в экзотической Эфиопии, освобождает от морского чудовища царевну Андромеду. Бой его с восточными гостями царя Кефея, сторонниками отвергнутого жениха царевны Финея — центральный эпизод миниатюры. Это первое обширное батальное полотно «Метаморфоз», но и короткий рассказ об освобождении Андромеды — сюжет, широко представленный в италийско-римской стенной живописи — полон занимательных подробностей и оригинальных находок.

Прикованную к скале царевну герой видит с высоты, паря в воздухе, и чуть не теряет от восхищения равновесие. Она же, как типично восточная красавица, боится поднять глаза и уж тем более заговорить с мужчиной.

Бой с морским чудовищем, которому она была отдана по воле восточного бога Аммона, разгневавшегося на хвастовство ее матери Кассиопеи, полон метких наблюдений при сказочно-фантастическом сюжете. Как только морской дракон подплывает к берегу, Персей с силой отталкивается от земли, чтобы напасть с воздуха, морской же зверь яростно кидается на тень, отбрасываемую противником. Автор — внимательный и заинтересованный наблюдатель — видит, что тело сказочного чудовища покрыто прилипшими к нему раковинами и что герой поражает его туда, откуда растет хвост. Этот бой не раз изображался на стенных картинах, и иногда Персея рисовали опершимся на скалу и в такой позе разящим дракона. Поэт как бы поясняет картину: у бойца намокли сандалии, и он вынужден, облокотясь одной рукой на вершину камня, действовать другой. Но вот чудовище повергнуто, и тут раздается взрыв аплодисментов, в ладоши хлопают люди и боги, но об их присутствии ничего не говорилось. Это тоже вдохновлено искусством, греческой вазовой живописью, где свидетелями боя были родители Андромеды, герои и боги. Но вместе с

тем сценка напоминает и зрелище охотничьих игр на арене римского цирка, когда зрители рукоплескали удачным ударам гладиаторов. Персей же, победив, моет руки и, заботясь о сохранности головы Медузы — не повредил бы ей береговой песок, — подкладывает под нее сорванные тут же водоросли, в результате чего происходит чудо. Травы окаменевают, а любознательные нимфы проделывают такой же опыт, и из камыша образуются кораллы. Кораллы — украшение юных морей! Перед нами все время развертываются многокрасочные праздничные картины, реальность преображается в сказочный феерический мир, где чудесны не только сами превращения, но и все, чем они окружены. Бой заканчивается свадьбой, победитель получает в награду и царевну, и царство. С крыш свисают цветочные гирлянды, звучат лиры, поют гименеи, настежь открываются золотые покои дворца, сходятся нарядные гости, и жених рассказывает о своих подвигах, рассказывает с тончайшими фольклорно-сказочными подробностями: тут и «трескучий» дремучий лес коварных ведьм Горгон, у дома которых стоят изваяния превращенных ими в животных людей, и скалистая обитель старух Форкид, и обезглавливание Медузы.

Но торжествовать победу было, оказывается, рано. На пиру вдруг поднялся грозный шум. «Ты мог бы его сравнить, — обращается автор к читателю, — с внезапным ревом вздыбившегося под порывами ветра моря». В Средиземном и Эгейском морях бури действительно могут разразиться внезапно. На Персея ополчается злобный Финей — дядя и жених Андромеды, вокруг него толпятся друзья, и «тупая сила рук» ополчается на Персея. Среди нападающих и защитников индусы, ассирийцы, вавилоняне, арабы, кавказцы. Автор дорожит восточной экзотикой, возможностью ввести в повествование черты «местного колорита». Персей убивает красавца индуса Атиса — сына дочери великого Ганга. Юный, шестнадцатилетний, он облачен в красочную одежду, украшен ожерельями и браслетами, в его умащенных миррой волосах красуется кривой гребень.

В битве участвует и другой индус, Гелик, «не стригший волос с рождения». Так принято и сейчас у некоторых индийских сект. Все это было интересно для римских читателей, ведь сношения с Индией оживились как раз при Августе. Он писал в своем завещании, что дважды принимал индийских послов (в 25 и 20 гг. до н. э.), прежде в

Риме не виданных. Можно представить себе, какое впечатление произвело это красочное посольство; Овидий, во всяком случае, запомнил внешний облик послов, их одежды и прически, и своего Атиса изобразил со знанием дела. (Это ли не прием живой актуализации рассказа!)

На Востоке есть и своя культура, там господствует культ дружбы, драгоценный для римлян. Ассириец Ликаб, мстя за соратника, погибает вместе с ним. Пир украшают жрецы и поэты, но на войне они лишние. Эматиона — жреца, проклинающего битвы, безжалостно убивают. Гибнет вдохновенный певец Лампетид, услаждавший гостей песнями на торжественных трапезах, рожденный для мира, скромно стоящий в стороне. «И ты, Лампетид!» — с сочувствием обращается к нему автор, прислушиваясь к умолкающим звукам упавшей лиры. Среди гостей восседает арабский богач Дорил, владелец обширных плантаций благовонных трав, столь ценившихся римлянами и ввозимых из Аравии. Также актуальный штрих! «Земля под тобою — вот отныне все твои владения», — кричит нападающий на него Галкионей. Где же здесь «героические подвиги»? Где воинственная доблесть, прославлявшаяся в классических эпопеях греков и римлян? Картинами боев полна «Илиада» Гомера, а в «Одиссее», в знаменитой сцене расправы с женихами, много натурализма: поверженные женихи падают на пол, переворачивают столы, мясо и хлеб перемешиваются, проливаются вина, удары наносятся под грудь у сосца, в печень, в живот. Овидий и тут барочен, дорожит своего рода батальными «чудесами», красочными деталями, пластическими подробностями и меньше всего «доблестью» и «героизмом». Меч Этемона, к примеру, ломается о мраморную колонну и, отлетев, возвращается обратно, пронзив горло бросившему; борющихся пригвождают к дверям, косяки служат оружием, Персей бьется тяжелым кратером, расплющивая противникам головы. Но когда толпа нападающих становится все теснее, он пускает в ход беспроигрышное оружие — голову Медузы. И, казалось бы, должен наступить конец. Окаменение. Однако не камнями становится восточный люд, а мраморными статуями, воспроизводящими с большим искусством позы и мимику превращенных. Движение останавливается на самом высоком гребне, запечатлевается и увековечивается мгновение, быстролетный миг. Задача увлекательнейшая и для скульптора, стремящегося изобразить

переходное от движения к неподвижности состояние, как у знаменитого «Засыпающего сатира» — статуи эллинистического времени, ныне хранящейся в музее Неаполя. Верхняя часть тела еще выпрямлена, напряжена, а голова и руки расслаблены, так и Эрик, бросающийся на Персея, не может двинуть ногами, а верхняя часть тела еще подвижна. Да и из самого феномена окаменения извлекается множество эффектов. Особенно примечательно превращение в статую главного врага Персея — Финея. Он умоляет о пощаде, а победитель смеется над ним и обещает не убивать, а, напротив, увековечить его в мраморной статуе, долженствующей веки вечные украшать дворец Кефея. И мрамор запечатлевает униженную позу Финея, протянутые к Персею руки, по-восточному подобострастный лик, даже слезы, застывшие на щеках.

Итак, чем же достигнута победа? Доблестью, «силой рук»? Отнюдь нет, она — результат иррационального чуда, сказочного эффекта головы Медузы. И это в «Метаморфозах» не случайно, как мы увидим дальше.

Сам же Персей, уверенно парящий над землей, овладевший миром чудес, — это поднятый на более высокую ступень герой типа Фаэтона.

Время идет вперед, мир мужает и совершенствуется.

Второе обширное батальное полотно — это знаменитый бой кентавров и лапифов, и тут отношение Овидия к войне и воинским доблестям может быть прослежено достаточно четко.

Бой опять начался на свадьбе, на свадьбе Пирифоя и Гипподамии, в горной пещере Фессалии, украшенной с изысканностью римского богача. Сами кентавры, эти гигантские полулюди-полулошади, интересны поэту своей экзотичностью, нечеловеческой мощью и дикостью необузданных страстей, ведь прямо на свадебном пиру кентавр Эврит вцепился в волосы невесты и сладострастно повлек ее за собой, вслед за ним и другие набросились на женщин. Тезей и Пирифой со своим народом — лапифами поднялись на защиту. Об этом сражении, как о примере беспрецедентной богатырской битвы, рассказывает еще в «Илиаде» Гомера мудрый Нестор, проживший на свете уже двести лет. То были, говорит он, «богатыри — не вы!». «Могучие тогда вступили в сражение с могучими и сражали их ужасным боем».

И у Овидия рассказ вложен в уста «медоречивого» Нестора, отсюда и стремление к эффектной занимательности. Вечером в палатке между боями Ахилл с друзьями внимает красноречивому старцу. Но поэт сразу же иронизирует. «О чем же шел разговор? — спрашивает он. О том, о чем только и может беседовать воинственный Ахилл — о доблести, о подвигах». Но какие уж тут могут быть подвиги! Поэта увлекла задача показать сражение в гиперболах, изобразить гигантизм сражающихся — захватывающая цель для барочного художника. Уже в классическом греческом искусстве, на метопах Парфенона, на рельефах храма Зевса в Олимпии, а потом на этрусских вазах и в италийской стенной живописи бой кентавров с лапифами толковался как пример грандиозного варварского сражения. Уже здесь дикое и античеловеческое прежде всего бросалось в глаза: оружием служили деревья и камни, своих противников кентавры топтали копытами, а сами, как дикари, прикрывались шкурами волков и медведей. Овидию все это было знакомо, и он как бы соревнуется с художниками, используя особые изобразительные возможности поэзии, показываются чудовищные раны, живописуются звуки и краски: по оленьим рогам текут выбитые глаза, лица становятся неузнаваемыми, пылающие головни запихиваются прямо в рот противнику, волосы пылают, как колосья на ниве, кровь шипит, запекаясь в ранах, как раскаленные куски железа, брошенные в воду; кентавр Петрей вырывает с корнями дуб с желудями, а Пирифой пригвождает его к этому дубу.

Отношение римлян к кровавым зрелищам было другим, нежели у нас. Они увлекались играми гладиаторов, чей обычай пришел еще от этрусков и восходил к древним человеческим жертвоприношениям. При Августе игры процветали, он стремился этим расположить к себе граждан Великого города, арены устраивались в самых далеких римских провинциях, их можно видеть и сегодня во Франции, Испании, Германии и далекой Африке. Бои гладиаторов как бы вошли в повседневную жизнь Рима. Зрителей привлекала, вероятно, непонятная ныне нам, но увлекавшая их особая эстетика жестоких и кровавых зрелищ. Прямых описаний в «Метаморфозах» нет, лишь изредка о цирковых играх упоминается в художественных сравнениях, и это также один из приемов «актуализации» повествования. Но,

конечно, особая «римскость» Овидия в этой сфере, так же, впрочем, как у Вергилия в «Энеиде», бросается современному читателю в глаза.

Мир дикости, мир жестокости, мир войны! И вдруг — своеобразный антракт, рассказик о кентавре Килларе и его возлюбленной Гилономе («жительнице лесов»). Оказывается, и кентавр может быть прекрасен, если он облагорожен любовью и культурой. Своя прелесть есть в самом сочетании коня и человека, хотя она и не спасла Киллара от гибели. А это величайшая несправедливость! Войны убивают и красоту — этот отблеск божественного на человеке.

Золотая бородка, золотые волосы, падающие на плечи, юношеская свежесть лица, лошадиная часть тела идеальна — спина так удобна для верховой езды (Овидий знает толк и в этом), черный цвет сочетается с белым, а человеческая половина точь-в-точь великая статуя греческих мастеров. Какая своеобразная, типично овидиевская красота: классическое сочетается в ней с барочным! Не уступает Киллару и Гилонома, она также облагорожена культурой, знакома с «Искусством любви», носит идущие ей шкуры животных, умывается в ручьях, украшает себя цветами, а главное, живет душа в душу со своим возлюбленным. Овидий, конечно, шутит, он опять играет, но, играя, не только осовременивает древность, а и возвеличивает культуру века, освящая ее прославленной древностью. А сама красота кентавров! Кто в античном искусстве и поэзии заметил ее до Овидия? Потом, правда, стали замечать. Но именно в век Августа выросло новое поколение, увлеченное пестротой и разнообразием жизни, не вмещающейся в традиционные границы. Менялся и взгляд на «героические деяния» — все это уходило в прошлое. Ведь со всей своей чудовищной «силой рук» кентавры не могут одолеть лапифа Кенея — женщину, чудесным образом превращенную Нептуном в мужчину, награжденного волшебной неуязвимостью. Камни отскакивают от него, бревна для него безопасны. Кентавры наваливают на него целые леса, обнажая окрестные горы, он же не гибнет, а улетает, превратившись в желтую птицу. Выдумка Овидия? Да, несомненно, ведь на известных рельефах Кеней просто проваливался сквозь землю. Зачем же поэт решил переделать предание? Он сделал это с целью и в полном соответствии со своей концепцией беспомощности «силы рук» перед иррациональным, перед чудом.

Ведь только что сам Ахилл в сражении не мог победить столь же неуязвимого Кикна. Копье отскакивало от него, камни отпрыгивали, и, придя в ярость, Ахилл просто навалился на споткнувшегося, сдавил ему голову шлемом, а тот… взмыл в небеса, превратившись в лебедя. И тут же автор не может удержаться от насмешки. Над чем? Над самим прославленным Ахиллом Гомера! Этот герой — знаменитейший из знаменитых, воинственнейший из воинственных — гибнет во цвете лет от стрелы трусливого Париса, и от него остается лишь горстка пепла («так, кое-что»). Правда, слава, слава живет, но что такое гомеровская слава перед бессмертием!

И вот знаменитый спор за доспехи Ахилла между Аяксом и красноречивым Одиссеем. Аякс — воин смелый, но грубый и тупой, еще в «Илиаде» он сравнивался с упрямым ослом и единственный никак не может понять, почему это Ахилл так страдает из-за одной отнятой у него девы, когда Агамемнон предлагает ему такие щедрые дары. Речи! Речи Аякса и Одиссея и сама тема — древнейшая, представленная в греческой трагедии, на бесчисленных памятниках изобразительного искусства и в риторике. О том, кому из двух должны достаться доспехи, декламировали и учителя Овидия в декламационной школе. В «Метаморфозах» поэт, как всегда, соревнуясь с предшественниками, ищет свой смысл и оригинальные нюансы.

Аякс у него грубо наступает на Одиссея, собирает слухи о его «темных делах», восхваляет свою воинственность, а тот произносит блестящую речь не во славу войны, а во славу культуры, против «тупой силы рук», лишенной интеллекта. На войне, именно на войне, чтобы закончить ее справедливым миром, нужны разум, мудрость, красноречие, дипломатический талант. Без «хитрости», без умения убедить Агамемнона принести в жертву Ифигению «ради общего блага», склонить к войне Ахилла, возглавить посольство в Трою, похитить статую Минервы и т. д. греки не победили бы троянцев. От тупого воина обладатель стольких дарований отличается, как вождь от безымянной толпы, как кормчий от простого гребца. «Ты силен только телом, — говорит Одиссей, — я же — разумом и талантом», «дух могущественнее силы рук», а воинственный, но бездуховный Аякс не может даже оценить красоту доспехов, какими он хочет завладеть, доспехов, выкованных самим Вулканом. Важнейшие для концепции

поэмы мысли! Интеллект, культура, тонкость суждений, изощренный взгляд художника — вот идеал поэта века Августа! И, конечно, победу одерживает не сильный, а «красноречивый», а сама риторическая интонация эпизода — еще один художественный элемент «универсальной поэмы». Речи построены по всем правилам декламационного искусства, с изысканными амплификациями, пафосом, доказательствами и опровержениями. Легкая ирония по отношению к «хитроумному» Одиссею не снижает всей значительности его речи, тем более, что в век Августа проводилась политика замирения врагов как раз с помощью дипломатического искусства, в котором римляне всегда были чрезвычайно сильны, но, конечно, Овидий поднимается здесь в более высокие сферы, доказывая, что интеллектуальная культура, прославляемая Одиссеем, неизмеримо выше прямых героических подвигов и равноценна, в сущности, тому иррациональному, тем чудесам, какими достигалась победа в битвах Персея и в сражении кентавров с лапифами.

Но героические полотна «Метаморфоз» заканчиваются апофеозом Геракла. Он ли не подлинный герой, свершитель множества подвигов, освободивший мир от чудовищ, однако не они в центре внимания. Главное здесь — смерть на погребальном костре, сооруженном им самим на вершине Этны. Что же стало причиной гибели? Вечная ненависть к нему всесильной Юноны? Да, но, кроме того, и ревность собственной жены Деяниры. Страсти могущественнее «силы рук», и чтобы вознестись к звездам, надо встать выше них.

Так, предшественник Геракла в поэме, доблестный Мелеагр, победитель калидонского вепря на охоте, упоминаемой еще в «Илиаде», гибнет из-за любви к Аталанте, которой дарит шкуру и голову зверя, вызывая гнев братьев его матери Алфеи. Идет как бы цепная реакция: в ярости Мелеагр убивает своих родственников, а Алфея бросает в огонь полено, от которого чудесным образом зависит жизнь ее сына, и прославленный богатырь гибнет не от ран, а от незримого пламени, пожирающего его. Замечательна и вся картина калидонской охоты, нарисованная знатоком и ценителем. Охота была одним из любимых занятий знатных римлян и вошла в обычай после победы над Македонией (II в. до н. э.), где они и познакомились с приемами знаменитой царской охоты. Это занятие считалось хорошим средством воспитания, закаляющим доблесть и силу духа, но Овидий

подсмеивается над этим, с юмором рисуя промахи легендарных героев, Кастора и Поллукса, Пирифоя, Тезея, иронизирует над Нестором, мудрым старцем «Илиады», утверждая, что он не дожил бы до троянских времен, если бы в молодости не спасся от свирепого вепря, забравшись на дерево. Вся эта «доблесть», в сущности, эфемерна: и самый удачливый из охотников погибает отнюдь не героически, а от действия иррациональных сил, неподвластных физической мощи. Другое дело — Геракл, отличающийся не только мужеством, но и величайшей силой духа, недаром он был одним из любимых героев философов-стоиков.

Согласно легенде, кентавр Несс, пытавшийся похитить Деяниру, был убит Гераклом, но перед смертью отдал его жене под видом приворотного зелья свою тунику, пропитанную ядовитой кровью. Боясь, из-за дошедших слухов, соперницы Иолы, Деянира посылает тунику Гераклу, и тот, ничего не подозревая, надевает ее. Овидий, как верный свидетель, дает репортаж: герой мечется, обращается с речью к ненавистной преследовательнице Юноне, перечисляет свои сказочные подвиги, не смирившие ее гнев, негодует, что коварный Еврисфей, кому он должен был служить, живет и здравствует, когда он — герой — погибает. Так существуют ли вообще боги, есть ли на Земле справедливость! В ярости хватает богатырь слугу Лихаса, передавшего ему злополучную тунику, и, крутя его над головой, бросает в море, и превращение происходит здесь как бы по воле Геракла, а не по велению богов. Смертный, он сравнялся силой с бессмертными! Лихас холодеет, летя, застывает в снежный ком, а потом встает ледяной скалой посреди залива, и мореплаватели боятся коснуться его, как живого. Необыкновенное, своего рода химико-физическое чудо!

На грандиозный костер из деревьев, росших на Этне, Геракл ложится, подостлав шкуру немейского льва, с лицом «пирующего», как будто перед ним стоят чаши с вином, украшенные венками. Даже боги удивляются ему на Олимпе, они готовы пожалеть его, и Юпитер произносит весьма примечательную речь: он, оказывается, гордится «милосердием» своих подчиненных и уверяет их, что герой, «победивший все», победит и самое пламя. И действительно, сын Юпитера и смертной Алкмены отрешается от материнской плоти и, став божеством, возносится на самый Олимп, а Юнона забывает свой

гнев. Значит, к звездам возносит мощь духа, а не «сила рук», ведь Мелеагр погиб от пламени, Геракл же его победил, и именно он получил в поэме первый апофеоз на том этапе «истории», когда человек окончательно подчиняет себе иррациональные стихии жизни и восходит к Олимпу,

Италийско-римские легенды были неизмеримо беднее, чем греческие. Тут нужно было проявлять немалую изобретательность, подбирая сюжеты о превращениях, а зачастую и просто придумывать их. Но для концепции поэмы важно, что линия Геракла продолжается, и римские государственные деятели, начиная от самого Энея, становятся любимцами богов, любимцами потому, что строят новую державу, несущую счастье человечеству.

Венера, получив согласие на апофеоз Энея, колдует над его телом, с которого река Нумик смывает и уносит в Тирренское море все смертное («анхизово» — отец его Анхиз не был богом), оставшееся же «бессмертное» (от матери Венеры) богиня натирает нектаром и амброзией и поцелуем в уста превращает в бога Индигета, то есть местного божка, покровителя италийцев и римлян. Это — первый, сравнительно скромный апофеоз, а дальше они становятся все пышнее. Ромула, ненавистника войны и мудрого законодателя (значит, для него важна не только «сила рук»), когда он сам напоминает Юпитеру об обещании вознести его на небо, Градив (Марс), опустясь на землю, подымает в своей колеснице на небо, поднимает в тот миг, когда этот «справедливец», восседая на Палатине, вершит суд. Богиней становится и его супруга Герсилия. Но Цезарь также поднимается в небеса, он стал кометой и оттуда любуется на своего сына Августа (Октавиан был на самом деле его приемным сыном), при котором боги стали особенно милостивы к людям, и наступил наконец всеобщий мир. Конец! Торжественный конец поэмы!

Но нет, она неожиданно заканчивается не предсказанием апофеоза императору, а возвеличиванием самого автора «Метаморфоз».

Вот я закончил мой труд, и его ни Юпитера ярость,
Ни огонь, ни мечи, ни старость разрушить не смогут.
Пусть же тот день прилетит, что страшен только для плоти,
Тот, что мне завершит течение жизни неверной.
Лучшею частью своей вознесусь я к звездам высоким.

Вечно нетленным пребудет и имя мое у потомков,
Всюду, куда простирается власть великого Рима.
Жадно народы читать меня станут, и, славой увенчан,
Буду жить я, коль только умеют предвидеть поэты.

Оказывается, что не все благополучно в «Золотом веке» Августа. О каком, собственно, гневе Юпитера идет речь? Не о той ли вспышке раздражения, вызвавшей изъятие всех книг Овидия из общественных библиотек? На чем проставлены ударения? На конфликте между поэтом и властителем, на том, что кары создателю поэмы не страшны. Дело сделано. Поэма издана, издана как раз в то время, когда он томится в изгнании на берегах Дуная, и вот теперь он дополняет свой эпос новым, вначале не предусмотренным заключением. Пусть сам Август не дорожит той высотой, на которую поднялась культура в его век, Овидий будет отстаивать ее до конца. Поэт у него едва ли не выше земных юпитеров. В поэму он вложил свою душу, свою драгоценную индивидуальность, предлагая своим читателям, настоящим и будущим, искать его облик именно в книгах, созданных его гением, как он пишет в «Тристиях».

Поэзия. Искусство. Вдохновение

Современные исследователи поэзии Овидия часто пишут о том, что он верил по-настоящему только в человека и мощь искусства. В искусстве проявляется для него величие человеческого гения, преобразующего прозу жизни в высокий идеальный мир, в ту сказочную феерию, в окружении которой живут и герои «Метаморфоз». Увлечение искусством и всем миром интеллектуальной культуры стало в эпоху империи своего рода религией, но августовскому классицизму, с которым спорит Овидий, не хватало благородного несовершенства жизни, той ее текучести и красоты, которую возвысил в высоком жанре эпоса именно он. Люди же искусства — поэты, художники, простые ремесленники — излюбленные персонажи «Метаморфоз», но и в этой сфере, так

возвышающей человека, совершенство достигается лишь постепенно, по мере приближения к «моему», то есть авторскому, времени.

Музы! Первая встреча читателя с ними происходит в пятой книге, где Паллада, покинув Персея, которому помогала (на стенных картинах ее постоянно изображали рядом с ним), летит на Геликон, желая, подобно туристу (а они существовали и в Риме), взглянуть на очередную достопримечательность: источник Гиппокрену, выбитый чудесным копытом крылатого Пегаса. Геликон — это горный хребет в Беотии со знаменитым храмом Аполлона и рощей муз. Он славился своей живописностью, сразу же подмеченной Афиной. Она называет муз счастливыми не только своими занятиями, но и той местностью, где они обитают. Ее поражают прозрачный источник, горные леса, пещеры и луга, пестреющие цветами.

Луг с цветами! В Италии только весной, когда еще не наступила жара, цветы распускаются повсюду, но быстро вянут в начале лета. В изысканных садах и парках цветов было немного, их заменяло обилие кустов и деревьев, с разнообразным оттенком зелени. Сами срезанные ветви часто были украшением римских рельефов. Но обилие трав и ковер весенних лугов — излюблены Овидием. Он с восхищением пишет в поэме «Искусство любви» о пестроте тканей, напоминающих луга весной, а тут, в пятой книге, в песне Каллиопы дает картину цветущего сицилийского луга, где Персефона собирает с подругами цветы, когда ее, как Вихрь в волшебных сказках, похищает мрачный владыка Аида. Позднее же, в изгнании, на берегу Дуная, точно пробуждаясь вместе с природой от зимнего сна, поэт любуется радостью детей «варваров», собирающих в весенних степях первые фиалки. Но «луг с цветами» — это своего рода символ поэзии и в русской лирике у И. Бунина и А. Блока. Обращаясь к Музе, Блок восклицает:

Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Все проклятье своей красоты?
(«К музе»)

И у Овидия луг с цветами — это царство бессмертных муз.

Однако даже музы не ограждены еще на ранних этапах мифологической «истории» от насилия и варварства. Они рассказывают Палладе, как еле спаслись от фракийского деспота Перенея — этой разновидности Терея. Оказывается, что столкновения поэзии с власть имущими начались еще в незапамятные времена. Царь Переней жаждет овладеть целомудренными девушками и коварно предлагает им переждать начавшийся дождь в его доме. Проза жизни, попавшая в высокий эпический жанр и тем самым возвеличенная! Музы вошли, но тучи, гонимые ветром, быстро рассеялись, показалось голубое небо, и можно было продолжать путь, но Переней загородил дорогу, и богиням пришлось спасаться на крыльях. Воспарить за ними к небу попытался и фракиец, он даже поднялся для этого на башню, но, сделав прыжок, полетел вниз и разбился. Путь в небеса ему заказан, как заказан и дерзким псевдомузам, девяти дочерям царя Пиера, ведь и они — эти любительницы пустой болтовни — Пириды, да только родились не от того Пиера, что их соперницы. Вызвав на состязание настоящих муз и желая завладеть Геликоном, они исполняют «святотатственную» песню о том, как олимпийские боги позорно бежали от гигантов в Египет, превратившись в животных, почитаемых там.

Каллиопа же, увенчавшись плющом и сопровождая пение игрой на лире, прославляет в обширной вставной песне, построенной как самостоятельное целое с введением, перипетией и заключением, мощь великой богини земледелия Цереры, чей культ был особенно распространен на Сицилии, ведь и сегодня в местный музей почти ежедневно приносят найденные в земле фигурки Цереры (*греч.* Деметры) и Персефоны. Но почему для того, чтобы проучить гордецов и псевдопоэтов, выбирается именно эта тема?

Конечно, с Церерой было связано много легенд о превращениях, она грозно карала дерзких, самонадеянных, невежественных, подобных скифскому царю Динку, но важна была и сама возможность ввести в универсальный эпос еще одну тему — тему материнской любви, объединив ее с темой культуры. Церера — богиня культивированной земли, покровительница Триптолема, обучившего людей земледелию и тем поднявшему их к культуре, недаром на Триптолема ополчается варвар Линк. Само латинское слово «культура»

происходит от глагола colĕre — обрабатывать, почитать. Музы же у римлян были прежде всего богинями всякой интеллектуальной деятельности, дарящей людям бессмертие. Их постоянно изображали на саркофагах в обществе умерших, возвеличенных своей культурой, окруженных свитками, декламирующих, музицирующих, гордящихся своей приобщенностью к философии Пифагора и Платона. Кому же прославить великую богиню — законодательницу, справедливицу, дарительницу благоденствия и плодородия, как не музам! Цереру и Прозерпину особенно почитали люди из народа, сицилийские земледельцы, виноградари, пастухи, а значит, поющие музы возвеличивают народное благочестие и материнские чувства, доступные всем, великие в своей общечеловечности. Мать и дочь! Влияние народных представлений особенно четко проявляется в образе Прозерпины. Грозный царь преисподней Дит похищает ее в тот миг, когда она собирала цветы на горном лугу у озера Перг. Там, как в парадизе, царит вечная весна, но и сюда введена небольшая деталь из «здесь» и «сейчас». Озеро осеняет глубокая тень лесов, подобная балдахину в саду римской виллы, дарующему прохладу в жаркий южный день.

В русской сказке «Василиса — золотая коса» юная красавица также ходит по зеленому лугу, где красуются «цветы разновидные», рвет «цветочки лазоревые», в «молодом уме осторожности не было, лицо ее было открыто, красота без покрова». В это время и налетел на нее Вихрь и унес «через многие земли великие, реки глубокие, через три царства в четвертое — в область змея лютого». Простота и наивность — вот главные черты и Прозерпины Овидия. Когда Дит похищает дочь Цереры и она роняет собранные цветы, то даже это по-детски огорчает ее. Видящая юную девушку, почти ребенка в подземном царстве, богиня реки Аретуза удивляется несоответствию ее наивно-испуганного лика царственному положению грозной супруги правителя преисподней. Народен по-своему и образ самой Аретузы-простушки, красавицы, стесняющейся своей красоты, краснеющей от похвал. Она, подобно Гермафродиту, становится жертвой речного бога Алфея. Это не может не осуждать и сама Церера, восстающая против «разбойника» Дита. Она величественна в своей скорби, с зажженными на Этне факелами (факелы зажигали и на ее празднествах) она обходит всю Землю — от Восхода до Заката. Мир

тесен для этой величайшей из богинь. В гневе и скорби она наказывает Землю неурожаями, обрекая ее на запустение, на возвращение к варварству. Оскорбление материнских чувств грозит людям гибелью, настолько значительно оно для судеб всего живого. Страсть Дита, как и любовь Аполлона в начальных книгах, была вызвана чудодейственной стрелой Амура. Афродита, как заправский правитель мира, заботится о распространении своей власти и на третье царство — на подземный мир, и жертвой становится Прозерпина. Юпитер, к кому на Олимп поднимается оскорбленная богиня-мать, оправдывает брата, а зятя считает достойным олимпийцев-родителей и готов извинить его «любовью». Кому же и понять Дита лучше, чем самому насильнику Юпитеру! Но все-таки полгода Прозерпине — владычице растительности, замирающей зимой и расцветающей весной — разрешается проводить на земле у матери, и Церера «светлеет» наконец и «душой», и «ликом», как солнце, побеждающее дождливые тучи и победно сияющее. Сравнение, употребляемое в поэме не раз по отношению к божествам растительности и плодородия, чья плодоносная сила невозможна без дождей и без солнца.

А что же музы? Лжепиериды не признали их победы и осыпали соперниц бранью, и тогда богини вступили на тот же путь, что и Церера, — они покарали дерзких псевдомуз, превратив их в сорок, этих лесных пустословов. Значит, псевдопоэзия, лжеискусство столь значительны в судьбах мира, что могут быть наказаны и увековечены в окружающей природе как назидание потомкам. Столь важна для поэта, для римлянина века Августа вся сфера интеллектуальной культуры. Дерзкие руки обрастают перьями, носы превращаются в клювы, и, пытаясь ударить себя в отчаянии в грудь, псевдомузы вдруг повисают в воздухе. Повисают, а не взлетают к небу.

Пока еще боги торжествуют победу над людьми, торжествуют по справедливости. Но время идет, и на вершину мастерства восходит прославленная своим искусством ткачиха Арахна, дочь Идмона (*греч.* знаток, искусник), живущая в никому не известном лидийском городке под названием Гипепы. Прекрасны не только вытканные ею ковры, но и самый процесс ее работы. Посмотреть, как из клубков бесформенной шерсти постепенно рождается шедевр искусства, собираются даже окрестные нимфы. Не так ли само божество-демиург создало когда-то

из беспорядочного хаоса гармоничный космос, не так ли из каменных глыб родились первые люди, словно статуи под резцом скульптора! Ремесленник тоже творец, и труд его не менее вдохновенен, чем труд поэта или художника.

Во время жизни Овидия город был наводнен искусными ткачами, камнерезами, скульпторами, изготовлявшими копии прославленных греческих статуй; существовали специальные мастерские, обслуживавшие богачей. Прикладные искусства процветали. Множество греческих мастеров приезжало кормиться в Рим. Рельефы, серебряная посуда, которую коллекционировали Юлий Цезарь, Меценат и сам Август, поражали тончайшим искусством деталей, рельефы с гирляндами аканфа, плюща, цветов и фруктов удивляли своим правдоподобием, отличались от коренных греческих печатью особой личной наблюдательности. Взгляд Овидия воспитан каждодневным соприкосновением с тончайшим искусством, входившим в повседневную жизнь всякого образованного римлянина. И «Метаморфозы» впитали в себя высокую атмосферу художеств. Пусть псевдомузы — это еще вовсе не музы, а их искусство — лжеискусство, но Арахна уже настоящий художник. Но что же с ней происходит? Ее губят гордыня, отсутствие благочестивой скромности, черты, несомненно, напоминающие лжепиерид. Как надменные молодицы волшебных сказок, она не признает даже саму покровительницу ремесел, изысканную мастерицу Афину Палладу. Она хвастается своим превосходством, настаивает, как и псевдомузы, на состязании. Превратившись в старуху (также сказочный мотив), Афина пытается ее образумить, но ткачиха смеется над ее старостью и предлагает учить уму-разуму своих дочерей и невесток, и тогда богиня сбрасывает личину. Состязание начинается. Поэт, как всегда, дает своеобразный «репортаж»: ткачихи торопятся, их руки напряжены, и драгоценная ткань, льющаяся из-под пальцев, поразительна своей многокрасочностью. Переходы тонов ускользают от взгляда, настолько они тонки, как это бывает только на радуге, яркой переливчатой южной радуге (ею, кстати, восхищался когда-то великий философ Платон). Недаром Овидия принято считать самым многокрасочным из античных поэтов. Обилие красок, их тончайшие переливы придают «Метаморфозам» особую нарядную праздничность.

Но каковы сюжеты ковров? Арахна замахивается на самих богов, она изображает их превращение в животных, облегчающее погоню за земными красавицами, но делает это с большим искусством. Особенно удалась ей картина похищения быком Юпитером красавицы Европы. Главное здесь — правдоподобие, все кажется выхваченным прямо из жизни. Паллада же «рисует иглой» иначе, она вдохновляется классическим искусством Фидия, сценой, изображенной на западном фронтоне Парфенона: Нептун и Афина спорят за обладание Аттикой. Двенадцать олимпийских богов торжественно восседают в царственном величии, у каждого свое выражение лица. Лик Юпитера царствен. Сама же Паллада, в шлеме и с эгидой, выводит из земли ветвь серебристой оливы. И здесь перед нами не просто описание шедевров, но их оценка знатоком, автором, разбирающимся в самих стилях искусства. Паллада — поклонница греческой классики, как и полагается богине Олимпа. Подражание грекам было при Августе официальной программой, программой создания своеобразной «гиперкультуры», сочетавшей лучшее греческое с высокими идеалами Рима. Овидий был несомненным участником этой программы, но понимал ее по-своему. Конечно, великое искусство Фидия, Поликлета, Скопаса оценивалось им высоко (так в Новое время почитали Рафаэля, Микеланджело и Леонардо да Винчи), но ему не хватало в нем движения и барочности, хотя и ковер Паллады, как греческие классические статуи в римских храмах, окружен в «Метаморфозах» своеобразной сакральной аурой, он должен возбудить в читателях своего рода религиозное чувство (сидящие «в спокойном величии» олимпийцы). Ведь и в храме Аполлона на Палатине статуи Латоны, Артемиды и Аполлона, работы Тимофея, Скопаса и Кефисидота были объектами культового почитания так же, как и знаменитый обнаженный Юпитер — творение Леохара — в святилище Юпитера Гремящего. Паллада ткет по краям ковра, в назидание гордецам, «дивные по краскам» изображения наказанных богами нечестивцев, Арахна же окружает ковер изображением цветов и плюща — символами любви и предпочитает классицизму своеобразный натурализм, свойственный позднегреческому искусству (конец IV—III в. до н. э.). Рассказывают, Апеллес так изобразил мальчика с виноградом, что птицы прилетали клевать его, и он замазал ягоды, оставив только ребенка. В быков скульптора Мирона пастухи бросали

камни. Зрители ценили, по-видимому, сходство с натурой превыше всего, и в этом отношении ковер Арахны удовлетворял всем требованиям «модерна», но ему не хватало той «харис» — того художественного обаяния, которое должно было вызывать созерцание резных камней, картин и статуй. Ведь еще у Гомера Ахилл полон «сладостных чувств», любуясь совершенством щита, выкованного Гефестом. По мастерству ковер Арахны не уступал работе Афины, однако сюжет, сюжет вызвал божественный гнев. Потерпев поражение, ткачиха готова была повеситься, но богиня вынула ее из петли и приказала жить дальше, ударив по голове ткацким челноком и превратив в паука (Арахна и значит по-гречески паук), при этом само превращение выписано поэтом с такими же «веристскими» подробностями, что отличали и ковер лидийки: волосы исчезают с головы, пропадают ноздри и уши, живот становится непомерно большим, и она продолжает выводить из него переливающиеся на солнце радугой нити. Паллада, вероятно, была по-своему права, но можно ли доказать правоту насилием? Сам же автор не разделяет вкусы ни той, ни другой мастерицы, а смотрит на задачи искусства по-своему, о чем свидетельствует знаменитая миниатюра «Пигмалион», включенная в обширный цикл Орфея *(X — нач. XI кн.)*, миниатюра, необычайно важная для понимания всей поэмы.

Прославленный певец Орфей, сын музы Каллиопы, потеряв жену Евридику, возненавидел женщин и стал предпочитать юношей. Удалившись от людей, он сел на зеленом холме и стал услаждать пришедшие на его призыв чувствительные к музыке деревья Италии песнями о любви Аполлона к юному Гиацинту, Юпитера — к Ганимеду, страсти Мирры к собственному отцу. Согласно легенде, Пигмалион, о ком он также слагал стихи, был царем Кипра, влюбившимся в статую Афродиты. Патологическая история, вполне подходившая ко всему характеру цикла; но Овидий резко изменил сюжет в угоду своей концепции. Он сделал Пигмалиона резчиком слоновой кости, возмущенным продажностью гетер-пропетид (сакральная проституция) и отвернувшимся, подобно Орфею, от женщин. Живя одиноко, он увлекался лишь своим искусством и делал из слоновой кости настоящие чудеса. Она ценилась в Риме очень высоко как подлинная драгоценность, ввозилась из Индии как предмет роскоши, хотя применялась главным образом для инкрустирования, но

индийские статуэтки из слоновой кости были найдены в римской земле в I в. до н. э.

Овидий восхищается ее белизной и называет мастерство Пигмалиона «удивительным», настолько удивительным, что ему удалось создать образ женщины такой красоты, что она потрясла самого скульптора, полюбившего мертвое, неодушевленное существо. Мертвое… нет, она была «как живая». («Ты мог бы подумать, — обращается автор к читателю, — что она уже готова сойти с места, если бы ей не мешала целомудренная стыдливость».) Вот — девическая стыдливость в противоположность разнузданным гетерам! Пигмалион касается статуи, целует ее, и ему кажется, что она отвечает на поцелуи, он волнуется, пытается говорить с ней, даже приносит ей подарки, подарки, приятные юным девушкам: раковины, причудливые камушки, маленьких птичек, пестрые цветы, расцвеченные шарики, лилии и упавшие с деревьев «слезы Гелиад» — янтарь. В нагромождении глаголов, в спешке перечислений искусно передано захватывающее волнение влюбленного мастера. Он даже украшает ее кольцами, браслетами и ожерельями — и все ей идет, нежит ее на пурпурном покрывале, оттеняющем ее целомудренную белизну, и, наконец, называет женой и супругой.

Наступают празднества Венеры, и благочестивый Пигмалион робко молит ее помочь найти жену, «подобную девушке из слоновой кости». Вернувшись домой, он чувствует, что она теплеет от его прикосновений, ощущает пульсацию крови, и от его поцелуев статуя оживает, как в сказке. «Робко открыв глаза, она видит одновременно с небом и своего возлюбленного».

Галатеей назвал создание Пигмалиона только Руссо, у Овидия она безымянна; девическая же ее природа, податливость формирующим пальцам, как бы разминающим гиметтский мед, позволила Бернарду Шоу извлечь все оттенки из этого созидающего мастерства в своем «Пигмалионе».

Ожившая статуя! Тема, распространенная и в античной литературе, и в литературе Нового времени, но в «Метаморфозах» искру жизни в изваяние вдохнула Венера, однако, для того, чтобы это произошло, нужно было гениальное жизнеподобие. Вспомним Апеллеса и виноград. Нужно было и другое: вдохновение, создание в душе идеала, который требовал воплощения, значит, искусство не

просто копирует, но воссоздает идеальное, не так, как Арахна, но и иначе, чем Паллада, ближе к жизни, к интимному бытию человека. «Веризм» — будничен, поэзия Овидия — празднична, автор жаждет усовершенствовать окружающее, осветить его поэтическим вымыслом, взглянуть на него сквозь призму изобразительного искусства, преобразующего жизнь. Путь от Арахны к Пигмалиону — это путь к новым вершинам в овладении человека стихийными силами жизни, он формирует их, подчиняет своему гению.

О Пигмалионе и «пигмалеизме» в искусстве Нового времени написано много. Легенда, созданная Овидием, таила в себе глубочайшие внутренние возможности, выходящие далеко за пределы широко распространенной темы «ожившей статуи». В средние века было принято порицать любовь Пигмалиона как патологическую, а в Венере — видеть богиню порока, правда, уже монах Бенедикт — друг Петрарки — превратил Пигмалиона в проповедника, а статую — в холодную, как слоновая кость, монахиню, которую воспитывает и делает своей женой священнослужитель. В истории Пигмалиона пытались иногда видеть и моральный пример, именно таких примеров искали у Овидия создатели знаменитого средневекового сборника «Овидий морализованный»: «Легенда учит, что целомудренную и чистую жену дарит сам Бог, и у него нужно ее просить». В эпоху Возрождения и позже на сюжет Овидия создаются оперы и балеты, а Руссо ставит свою монодраму с музыкой «Пигмалион» в «Комеди Франсез» в 1775 году, уже пытаясь выяснить тайну взаимоотношения художника со своим созданием.

Фальконе увековечивает в скульптуре момент оживания Галатеи. Интересно, что в XIX веке Пигмалион становится своего рода символом художника, олицетворяя, по Винкельману, волшебную силу «вчувствования в произведение искусства, необходимое всякому созерцающему его». Безжизненность слоновой кости, по его словам, преодолена духом художника, под чьими руками она ожила. «Схватить идею — это и значит оживить». В шиллеровском журнале «Музенальманах» А. Шлегель высказывает сходные мысли: «Страсть Пигмалиона — это увлечение чистой красотой, а не просто мужская любовь, он дал жизнь идеалу, созданному в собственном воображении», у Шиллера же Пигмалион — даже символ космической и мировой любви.

В двадцатых годах нашего века появилась тема оживших автоматов, и испанский писатель Эль Сенор видел Пигмалиона в образе кукольника, дрессирующего свои создания кнутом, чтобы усовершенствовать их духовный мир, воспитать «идеальных людей».

«Метаморфозы» Овидия оказались таким образом настоящей сокровищницей искусства, до сих пор обогащающей духовную культуру человечества.

К сюжетам, излюбленным в литературе и искусстве Нового времени, принадлежит и легенда об Орфее и Евридике. Орфей встречает читателей на вершине, в последних книгах «мифологической» части, встречает после того, как потерял свою юную жену Евридику, и охвачен такой безграничной скорбью, что даже дерзает спуститься за нею в само подземное царство. В одном образе здесь, на подходе к «исторической» части, слита поэтическая мощь, не знающая себе равных, с захватывающей любовью — и это принципиально важно для Овидия. Вспомним, какое значение придает поэт взаимной любви в любовных миниатюрах поэмы. Орфей был возвеличен в Греции многочисленными легендами, существовал даже его особый культ («орфизм»), приобщавший мистиков к бессмертию, но от «орфизма» Овидий далек. Он извлекает из традиционного — общедоступное, общепонятное, человечески значительное.

Спуск в подземное царство! К безрадостным владыкам обители теней певец спускается со своей лирой и песней, подчиняющей себе скалы, деревья, зверей и птиц; теперь же она должна победить самое неумолимое и жестокое — стихию смерти. Овидий рискует даже воспроизвести эту песню. Вот она:

… О божества, обитатели мира подземного.
Мира, где все, кто смертен, приют находят последний.
Если дозволите мне, отбросив уловки пустые,
Правду сказать, то не с тем пришел, чтоб Тартар увидеть,
Не для того, чтобы цепь накинуть на шею тройную
Внука Медузы, того, что змеями весь ощетинен;
Ради жены я спустился сюда, чья жизнь оборвалась
В самом расцвете от яда змеи, ее укусившей.
Тщетно хотел я скорбь превозмочь, но сил не хватило.
Все Амур победил. В земном он мире известен,

Знают ли здесь, сомневаюсь, но, кажется, все-таки знают.
Если правдивы преданья о том похищении древнем,
То ведь любили и вы. Вот этим вас умоляю
Хаосом грозным, местами, где царствует вечно молчанье.
Нить оборванной жизни сплетите опять Евридике.
С вами мы связаны прочно, помедлив короткое время,
Позже ли, раньше — мы все в единое место стремимся.
Все поспешаем мы к вам, ведь здесь приют наш последний,
Царствуйте вы дольше всех над родом людей кратковечных.
Так Евридика, когда проживет законные годы,
Вашей будет по праву, ведь просьба моя справедлива.
Если же в милости ей откажут мне судьбы, то знайте,
Сам я назад не вернусь, порадуйтесь смерти обоих!
(X, 17—39)

Все здесь просто и общепонятно, проста сама жизненная философия, уверенность в неизбежности конца, горечь о несостоявшейся жизни Евридики. Очевидно, и сам облик Орфея, проникновенность его жалоб были необычайно трогательны, трогательны настолько, что сами неумолимые богини мести Евмениды впервые прослезились. Весь мир преисподней преобразился, остановилось колесо Иксиона, данаиды стали, облокотившись на свои дырявые урны, Сизиф уселся на камень, который должен был тщетно вкатывать в гору, а Дит и Прозерпина взволновались так, что немедленно позвали недавно спустившуюся к ним Евридику. Впервые в истории человечества умершая возвращается к жизни, но с одним сказочным, в сущности, условием, чтобы выводящий ее на землю Орфей не оглядывался, пока не покинет царство теней. И это-то условие он и нарушает. Вергилий в своей поэме «Георгики» (о земледелии) объясняет это «беспечностью» и даже «безумием» Орфея. Отсутствием у него героической выдержки. Конечно, можно было бы и простить ему «легкомыслие», но боги подземного мира прощать не умеют *(Георгики. IV, 453—530).* Евридика сетует у него на жестокую судьбу, растворяясь, как дым, в тончайшем эфире. Овидий явно полемизирует с великим современником. Орфей оглядывается у него, боясь, не отстала бы Евридика, и в радостной жажде вновь увидеть ее,

проявляя чисто человеческую слабость. И Евридика не пеняет на него. «Да и на что ей было пенять, на любовь к ней Орфея?!»

Поэт не только извиняет влюбленного и сочувствует ему, но и любуется его трогательной человечностью. Он как бы интерпретирует по-своему знаменитый рельеф — мраморную римскую копию скульптора Каллимаха (420—410 гг. до н. э.), где изображена Евридика, ласково положившая руку на плечо смотрящего на нее с глубокой любовью и гладящего ей руку Орфея в то время, как стоящий сзади Гермес уже готов увести ее назад в темноту. Свидание и прощание на веки вечные переданы здесь с предельной выразительностью. Это свидание-прощание пытались по-своему воспроизвести в Новое время и Рубенс, и Торвальдсен, несомненно, испытавшие влияние «Метаморфоз», вдохновлялись им и композиторы.

Орфей потрясен, он долго не возвращается к своей музыке, отворачивается от женщин, но однажды, сев на зеленый холм в жаркий день и страдая без тени, ударил по струнам, и тень пришла, его окружили деревья, роскошные деревья Италии. Овидий даже дает их небольшой каталог: горный дуб, тополя, нежные липы, не знающие брака лавры, дарующие радость платаны, ракиты, растущие по берегам рек, мирты, плющи, виноградные лозы, пинии с жесткими кронами. Каждое из этих деревьев посвящено какому-нибудь божеству или прославлено мифами о любви богов и смертных, потому-то они так хорошо понимают Орфея и отзываются на его песню. Мирт — любимое дерево Венеры, липа — превращенная Бавкида, лавр в прошлом был Дафной, плющи и виноградные лозы, обвивающиеся вокруг деревьев, своего рода символы любовного единения, пиния — любимое дерево Кибелы, в нее был превращен некогда ее любимец Аттис, ну а Кипарисом звали юного возлюбленного Аполлона, чья история тут же рассказывается. Он убил нечаянно своего любимого оленя и пожелал вечно оплакивать его, никогда не осушая глаз. И по воле Аполлона высох, позеленел, вытянулся и стал смотреть в звездное небо своей «стройной вершиной». Кипарис считался у римлян скорбным деревом, его сажали на кладбищах, ветвями его украшали саркофаги.

Все это очень важно для понимания не только «Метаморфоз», где каждое растение имеет как бы свой «ореол», но и для римского садово-

паркового искусства, всегда считающегося с мифологической историей кустов и деревьев при аранжировке садовых пейзажей и около частных вилл, и в городских садах и парках. Овидий и в этом — сын своего времени, воспитанник античной культуры. По мифу, Орфей жестоко погибает, по одним версиям — из-за гнева Диониса, по другим — из-за ненависти к нему фракийских женщин, вызванной его презрением к ним. Овидий опирается на эту вторую версию. В вакхическом безумии разъяренные фракиянки засыпают его камнями, которые сначала, зачарованные его песней, отскакивают от него, но гам, вопли, улюлюканье заглушают его голос и тело его разрывают, а голова, выброшенная в Гебр, с устами, еще шепчущими какие-то слова, плывет по направлению к Лесбосу — родине великой греческой лирики. Эту плывущую голову любили изображать на рельефах и мозаиках. И что же, «тупая сила рук» и злоба одержали победу над вдохновением и искусством? Вспомним Марину Цветаеву:

Так плыли: голова и лира,
Вниз, в отступающую даль.
И лира уверяла: мира!
А губы повторяли: жаль!
……
Где осиянные останки?
Волна соленая — ответь!
Простоволосой лесбиянки
Быть может вытянула сеть?

Апофеоз Орфея не засвидетельствован легендами. Первым возвел его в Елисейские поля Вергилий *(«Энеида», VI кн.)*, он поместил его среди тех, кто «облагородил жизнь искусствами», и Овидий подхватил это, но не забыл и о Евридике. Только там, в полях блаженных, Орфей может наконец любоваться ею безопасно и, обняв, наслаждаться тем счастьем, в чем ему отказано было на земле, ведь Елисейские поля в «Метаморфозах» — это страна мечты, блаженное царство, доступное не только героям подвига, но и героям поэзии и любви, как у А. А. Блока:

А когда пройдет все мимо,
Чем тревожила земля.
Та, кого любил ты много,
Поведет рукой любимой
В Елисейские поля.
(«Последнее напутствие»)

Вершиной заканчивается в «мифологической» части тема искусства и поэзии. Все подчиняется власти вдохновения, не только люди и звери, но даже и владыки преисподней, и апофеоз Орфея не ниже апофеоза Геракла.

«Историческая» часть поэмы скуднее темами поэзии и искусства, так как римские легенды не давали возможности широко развернуть их, и все же… все же всюду, где только есть хоть малейший повод, автор стремится возвысить, облагородить римское, придав ему общечеловеческую значительность. Особенно примечательна миниатюра о Кирке и древнем царе Авсонии (Италии) Пике. У Кирки, как известно, целый год прогостил Одиссей («Одиссея» Гомера), прогостил у этой волшебницы, своего рода «бабы яги», живущей в непроходимом лесу в скромном лесном домике. Овидий переселяет ее в роскошный дворец, где, окруженная служанками-нимфами, она разбирает чудодейственные травы для колдовских отваров. Как в «Одиссее», она превращает спутников греческого героя в свиней, — превращение, важное в поэме о превращениях. Но автор вводит в рассказ придуманный им самим образ спутника Одиссея Макарея, видевшего во дворце Кирки мраморную статую красавца-юноши с дятлом на голове. Происхождение изваяния заинтересовало Макарея, и одна из служанок рассказала ему историю Пика, увековеченного в статуе. О Пике, древнейшем царе Авсонии, рассказывается и в «Энеиде» Вергилия, но там он суров, торжествен, архаичен, как все легендарные предки римлян. Его изображение украшает и строгий дворец царя Латина, окруженный лесами; оно сделано из кедра, стоит в пиршественном зале, облаченное в торжественную трабею. Ни о красоте, ни о мраморе и речи нет. Овидий грецизирует образ, но показывает Пика как бы в двух ракурсах (греческом и римском), как, впрочем, и саму Кирку. С одной стороны, она царственная

обладательница мраморных хором, с другой — колдунья, бродящая в заповедном лесу в поисках трав. Здесь-то и встречается она с юным царем, супругом нимфы Каненс (певчей), своего рода италийским Орфеем. Охотясь, он попадает, как царевич волшебных сказок, в непроходимый лес, подвластный злой волшебнице, и, увидев его, Кирка тотчас же вспыхивает страстью. Она завлекает его туда, «где человеку не пройти и коню не проехать», и объясняется в любви, но Пик отвергает эту всесильную дочь Солнца, храня верность своей «удивительной пением» супруге, и тогда его, одетого в пурпур и золото, колдунья превращает в нарядно оперенного дятла («Пик» и значит дятел), поэтому его изваяние и украшено во дворце этой птицей.

Рассказ служанки, «человека из народа», богат, как мы видим, фольклорными мотивами, но она же, восхищаясь статуей, говорит о соответствии внешней красоты Пика его душе, то есть разделяет греческое понимание красоты — «калокагатии» (единство внешнего и внутреннего), а это значит, что автор стремится объединить высокое греческое понимание прекрасного с народным представлением о царственной красоте и нравственной высоте (верность, вопреки угрозам волшебницы). Римскую «архаику» он толкует как «фольклорность», но она не противоречит греческой изысканности, как не противоречат во всей поэме «фольклорность», «народность» высочайшей римской культуре века Августа, созвучной, по Овидию, тем душевным первоосновам, которые представлены и в народном творчестве.

Каненс, напрасно искавшая Пика по всем лесам и дорогам, истаяла от горя на берегах Тибра, с последней песней на устах, дав имя самому месту Камены (то есть италийские музы). Значит, и Тибр не чужд вдохновения, поэзии и искусства.

Василий Ян

ОВИДИЙ В ИЗГНАНИИ[609]

Изгнаньем из страны родной
хвались повсюду, как свободой!

Лермонтов

Я приютился в верхней каморке двухъярусной каменной гетской хижины, в небольшом городке, полном разноязычных варваров. Здесь, как нищий, бесправный ссыльный, провожу я томительные долгие годы, вспоминая римскую речь только в те часы, когда пишу свои скорбные элегии, хожу на проверку к военному трибуну и когда достаю из ящика потемневшие свитки моих любимых поэтов: Горация, Проперция, Тибулла и Корнелия Галла.[610]

Стараюсь быть мужественным и утешаюсь как могу: в одной стене у меня есть очаг, где в морозные дни пылают щепки и сучья, собранные мной на морском берегу; на полу разостлан козий мех, а сбоку ложе варварского вида, покрытое сарматской войлочной попоной.

С восточной стороны прорублено окно, завешенное фракийским малиновым покрывалом. Через это окно ко мне влетают золотые лучи утреннего солнца и зовут на берег моря. Есть у меня также разрисованный узкогорлый кувшин, — в нем я берегу последние остатки выжатого на цветущих склонах Везувия[611] сладкого темного вина.

Откинув занавеску, я часто жадно всматриваюсь в туманную даль, в линию горизонта, постоянно меняющего свой цвет беспокойного моря. Я с нетерпением жду радостного вестника оттуда, из навеки мною покинутого Рима.

Сегодня вдруг я заметил долгожданную золотистую точку. Медленно приближается надутый ветром парус, все ближе вырастает покачиваемый волнами корабль. Парус быстро опускается на палубу, мерно взмахивают поблескивающие на солнце белые длинные весла.

Затерянный в толпе варваров, я спешу к пристани.

Что привез мне корабль? Прощение нового императора Тиберия? Письма друзей и с ними несколько запечатанных амфор с вином из моего сульмоновского[612] виноградника?

Кормчий, за время долгого пути заросший бородой, важно сошел по сходням на берег. Грубый голос, как обычно, произнес:

— Письмо Публию Овидию Назону? Ни такого письма, ни посылки для него мне не передавали. Теперь не скоро жди писем: наступает время зимних бурь, и все корабли спешат укрыться в гаванях.

Ни письма, ни денег, ни посылки… Чем же я проживу эту зиму?

Снова я сижу около пылающего очага, допивая последнюю чашу вина. Я грею озябшие руки и закрываю глаза. В завывании ветра мне чудится шепот:

«Опять тебе нет ни вестей, ни привета с родины? Но не ты ли сам предсказывал в своей элегии:

В счастье покуда живешь, ты много друзей сосчитаешь,
А как туманные явятся дни — будешь один».

Ветер с моря шелестит тростником крыши, и опять слышатся чьи-то речи:

«Твои друзья веселятся с другими, и даже прославленная твоими песнями Корина от тебя отвернулась. Забудь и ты о неблагодарном великом городе и находи утешение среди ненавидящих хищный Рим варваров…»

Порыв ветра будит меня. Я открываю глаза. Замечаю серые, сложенные из грубых камней стены и покрытые седым пеплом потухающие угли в очаге. Ветер треплет малиновую занавеску в окне и доносит равномерные удары тяжелых волн о каменистый берег. Под этот шум у меня складываются строки:

Варваром я здесь слыву: моя речь непонятна туземцам,
Слóва латинского звук смех вызывает глупцов.
Сам уж, боюсь, разучился здесь говорить по-латыни:

К гетским, сарматским словам ум приспособил я свой.[613]

Уж много лет и в полнолуние, и в ущерб каждого месяца я обязан являться в крепость к военному трибуну — удостоверить, что я не бежал из города.

Я пробираюсь узкой кривой улицей, где мне знакома каждая плита, каждый выступ дома. Я стараюсь незамеченным проскользнуть мимо лавок, увешанных: одни — свиными окороками и рассеченными бараньими тушами, другие — глиняными чашами и пестрыми кувшинами, третьи — сыромятными ремнями и дубленными кожами. Что я могу ответить на ласковые зазывания продавцов, видевших меня нарядным в первый год моего приезда, когда теперь мою римскую гордость терзают муки нищеты?

— Чем тебе, господин, мы можем услужить? — слышу я вопросы и ускоряю шаги.

Я обхожу площадь, где ежедневно сходятся томиты, жители города, для торга с кочевниками. Хищные геты и свирепые сарматы ненавидят друг друга и при встрече в степи держат наготове арканы и стрелы, а здесь, на торговой площади, они только молча сторонятся, хотя кровавая схватка может произойти каждое мгновение. Они неразлучны с коротким мечом, небольшим тугим луком и кожаным разрисованным колчаном, полным отравленных красноперых стрел. Эти страшные кочевники мирно пригоняют сюда баранов, быков или истощенных, покрытых ранами пленных, которые стонут и плачут на неведомых языках.

Я дохожу до наполненного водой рва и каменных ворот. Часовой легионер знает меня и, махнув рукой, говорит:

— Овидий, проходи!

Внутри крепости, на холме, живет трибун, начальник римского гарнизона. Я останавливаюсь возле небольшого дома. Сквозь раскрытую дверь я вижу на мраморном полу выложенную черными камешками надпись: «Сальве».[614]

Как изгнанник, эксуль, я не смею переступить порог и жду среди двух десятков таких же, как и я, ссыльных. Все перешептываются об одном:

— Пришел корабль из Италии. Не получил ли с ним трибун повеление из Рима, чтобы дать нам свободу? Цезарь Октавий Август умер; теперь новый император, Тиберий, он нам окажет милость.

Сперва из дома выходит молодой центурион[615]. Он отзывает меня в сторону и передает сверток:

— Здесь для тебя папирусовый свиток. Напиши мне на нем свое новое «Послание с Понта». Я тебе за это пришлю муки.

Центурион сам пишет стихи и поэтому любит тайком побеседовать со мной. Как-то он мне сказал:

— Ты жалуешься, что сослан на крайнюю границу Римской империи. Однако твои песни по-прежнему переписываются и распеваются в Риме, и их всегда будут читать те, кто ценит сладостную латинскую речь. Ты можешь гордиться своим изгнанием: из сердца Рима твои песни изгнать нельзя.

Слышатся тяжелые шаги легионеров. Двадцать копейщиков, звеня оружием, подходят к дому и выстраиваются у входа. Центурион быстро покидает меня и вытягивается, непроницаемый и окаменелый.

Старый суровый трибун с выбритым морщинистым лицом показывается в дверях.

Трибун меня ненавидит. Наблюдение за ссыльными его больше беспокоит, чем нападение гетов и сарматов. Разговаривая со мной, он смотрит в сторону, шрам, рассекающий его седую бровь, багровеет, и я слышу отрывистые знакомые слова:

— Это ты, эксуль Публий Овидий Назон? Ты живешь по-прежнему? В том же доме? У разбойника Геко? Еще не научился шить сапоги, выделывать кожи или красить ткани? Нет? Напрасно! Это гораздо полезнее, чем писать беспутные, вредные песни. Да это для тебя было бы и выгоднее. Ступай. Через пятнадцать дней приходи снова.

Когда огненный лик солнца вынырнул из пучины темного моря, я узнал об этом по золотистому лучу, упавшему розовым квадратом на серые камни стены.

Я приоткрыл дверь. Город был еще закутан сизым утренним туманом. Кое-где над плоскими крышами тянулись к небу голубые завитки дыма.

С собой я захватил навощенные дощечки, думая набросать новые строки «Послания с Понта». Осторожно, по приставной лестнице, я спустился в крохотный дворик, где в жидком навозе дремали черные туши буйволов с длинными, опущенными на плечи рогами.

Свирепый буйвол-самец злобно засопел и начал подыматься, но снова грузно улегся, когда его окликнул хозяин дома Геко. Он входил в это время с побелевшими от пыли, свисшими усами, толкая перед собой девушку со связанными за спиной руками. У нее, по обычаю варварских племен, лицо было закутано пестрым платком так, что видны были только бирюзовые глаза, окруженные черными ресницами. Я заметил узкие плечи, туго стянутые белой шерстяной одеждой, узорчатые красные обшивки и нити синих бус.

Хозяин распутал у девушки веревки и сорвал с ее головы пестрый платок. Она схватилась за голову и, раскачиваясь, пронзительно закричала непонятные варварские слова.

Но Геко, отряхивая от пыли овчинную шапку, втолкнул кричавшую девушку в подвал.

Конечно, это новая добыча хозяина. Как-то раньше он привез из степи другую пленницу, по его словам, выменяв ее за два стальных меча, а потом без сожаления продал ее на уходивший в море греческий корабль.

Снедаемый тоской, я прошел узкой улицей, где — плохой знак — мне дорогу перебежала женщина с глиняным горшком; в нем дымилась головешка, чтобы разжечь чей-то потухший очаг.

Когда я проходил южные ворота, выходящие на прибрежную большую дорогу во Фракию, часовой легионер угрюмо меня предостерег:

— Не отходи далеко. Не потому, чтобы мы боялись твоего побега, — куда тебе, слабому, убежать! Но вчера невдалеке по равнине вскачь пронеслась толпа гетских разбойников. Они где-нибудь близ дороги притаились в засаде.

В моем отчаянии мне дорого одиночество. Я взором ищу среди унылой равнины дикую скалу, выступающую в море, и медленно иду к ней берегом, отступая перед набегающими волнами и обходя выброшенные ночной бурей слизистые диски прозрачных медуз.

1934

notes

1

Поскольку «Метаморфозы» являются вторым томом Публия Овидия Назона в «Библиотеке античной литературы», автор предисловия считает себя вправе отослать читателя, желающего вспомнить биографию Овидия и его творческий путь, к вступительной статье М. Гаспарова «Три подступа к поэзии Овидия» в томе «Элегии и малые поэмы» (М., «Художественная литература», 1973).

2

Витрувий. 10 книг об архитектуре, VII, 5. Пер. Ф. Петровского. М., 1936.

3

Там же.

4

Там же.

5

Именно такую этопею мы находим в «Метаморфозах». Это — речи Аякса и Улисса в тяжбе из-за оружия Ахилла.

6

Zibaldone dei pensieri, 3480. (Tutte le opere. Ed. Mondadori, 1957.)

7

А. С. Пушкин. Опровержение на критики. — Собр. соч., т. 6, полутом I. М., 1946, с. 214.

8

11. *Феба* — луна, отождествленная с Дианой, сестрой Феба-Аполлона.

9

61. *Эвр* — юго-восточный ветер, *Набатейское царство* — область между Аравией и Вавилонией.

10

62. *Горные хребты* — Индии.

11

64. *Семизвездье* — север с созвездием Большой Медведицы.

12

66. *Австр* — южный ветер (*греч.* Нот).

13

73. *Звезды и формы богов…* — Звезды рассматривались как живые существа, обладающие душой (anima). Боги, также обитающие в небе, обладали, кроме того, формой (forma), внешне сходной с человеческим телом.

14

82. *Отпрыск Япета* — Прометей, сын титана Япета.

15

92. *На бронзе* — намек на древний обычай вырезать законы на бронзовых досках.

16

106. *Деревья Юпитера* — дубы, считавшиеся священными деревьями этого бога.

17

139. *Стигийские тени* — преисподняя с рекою Стиксом.

18

147. *Аконит* — «волчий корень», яд.

19

149. *Дева Астрея* — дочь титана Астрея, богиня справедливости, которой посвящено созвездие Девы.

20

152. *Гиганты* — сыновья Геи и Тартара.

21

155. *Осса и Пелион* — горы в Фессалии.

22

164. *Ликаон* — царь Аркадии, миф о котором рассказывается ниже (ст. 221 слл.).

23

172. *Атрий, или атриум* — главная зала в римском доме.

24

176. *Палатин.* — На Палатинском холме жили самые знатные римляне и император Август.

25

183. *Змееногие* — гиганты.

26

187. *Нерей* — морской бог, отец Амфитриты.

27

200. *Сброд нечестивый* — намек на Брута, Кассия и их сторонников.

28

216 сл. *Менал*, *Киллена*, *Ликей* — горные области в Аркадии.

29

227. *Молосский народ* — народ в Эпире (западная часть Северной Греции).

30

259. *Циклопы* — помощники бога-кузнеца Вулкана.

31

262. *Пещеры Эола.* — Находились, по преданию, на Эолийских островах, к северу от Сицилии.

32

271. *Ирида* — богиня радуги, дочь Тауманта.

33

274 сл. *Лазурный брат Юпитера* — бог моря Нептун.

34

302. *Девы Нереевы* — морские нимфы-нереиды, дочери Нерея.

35

313. *Аонийские вершины* — горы Беотии (Аонии), в частности обитель муз — Геликон. *Эта* — гора между Фессалией и Фокидой; в Фокиде же находилась и посвященная Музам и Аполлону гора — Парнас (см. ст. 317).

36

318. *Девкалион* — сын Прометея, женатый на своей двоюродной сестре (дочери Эпиметея) — Пирре (см. ст. 351).

37

320. *Нимфам корикским…* — Корик — пещера на Парнасе.

38

321. *Фемида* — богиня из рода титанов, признавалась покровительницей дельфийского прорицалища до Аполлона.

39

369. *Кефис* — река в Фокиде.

40

441. *Бог, напрягающий лук* — Феб-Аполлон.

41

452. *Пеней* — название реки в Фессалии и имя божества этой реки.

42

454. *Делиец* — Аполлон, согласно мифу, рожденный Латоной на острове Делосе.

43

516. *Тенед* — остров у побережья Троады, где Аполлон был особенно почитаем. *Клар* — святилище Аполлона вблизи города Колофона. *Патара* — город на ликийском побережье, где находились храм и прорицалище Аполлона.

44

566. *Пеан* — прозвище Аполлона. Пеаном называли также гимн в честь этого бога.

45

568. *Гемония* — Фессалия.

46

570. *Пинд* — горный хребет между Фессалией, Македонией и Эпиром.

47

586. *Маны* — души умерших.

48

597—598. *Пастбища Лерны… Лиркея поля* — местности в Арголиде или Аргосе (в Пелопоннесе), где протекала река Инах.

49

624. *Арестороов Арг.* — Арг (или Аргус), сын Арестора, называется в греческой мифологии «Паноптом», т. е. «Всевидящим».

50

668. *Форонида* — внучка Форонея, отца Инаха.

51

670. *Дева Плеяда* — Майя, мать Меркурия. Она была одной из дочерей великана Атланта, называвшихся Плеядами.

52

690. *Гамадриады* — лесные нимфы. Нонакринскими они названы от Нонакры — горы в Аркадии.

53

694. *Ортигийская богиня* — Диана. Ортигия — древнее название острова Делоса, по мифу — родины Дианы и Аполлона.

54

696. *Латония* — Диана, дочь Латоны.

55

698. *Ликей* — гора в Аркадии, посвященная Пану.

56

713. *Киллений.* — По мифу, Меркурий родился на горе Киллене в Аркадии.

57

722. *Дочь Сатурна берет их для птицы своей…* — Имеется в виду павлин, посвященный Юноне.

58

747. *Ныне богиня она…* — Ио отождествлялась с египетской богиней Изидой.

59

2. *Пирон* — сплав из золота и меди.

60

6. *Мулькибер* — бог-кузнец Вулкан.

61

45. *Болото* — река Стикс в преисподней, названная здесь «болотом», так как, по мифу, текла очень медленно.

62

68. *Тетида* — дочь Урана и Геи, жена Океана. Она была бабкой Фаэтона с материнской стороны; Климена была ее дочерью (см. ст. 156).

63

78. *Звериные обличья* — созвездия или знаки зодиака, среди которых было несколько изображавшихся в виде зверей (см. слл. стихи).

64

81. *Лук гемонийский* — лук Стрельца, созвездия, изображавшегося в виде кентавра с луком. Гемонийский — фессалийский, так как кентавры считались жителями Фессалии.

65

115. *Люцифер* — утренняя звезда (планета Венера).

66

118. *Оры* — богини меняющихся времен года и часов.

67

132. *Аркт* — созвездие Большой Медведицы: здесь в смысле Северного полюса.

68

142. *Брега гесперийские* — крайний запад земли.

69

171. *Трионы* — латинское название Большой и Малой Медведицы.

70

184. *Меропс* — смертный муж Климены.

71

217. *Тавр Киликийский* — горная цепь в Малой Азии. *Тмол* — гора в Лидии. *Афон* — гора в Македонии.

72

218. *Ида* — гора во Фригии.

73

219. *Гем* — горный хребет на севере Фракии (ныне Балканы). Гем входил в область, принадлежавшую, согласно легенде, отцу Орфея *Эагру*.

74

221. *Кинт* — гора на острове Сицилии. *Офрис* — гора в Фессалии.

75

222. *Родопа* — гора во Фракии. *Мимант* — мыс в Ионии. *Микала* — гора там же.

76

223. *Диндима* — гора во Фригии. *Киферон* — гора на границе Аттики и Беотии, место вакхических оргий.

77

237. *Ливия* — Северная Африка.

78

239. *Диркея* — источник около Фив в Беотии.

79

240. *Данаева дочь* — Амимона. Нимфа этого источника считалась дочерью потомка Ио, Даная. *Эфира* — древнее название Коринфа. *Пиренские воды* — источник Пирена в Коринфе.

80

242 сл. *Танаис* — Дон. *Каик тевфранийский* — Тевфрания — часть Мизии.

81

244. *Исмен* — река в Беотии. *Псофида* — город в Аркадии.

82

245. *Ксанф* — река в Трое (иначе Скамандр); согласно легенде, Ксанф вторично был зажжен Вулканом во время Троянской войны за помощь троянцам. *Ликорм* — река в Этолии.

83

246. *Меандр* — река в Малой Азии.

84

247. *Мигдонийский* — фракийский. *Тенар* — мыс в Лаконии.

85

248. *Оронт* — река в Сирии.

86

249. *Истр* — Дунай. *Фасис* — Рион. *Фермодонт* — река в «стране амазонок», в Каппадокии.

87

250. *Алфей* — река в Элиде. *Сперхей* — река в Фессалии.

88

251. *Таг* — Тахо (в Испании).

89

252. *Брега меонийские* — лидийские, в Малой Азии.

90

253. *Каистр* — река в Лидии.

91

257. *Гебр*, *Стримон* — реки во Фракии, где находится гора Исмар.

92

258. *Родан* — Рона. *Рен* — Рейн. *Пад* — По.

93

264. *Киклады* — острова вокруг Делоса.

94

268. *Дорида* — морская богиня, жена Нерея, мать Нереид.

95

324. *Эридан* — мифическая река на западе, часто отождествлявшаяся с Падом.

96

340. *Дочери Солнца* — Гелиады, сестры Фаэтона.

97

370. *Лигурия* — область Северной Италии.

98

409 сл. *Нонакринская девушка* — Каллисто.

99

416. *Перекрестная* — эпитет Дианы-Гекаты, трехликие изображения которой ставились на перекрестках. О Гекате см. VII, 173 слл.

100

441. *Диктинна* — Диана («несущая сети»).

101

460. *Паррасийка* — Каллисто. Паррасия — Аркадия.

102

496. *Ликаония* — Калисто, как дочь Ликаона.

103

507. *Два созвездия* — Большая Медведица и Страж Медведицы (обычное ныне название этого последнего — Боот или Волопас).

104

539. *Капитолий* — намек на легендарное спасение римской крепости священными гусями в 390 г. до н. э., когда консул Манлий был разбужен их криком, и это дало ему возможность отразить нападение галлов на Капитолий.

105

544. *Дельфиец* — Аполлон.

106

554. *Эрихтоний* — мифический царь Афин, наполовину дракон, наполовину человек, порожденный из земли семенем Вулкана, домогавшегося любви Паллады-Афины (Минервы).

107

555. *Актейская* — аттическая.

108

556. *Кекроп* — основатель Афин. Эпитет «двойной» объясняется в мифологии или тем, что он был египтянином и стал греком, или тем, что он был наполовину человек, наполовину змей, как и Эрихтоний.

109

580. *Дева* — Минерва.

110

594. *Птица* — сова.

111

644. *Мальчик* — будущий бог врачевания Эскулап (Асклепий), о котором см. XV, 622—744.

112

650. …*бессмертный, и самым рожденьем…* — Хирон, как сын Сатурна и нимфы Филиры, согласно мифу, обладал бессмертием, но, нечаянно раненный стрелой, которую Геркулес напитал ядом Лернейской гидры, сильно страдал и испросил у богов смерти.

113

676. *И по чуду ей дали прозванье.* — Имя ее стало «Гиппе», т. е. кобылица.

114

686 сл. *Атлантовой Майи сын* — Меркурий.

115

690. *Нелей* — царь Пилоса, отец старейшего из героев Илиады и Одиссеи — Нестора.

116

709. *Кадуцей* — жезл Меркурия, согласно мифу — наводящий сон. (см. ст. 736).

117

710. *Мунихийские* — аттические.

118

711. *Ликей* — гимнасий в роще, в котором преподавал Аристотель. Упоминание в следующих стихах празднества в честь Паллады — анахронизм.

119

721. *Актейская твердыня* — афинская крепость — акрополь.

120

728. *Праща балеарская.* — Жители Балеарских островов были искусными метателями свинцовых ядер из пращей (ср. XIV, 825 слл).

121

755. *Эгида* — шкура, по мифу, защищавшая грудь и спину у Юпитера и Минервы, украшенная спереди головой Горгоны-Медузы (см. IV, 709—803).

122

758. *Бог Лемносец* — Вулкан (Гефест), культ которого процветал на Лемносе (ср. «Илиада», I, 589—594).

123

783. *Тритония* — Минерва; называлась так по имени озера в Ливии, у которого родилась.

124

839. *Мать* — Майя, как одна из звезд в Плеядах.

125

858. *Агенорова дочь* — Европа, дочь финикийского царя, сестра Кадма.

126

2. *Диктейские поля* — остров Крит с горою Диктой.

127

13. *Беотия.* — Овидий производит это название от слова bous — корова.

128

14. *Кастальская пещера* — расщелина в скале, под которой сидела жрица-пророчица в Дельфах, около Кастальского источника.

129

19. *Панона* — город в Фокиде.

32. *Марсов змей* — сын бога Марса.

131

98. *Сам ты тоже окажешься змеем!* — см. IV, 563—603.

132

111. …*опускается занавес*… — В римском театре занавес, открываясь, опускался, а не поднимался.

133

132. …*Марс тестем, а тещей Венера*… — Гармония, на которой женился Кадм, была по мифу, дочерью Марса и Венеры.

134

173. *Титания* — Диана, как внучка старшего из титанов, Сатурна.

135

194. *…живущего долго оленя…* — В древности оленям приписывали долголетие; считалось, что олени живут в четыре раза дольше, чем люди.

136

198. *Герой Автоноин.* — Матерью Актеона миф считал дочь Кадма Автоною, упоминаемую ниже (см. ст. 720).

137

258. *Соперница Тирская* — сестра Кадма Европа (см. прим. к ст. 539).

138

261. *Семела* — дочь Кадма.

139

303. *Тифей* — один из гигантов.

140

314. *Нисейские* — с горы Нисы в Индии.

141

406. *Рамнузия* — богиня Немезида, особенно почитавшаяся в аттическом городе Рамне.

142

513. *Сын Эхиона* — Пенфей, легендарный царь Фив, отец которого, Эхион, вырос из зуба змея, убитого Кадмом.

143

520. *Либер* — Вакх.

144

531. *Змеерожденные… Марсово племя…* — Фиванцы считали себя потомками пяти героев, выросших из посеянных Кадмом зубов змея. Змей этот считался сыном бога Марса.

145

539. *Тир* — финикийский город, по мифу — родина Кадма, переселившегося в Беотию, где он основал город Фивы. *Пенаты* — домашние боги-покровители у римлян.

146

541. *Тирс* — жезл, обвитый виноградной лозой, с сосновой шишкой наверху; одна из главных принадлежностей культа Вакха.

147

564. *Атамант* — муж одной из дочерей Кадма.

148

576. *Тирренский край* — Этрурия (ныне Тоскана) в Италии. Но тут под Тирренским краем разумеется область Малой Азии — Меония, или Лидия, откуда считались выходцами этруски, или туски.

149

594. *Оленская Коза* — коза Амалфея, вскормившая Зевса, по некоторым мифам, около ахайского города Олена. Она была принята в число созвездий.

150

595. *Тайгета* — одна из звезд в Плеядах. *Гиады* — небольшое созвездие около головы Тельца.

151

597. *Хиосский край* — остров Хиос в Эгейском море.

152

636. *Наксос* — один из островов Эгейского моря.

153

690. *Дия* — одно из названий острова Наксоса.

154

722. *Ино* — сестра Автонои и Агавы, матери Пенфея.

155

1. *Миниэй*, или Миний, был (по Павсанию) отцом Орхомена, основателя города Орхомены в Беотии.

156

19. …*не украшен рогами*… — Рога считались признаком величия и мощи (см. IX, 1—97).

157

22. *Ликург* — легендарный царь эдонов во Фракии, наказанный за непочтение к Вакху (см. «Илиада». VI. 130—140).

158

26. *Пьяный старик* — Силен, воспитатель Вакха.

159

44. *Деркетия* — сирийская богиня, оскорбившая Венеру; последняя в наказание внушила ей любовь к смертному юноше, от которого у нее родилась дочь Семирамида; от стыда Деркетия бросилась в озеро и превратилась в рыбу.

160

49. *Наяда.* — Речь идет о нимфе с острова Нозалы в Эритрейском море, которая завлекала юношей и превращала их в рыб. Солнце, которому был посвящен этот остров, превратило в рыбу ее самое.

88. *Нин* — мифический основатель ассирийского царства.

162

185. *Лемний* — Вулкан, особенно чтимый на острове Лемносе.

163

190. *Киферея* — Венера, называвшаяся так по острову Кифере в Эгейском море, у южного берега Пелопоннеса, где процветал ее культ.

192. *Рожденный от Гипериона* — бог солнца (см. I, 10).

165

196. *Левкотоя* — дочь Эвриномы, внучка Океана и Тетиды.

166

204. *Климена* — мать Фаэтона. *Рода* — дочь Нептуна.

167

205. *Мать Цирцеи* — Перса, дочь Океана (о Цирцее см. «Одиссея», X, 135 сл.).

207. *Клития* — дочь Океана и Тетиды (см. ниже ст. 256—284).

169

212. *Ахеменеевы города* — Персия, первым царем которой считался Ахемен.

213. *Бел* — легендарный основатель Вавилона, отец Данаи.

171

282. *Куреты* — жители Крита, по мифу, скрывавшие младенца Зевса от Сатурна. *Цельмий* — один из куретов.

172

283. *Кротон со Смилакой* — влюбленная пара, превращенная в растения: Кротон — в шафран, Смилака — в тис.

173

286. *Салмакида* — нимфа источника в Карии (ср, XV. 319).

174

289. *Мальчик* — Гермафродит (сын Гермеса и Афродиты).

175

311. *Киторский гребень* — с горы Китора в Пафлагонии, где росло много буков, из которых делались гребни и принадлежности ткацких станков.

176

333. *Так розовеет луна…* — Во время лунного затмения били в медные инструменты и играли на медных трубах, считая, что этим снимаются чары с завороженной луны.

177

362. *Царственная птица* — орел.

178

415. *…в честь позднего вечера имя.* — По-латыни летучая мышь — vespertilio, а вечер — vesper.

179

418. *Ино* — сестра Семелы (матери Вакха), Агавы (матери Пенфея) и Автонои (матери Актеона), по мифу — была женой Эолова сына, царя орхоменского, Атаманта, брата Сизифа.

180

423. *Меонийские пловцы* — тирренцы (см. IV, 23), по мифу, превращенные в дельфинов.

181

438. *Дит* — одно из имен Плутона.

182

450. …*призывает сестер*… — трех Фурий, или Эриний: Тизифону, Алекто и Мегеру.

183

452. *Адамант* — металл, из которого делалось оружие богов; иногда это — твердый камень (алмаз и т. п.).

456—461. см. прим. к X, 41—44.

185

537. …*по-гречески имя!* — По одному мифу, Венера (*греч.* Афродита) родилась из морской пены; пена по-гречески — aphros.

186

562. *Агенорид* — Кадм.

187

567. *Иллирийские пределы* — нынешняя Далмация и Албания.

188

604. *Божественный внук* — Вакх.

189

606. *…из рода того же…* — Согласно мифу, Акризий был из рода Бела, брата Агенора. Ему было предсказано, что он погибнет от своего внука, которого родит дочь его, Даная. Он запер ее в башню, но к ней спустился Зевс в виде золотого дождя, и от него она родила Персея. Акризий велел заключить Данаю с сыном в ящик и бросить в море. Ящик прибило к острову Серифу, где он был найден братом царя Серифа — Полидекта, рыбаком Диктием. Когда Персей вырос, Полидект повелел ему принести голову Медузы, одной из трех Горгон. При взгляде в лицо Медузы всякий обращался в камень. Овидий прямо приступает к рассказу о возвращении Персея с головой Медузы, которую тот добыл при помощи данных ему Меркурием и Минервой меча и гладкого, как зеркало, щита. Смотря в этот щит, Персей, пятясь, приблизился к Горгонам. Кроме того, ему помогли данные нимфами шапка-невидимка, крылатые сандалии и сумка, которая могла вместить предмет любой величины и в которую он спрятал голову Медузы.

190

662. *Гиппотад* — сын Гиппота, Эол, владыка ветров.

191

668. *Кефеевы долы.* — Кефей — легендарный царь эфиопов, отец Андромеды, мать которой Кассиопея обидела Нереид, кичась перед ними своей красотой, за что Нептун послал в Эфиопию дракона. Для избавления от дракона Кефей должен был отдать ему, по указанию бога Аммона, Андромеду.

192

672. *Абантиад* — Персей, дед которого, Акризий, был сыном Абанта.

193

718. *Инахид* — Персей, как потомок аргосских царей, первым из которых считался Инах.

194

742. *Форкинида*. — Горгоны считались дочерьми сына Геи и Понта, Форкина.

195

753. *Воинственная дева* — Минерва.

196

766. Стих обычно выпускается как подложный.

197

767. *Линкид* — Персей, как потомок Линкея.

198

768. Стих выпускается как подложный или испорченный.

199

785. *Пегас* — крылатый конь, братом которого был Хрисаор, породивший трехтелого Гериона, убитого впоследствии Геркулесом.

200

46. *Брани богиня* — Минерва, как дочь Юпитера, считавшаяся сестрой Персея. Дальнейшее перечисление участников боя содержит ряд имен, встречающихся лишь здесь. Описание боя напоминает описание битвы лапифов с кентаврами в книге XII (ст. 210—535), где Овидий тоже отдает дань мифологической учености.

201

155. *Беллона* — богиня войны.

202

257. *Быстрокрылец Медузы* — Пегас (см. IV, 785 слл.).

203

260. *Урания* — муза астрономии.

204

267. *Мнемониды* — музы, по имени матери их Мнемозины, или Мнемы.

205

302. *Равнина пеллейская* — у города Пеллы в Македонии, одной из областей которой была и Пеония.

206

303. *Луцина* — богиня рóдов.

207

309. *Феспийские* — по городу Феспиям у подножия Геликона.

208

312. *Медузы родник* — Гиппокрена. *Аганиппа* — источник муз, названный «гиантийским» по беотийскому племени гиантов.

209

313. *Эмафийские* — македонские.

210

330 слл. *Делийца сестра* — Диана; *Сатурния* — Юнона; *Киллений* — Меркурий. Овидий намекает на нелепое, с точки зрения греков, а затем римлян, почитание египтянами и некоторыми восточными народами богов-животных.

211

339. *Каллиопа* — муза эпической поэзии.

212

346. *Тринакрия* — Сицилия.

213

350 сл. *Пелор*, *Пахин*, *Лилибей* — три мыса Сицилии.

214

356. *Повелитель безмолвных*, то есть умерших, — Плутон.

215

363. *Эрикина* — Венера, по сицилийской горе Эрику, где был ее храм.

216

367 сл. *Жребий последний.* — По мифу, после победы над титанами Юпитер разделил власть над миром с двумя своими братьями: Нептуном, которому досталось царство воды, и Плутоном, получившим преисподнюю.

217

385. *Стены геннейские* — от города Генны в Сицилии, где процветал культ Цереры.

218

405 сл. *Паликовых вод.* — Палики — братья-близнецы, сыновья Юпитера, по имени которых названы два озера и город Палика в Сицилии.

219

409. *Кианея и Аретуза* — два источника. Аретуза названа пизейской по городу Пизе в Эпиде (см. ст. 572—641).

220

417. *Анапис* — река, в которую впадает Кианея.

221

441. *Гесперр* — вечерняя звезда (планета Венера).

222

464. *Сикания* — Сицилия.

223

487. *Алфеяда* — Аретуза, названная так по реке Алфей в Элиде.

540. *Авернские сестры* — нимфы подземного царства, где одним из богов-рек был, по мифу, Ахеронт. У Авернского озера в Кампании был, по мифу, вход в Тартар.

225

544. *Флегетонова влага.* — Флегетон — река в Тартаре.

226

552. *Ахелоевы дочери* — нимфы, отцом которых считался речной бог Ахелой.

227

576. *Элейский бог* — Алфей.

585. *Стимфалидские дубравы* — в Аркадии.

229

607. *Орхомены* — город в Аркадии, как и другие перечисляемые здесь места.

230

639. *Делия* — Диана.

231

646. *Триптолем* — сын легендарного элевсинского царя Келея, основатель культа Деметры (Цереры).

232

648. …*высоко поднялся*… — Триптолем летит на колеснице Цереры.

233

661. *Мопсопиец* — афинянин, по царю афинскому Мопсопу.

234

662. *Старшая сестра* — Каллиопа.

235

5. *Меонийка* — лидиянка.

8. *Колофонец.* — Колофон — город в Ионии.

9. *Фокейская краска* — из приморского города Фокеи в Ионии, где добывались раковины-багрянки.

13. *Гипепы* — маленький городок в Лидии.

239

15 сл. *Тмол* — гора, *Пактол* — река в Малой Азии.

70. *Марсов холм* — ареопаг в Афинах.

87. *Гем и Родопа* — влюбленные брат и сестра, называвшие друг друга Юпитером и Юноной, за что, по мифу, были обращены в горы.

242

90. *Мать пигмеев* — царица легендарного народа, впервые упоминаемого в «Илиаде» (II. 3—7).

243

93. *Антигона* — дочь троянского царя Лаомедонта, дерзнувшая считать свои волосы красивее Юнониных.

98. *Кинир* — легендарный ассирийский царь, дочери которого были обращены в ступени храма Юноны за то, что считали себя красивее ее.

245

108. *Астерия* — дочь титана Кея, бежавшая от влюбленного Юпитера и превращенная в перепелку.

246

109. *Леда* — возлюбленная Юпитера, обратившегося в лебедя, мать Елены и Диоскуров — Кастора и Поллукса.

247

111. *Никтеида* — Антиопа, дочь царя Беотии Никтея, мать братьев-близнецов Зета и Амфиона, согласно легенде, построивших стены Фив (см. XV, 427). Амфион считался отцом Ниобы (см. ниже, ст. 271).

248

112. *Алкмена* — мать Геркулеса; Юпитер явился ей в образе ее мужа Амфитриона.

249

113. *Асопида* — Эгина, дочь речного бога Асопа, мать Эака, согласно легенде, ставшего по смерти судьей в аду (см. VII. 473 сл. и VII, 615 сл.).

250

114. *Деоида* — вероятнее всего, не дочь богини Део (Деметры), как обычно объясняют это имя, а сама Деметра (Церера), у которой от Юпитера родилась дочь Прозерпина.

251

116 сл. *Эолова дева* — Арна, дочь Эола, была матерью Беота, героя, от имени которого, по некоторым версиям, производится Беотия. *Энипей* — любовник Ифимедии, жены Алоэя, родившей от Нептуна Ота и Эфиальта (Алоидов), о которых см.: «Одиссея», XI. 304 слл. и «Энеида». VI, 582 слл.

117. *Бизальтида* — дочь Бизальта, царя Фракии.

253

118. *Кроткая Матерь* — Церера, согласно мифу, обратившаяся в кобылу, чтобы избежать преследований Нептуна; тот обратился в жеребца, и она родила от него коня Ариона.

254

119. *Змеевласная* — Медуза.

255

120. *Меланта* — дочь Девкалиона.

125. *Эригона.* — О ней, как обращенной в созвездие, см. прим. к X, 450 сл.

257

149. *Сипил* — гора в Лидии.

258

174. *Плеядам сестра* — Диона, одна из Гиад, дочерей Атланта. Гиады, как и Плеяды, — созвездие.

259

204 сл. *Вершины Кинфской.* — Кинф — гора на Делосе.

335. *Палладино древо* — олива.

261

339. *Химера* — см. IX. 647 сл.

262

383. *Сатир* — Марсий, согласно мифу, подобравший брошенную Палладою флейту и вызвавший на музыкальное состязание Феба.

263

404. *Пелоп*, или Пелопс — брат Ниобы, сын Тантала; Тантал, желая испытать богов, подал им как кушанье разрубленное на куски тело Пелопа.

415. *Калидон* — см. VIII. 260—546.

265

418. *Пилос Нелеев.* — Город в Мессении (см. II, 689 и XII, 549), царем которого был Нелей, отец Нестора. *Питфеево царство* — Трезены — город в Арголиде, завоеванный Питфеем, сыном Пелопа.

266

427. *Градив («шествующий»)* — латинское именование Марса.

267

439. *Титан* — солнце.

268

446. *Пирей* — гавань Афин (города Кекропа).

269

490. *Одризийский* — фракийский.

270

588. *Ситонки* — фракиянки.

271

662. *Змеевласые сестры* — фурии.

272

681. *Кефал* — внук Эола.

273

710. *Киконы* — фракийское племя.

711. *Актеянка*, т. е. из Аттики.

275

720. *Минийцы* — аргонавты (см. прим. к VII, 1).

276

1. *Минийцы* — Ясон (потомок Миния) и его спутники, согласно мифу, отправившиеся в Колхиду за золотым руном на корабле Арго, построенном в городе Пагасе у подножия горы Пелиона.

277

3. *Финей* — слепой прорицатель, живший во Фракии; согласно легенде, его преследовали чудовищные птицы — гарпии. *Младые сыны Аквилона* — Калаис и Зет.

6. *Фасис* — река в Колхиде (Рион).

279

7. *Руно Фриксово* — золотое руно барана, на котором бежали в Колхиду Фрикс и Гелла. За этим руном Ясона послал Пелий, отнявший у него власть над Иолком (в Фессалии) и обещавший вернуть ее, если тот достанет золотое руно.

280

9. *Ээтиада* — Медея, дочь царя Колхиды Ээта.

50. *Города пеласгийские* — Греция, названная так по древнейшим ее обитателям, пеласгам.

282

59. *Эсонид* — сын Эсона, Ясон.

283

62—65. …*сходятся будто бы горы*… — Симплегады в Босфоре. *Харибда и Скилла* — два наиболее опасных для мореплавателей места в Сицилийском проливе.

284

74. *Персеида Геката.* — Геката считалась дочерью Перса (или Персея), внука Океана. Она была богиней луны (почему ее стали отождествлять с Дианой) и пособницей колдовства. Изображалась триликой.

285

105. *Медноногие быки* — согласно мифу, были подарены Ээту богом Вулканом.

286

162. *Эсон* — отец Ясона.

287

207. *Темесская медь* — из города Темесы в Южной Италии, славившегося медными изделиями. Имеется в виду грохот меди, которым «сокращали» время затмения.

288

222. *Фессалийская Темпе* — долина реки Пенея. Фессалия считалась страной волшебных трав и родиной колдуний.

289

228 сл. *Апидан, Амфрис, Энипей* — фессалийские реки.

290

231. *Беб* — озеро в Фессалии.

291

232. *Антедон* — приморский город в Беотии, родина Главка (см. XIII, 898—967).

272. *Кинифийская змея* — с африканской реки Кинифа.

293

295. *Либер* — Вакх, кормилицами которого, по мифу, были нимфы с горы Нисы в Индии.

294

298. *Пелий* — дядя Ясона.

295

324. *Иберская река* — Ибер (ныне Эбро) в Испании, то есть на крайнем западе, где садится солнце.

296

351—397. Одно из типичных для Овидия перечислений географических названий и кратких упоминаний о местных, связанных с «превращениями» мифах, большинство которых дошло до нас только в этих стихах Овидия.

297

352. *Кровли Филиры* — гора Пелион, где Океанида Филира, по мифу, зачала кентавра Хирона от Сатурна.

298

353. *Офрис* — гора в Фессалии, нимфы которой, по мифу, обратили некоего Керамба в жука, благодаря чему он спасся от Девкалионовых вод, т. е. потопа.

299

358. *изображенье… змея…* — на острове Лесбосе (см. XI, 55—59).

300

361. *Корита отец* — Парис.

301

362. *Мера* — собака, в других легендах ни разу не упоминаемая.

302

363. *Град Эврипила* — Кос, город на острове того же названия, женщины которого, по мифу, были обращены Венерою в коров.

303

365. *Родос*. — На острове Родосе был культ бога Солнца, отождествленного с Фебом-Аполлоном. *Иализские телхины* — жители Родоса (город Иализ — на севере острова).

304

368. *Кея*, или Кеос — один из островов между Грецией и Малой Азией, с городом Картеей.

305

370. …*Алкидоманту, что дочь обернулася*… — Алкидомант из кеосского города Картеи собирался насильно выдать замуж свою дочь Ктесиллу, в нарушение обещания, данного афинскому юноше Гермохаресу. Ктесилла бежала к возлюбленному в Афины и там вышла за него замуж. Во время родов она умерла; при ее погребении из гроба взлетел голубь, а тело Ктесиллы исчезло. Миф описан Никандром и Каллимахом.

306

382. *Плеврон* — город в Южной Этолии.

307

383. *Комба, Офия дочь.* — Миф о Комбе упоминается только у Овидия.

308

384. *Келаврея* — остров, первоначально посвященный Аполлону (Латониду), а затем Нептуну.

309

386. *Киллена* — в Аркадии.

310

388. *Кефис* — речной бог (река), дочь которого была замужем за Эрехтеем, царем Афинским.

311

390. *Эвмел* — первый царь города Патр в Ахайе.

312

391. *Эфирея Пиренская* — древнее название Коринфа, где был источник Пирена. По легенде, в Коринфе жила Медея с Ясоном, который охладел к ней и собирался жениться на царевне Креузе, или Главке. Убийство Медеей Главки и двух детей от Ясона — тема трагедии Еврипида «Медея».

398. *Титановы* — т. е. бога Солнца, деда Медеи.

314

399. *Крепость Паллады* — город Афины.

315

399—400. *Периф*, древний царь афинский, и его жена Фенея, согласно мифу, были обращены в птиц.

316

401. *Полипемона внучка* — дочь разбойника Скирона, убитого Тезеем (см. ниже, ст. 444).

402. *Эгей* — отец Тезея (см. прим. к VIII, 560).

318

405. *Усмиритель двуморского Истма.* — Истмийский перешеек, как и находившийся на нем Коринф, обычно снабжается эпитетом «двуморский», так как омывается Ионическим и Эгейским морями.

319

409. *Ехиднин пес* — Цербер.

320

410. *Тиринфянин храбрый* — Геркулес, по легенде, воспитывавшийся в городе Тиринфе.

321

423. *Знак родовой.* — По мифу, Тезей был сыном Эгея от трезенской царевны Эфры и воспитывался у ее отца. Когда ему минуло 16 лет, он отправился в Афины, опоясанный отцовским мечом, по которому и был узнан Эгеем.

322

430. *Эрехтиды* — афиняне (по древнему царю Афин Эрехтею).

323

434. *Критский бык* — бык, привезенный, по мифу, Гераклом с Крита и опустошавший селения около Марафона.

324

435. *Кромионский селянин.* — Кромион, селение около Коринфа. опустошавшееся диким вепрем.

325

437. *Потомок Вулкана* — разбойник Перифет, живший между Трезенами и Эпидавром.

326

438. *Прокруст* — сын Нептуна, укладывавший людей на кровать; тем, кому она была длинна, он вытягивал ноги, а кому коротка — обрубал их.

327

439. *Керкион* — силач, заставлявший путников вступать с ним в единоборство. *Элевсин* назван *Цереринным* по мистериям в честь этой богини.

328

443. *Алкатоя* — другое название Мегары, где жило племя пелегов.

329

444. *Скирон* — разбойник, заставлявший путников мыть ему ноги и сталкивающий их со скалы в море. Сам был сброшен в море Тезеем.

330

456—458. *Минос* — легендарный царь острова Крита, сын которого Андрогей был убит афинянами.

331

461 слл. *Анафа* — остров в Эгейском море, как и другие, перечисляемые здесь Овидием.

332

471. *Кносский.* — Кнос — один из ста городов Крита.

333

490. *Ликтийский* — критский, по имени одного из городов Крита.

334

494. *Кефал* — муж дочери афинского царя Эрехтея Прокриды (см. ниже, ст. 665—865).

504. *Ахайя* — здесь: вся Греция.

336

523. *Грозный был мор…* — Описание этого «мора» восходит к описанию эпидемии в Афинах во время Пелопоннесской войны у Лукреция («О природе вещей», конец VI книги). Подобное же описание есть и в «Георгиках» Вергилия (III, 474 слл.). Прототипом этих описаний является рассказ Фукидида в его «Истории Пелопоннесской войны» (II, 47).

337

616. *Асопова дщерь* — Эгина, мать Эака, возлюбленная Юпитера (см. VI, 113).

338

623. *Додонские семена.* — Додона (город в Эпире) — древнейшее место поклонения Зевсу, где стоял священный дуб, шелест ветвей, и листьев которого истолковывался как вещания оракула.

339

654. *Мирмидоны.* — Миф о происхождении фессалийского племени мирмидонов из муравьев основан на сходстве названия его с греческим словом myrmex — муравей.

665. *Паллантовы дети* — сыновья Палланта, брата Эгея.

341

672. *Потомок Эола* — Кефал.

342

681. *Один из братьев Актейских* — один из сыновей Палланта (Актейский — афинский).

343

685. *Отрок Нереев.* — Фок был сыном Эака от дочери морского бога Нерея.

344

755. *Кинтия* — Диана.

345

759. *Лайя сын* — Эдип, отгадавший загадки Сфинкса, после чего это чудовище должно было погибнуть.

346

764. *Хищник* — по другим мифологическим источникам это была чудовищная лисица.

347

778. *Гортинский лук* — критский, так как критяне были искусными лучниками.

23. *Сын Европы* — см. ниже прим. к ст. 120.

349

43. *Диктеец* — по горе Дикте на Крите.

350

120. …*мать — не Европа тебе*… — Скилла случайно оказывается права, так как Овидий, как и другие мифологи, смешивает двух Миносов: 1-го, сына Юпитера и Европы, мифического законодателя, и 2-го, его внука, к которому относится излагаемый здесь миф, женатого на Пасифае, от которой произошел Минотавр. (Ср. ст. 136 и 152—171.) *Сирты* — местность на северном берегу Африки.

351

132. *Та, что, тебе изменив…* — Пасифая, жена Миноса, воспылала страстью к быку, отдалась ему, скрывшись в деревянной корове, построенной Дедалом, и родила Минотавра — чудовище, получеловека-полубыка.

352

151. *Кирида* — птица, название которой сопоставляли с греческим глаголом — keiro — «стригу».

353

153. *Куретиды* — потомки первых критян — куретов.

354

170—174. *Актейская кровь.* — По мифу, на побежденных им афинян Минос наложил наказание: каждые девять лет отправлять на Крит по семи юношей и девушек для Минотавра. Тезей, пожелавший отправиться на Крит, чтобы убить Минотавра, совершил это с помощью Миноиды — дочери Миноса, Ариадны, бежавшей с ним, но покинутой Тезеем на острове Дии (Делосе).

355

174. *Эгид* — Тезей.

356

182. *близ Геркулеса…* — то есть двух созвездий — Геракла, борющегося со змеем, и Геракла, держащего змея.

357

183. *Дедал.* — О причине изгнания Дедала из Афин см. ст. 241 слл.

358

207. *Гелика* — Большая Медведица.

359

220 слл. По Овидию, Дедал и Икар летели не в Аттику, а в Малую Азию, на что указывают перечисленные здесь острова; около одного из них (Самоса) лежит Икария, где Дедал предал погребению тело сына.

360

230. …*от него получившим названье*. — В древности восточная часть Эгейского моря называлась Икарийским морем (Icarium mare).

361

235. *…оный предел сохранил погребенного имя.* — Один из островов архипелага Спорады называется Икарией.

362

260. *Этнейская земля* — Сицилия.

270. *Калидон* — город в Этолии.

364

274. *Лиэй* — Вакх.

365

275. …*сок*… *Палладин*… *Минерве*. — Овидий играет греческим и латинским именами богини Афины (Паллада-Минерва).

366

301. *Два близнеца* — Кастор и Поллукс, сыновья Леды, жены спартанского царя Тиндара, или Тиндарея. (Ср. ст. 372.)

367

304. *Два Фестиада* — сыновья этолийского царя Фестия, братья царицы Калидона Алтеи — Плексипп и Токсей. (см. ст. 433—446.) *Афарей* — царь Мессении.

305. *Кеней* — см. XII, 189—209.

369

306 слл. Из упоминаемых далее участников калидонской охоты известны по другим мифам: Феникс, сын царя долопов, упоминаемый в «Илиаде» воспитатель и друг Ахилла; *Теламон* — отец Аянта, отец Ахилла великого — Пелей, *Панопей* — отец Эпея, строителя троянского коня, *Нестор* — царь Пилоса, старейший из героев «Илиады», *Лаэрт* — отец Одиссея (Улисса), Эклид Амфиарай, которого жена уговорила участвовать в гибельном для него Фиванском походе, и тегеянка — дева — Аталанта.

370

372. *Братья меж тем близнецы…* — Кастор и Поллукс — (Диоскуры) были превращены в созвездие.

371

452. *Триединые сестры* — три Парки, богини судьбы.

372

542. *Парфаон* — отец Оэнея.

373

544. *Алкмена* — мать Геркулеса, женатого на сестре Мелеагра Деянире.

374

548. *Эрехтеев предел* — Аттика, названная по имени ее мифического царя Эрехтея. *Твердыня Тритониды Девы* — Афины с их акрополем, где было святилище Афины-Паллады, одним из названий которой было Тритонида (по озеру Тритону в Африке, считавшемуся местом ее рождения).

375

551. *Кекропид* — Тезей считался потомком древнейшего царя Аттики Кекропа.

565. *Гиперион* — здесь: бог солнца.

377

567. *Сын Иксиона* — друг Тезея, *Пирифой* — царь мифического народа лапифов.

378

568. *Славный трезенец Лелег.* — Трезены — город в Арголиде, родина Тезея, который родился от дочери трезенского царя Питфея, Эфры.

379

623. *Равнины Пелоповы* — Пелопоннес.

380

624. *Питфей* — сын Пелопа.

381

628. *Атлантов потомок* — Меркурий.

382

665. *Плоды Минервы* — маслины, которые заготовляются зелеными и черными. Масличное дерево было посвящено Минерве.

383

704. *Потомок Сатурна* — Юпитер.

384

752. *Триопей* — сын фессалийского царя Триопа.

385

2. *Нептунов герой* — Тезей, согласно некоторым мифам, считавшийся сыном Нептуна. *Поток Калидонский* — Ахелой.

386

8. *Деянира* — дочь этолийского царя Оэнея.

387

13. *Алкид* — Геркулес, названный так по Алкею, отцу Амфитриона.

388

22. …*не несу никакой подневольной работы*… — Намек на службу Геркулеса у тиринфского царя Эврисфея.

389

101. *Несс* — как и прочие кентавры, сын Иксиона от облачного образа Юноны, которой он хотел овладеть (см. прим. к XII, 210 сл.). О наказании Иксиона в аду см. прим. к X, 42.

104. *Эвен* — река в Этолии.

112. *Аониец* — фиванец, родившийся в Фивах.

392

135. *Мачеха* — Юнона.

393

136. *Эхалия* — город в Этолии. Геркулес убил царя ее Эврита и увел в плен его дочь Иолу.

137. *Кенейский Юпитер.* — Кеней — гора на Эвбее.

395

182—198. Геркулес перечисляет свои подвиги: 1. покорение приносившего человеческие жертвы египетского царя Бузирида, которого он убил; 2. победу над великаном Антеем, сыном Земли, которого он лишил его силы, подняв на воздух и задушив; 3. уничтожение трехтелого Гериона, владельца чудесных быков, жившего в Иберии (Испания), почему он и назван пастырем иберским; 4. вывод из Аида трехголового пса Цербера; 5. покорение критского быка, убитого впоследствии Тезеем; 6. очистка в один день конюшен от навоза 3000 быков у царя Авгия в Элиде; 7. истребление чудовищных птиц у Стимфальского озера в Аркадии; 8. поимка золоторогой Дианиной лани в Партенийских лесах в Аркадии; 9. похищение пояса царицы Амазонок Ипполиты, украшенного золотом с реки Фермодонта; 10. похищение золотых яблок Гесперид на крайнем Западе; 11. избиение напавших на него в Аркадии кентавров, когда он 12. ходил на эриманфского вепря; 13. уничтожение Лернейской гидры в Аркадии; 14. укрощение коней Диомеда (причем он отдал самого Диомеда им на съедение); 15. убиение Немейского льва, шкуру которого он после этого носил; 16. поддержка небесного свода вместо Атланта, пока тот ходил за яблоками Гесперид.

396

233. *Сын Пеанта* — Филоктет, герой похода под Трою, завоевывать которую ходил и Геркулес. Без этих стрел Троя, по предсказанию, не могла быть взята. На тему о Филоктете Софоклом написана трагедия.

397

279. *Гилл* — сын Геракла от Деяниры.

398

283. *Илифия* — богиня-родовспомогательница (лат. Луцина).

399

294. *Никсы двойничные* — божества родов.

400

320—323. Галантида превращается в ласку.

401

332. *Бог* — Аполлон.

402

347. *Приап* — одно из низших божеств, сын Вакха и Венеры.

403

399. *Иолай* — племянник Геракла и помощник его при истреблении Лернейской гидры.

404

400. *Геба* — богиня юности, ставшая женой Геракла по его обожествлении.

405

403 слл. Предсказание Фемиды о будущем походе «Семи против Фив» составлено темно и неясно в подражание предсказаниям оракулов и прорицателей. Усобицы в Фивах — раздор между сыновьями царя Эдипа Этеоклом и Полиником. *Капаней* — вождь аргивян, призванный на помощь Полиником, изгнанным из Фив. *Два брата* — Этеокл и Полиник. *Прорицатель* — Амфиарай, который сам предвидит свою смерть. *За отца отомстит материнской кровью сын…* — Алкмеон, сын Амфиарая, жену которого подкупил Полиник, чтобы она уговорила мужа идти в поход на Фивы. Он убил мать и бежал на Псофиду, где женился на дочери тамошнего царя; гонимый Эвменидами, он попал на один из Ахелоевых островов, где женился на дочери Ахелоя, Каллирое, попросившей у него роковое злато, т. е. доставшееся ему после матери ожерелье, которым ее подкупил Полиник и которое Алкмеон уже подарил своей первой жене. Он возвращается в Псофиду, уносит ожерелье, но его шурья нагоняют и убивают его (ст. 412).

406

422 слл. *Паллантиада* — Аврора. Перечисляются «смертные» любимцы «бессмертных» богов, которым не дано вечной молодости. Эак, Радамант и Минос — сыновья Юпитера.

407

453. *Библида* — дочь Милета, основателя города Милета в Малой Азии. Дедом Библиды считался Аполлон.

408

482. *Сын резвый* — Купидон.

409

498. *Опия (или Опс)* — одно из исконных римских божеств, богиня посевов и жита.

410

507. Эол своих шестерых сыновей поженил на их родных сестрах.

411

574. *Меандров внук* — Кавн и Библида были детьми Кианея, дочери речного бога Меандра.

412

641. *Потомок Семелы* — Вакх.

413

644. *Бубасские* — из города Бубаса в Малой Азии.

414

644—647. Перечисляются различные местности и народы в Малой Азии.

415

661. *Фавон (или Фавоний)* — римское имя Зефира, западного ветра.

416

665. *Илик* — каменный дуб.

417

687 слл. *Инаха дочь* — Ио, почитавшаяся как богиня Изида; с нею являются и другие египетские божества, культ которых во времена Овидия был распространен в Риме.

418

691. *Оный* — Гарпократ.

419

693. *Систр* — особого рода погремушка.

420

736. *Дочь Солнца* — жена Миноса Пасифая.

773. *Паретоний и др.* — города в Египте.

422

2. *Киконы* — фракийское племя, среди которого жил певец Орфей, считавшийся сыном музы Каллиопы и Аполлона.

423

13. *Тенарийская щель.* — Около мыса Тенара, в Лаконии, был провал, считавшийся входом в преисподнюю.

424

15. *Персефона* — жена Плутона, похищенная им у матери ее Деметры (Цереры). Овидий назвал ее греческим именем вместо латинского — Прозерпина.

425

21. *Чудовище, внук Медузы* — адский пес Цербер с волосами в виде змей и тремя головами.

426

41. *Тантал* — отец Пелопа, наказанный в Тартаре за непочтение к богам неутолимым голодом и жаждой; он стоял по горло в воде, убегавшей от него, когда он хотел напиться, и видел над головой недосягаемые для него плоды.

427

42. *Иксион* — царь лапифов, отец Пирифоя, прикованный к вертящемуся колесу за оскорбление Юноны.

428

43. *Печень* — великана Тития, убитого Аполлоном. *Белиды* — Данаиды, внучки египетского царя Бела, за убийство своих мужей осужденные в Тартаре наполнять водой бездонный сосуд.

429

44. *Сизиф* — царь Коринфа, за свое коварство наказанный вкатыванием на гору постоянно срывающегося с нее камня.

52. *Авернские долины* — преисподняя, одним из входов в которую считалось Авернское озеро в Италии.

431

65. …*устрашившийся пса с головами тремя*… — т.е. Цербера, выведенного из Тартара Геркулесом. Кто был этот окаменевший человек, неизвестно.

432

68 сл. *Олен* и *Летея* упоминаются только здесь.

433

73. *Лодочник* — Харон, перевозчик теней умерших в преисподнюю.

434

74. *Церерин дар* — хлеб и вообще пища.

90. *Хаонии дерево* — дуб. Хаония — Эпир, где был оракул Зевса в Додоне.

91. *Роща сестер Гелиад* — тополя.

106. *Меты* — пирамидальные столбы на концах ипподромов.

109. *Картейских.* — Картея — город на острове Кее.

439

127. *Рак* — знак Зодиака, летом находящийся на горизонте («прибрежный»).

440

151. *Флегрейские поля.* — О точном их местонахождении спорят, но вероятно, они находились в Фессалии или Македонии, хотя некоторые мифологи говорят, что гиганты были поражены около Кум.

441

160. *Илиад* — троянец, внук царя Ила.

442

162. *Амиклид* — потомок Амикла, основателя города Амикл в Лаконике.

169. *Эврот* — река в Лаконике.

183. *Тенариец* — лаконец, по мысу Тенару.

445

210—219. Описание гиацинта указывает, что это не тот цветок, который называется этим именем у нас.

220. *Амафунт* — город на Кипре, одно из мест культа Венеры.

223. *Керасты* — keras по-гречески значит «рог».

448

243. *Их* — Пропетид.

449

263. *Гелиады* — обращенные в тополя сестры Фаэтона, слезы которых превращались в янтарь.

267. *Сидонские раковины* — раковины, дававшие пурпур.

451

284. *Гиметтский* — с горы Гиметта, в Аттике, славившейся своим медом.

290. *Пафосский* — кипрский. (см. ниже, ст. 297.)

453

297. *Паф* — город на Кипре, где процветал культ Венеры. Овидий ошибочно считал его островом.

309. *Панхайская (или Панхейская) земля* — часть Аравии.

455

349. *Сестер* — фурий.

435. *Кенхреида.* — Значение этого названия неизвестно.

457

446 сл. *Трионы* — Большая Медведица, представляющаяся римлянам телегой с дышлом.

458

450 сл. *Икар* — почитатель Вакха, согласно легенде, убитый пастухами Аттики, которые, впервые опьянев от его вина, подумали, что он отравил их. Он был превращен в созвездие, отождествляемое с Боотом, а его дочь Эригона — в созвездие Девы, которому, как Бооту, давали и другие мифические толкования.

480. *Земля Сабейская* — в Аравии.

460

565. *Аталанта*. — Имеется а виду не участница Калидонской охоты, а другая — беотийская (или «аонийская») — дочь царя Схенея.

461

605. *Мегарей онхестиец.* — Онхест — город в Беотии, основанный Онхестом.

462

696. *Башненосная Матерь.* — Кибела изображалась в короне в виде городской стены.

463

726 сл. Намек на празднества в честь Адониса, описанные а «Сиракузянках» — идиллии Феокрита.

464

729. *Мята* — намек на превращение нимфы Менты (мяты), Овидием не рассказанное.

465

739. *Ветры.* — Цветок называется «анемон», что по-гречески соответствует нашему названию «ветреница».

16. *Берекинтскне флейты* — фригийские, по горе Берекинту во Фракии. Они применялись в культе Кибелы.

467

55. *Метимна* — город на острове Лесбосе, родине Алкея и Сафо.

468

92. *Эвмолп* — ученик Орфея, по мифу, посвятившего его, как и Мидаса, в орфические таинства. Он переселился из Фракии в Аттику, древнейшим царем которой считался Кекроп.

469

114. *Гесперіды* — дочери Атланты, хранительницы чудесных золотых яблок на крайнем западе.

470

117. *Даная* — дочь мифического аргосского царя Акризия, к которой проник Юпитер в виде золотого дождя.

132. *Леней* — одно из имен Вакха.

472

137. *Сарды* — столица Лидии.

152. *Гипепы* — см. прим. к VI. 13.

474

195. *Гелла* — сестра Фрикса, согласно легенде, бежавшая с ним от мачехи Ино (дочери Кадма) на золоторунном баране в Колхиду. Гелла погибла, упав в пролив, получивший название Геллеспонта (ныне Дарданеллы). Это сказание — начало мифа о золотом руне и аргонавтах.

475

196. *Лаомедонта поля* — Троя. Рассказ о постройке стен для Лаомедонта см. в «Илиаде», XXI, 436—437.

476

197 сл. *Сигей и Ретей* — два мыса на троянском побережье, между которыми находился алтарь Зевса-«всепрорицателя» (Panamphaios).

477

217. *Гесиона* — дочь Лаомедонта.

478

249. *Карпатийский.* — Карпатийское море — часть Эгейского, около острова Карпати, на восток от Крита.

479

250. *Эакид* — Пелей, сын Эака.

480

303. *Майей Рожденный* — Меркурий.

481

383. *Этейский.* — фессалийский город Трахина находился около горы Эты.

482

398. *Псамафа* — мать Фока.

483

413—414. *В Клар к Аполлону…* — В городе Кларе, в Малой Азии, был храм и оракул Аполлона, как и в Дельфах. *Форбант* — предводитель флегийцев, племени, упоминаемого уже у Гомера. Это было разбойничье племя, нападавшее на путешественников, отправлявшихся с дарами в Дельфы.

484

431. *Гиппотад* — Эол, владыка ветров, внук троянца Гиппота и отец Алкионы.

502. *Трахинское*. — По легенде, Кеик был царем города Трахина (в Фессалии), описанного Геркулесом.

486

504. *Ахеронт* — преисподняя.

487

592. *Киммерийская земля* — на севере, где царит вечная ночь. Киммерия историческая — Крым.

488

761. *Димантова дочь* — Гекуба, жена Приама.

489

763. *Граник* — река во Фригии. Двурогим был и Ахелой, и другие речные боги.

490

2. *Над холмом, на котором лишь значилось имя…* — это так называемый «кенотаф», могила без тела умершего.

491

5. …*похитив супругу*… — Елену, жену Менелая.

10. *Авлида* — гавань в Беотии у Эвбейского пролива, откуда греки должны были отправиться под Трою.

13. *Данайцы* — обычное название греков у Гомера.

494

19. *Фестора сын* — прорицатель Калхас.

495

28. *Дева-богиня* — Диана.

30. *Царь* — Агамемнон, предводитель греков, отец Ифигении.

497

68. *Протесилай* — вождь фессалийцев из города Филаки.

70. *Фригийцы* — трояне.

71. *Сигейский* — троянский, по мысу Сигею.

500

74. *Пелионский* — с горы Пелион.

501

108. *Лирнесс* — город в Мизии (в Малой Азии), откуда была родом пленница Ахилла Бризеида.

502

109. *Фивы* — город в Мизии.

503

112. *Телеф* — мизийский царь, раненный Ахилловым копьем и этим же копьем впоследствии исцеленный.

145. *Кикново имя* — т. е. «лебедь».

505

210 сл. *Гипподамия* — жена сына Иксиона Пирифоя, царя лапифов. На свадебный пир Пирифоя и Гипподамии были приглашены знаменитейшие из кентавров (тучеродных зверей), рожденных, по мифу, из тучи.

506

537. *Тлеполем* — сын Алкида (Геркулеса).

507

547. *Деифоб и Полидамант* — троянские герои.

508

581. *Сын* — Кикн. *Сфенелеида-птица* — см. II. 367, о другом Кикне, сыне Сфенела.

509

585. *Сминфеец* — один из эпитетов Аполлона, еще не получивший объяснения; так называется он в «Илиаде» (I, 39 — «Сминфей» в переводе Гнедича).

611. *Фермодонта* — т.е. от руки амазонки.

612. *Защита пеласгов* — т. е. греков.

512

622. *Тидид* — Диомед.

513

623. *Младший Атрид* — Менелай.

514

624. *Сын Теламона* — саламинского царя, Аянт, двоюродный брат Ахилла. Аянт Оилеев (в ст. 622) — вождь локрийцев, менее знаменитый.

515

625. *Сын Лаэрта* — Одиссей (Улисс).

516

626. *Танталид* — потомок Тантала, Агамемнон.

517

7. *Пламя Гектора* — поджог греческого флота троянцами, описанный в XV и XVI книгах «Илиады».

518

24. *проник… к побережью Колхиды* — о походе аргонавтов.

519

38. *Навплиад* — Паламед.

520

45. *Потомок Пеанта* — Филоктет.

521

46. *Лемнос* — остров на Эгейском море, где, по совету Улисса, был оставлен укушенный змеей Филоктет, так как от раны его распространялось нестерпимое зловоние.

522

98 сл. *Рез* — фракийский царь, на войско которого Улисс с Диомедом напали врасплох ночью. *Итакиец* — Улисс, царь острова Итаки. Аянт вспоминает «ничтожные» подвиги Улисса. *Долон* — троянский лазутчик, захваченный ими же; *Гелен* — сын Приама, прорицатель; *Паллада* — изображение Паллады, охранявшее Трою и похищенное Улиссом и Диомедом.

107. *Дулихийское.* — Дулихий — остров близ Итаки.

524

110. *Щит.* — Эта работа Вулкана описана в «Илиаде» (XVIII, 478—697).

525

163. …*в женском наряде…* — Согласно легенде, Фетида скрыла Ахилла у царя Ликомеда на острове Скире, чтобы спасти его от предсказанной ему гибели под Троей. Одиссей открыл его, явившись на Скир переодетым, с товарами; среди них было оружие, за которое Ахилл, переодетый девушкой, сейчас же схватился и тем выдал себя. На Скире он прижил и сына Неоптолема, или Пирра.

230. …*и созывает Атрид*… — см.: «Илиада», II, 48 слл.

527

255 слл. Упоминаемые здесь имена перечисляются по «Илиаде» (V, ст. 677 слл).

528

273. *Актора внук* — Патрокл.

529

299. *Он* — Ахилл.

530

356. *Аянт скромнейший* — сын Оилея.

531

357. *Сын Андремона* — Тоант, царь Плеврона и Калидона.

358. …*из той же земли*… — т. е. с острова Крита.

533

396. *Эвбалийская рана* — т. е. рана Гиацинта. На лепестках гиацинта видны знаки букв вроде Ai, составляющих как восклицание печали, так и начальные буквы имени «Аякс».

534

399. *Ипсипила* — царица Лемноса.

535

401. *Тиринфские стрелы* — Геракловы, отданные им Филоктету.

536

410. *Фебова жрица* — Кассандра, дочь Приама.

537

415. *Астианакс* — сын Гектора.

538

431. *Полидор* — младший сын Приама.

539

554. *Одриз* — фракиец.

540

620. *Димантида* — Гекуба.

541

625. *Герой Кифереин* — Эней, сын Венеры и Анхиза, отец Аскания.

542

631. *Аполлонов град* — Делос.

543

653. *Ягоды девы Минервы* — оливки.

544

705. *Тевкры* — трояне, по имени их прародителя Тевкра, переселенца с острова Крита.

545

708. *Авсонийских.* — Авсония — Италия.

709. *Строфады* — острова Ионийского моря.

710. *Аэлло* — одна из гарпий.

548

711 сл. Перечисляются острова Ионийского моря.

549

713. *Амбракия* — город в Эпире, по решению пастуха Крагалея доставшийся Геркулесу, за что Аполлон превратил судью в камень.

550

715. *Аполлон Актийский* — храм Аполлону, построенный Августом на Актийском мысу.

551

738. *Галатея* — морская нимфа.

552

770. *Телем* — птицегадатель. Его предсказание Полифему приведено в «Одиссее» (X, 507 слл.).

553

5. *Занклея* — Мессания (н. Мессина).

554

9. *Цирцея* — ср. «Одиссея», X. 135—574.

27. *Отцовским* — т. е. бога солнца.

78. *Сидонка* — Дидона, царица Карфагена (см. «Энеида», кн. IV).

83. *Эрикс* — гора в Сицилии. *Акест* — выходец из Трои.

558

89. Перечисляются острова у берегов Кампании.

559

89 сл. *Керкопы* — лидийское племя, обещавшее помощь Юпитеру в его борьбе с Сатурном, но, получив плату, обманувшее его; за это керкопы были обращены в обезьян — по-гречески pithex, откуда и название Питекузы.

560

101. *Партенопейские стены* — Неаполь.

561

102. *Эолов сын* — спутник Энея Мизен (см.: «Энеида», VI, 163 слл.). Его холм — мыс Мизен.

104. *Сивилла.* — Об этой пророчице см.: «Энеида», III, 441—459; V. 731—737 и VI.

563

114. *Авернская Юнона* — Персефона.

564

155. *Эвбейский град* — Кумы, основанные выходцами с острова Эвбеи.

233. *Лестригон* — см.: «Одиссея», кн. X, где рассказаны и другие события, передаваемые Овидием (см. также IX книгу «Одиссеи»).

566

325. *Игрища элидские* — Олимпийские игры; римляне часто путали четырехлетнюю греческую «олимпиаду» со своим пятилетним «люстром».

567

328 слл. Перечисляются реки Лациума; *Альбула* — древнее название Тибра.

568

334. *Ян, или Янус* — один из чисто римских богов, изображавшийся двуликим. Храм его стоял открытым в военное и запертым в мирное время.

569

404. *Эреб и Хаос* — божества тьмы и мировой бездны.

570

416. *Тартессия* — Испания, по городу Тартессу.

571

433. *Камены* — латинское название муз.

572

451. *Турн* — царь рутулов, сватавшийся за Лавинию, дочь Латина, будущую жену Энея.

573

457. *Диомед* — согласно легенде, по окончании Троянской войны переселился в Италию, покинув родную Арголиду. Под Троей он ранил Венеру и был за это ненавидим ею.

574

468. *Нарикийский герой* — Аянт, сын Оилея, обесчестивший Кассандру, искавшую убежища в храме Афины («Девы»).

472. *Кафарей* — мыс на острове Эвбее.

576

545. *Сыновья Астрея* — ветры.

563. *Неритийский* — т. е. Улиссов (по горе Нерит на Итаке).

578

564. *Корабль Алкиноя* — царя феаков (см. «Одиссея», XIII, 153—184).

579

579 сл. Латинское ardea означает «цапля».

580

583. *Иул* — Асканий, сын Энея.

581

622. *Прока (или Прок)* — один из мифических царей Лациума.

582

623. *Помона* — названа Овидием лесной нимфой (гамадриадой).

583

626. От латинского pomum — плод.

584

638. *Паны.* — После того как Пан вошел в свиту Вакха вместе с сатирами, он как бы раздробился; стали считать, что Панов много и что существуют еще маленькие Паны — «паниски».

585

639. *Сильван («Лесной»)* — один из исконных лесных и полевых демонов латинян.

586

669 сл. *Елена* — жена царя Менелая, похищенная Парисом. Далее Овидий говорит про жену Пирифоя — Гипподамию (см. прим. к XII, 210) и Пенелопу.

674. *Альбанские горы* — на юг от Рима.

588

693. *Идалийка* — Венера, по горе Идалии, на острове Кипре.

589

712. *Норикийский.* — Норик — придунайская область, известная выделкой оружия.

590

774. *Палилий* — сельский праздник в честь божества Палес.

591

776. *Тарпейя* — дочь начальника римской крепости, впустившая в нее врагов. В награду себе она испросила «то, что они носят на левой руке», имея в виду золотые запястья. Сабины, войдя в крепость, забросали девушку щитами (их также носят на левой руке).

592

781. *Илиад* — Ромул, сын Илии.

593

50 сл. *Тарент* и другие упоминаемые здесь местности находятся в Южной Италии.

144. *Дельфы* — т. е. свое собственное прозренье.

595

161 слл. Об этом же говорит и Гораций («Оды», I, 28).

229. *Милон* — современник Пифагора, знаменитый атлет.

597

273 слл. Перечисляются реки в Греции и Малой Азии.

598

309. *Аммон.* — Об источнике Аммона подробно говорит Лукреций в VI кн. «О природе вещей». Вообще изложение Овидия основано здесь, вероятно, на тех же данных, что и у Лукреция.

599

411. Имеется в виду хамелеон.

600

447. *…от крови Иула рожденный…* — Намек на Октавиана Августа.

601

462. *Тиест*. — Миф о Тиесте (или Фиесте), брате Атрея — один из излюбленных римскими писателями. На эту тему написана, между прочим, одна из трагедий Сенеки.

602

489. *Орест* — брат Ифигении, спасенный ею от принесения в жертву Диане в Тавриде (см.: Еврипид. Ифигения в Тавриде).

603

700 слл. Перечисляются прибрежные местности Южной и Средней Италии в том порядке, как их миновали по пути из Греции в Рим. *Лакиний* — мыс на юго-восточном берегу Бруттия с храмом Юноны; *Скилакей* — город у залива, начинавшегося за Ялигским мысом, *Кавлон* — город на юге этого залива; *Нарикия* — город в Бруттии, основанный выходцами из Нарикия в Локриде; *горло Пелора* — Мессинский пролив между сицилийским мысом Пелор и полуостровом; *дом Гиппотада (Эола)* — Эолийские острова к северу от Сицилии; *Темеса* — город близ западного берега Бруттия; *Левкосия* — островок напротив Пестума; мыс Минервы лежит против Капреи (Капри); *Суррент* (ныне Сорренто), *Геркулесов город* (Геркуланум), *Стабии*, *Партенопея* (Неаполь) — города на берегах Куманского (ныне Неаполитанского) залива; *святилище Кумской Сивиллы* (Кумы), *горячие ключи* в Байях, город *Литерн* и устье реки *Волтурн* — на побережье Кампании; *Синуэсса*, *Минтурны*, Формии (*Антипатов предел*), *Трахада*, *Цирцея*, *Антий* — прибрежные города Лациума. Стихи 703—705 испорчены, поэтому названные в них местности отождествлению не поддаются.

604

822 слл. *Мутина* — город в Италии (ныне Модена), осаждавшийся в 43 г. до н. э. Децимом Брутом; *Фарсалы* — город в Фессалии, под которым Цезарь разбил Помпея в 48 г. до н. э.; *Филиппы* — город в Македонии, под которым Антоний и Октавиан победили Брута и Кассия в 42 г. до н. э.

605

825. *Сицилийские волны* — море у берегов Сицилии, где флот Октавиана разбил флот Секста Помпея.

606

826. *Египтянка* — Клеопатра.

607

828. *Канопа* — город в Египте.

608

Пантомим — танцевально-мимическое представление в Древней Греции и в Древнем Риме (обычно на мифологический сюжет).

609

Настоящий отрывок из дневника Овидия относится к последним годам его пребывания в Томах.

610

Корнелий Галл — один из крупнейших римских поэтов, но из его произведений до нас ничего не дошло. Поэты Гораций и Проперций были друзьями Овидия.

611

…на цветущих склонах Везувия… — Во времена Овидия гора Везувий еще не была вулканом и славилась своими цветущими селениями и виноградниками.

612

…из моего сульмоновского виноградника. — Овидий родился в усадьбе отца, близ города Сульмона, в гористой части Средней Италии. Из «Скорбных песен», кн. 1, элегия 9.

613

«Послание с Понта». Перевод А. Фета.

614

Сальве — (*лат.*) здравствуй.

615

Центурион — начальник сотни.